

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

1965

11



1965

# ИНОВЪЛЪИ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLI

№ 11

Ноябрь, 1965 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СТАТЬИ В. И. ЛЕНИНА «ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПАРТИЙНАЯ ЛИТЕРАТУРА»	3
ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ — <i>Пять стихотворений</i> . Перевели с калмыцкого Юлия Нейман, Д. Долинский, В. Стрелков, С. Липкин	9
ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ — <i>От дома до фронта</i> , повесть	11
АЛЕКСЕЙ ПЫСИН — <i>Солдатам</i> , стихи. Перевел с белорусского Н. Кислик	72
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ — <i>Дорога</i> , стихи	75
ВИТАЛИЙ СЕМИН — <i>Ася Александровна</i> , рассказ	77
Н. МЕЛЬНИКОВ — <i>Один рейс</i> (Из записок корреспондента)	85
ФАЗУ АЛИЕВА — <i>Родное село</i> , стихотворение. Перевела с аварского И. Лиснянская	110
В. СУХОМЛИН — <i>Гитлеровцы в Париже</i>	111
АНХЕЛА ФИГЕРА — <i>Стихотворения</i> . Перевела с испанского Т. Макарова	157

### ПУБЛИЦИСТИКА

А. ТУЧИНА, Б. ЯКОВЛЕВ — <i>Ленин в первый год Октября</i> (По страницам большевистских газет 1918 года)	162
Ю. ЧЕРНИЧЕНКО — <i>Русская пшеница</i>	180

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Н. ЛЮБИМОВ — <i>Поэтический факультет</i> (К 70-летию со дня рождения Э. Багрицкого)	201
---	-----

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
АЛЕКСАНДР ГЛАДКОВ — Виктор Кин и его время	213
<b>ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ</b>	
Из переписки А. М. Горького с Всеволодом Ивановым	231
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Анатолий Кузнецов. Очевидцы рассказывают о Ленине.— З. Крахмальникова. Обвинение Андреса Лапетгеуса.— З. Файнбург. Зачем нужны звезды.— Е. Полякова. Книга Михоэлса.	259
<i>Политика и наука</i>	
Р. Ковалев, С. Селяков, В. Ильин. Выдающийся ученый-патриот.— Е. Гнедин. На Западе не без перемен.— Л. Безыменский. Когда журналист становится историком...	273
КОРОТКО О КНИГАХ	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---



---

## К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СТАТЬИ В. И. ЛЕНИНА «ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПАРТИЙНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**П**ринцип коммунистической партийности художественного творчества принадлежит к коренным принципам эстетики научного социализма и коммунизма. Он представляет собой не просто одно из тех новых теоретических положений, которыми марксизм обогатил развитие мировой эстетической мысли. Он есть тот новый эстетический принцип класса, призванного изменить лицо старого мира, которым этот класс практически утверждает себя в искусстве,— принцип, которым он обозначает в искусстве свое вступление на путь сознательного исторического действия и борьбы.

Вот почему ни одно другое положение марксистской эстетики не вызывает у его врагов такой ненависти, какой достаивается принцип партийности литературы и искусства. И вот почему каждый художник, для которого требование партийной направленности его творчества есть внутреннее, органическое требование его собственного «я», так высоко оценивает значение ленинской работы «Партийная организация и партийная литература». И мы обращаемся сегодня к знаменитой статье Ленина, чтобы еще и еще раз проверить свои позиции в сегодняшней нашей борьбе, еще и еще раз продумать все содержание классических ленинских формул, опереться в решении наших сегодняшних задач на богатство ленинской мысли.

Статья Ленина была написана, как известно, в связи с теми новыми условиями социал-демократической работы, которые создались в России после октябрьской политической стачки 1905 года, вырвавшей у правительства «дарование» гражданских свобод и легализацию партийной печати.

Но конкретная постановка вопроса о партийной печати основана у Ленина на принципах, имеющих более широкий и общий смысл, который, безусловно, охватывает и область собственно художественного творчества. Центральная мысль Ленина о том, что литературное дело должно стать частью общего пролетарского дела, приводимого в движение сознательным авангардом рабочего класса, имеет, несомненно, самое прямое отношение и к искусству, если рассматривать этот принцип как общий принцип идейной ответственности художника. Равно имеют самое прямое отношение к искусству и ленинские указания о том, что «литературная часть партийного дела пролетариата не может быть шаблонно отождествляема с другими частями партийного дела пролетариата», что оно «всею менее поддается механическому равнению, нивелированию, господству большинства над меньшинством», что «в этом деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе,



индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию».

Вместе с тем Ленин выдвигает в статье ряд положений, непосредственно обращенных к искусству,— положений, которые как раз и подчеркивают общую принципиальную основу его постановки вопроса о партийной литературе.

Развенчивая ходячие фразы о свободе художника в буржуазном обществе как «одно лицемерие», Ленин пишет: «И мы, социалисты, разоблачаем это лицемерие, срываем фальшивые вывески,— не для того, чтобы получить неклассовую литературу и искусство... а для того, чтобы лицемерно-свободной, а на деле связанной с буржуазией, литературе противопоставить действительно-свободную, открыто связанную с пролетариатом литературу».

Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность».

Все эти положения ленинской работы важны и дороги нам в нашей сегодняшней борьбе за партийность художественного творчества, за подлинно партийное искусство, открыто связанное с делом социалистической революции. И не случайно именно против них сосредоточен огонь наших классовых врагов — всех тех, кто хотел бы сделать принцип партийности пугалом для художественной интеллигенции, хотел бы оболгать, переиначить, вытравить из марксизма все то, что как раз и составляет его живую душу, делает научный коммунизм вечно живой, обновляющейся научной теорией.

Нападая на ленинскую идею открытой связи искусства с пролетариатом и, следовательно, на идею руководства со стороны пролетариата и его партии художественным процессом, наши противники пытаются представить это положение как принцип подавления свободы слова и убеждений и противопоставить свободу творчества партийному руководству литературой и искусством.

Бедная логика!.. Да, Ленин не раз подчеркивал, что в социалистическом обществе «каждый художник, всякий, кто себя таковым считает, имеет право творить свободно, согласно своему идеалу, независимо ни от чего» (беседа с Кларой Цеткин). И вместе с тем Ленин действительно говорил о необходимости планомерного партийного руководства процессом не только художественной, но и — шире — всей идейной жизни общества. Противоречие?

Да,— если не знать, что руководство это он никогда не основывал на «административных воздействиях». Ему были враждебны вульгаризация идеи партийности литературы и искусства в духе «комчванства» и сектанства, подмена партийного руководства командованием, попытки превратить принцип партийности в орудие «проработки» тех или иных советских писателей. Ленин судил о литературе и искусстве с полным пониманием их особенностей, с постоянным вниманием к их объективно-познавательной ценности и никогда не сводил роль художественного творчества к иллюстрированию уже известных положений. И недаром в резолюции ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 года было подчеркнуто, что «партия должна всемерно искоренять попытки самодельного и некомпетентного административного вмешательства в литературные дела», а коммунистическая критика только тогда «будет иметь глубокое воспитательное значение» для писателей, «когда она будет опираться на свое

идейное превосходство». Весь смысл ленинской политики в области художественного творчества как раз и заключался в том, что только убеждением, идейным превосходством можно добиться наиболее глубоких и значительных результатов в формировании процесса художественной жизни, что именно в этом случае обеспечивается действительно успешное руководство им. Как никто другой, Ленин понимал, что идейное убеждение действенно только тогда, когда оно принимается совершенно свободно, добровольно. Потому-то свобода творчества и не была в его глазах чем-то противоречащим принципу партийного руководства художественным процессом. В проекте постановления ЦК РКП(б) о Пролеткульте Ленин специально выделил ту главную мысль, что «работа Пролеткульта в области научного и политического просвещения сливается с работой НКПроса и Губнаробразов, в области же художественной (музыкальной, театральной, изобразительных искусств, литературной) остается автономной, и руководящая роль органов НКПроса, сугубо процеженных РКП-й, сохраняется лишь для борьбы против явно-буржуазных уклонов». И вот почему А. В. Луначарский, девяностолетие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году и теоретическому наследию которого «Новый мир» намерен посвятить специальную статью, предупреждал, следуя здесь заветам Ленина: «Дело совсем не в том, чтобы критик-марксист кричал: «Консулы, будьте бдительны!». Тут не призыв к государственным органам, тут установка объективной ценности для нашего строительства того или другого произведения. Дело самого писателя сделать выводы, исправить свою линию».

Еще больше яростных нападок вызывает положение Ленина о том, что открыто связанная с пролетариатом литература есть действительно свободная литература.

«Свободная» и «открыто связанная»? Разве одно не исключает другое, разве защита классовой точки зрения пролетариата не есть уже определенное ограничение свободы художника, разве не ставит это требование определенных рамок его творчеству? На приманку этой иллюзорной логики легко попадают люди, которые, не дав себе труда разобраться в научном коммунизме, не способны понять его действительное существо.

Между тем формула Ленина не просто абсолютно точна — в предельно сжатом, афористическом выражении она включает в себя, можно сказать, самую суть марксистской философии, марксистского понимания классовых интересов трудящихся.

Да, коммунистическая партийность и действительная свобода художественного творчества — вещи не только не противостоящие друг другу, но, напротив, неотделимые друг от друга. И понять, почему это так, не составляет особого труда, если отдавать себе отчет в реальном содержании проблемы.

Речь идет о свободе художественного творчества, а свобода художественного творчества есть не просто отсутствие внешних стеснений. Она предполагает внутреннюю способность самого искусства развиваться согласно его собственной сущности, его назначению в человеческом обществе, наиболее полно и нестесненно реализовать необходимые требования его природы. Однако источник всего подлинно великого и прекрасного в искусстве — прежде всего в его истинности, в том, что оно, будучи эстетической формой освоения мира, способно давать нам объективно верный, правдивый образ действительности. Полнота и глубина постижения объективной истины есть единая и общая мера ценности любых продуктов духовной деятельности человечества во всех ее формах, и художественное творчество человека не представляет здесь исключения.

Требование свободы художественного творчества по самой природе вещей не может быть, следовательно, не чем иным, как требованием полноты развития его эстетически-познавательных возможностей, его умения давать нам эстетический образ истины. Свобода искусства есть свобода художественного исследования истины жизни и овладения ею — свобода для познания. для жизненной правды в искусстве, свобода для истины. Таково реальное содержание этого понятия.

Но отношение научного коммунизма к истине ясно и недвусмысленно. «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно», — говорил Ленин, и эти слова определяют самое существо марксизма, его дух и характер. В нем нет разрыва между революционной волей, действием и познанием истины. Напротив, «непреодолимая привлекательная сила, которая влечет к этой теории социалистов всех стран, в том и состоит, — писал Ленин, — что она соединяет строгую и высшую научность (являясь последним словом общественной науки) с революционностью». Марксизм есть единственная революционная теория, относящаяся с действительным уважением к правде действительности, и потому-то Ленин и говорит, что «исторический материализм и все экономическое учение Маркса насквозь пропитаны признанием объективной истины».

И это не просто личная заслуга творцов новой теории, следствие того счастливого обстоятельства, что каждый из них лично соединял в себе качества ученого и революционера. Марксизм есть мировоззрение революционного рабочего класса, который именно потому, что это единственный последовательно революционный класс, до конца и бескомпромиссно заинтересован и в объективном познании действительности, в истине. В противоположность господствующим эксплуататорским классам, которые враждебны объективной истине, ибо объективная истина противоречит их интересам и самому их существованию, он заинтересован как раз в том, чтобы «лицемерию и лжи... противопоставить полную и открытую правду» (Ленин).

Вот почему нет у истины более верного и последовательного защитника, чем трудящиеся классы, — истина и правда служат только им. «Буржуа — раб существующего социального строя и связанных с ним предрассудков, — писал Энгельс, — он пугливо отмахивается и отрешается от всего того, что действительно знаменует собой прогресс; пролетарий же смотрит на все это открытыми глазами и изучает с наслаждением и успешно». Им владеет «дух ни перед чем не останавливающегося теоретического исследования», и «чем смелее и решительнее выступает наука, тем более приходит она в соответствие с интересами и стремлениями рабочих». Это совпадение интересов трудящихся с интересами наиболее «смелого и решительного» развития науки, всестороннего и глубокого изучения действительности является объективной закономерностью, и вот почему с таким удовлетворением встречены нашим народом решения октябрьского (1964), мартовского и сентябрьского (1965) Пленумов ЦК КПСС, призвавшие к борьбе с проявлениями всяческого субъективизма и волюнтаризма, поставившие во главу угла необходимость объективно-научного подхода к решению стоящих перед нашей страной задач.

Следовательно, коммунистическая партийность не отрицает, а, напротив, обязательно и безусловно включает в себя стремление к истине. И в наши дни, как и прежде, в любой области человеческого познания защита интересов коммунизма неотделима от защиты интересов истины, в любой области сознательного человеческого действия требование коммунистической партийности совпадает с требованием «полной и открытой правды», с требованием бескомпромиссно-последовательного позна-



ния жизни, и к художественному творчеству это относится в той же мере, как и к философии, политике или истории. Здесь тоже интересы трудящихся совпадают с интересами объективно-истинного художественного постижения действительности, здесь тоже партийность неотделима от правды, и действительно партиен лишь тот художник, который верен истине в своих произведениях, который правдив. Не отделимая от коммунистической партийности, правда искусства служит делу революции.

Вот почему свобода художественного творчества и неотделима от партийности: свобода искусства есть свобода истины в искусстве, а защита истины как раз и отличает коммунистическую партийность. Именно потому, что трудовой народ заинтересован в истине, он заинтересован и в действительно свободном искусстве, в искусстве, предельно полно и богато развивающем «талант» эстетического познания жизни, лежащий в основе его собственной природы. И неразрывность этой связи состоит не только в том, что требование коммунистической партийности выражает собой в то же самое время требование действительной свободы творчества. Она состоит и в том, что коммунистическая партийность позиций художника сама есть неперемнное условие свободы художника, его саморазвития в направлении наиболее полного и глубокого овладения художественной правдой.

Лишь овладевая научной марксистской теорией, лишь практически участвуя в борьбе за коммунизм, являющий собой, по выражению Маркса, «завершенный гуманизм», за общественные отношения, основанные «на истинных началах прогресса, соответствующих условиям человеческой природы» (Ленин), современный художник обретает действительные критерии для различения истинного и неистинного в противоречивых и противоборствующих процессах наблюдаемой им жизни, — критерии, без которых невозможна правда художественного изображения. И это подтверждает весь опыт развития советской литературы, все лучшие ее достижения, о международном признании которых говорит и недавнее присуждение Нобелевской премии выдающемуся советскому писателю М. А. Шолохову. А чем полнее и глубже постигает советский художник правду действительности, чем полнее — если перефразировать выражение Энгельса — овладевает им дух ни перед чем не останавливающегося художественного исследования жизни, чем смелее и решительнее он в этом исследовании, тем более, в свою очередь, его творчество приходит в соответствие с интересами и стремлениями народа. Здесь перед ним нет никаких границ, кроме границ правды, ибо единственный «социальный заказ», который предъявляют ему трудящиеся, — это заказ на правду, и в этом и состоит смысл лозунга социалистического реализма.

Социалистический реализм — если только перед нами действительно социалистический реализм — не имеет и не может иметь ничего общего с каким-либо сочинительством по заранее составленным рецептам. Он есть живое, полнокровное, свободное, развивающееся и ни перед чем не останавливающееся художественное познание действительности, оплодотворенное идеей социализма, научным коммунистическим мировоззрением.

Быть социалистическим реалистом — значит быть художником-исследователем, партийным поборником правды, стремиться к художественному открытию новых, не изведанных еще сторон жизни. Об этом хорошо сказал в свое время еще Луначарский, заметивший, что «плох художник, который своими произведениями иллюстрирует уже выработанные положения нашей программы. Художник ценен именно тем, что

он поднимает новину, что он со всей интуицией проникает в область, в которую обычно трудно проникнуть статистике и логике».

Таковы некоторые важнейшие истины марксизма, которые сегодня, в связи с шестидесятилетием замечательной ленинской статьи, вспомнить тем необходимее, что попытки совлечь социалистическое искусство с пути реализма предпринимаются в наше время все чаще и чаще. Мы должны уметь видеть, что, какими бы «новаторскими» и «прогрессивными» лозунгами они ни сопровождались, смысл их состоит именно в том, чтобы лишить искусство его устремленности к истине, сделать его безразличным к правде.

Но художник, стоящий на позициях коммунистической партийности, не может быть безразличен к правде. Дело Великого Октября, сорок восьмую годовщину которого советский народ и все передовое человечество празднуют сегодня, продолжается, во всем мире идет жестокая борьба трудящихся с угнетателями, и у советского художника, выступающего в этой борьбе на стороне трудящихся, нет и не может быть других интересов, кроме интересов служения «миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность». Мы, советские писатели, считаем за честь служить своему народу и со всей партийной страстностью, на какую способны, бороться за то большое искусство, какого, как говорил Ленин, заслуживают трудящиеся, какого они единственно достойны. Ибо «главная линия в развитии литературы и искусства — укрепление связи с жизнью народа, правдивое и высокохудожественное отображение богатства и многообразия социалистической действительности, вдохновенное и яркое воспроизведение нового, подлинно коммунистического, и обличение всего того, что противодействует движению общества вперед» (Программа КПСС).



---

---

ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ

★

## ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

*С калмыцкого*

### О ЛЕНИНЕ

Не странно ли?

Когда событий ход  
Вновь подтверждает: путь наш неизменен  
И неизменно к радости ведет,  
Ты часто ль вспоминаешь имя «Ленин»?..  
Оно — как родина и отчий дом:  
Мы в нем живем, не говоря о нем.

Когда ж беда нагрянет, не стучась,  
И правды свет в твоих глазах затмится,  
И трудно днем, и по ночам не спится,—  
«Как не хватает Ленина сейчас!» —  
Твердишь, тоскуя...

Так, в краю чужом  
Изгнанник, вспоминал я отчий дом.

*Перевела Юлия Нейман.*

### ВОСПОМИНАНИЕ

С задумчивым видом  
В обглоданном сталью леске  
Сидел он вчера лишь!.. А может быть, это мне снится?  
Но вот он лежит... Черный сгусток застыл на виске,  
Стеклянные глаза и распахнуты настежь ресницы...  
А только вчера, гимнастерку латая свою,  
Он вдруг усмехнулся: «Еще далеко до парада!  
И в новой и в рваной — прием одинаков в раю,  
А в ад нас не примут — достаточно этого ада!..»  
Еще лишь вчера!.. Но, застывший в последнем броске,  
Лежит он спокойный, раскинувший руки крылато.  
Стеклянные глаза... Черный сгусток застыл на виске...  
Нелепым пятном на груди гимнастерки заплата...

*Перевели Д. Долинский и В. Стрелков.*



### СЧАСТЬЕ И ГОРЕ

Когда, как вестник торжества и славы,  
 Ко мне пришел бы старец белоглавый,  
 Калмыцкой старой сказки чародей,  
 И подарил мне счастье всех людей,  
 Я б это счастье разделил на части,  
 Всем людям поровну я б роздал счастье.

Но если б он собрал в один комок  
 Все, что печально на земном просторе,  
 Чтоб в сердце у себя вместить я мог  
 Все наше человеческое горе,  
 Я б горе вместе с сердцем сжег дотла,  
 Чтоб сделалась Вселенная светла!

*Перевел С. Липкин.*

\* \* \*

Еще не зазвучавших песен звук,  
 Слова, еще не сказанные вслух,  
 Стихов грядущих первое дыханье —  
 Дары незримые..

В страну мечтанья  
 Я прячу вас, я созидаю в ней  
 Чудесный город радости своей.

Они цветут, они шумят весной —  
 Владения моей былой печали...  
 О, чудо!.. Прошлое забыто мной.  
 Все — ярко, все — желанно, как вначале.  
 Как будто жизнь спокон веков — легка...  
 Да будет так на долгие века!

*Перевела Юлия Нейман.*

\* \* \*

Почувствовав, что смерть приходит, старый дед  
 Сказал собравшимся последний свой завет:  
 «Не надо ссориться, чтоб не познать кручины,  
 А счастье поровну делите меж собой.  
 Служите родине, что вам дана судьбой,—  
 Так сохраните вы достоинство мужчины».

Потом сказал: «Меня оставьте вы теперь!»—  
 И властной рукой он указал на дверь.  
 Все стали выходить, на трудные морщины  
 И желтое лицо взглянув в последний раз.  
 Так, слабость скрыв свою от близких в смертный час,  
 Он умер, сохранив достоинство мужчины.

*Перевел С. Липкин.*



---

---

ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ

★

## ОТ ДОМА ДО ФРОНТА

*Повесть*

### Глава первая

1

**Л**ошадей увели на войну, а в их опустевших стойлах свалены чемоданы, тюки. В проходе за столиком сидит военный писарь, надзирающий за этой «камерой хранения». А раньше тут колдовали ученые ветеринары над квашеным кобыльим молоком.

И службы, и дом кумыссанатория занял Военный институт иностранных языков. Тут свой распорядок, своя жизнь, не смыкающаяся с жизнью наших краткосрочных курсов военных переводчиков, хотя начальство у нас общее — генерал Чиаззи. О нем говорят, что он вернулся из Италии, с поста военного атташе.

С того дня, как мы причалили сюда, в Ставрополь, на волжском пароходе «Карл Либкнехт», наши курсы распространились по всему городку. Девушек поместили в школе, парней — в техникуме и в другой школе. На занятия мы ходим в помещение райзо, обедать — в столовую райпо, готовить уроки — в агитпункт. В баню — изредка, к той хозяйке, какая пустит.

До кумыссанатория от города километра три через поле и смешанный лес. Нас вызывают в строевую часть, разместившуюся в конюшне, — заполнить анкеты.

Мы идем по проходу, мимо писаря, заносчиво поглядывая по сторонам на стойла, забытые имуществом. Тут налаживается новый быт военного времени. Мы же чувствуем себя на марше, и все лишнее не имеет для нас ни цены, ни привлекательности.

2

Приставший ночью пароход доставил в Ставрополь брезентовый мешок с трофеями. Вот он. Стоит на полу. Горловина распечатана, по бокам свисают бечевки с ошметками сургуча.

— Это лучшая практика, какая только может быть, — торжественно говорит маленький Грюнбах, вольнонаемный преподаватель. — Вы должны научиться разбирать письменный готический шрифт. На фронте нужна моментальная реакция...

Мы не слушаем, прикованы к мешку: что-то высунется сейчас оттуда — в о й н а...

Исписанный листок. Готика — длинные палки, скрепленные прутиками: «Meine liebe Gretel!» — и опять палки и прутики. Через этот готи-

ческий частокол из букв продираешься к смыслу: «У нас на позициях затишье вот уже четыре последних дня... Командир направил меня с донесением. Я шел в штаб батальона, под ногами у меня шуршали листья...»

— Здесь краткая открытая гласная, — слышу Грюнбаха.

«...я смотрел на чудесный закат и вспоминал, как мы с тобой прогуливались, взявшись за руки, вдоль берега Варты. О, meine Liebe! Мой серый пиджак ты можешь отдать Отто. Остальной мой гардероб, будем надеяться, верить и просить бога, дождется хозяина...»

— Дальше. Читайте до конца, — говорит Грюнбах.

Но дальше ничего нет. Мы молчим, разглядываем с тревожным недоумением, точно сейчас только увидели это кем-то писанное и почему-то не оконченное письмо.

Грюнбах опять опускает маленькую ручку в мешок.

— Мы берем это вот так, — говорит он. И видно, как нестерпимо ему взять это в руки.

Зольдбух. Настоящая зольдбух! Солдатская книжка.

Мы обступаем Грюнбаха. Он говорит:

— Что мы имеем здесь на первом листе? Звание, наме и форнаме. Вероисповедание. Мы быстро перелистываем, и вот тут, на шестой странице, указана воинская часть. В сокращениях, принятых в вермахте...

Мы смотрим на его пальцы, осторожно держащие зольдбух, на серый коленкор обложки, измазанный землей, на бурые пятна на нем... Кровь?

## 3

С занятий мы возвращаемся обычно уже в темноте. Тети Дусина корова дремлет, улегшись на корявой, промерзшей земле. Наши шаги и голоса будят ее, она приподымает тяжелую голову, покачивает рогами.

Сама тетя Дуся, заспанная, в нижней миткалевой юбке, появляется в сених. Сообщает какую-нибудь городскую новость:

— Обратю покойника повезли.

Наши московские уши никак не привыкнули, что слово «обратно» здесь, в Ставрополе, означает «опять».

Тетя Дуся, школьная уборщица, — единственное гражданское начальство над нами. Вообще мы в ее власти. Она получает на общежитие керосин и дрова, и от нее зависит, быть ли теплу и свету.

Тетю Дусю донимает изжога, и она пьет керосин. И льет его на сырые дрова, растапливая печи. Так что лампы редко бывают заправлены. Надоест нам сидеть в темноте, постучимся к тете Дусе, поканючим, и керосин отыщется. С дровами хуже. Их мало, и те, что есть, — сырые. Шипят, тлеют — а тепла нет.

Внизу, на первом этаже, два класса. Наверху — один большой и «учительская». В ней мы и устроились. Можно сказать, привилегированно. Всего четыре кровати. На стене большой плакат, посвященный Лермонтову, — столетие со дня гибели поэта. Посреди комнаты — ближе к ее левой стороне — круглая черная печка. За печкой сплю я.

У меня шерстяное зеленовато-пегое одеяло. С тех пор как помню себя, это одеяло служило у нас дома подстилкой для глаженья. Оно все в рыжих подпалинах от утюга. Я старательно кутаюсь в него.

Чтоб собраться толком на дорогу, нужен навык. До сих пор я только раз уезжала из дому — по туристской путевке в Сванетию, и в путевке было поименовано все, что нужно взять с собой. А в этот раз мы уезжали внезапно. Накануне я выстирала все белье. В квартире было холодно и сыро, развешанное в кухне на веревках белье не сохло. А немцы заняли Орел, рухнули к Москве. Нам казалось, курсы отбывают на фронт — за-



щищать Москву. Какие тут могут быть полотенца, простыни. Одеяло для глаженья и так заняло почти весь чемодан.

А теперь, лежа на голых матрацах, мы с удовольствием припоминаем перед сном разный вздор. Вроде того, например, что существуют в мире такие предметы, как простыни. Полотенце — это вещь! Пододеяльник — тоже вещь, из области фантастики.

Луна проложила дорожку у нас на полу. Скребутся мыши под полом. Или это тетя Дуся внизу шурует кочергой, разогревает ужин вернувшегося с причала мужу.

Мы молчим, вроде спим уже. В Москве сейчас, наверное, не до сна. Бомбят. Что-то там дома? Белье в кухне на веревках пересохло. Впрочем, Соня и Вава наверняка поснимали его и аккуратно сложили в шкаф.

Соня и Вава — мои двоюродные сестры. Они лет на двадцать пять старше меня, но мама и тетки называют их — девочки. Это, наверное, потому, что они не вышли замуж.

Летом, когда немцы стали летать над Москвой, они перебрались к нам с Маросейки. Их комната на пятом этаже. Над ними крыша и смертоносное небо. В квартире — никого, соседи повыехали. До бомбоубежища — пять этажей вниз — не добежишь. А мы живем на втором этаже, недалеко от метро, и у нас пусто: мама с братишкой эвакуировались, а старший брат на казарменном положении в научно-исследовательском институте.

Вечером, вернувшись с работы — Вава работает стенографисткой в госбанке, а Соня — бухгалтером на кинофабрике, они — в такую жару — надевают эстонские боты, купленные на зиму, готовят ужин, прислушиваясь, не гудят ли сирены, и, возбуждаясь от ожидания, громко разговаривают.

Потом, сникнув, сидят в коридоре, ждут, положив на колени складные стульчики, купленные ими в магазине «Все для художника». Наконец, когда в репродукторе раздается грозное: «Граждане, воздушная тревога!», — подубасив кулаками в мою дверь, призывая меня встать, бегут, унося на себе самое ценное — новые эстонские боты и зимнее пальто.

На подземных путях метро, куда их выносит потоком людей, они, расставив свои стульчики, садятся спиной друг к другу, чтоб был упор, и дремлют: утром как-никак на работу.

Папа при словах «воздушная тревога» начинает облачаться в негнувшийся брезентовый комбинезон: его записали в противопожарную команду нашего дома и выдали обмундирование. Влезть в комбинезон ему нелегко — с тех пор, как папу сняли с работы «за потерю политической бдительности», левая рука его плохо действует. У нас есть специальный тяжелый мяч. Это папе для упражнений, чтоб рука лучше двигалась. Но теперь не до мяча. Кое-как папа влезает в твердый комбинезон и, шлепнув брезентовыми рукавицами о мою дверь — спускайся вниз! — уходит, гордый своей общественно полезной обязанностью.

Мне страшно за него, как он там стоит один у слухового окна в негнушемся комбинезоне, готовясь тушить зажигательную бомбу, если она упадет на нашу крышу.

Поначалу я тоже бегала в убежище и дежурила на крышах. Но и страх, и любопытство, и тщеславие отступили перед одним — спать хочется. Это с тех пор, как я по комсомольской путевке поступила на завод и мы работаем по двенадцать часов в смену.

Теперь Соня и Вава одни остались в квартире — папа уехал на тру-

довой фронт под Малоярославец рыть окопы. Засыпая за черной печкой, я вижу, как они сидят, сникшие, под дверью, держа на коленях складные стульчики, и ждут, когда раздастся: «Граждане, воздушная тревога!»

## 4

Из Куйбышева прибыли в Ставрополь еще два мешка трофейных документов и военная девушка, догонявшая институт.

Девушка эта — подруга нашей Зины Прутиковой, кровать которой рядом с моей. Она сидит у нас в комнате, славненькая, розовая под синим беретом со звездочкой. Лузгает семечки. «Самарский разговор» — называют здесь семечки. Рассказывает: в Куйбышеве — много московских учреждений. Выступает известный исполнитель романсов Козин, тоже эвакуировался из Москвы. Она не вкладывает в эти слова никакого особого смысла, но в комнате на миг становится тихо, затаенно, тревожно.

— Хочу к маме, — вдруг говорит Ника Лось. Она сидит на кровати, поджав под себя ноги, и кутается в белый шерстяной платок.

— Ты что? — Зина Прутикова приподымается на локте. Сегодня воскресенье. Она еще не вставала — под одеялом теплее.

— Хочу к маме! — говорит опять Ника. Ее никогда не поймешь — всерьез она или шутит.

— Ну, знаешь. Уж если за мамину юбку держаться... — Зина озабоченно садится, свешивает с кровати голые белые ноги. — Мы не для того добровольно пошли в армию, чтобы хныкать...

Никто ее не спрашивает, для чего она пошла. У нас в комнате вообще об этом не говорят. Пошли, и все.

Зина говорит очень тихо:

— А тебе, Ника, особенно неудобно так говорить. Твоя мама — на захваченной немцами территории...

— Временно захваченной. Ты забыла сказать: «временно». Ляп. Политический к тому же, — говорит Ника.

Посторонняя девушка в синем берете смущена этой перепалкой, ждет, что будет, раскрыв рот, — шелуха от семечка прилипла к губе.

В дверь всовывается могучее плечо Ангелины. Вторгается ее огромная мужская фигура. Она всегда так движется, пригнув большую голову с коротко, по-мужски подстриженными волосами, — стремительно, будто идет напролом. Цель ее сейчас — Ника. Задача — установить с ее помощью футурум конъюнктив от глагола «kämpfen».

Немецкий она знает еще похуже моего, и дается он ей туго. Зато в походе она будет куда выносливее всех нас.

Конъюнктив от «kämpfen» — это только для затравки. К Нике у нее, как всегда, сто пятьдесят нудных вопросов, тщательно выписанных на бумажку.

И что за произношение! Будто скребут по стеклу ножом.

— Давай, давай еще, Ангелина, — говорю я. — Квантум сатис!

Ангелина, когда слышит это «квантум сатис» или еще что-либо полатыни, возбуждается, как старый боевой конь при звуках трубы.

— «...minus facile finitimis bellum inferre possent» («...труднее было идти войной на соседей»), — произносит она, обронив свою бумажку, не замечая этого, и по-мужски, обеими ладонями, порывисто приглаживает свой «политзачес».

Это теперь надолго. За какие только грехи?

Ангелина стоит, широко расставив ноги в брезентовых сапогах, засунув большие пальцы рук за ремень, и шпарит. Цезарь, «Записки о галльской войне».

Вряд ли кому придет в голову спрашивать, почему она идет на фронт. С первого взгляда видишь: она пойдет на войну своей тяжелой, мужской поступью, слегка переваливаясь с ноги на ногу. Кое-кто из девушек, куда более женственных и слабых, стремится на войну как на важнейшее дело своей жизни. А для Ангелины оно в другом — в учебе. И здесь, в Ставрополе, она умиротворенная, словно в отпуске: тут от нее требуется совсем немного — зубрить немецкий.

Мы покорились, слушаем. Ника и Зина Прутикова, розовая девушка в берете, и я. Ангелина замолкает, только чтобы набрать воздух. И опять читает нараспев, как наши институтские поэты свои стихи. Только для нее не в самих словах поэзия, а в усилиях, отданных ею на то, чтобы их заучить.

## 5

Ночи сейчас удивительные — светлые, теплые и лунные.

Ночью проснешься и ахнешь. Какая же благодать льется в окно. В нашей комнате — одеяла, и головы спящих, и потушенная лампа на столе — все окутано молочным светом.

Где я, что со мной? Неужели война?

А иногда ночью меня будит Катя Егорова. Недомерок, угловатенькая, но уже замужем. Мы ее прозвали «дамой Катей».

Она приходит из другой комнаты в накиннутой на рубашку шинели, с портфелем в руке и садится на мою постель. Я просыпаюсь, сажусь, и мы шепчемся, чтоб не разбудить остальных.

Ее семья — мать и сестры, братья, она говорит о них «наши дети», — и корова, свиньи, гуси — в двадцати километрах от Можайска. Она пишет домой каждый день, чтоб зарезали корову, продали мясо и на вырученные деньги уехали бы поскорей на восток. И не знает, доходят ли ее письма.

Что я могу сказать ей утешительного, когда в сообщениях Совинформбюро появилось Можайское направление? Можайское и Малоярославское. Где-то там, под Малоярославцем, мой папа роет окопы. Я ничего о нем не знаю.

Мы молчим. Это молчаливое сиденье как-то успокаивает Катю, она поднимается, вздохнув: «Они такие неприспособленные», — и уходит, волоча по полу шинель, с неизменным портфелем в руке. В портфеле у нее фотографии, письма и зеленый целлулоидный стаканчик с маслом, купленным на рынке.

Утром все иначе. Нас много, тридцать курсанток. Мы шумно одеваемся, что-то жуем, торопимся на построение.

В дверях при выходе — пробка. Дама Катя, если столкнется с Зиной Прутиковой, отчетливо поздоровается, назвав ее «товарищ Прутикова», и постарается пропустить ее вперед. Они из одного пединститута, где Зина была на виду — комсомольская активистка. Дама Катя не из тех, кто легко переключивается из одной реальности в другую.

Во дворе, перед домом райзо, нас уже сто пятьдесят человек. Четыре пятых мужчины: студенты ИФЛИ, МГУ, пединститутов и других вузов. Есть курсанты и постарше — уже с высшим образованием, работавшие. Но таких не много.

Некоторые сами подавали заявление, держали экзамен, как мы. А часть — пожалуй, большая — попала на курсы из учебных лагерей, где она находилась по мобилизации. Пригнали грузовики: «Кто знает немецкий, шаг вперед!» — и по машинам. Для десанта набирают, говорили.

Но о нашем будущем мы пока ничего не знаем. Лениво строимся. Снует старшина — кадровый, третий год службы, тоже из учебных лагерей, — по пухлым щекам длинные бачки, озабоченная службой мордашка почти что школьника. Рьяно подравливает наш строй. Мы подтруниваем над ним. Наливаясь властью, он угрожающе покрикивает:

— Разговорчики! Это вам не институт!

Старшина может чувствовать свое превосходство над нами: у него «заправочка» что надо и «отработаны повороты».

Он зычно подает команду и упоенно чеканит шаг навстречу начальнику курсов.

Перед строем читают приказ: запрещается курить в главном здании Военного института и за десять шагов от него. Запрещается также грызть семечки и засорять двор при общежитиях.

Потом читают сообщение Совинформбюро: по стратегическим сообщениям наши войска оставили Харьков.

Я невольно кохусь вправо — через человека от меня в строю Гиндин, инженер, харьковчанин. Сдвинута бровь, глаз прищурен. Словно ждет человек, вроде что-то еще должны сказать, объяснить.

Команда: разойдись. Гиндин не тронулся с места. Опустил руку в карман, вытащил обрывок газеты, потом горстку табака-самосада, скручивает.

## 6

— Пехотный устав вооруженных сил Германии. Параграф первый, — диктует по-немецки маленький Грюнбах. — «Наступательный дух немецкой пехоты...» Вы меня поняли? В этом предложении заключены чрезвычайно важные слова. Ангрифгайт! Ангриф — атака, наступление, прорыв. Вы говорите пленному... — Он сжимает маленькие кулачки, привстав на цыпочках: — «На какой день и на какой час назначена ваша атака, ваше наступление, ваш прорыв?» Поупражняемся, геноссен. Практика, практика унд нохмальс практика...

Мы разбираемся по парам. Я в паре с Никой Лось. Она — военный переводчик. Я — пленный немец.

— Давно ли вы на восточном фронте? Такой молодой и уже фашист! Что вам пишут из дому? Скоро ли кончится бензин у великой Германии? Сколько танков в вашем батальоне?

Она говорит быстро, уверенно и насмешливо.

— Ни черта я не поняла.

— Скоро ли кончится бензин? — переспрашивает она.

Вчера лектор говорил, что мы планомерно отступаем, выигрывая время, а у немцев вот-вот кончится бензин и станут моторы. Возле нас Грюнбах. На нем, как всегда, чистая белая рубашка и черный галстук. Наверное. всю зарплату переводит на стирку рубашек. Ника выпаливает все сначала, а он с горячностью сжимает в кулачки и опять выбрасывает пальцы в такт ее вопросам.

— Наш командир, — говорит Ника, поводя на Грюнбаха своими узкими, темными, насмешливыми глазками, — требует, чтобы вы отвечали только правду.

Но я теряюсь, я не могу так быстро подобрать слова, поставить их в правильные падежи и организовать взаимодействие между ними.

Маленький Грюнбах огорченно качает головой.

— Вы переигрываете. Это ведь не драмкружок. Не старайтесь изображать фашистского солдата. Не упирайтесь. Отвечайте подробно. Сейчас вам нужна только практика.

Мы меняемся партнерами. Теперь я — переводчик, а мой пленный — Вова Вахрушев.

— Вова! — говорю я, заглянув в свою тетрадку. — Сколько огневых точек в расположении твоей роты?

Предполагать, что немец тотчас примется выдавать военную тайну, курьезно по крайней мере.

В коридоре ударили жестяной кружкой в пустой жестяной жбан — конец занятий.

Мы шумно поднимаемся, разбираем с подоконника свои пайки хлеба и спешим в столовую.

Столовая райпо!.. В ней пахнет щами, которые поглощались тут десятилетиями. И парно, как в бане, хотя совсем не так тепло. Пар клубится от двери; он бушует над котлами за низкой стойкой, отделяющей зал от кухни, и вьется вверх прямо из тарелок. По залу осторожно двигаются женщины с большими животами, разносят суп с макаронами.

Когда мы приплыли в город Ставрополь из Москвы — это было пятнадцатого октября 1941 года, шестнадцать дней тому назад, — в этой столовой работали кадровые официантки. Они шествовали по залу, неся перед собой горку тарелок с горячим супом (одна тарелка на другой, между ними прокладка — пустая перевернутая тарелка). Горка дымилась и колыхалась.

Но официанток больше нет — их отправили на трудовой фронт. Те, что заменили их, — не профессионалы общепита, это эвакуированные беременные женщины, и райсовет трудоустраивает их, как может. Они старательно несут в обеих руках, чтоб не расплескать, всего по одной тарелке супа. Но мы не горопимся. Мы рады посидеть тут. Здесь все же самое теплое место в городе. И керосиновые лампы горят в полный накал. От гомона и махорочного дыма, от предвкушения горячего супа голова слегка кружится. В сыром тумане столовой все немного необычно: и наши курсанты в шинелях, и опоясанные клетчатými шальями бабы, чьи лошади переминаются на улице у коновязи.

А вон в том углу сидит Некто. На прямых плечах плащ-палатка, как бурка; ниточка темных усов; круглоглазый, таинственный — поручик Лермонтов, вырвавшийся из вражеского «котла»!

Женщина, что так плавно движется по залу, подает сейчас ему дымящуюся тарелку — с поясным поклоном.

— Послушайте! — подсаживается Вова Вахрушев. От его голоса все сразу становится обыденным. — Как по-вашему? Можно завшиветь и остаться интеллигентом?

— Можно, — рассудительно говорит Ника. — Вшивым интеллигентом.

При всей своей невозмутимости, Вова немного задет. Но нам некогда объясняться с ним. Мы дохлебываем суп — и шасть на улицу, за поручиком.

Ох, как нелегка поступь его кирзовых сапог. Хлоп-хлоп-хлоп. Шинели на нем нет. Одна лишь плащ-палатка внаброску.

Порывистый ветер с Волги. Ранний, жесткий, крупчатый снег сечет косыми струями. Снег не припал к земле, не примялся — гуляет. Ветер наподдаст, и белый столб метнется под дома, и плащ-палатка надувается, как парус.

Поручик запахивает полы плащ-палатки и сворачивает в переулок. Прощай, нездешнее видение!

Волжский ветер гуляет по немощным улицам. Приземистые срубы, при них баньки — топятя по-черному. Все, как встарь.

Светит луна. Посреди главной улицы, взявшись под руки, бредут ставропольские девчата. Прокричат частушку, умолкнут и вроде ждут — не подхватит ли кто. Тихо, как на пустыре. Только собаки за заборами заскулят, зальются слышнее. Безлюдье опустевшего тылового городка.

Позади девушек идем мы с Гиндиным. Тоже гуляем.

На днях Ника обнаружила у себя в чемодане кусок подкладочного шелка, и мы всей комнатой сшили из него четыре мешочка-кисета. Один я подарила Гиндину. Теперь он считает своим долгом оказывать мне внимание. Вот пригласил пройтись. Анечка — она четвертая в нашей комнате — дала мне надеть шерстяные носки, но все равно в брезентовых сапогах ноги на ветру мигом коченеют.

Минуем базар, темные, пустые прилавки, — и опять поравнялись со сквером. Памятник Карлу Марксу. Останавливаемся, с трудом разбираем слова: «Пусть господствующие классы трепещут. Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей».

— Если б этот товарищ был жив, — говорит Гиндин, — мы бы с ним хорошо поладили. — Всего-то и делов, что он изучал «Капитал» в инженерно-экономическом институте.

Мои окоченевшие ноги окончательно бастуют. Я демонстративно луплю брезентовым сапогом о сапог. Он-то в яловых. Мужчинам выдали настоящие сапоги, а нам брезентовые. Зато я в берете, а Гиндин в пилотке: выпуклый лоб и большая половина головы непокрыты. Нос покраснел и увеличился.

Я еще никогда не прогуливалась с человеком такого солидного возраста. Ему тридцать три. Он старший из всех тут. В нашей комнате его называют за глаза «дядя Гиндин».

Луна светит всюю, и девчата, поднимаясь назад от Волги, высмотрели нас у памятника, загорланили:

Парочка, парочка,  
Ах, солдат и дамочка!

Мы торопливо идем, размахивая по-военному руками, подгоняемые в спину хлесткими выкриками. За углом девушки отстали. А тут и наш дом — тети Дусина богадельня.

— Я вот рад, что вступаю в войну не щенком, а зрелым человеком. Я-то не дамся войне. Меня она не переломает... Убить, конечно, могут. Но это другое дело.

Он пожимает мне руку и уходит, цокая каблуками, прямой, заносчивый.

Наконец-то можно с облегчением взлететь к нам наверх, в «учительскую».

Говорят, война всегда сваливается внезапно. Может быть. Но мы-то говорили, думали о ней, песни распевали, себя к ней примеривали, а застала она нас все равно врасплэх.

Я записалась на курсы медсестер. Занимались мы в помещении магазина с кафельным полом, или в физкультурном зале школы, или в театре, прямо на сцене, за шитами «Идет репетиция».



Мы перетаскивали за собой огромный, потрескивающий сухими ребрами скелет с привязанным за лобковую кость инвентарным номером «4417».

А ночами я бегала на дежурство во двор, к воротам или взбиралась на чердак, а оттуда на крышу. Никогда не предполагала, что, если война, первым делом — защищай свой дом.

Это ведь когда-то, в детстве, был большой и важный мир — наш дом. Мы поселились в нем давно, я еще и в школу не ходила. Переезжали мы сюда с Тверского бульвара, и соседи говорили моим родителям: «Куда это вы едете? За Москвой селитесь?»

Мы поселились за Триумфальной аркой, за Белорусским мостом со старыми будками почтовой заставы николаевской поры, в новом доме — шестизэтажной громаде, вымахавшей надо всей округой.

Земля под нашим домом принадлежала до революции Елисееву, владельцу известного магазина на Тверской. Здесь была его дача, конюшни с рысаками, манеж, где объезжали лошадей.

Деревянная двухэтажная елисеевская дача и сейчас стоит, стиснутая кирпичными корпусами, — там коммунальные квартиры администрации Бегов. Строение, где были стойла жеребят, — наружная стена разукрашена цветным изразцом, — оборудовали под детский сад. А в двухэтажном каменном доме все было по-прежнему, внизу — стойла, наверху жили конюхи и жокеи, теперешние совслужащие.

Мальчишки, обитавшие в елисеевской даче и в двухэтажном каменном доме, над стойлами, говорили на недоступном нам языке:

— Я на бегу был.

Или:

— Знатный был бег.

Пока вырастали на заднем дворе корпуса, круглоглавый манеж держался на прежнем месте, в нем был клуб строителей, и на подмости выходила кое-какая самодеятельность, а однажды сюда к нам заехала профессиональная труппа лилипутов.

Мы, ребята, держались возле манежа не ради одних этих увеселений — мы искали клад. Мы изрыли землю, иногда попадались обрывки уздечек, бляхи и позументы. Клада мы не нашли.

Когда строительство новых корпусов было закончено, манеж снесли, землю сравнивали и залили водой — каток.

Все таинственное уходило из нашего обихода. Подвалы — раньше мы проникали в них, как в пещеры, — засыпали картошкой, шли суровые годы первой пятилетки. У входа в подвал повис замок, здесь пахло плесенью и гниением.

А по утрам, когда мы шли в школу, в ноздри проникал сладкий дурман ванили — благоухала кондитерская фабрика «Большевик» позабытыми запахами пирожных и шоколада. В те годы лакомством была для нас пшенная каша с повидлом.

Детство давно кончилось, наш дом и его обитатели начисто перестали меня интересовать. А началась война, и я вот стою на посту у нас во дворе.

— Товарищи, пройдите в убежище! Вход через четвертый подъезд, товарищи!

Открылись подвалы и чердаки нашего дома, куда в детстве мы мечтали проникнуть. Как картошку выгребали из подвалов, это я помню, а вот кто и когда оборудовал там бомбоубежище, этого никто не заметил.

— Можно мне пройти с ним? — встревоженный, хриплый голос. Толстая женщина со шпцем. Что-то неприятное связано у меня с ними.

— Проходите, проходите, только поскорей!

Она семенит на отяжелевших ногах, из-под пальто виднеется ночная рубашка, на поводке трусит одряхлевший шпич.

Так ведь это он в бытность свою резвым щенком тяпнул меня за ногу, и мама возила меня в Пастеровский институт на уколы от бешенства.

— Кальвара, а Кальвара, чего в убежище не идешь?

Медленно, вразвалочку подходит Саша Кальваров. Вымахал такой верзила, кто б мог подумать — в детстве меньше меня был ростом.

Присели на скамейку. Раньше мы с ним дружили, а в последние годы встретимся: «Здравствуй!» — и расходимся каждый по своим делам.

По соседству на крыше табачной фабрики «Ява» зенитка простучала и выдохлась, отвалилась. Снопы прожекторов мчатся по небу друг за дружкой, точно игру затеяли.

— Слушай, что скажу. — Кальвара попыхивает папиросой, а не следовало бы: говорят, летчик может огонек увидеть. Подсвечивает мохнатые, цыганские, нечесанные брови и под стать им черные глазищи. — Мы в десантный полк подались.

— Да?

— Я и Кузьмичевы. — Это братья-близнецы из девятого подъезда. — Так что дня через два отбываем в полк.

Помолчали.

— Только ты никому ни слова... А то до матери и сестры может дойти, где я, в каких частях. Зря только переживать будут.

Он младший в семье. Его отец и старший брат арестованы в разное время. Остается теперь старушка мать и одинокая немолодая сестра.

Что тут скажешь?

Загудели заводы и паровозы на путях у Белорусского моста коротко, часто, прерывисто — отбой!

Сегодня быстро «их» отогнали — не подпустили к Москве.

Дверь четвертого подъезда распахнулась, из убежища повалил народ. Задвигалось, закишело у нас во дворе и за оградой на улице, как днем, какое там — гуще, люднее, чем днем. Люди — лица зеленые, измученные — несут на руках уснувших детей, ташат назад в квартиры узлы с зимней одеждой.

И нас тоже сейчас разлучит этот поток. Но пока еще стоим, держимся за руки.

— Ну, будь здорова, — говорит Кальвара. — Встретимся в шесть часов после войны. — Теперь так часто говорят, это уже поговорка такая. Покуривая, он уходит к своему подъезду, болтаются рукава накинутого на плечи пиджака.

## Глава вторая

### 1

«Взлет точка прыжок тире гибель фашизму».

Эту конспиративную телеграмму нам прислал худой, высокий, молчаливый юноша Семеухов. Он отбыл из Ставрополя досрочно с первой группой, сформированной из курсантов, владеющих немецким. Мы просили его дать нам знать, зашифровав, по возможности, свое послание от военной цензуры, какое назначение они получили.

Семеухов выполнил просьбу. Это самые патетические слова, прозвучавшие тут, в Ставрополе. «Взлет. Прыжок — гибель фашизму!» Значит — в десант.

## 2

Сидим разморенные, чистые, только сейчас из бани. Хозяйка, пустившая нас помыться, снабдившая щелоком — мыла у нас нет, — завала посидеть. Перед нами на клеенке рассыпаны жареные семечки — угощение. В доме тепло, пахнет разваренной картошкой. На комод — стеклянное яичко в медной оправе, тюлевые занавесы на окнах, половики по белому выскобленному полу. В таком уюте, в тепле сидим при-смирившие. Шинели на табуретке свалены. Хозяйка вяжет на спицах, журчит что-то свое, вечное, неоскудевающее. Какие-то обиды на дочь, что вышла прошлым летом. не спросясь, замуж.

— Слаже тебе, говорю, стирать на него, чем с отцом-матерью жить? Тогда ладно...

Стукнула дверь в сенях. Кто-то вошел, плечом раздвинул ситцевую занавеску, встал в дверном проеме, молча кивнув нам.

Мы с Никой обмерли. В плащ-палатке на плечах, круглоглазый, темноликий, загадочный — наш поручик Лермонтов!

— Постоялец, — сказала хозяйка, когда он, молча повернувшись, ушел за перегородку. — Прислали мне на квартиру, живет пока...

Мы вернулись к себе в «учительскую» и разложили под керосиновой лампой тетради. С плаката на нас взирал Лермонтов с оторванным ухом — кто-то из ребят отшипнул на раскурку.

— «Из дальней, чуждой стороны Он к нам заброшен был судьбою, — говорю я Нике. — Он ищет славы и войны, — что ж он мог найти с тобою?»

— Слаже тебе стихам предаваться, чем штудировать пехотный устав великой Германии? Да?

У Ники под светло-русой челочкой — узкие, въедливые и чуть грустные темные глаза. Она извлекает из-под матраца карты, раскладывает пасьянс по одеялу, прямо на боку у спящей Анечки.

## 3

Грюнбах старается приучить нас к звучанию немецких чисел, чтобы мы без заминки произносили на фронте номера полков, количество выпущенных орудием снарядов, укомплектованность частей...

— Всенный переводчик должен моментально ориентироваться в этом.

Откуда ему знать, маленькому Грюнбаху, что надлежит делать военному переводчику? На войне он не был, специальной военной подготовки не имеет.

Исчерпав военные примеры, он диктует нам упражнения на числа совсем из другой области: «За семьдесят лет жизни человек выпивает более 50 тонн воды, съедает около 2,5 тонны белка, более 2 тонн жира, 10 тонн углеводов и 0,2—0,3 тонны поваренной соли».

Грюнбах предлагает нам тонны перевести в килограммы, получатся большие числа, полезные для нашей практики.

— Пожалуйста, геноссин, вы, — указывает на меня Грюнбах. — Вы отсутствовали вчера.

Это верно. Вчера была моя очередь раздобывать топливо для нашей печки.

— По уважительной причине, — вставляет Ника.

— Я не беру под сомнение вашу дисциплину, я лишь проверяю ваши знания.

Бодро множу тонны на тысячу и называю полученное число по-немецки. Грюнбах доволен мной.

— У вас есть сдвиг в хорошую сторону.

Мне бы порадоваться похвале, но пока я вычисляю в килограммах, сколько выпивает и съедает человек, мне вдруг приходит в голову, что жизнь и вправду состоит из белка, углеводов, поваренной соли и воды. А как быть с доблестью, со славой и геройством? С Ангелининым честолюбием, с Никиным фантазерством?

Я пытаюсь поделиться этими грустными мыслями с Никой. Она отмахивается.

— Да нет же, ты вникни.

— Прошу вас, геноссен, не отвлекаться,— останавливает нас Грюнбах.— Вероника Степановна Лось сейчас нам продолжит.

Он наклоняет набок голову, упоенно опускает веки, приготовясь слушать. Ника — любимая его ученица. Про нас с Дамой Катей он говорит, что мы вполне современные девушки, а Ника — девушка будущего.

Она поднимается и без запиночки, не заглядывая в бумажку, переводит в килограммы оставшиеся на ее долю тонны. Ника находчива, быстро соображает и притом изящна. Загляденье.

Я рассматриваю Грюнбаха, это существо, состоящее из воды, жиров, углеводов и поваренной соли... Однако и у него имеются привычки, ему одному свойственные. Он, например, когда что-нибудь объясняет нам, сжимает руки в кулачки и потешно привскакивает на носках. Это из-за маленького роста или из-за экспансивного характера, что ли.

В нем есть что-то трогательное. Хотя бы то, как он обучает нас. Наши курсы только что возникли, система обучения еще не сложилась, и тут простор для него, тут он вполне самостоятелен со своей методикой. И мы разбухаем от полезных знаний.

Грюнбах родом из Швейцарии, а большую часть жизни прожил на юге России.

Он с какой-то обостренной приверженностью относится к работе. Может быть, для него работа — родная земля, которую он возделывает.

#### 4

Получив деньги — денежное довольствие курсанта,— мы отправились в кооперацию «Заря новой жизни» купить духи.

Мы торопились, чтоб успеть на построение, Ника, и я, и Дама Катя, заплетавшаяся в полах шинели.

Промерзшую землю наискось секло снегом. И под косыми снежными струями, в сером сумраке утра, брели с котомками — базарный день — ставропольки в плюшевых пиджаках и разномастный эвакуированный люд.

У входа в магазин два бородатых человека разливали по кружкам одеколон.

В кооперации «Заря новой жизни» одеколон и духи кончились. Теперь уже до конца войны. У прилавка расплачивается за последний флакон наша Зина Прутикова. Мы по очереди понюхали его, маленький, граненый, с синей этикеткой — «Гиацинт».

Только мы вышли, мимо промчался со всех ног Петька Гречко, успев нам крикнуть:

— Митьку повели!

Мы — за ним, еще не поняв, что произошло. Немного пробежав, увидели: Митьку ведут. Шинель на нем без ремня, как на арестанте. Плечи расправлены, голова вскинута — хорохорится.

От Петьки узнали, что произошло. С утра сегодня в общежитии старшина придрался к Митькиной «заправочке» — складки под ремнем, оказывается, у него не согнаны все до одной за спину. Митька выслушал и удалился к себе на постель. «Встать!» — завизжал старшина. Митька встал и влепил ему по уху.

Мы побежали, обгоняя Митьку и его конвоиров, через поле, по выдолбленной в лесу тропе, протопали по конюшне, где в стойлах имущество преподавателей, и — в главное здание кумысосанатория, к генералу Чиази.

— Я вас слушаю. — Генерал Чиази смугл, красив и величествен, как венецианский дож.

Мы со смятением догадываемся: добр ли Митька, талантлив ли — все это ни к чему. Сейчас входит в силу другое — воинская дисциплина и нарушение ее. Было или не было. Черное или белое.

— По уставу, в случае неповиновения, — говорит генерал, — старшина может применить физическую силу...

Тогда бы ему крышка. И Митька бы пропал.

Пока Митьку еще не привели сюда, мы просим за него: это ведь не воинское преступление, а рецидив штатской необузданности.

В черных глазах Чиази человеческие искорки:

— Он ведь не присягал еще?

Ну конечно, не присягал! Какое это счастье, что мы еще не присягали.

То ли тронуло генерала Чиази наше волнение, то ли хватало неприятностей и помимо этой и другие непривычные ему заботы — о том, как провести сквозь зиму свой кумысосанаторий, прокормить, отопить, — одолевали его, а мы были на отшибе, в городе — переменный состав, отбывающий на фронт, а там война и без него всех нас рассудит, — но как бы там ни было, вечером Митька вернулся.

Мы сидели на скамейке у пристани. Навигация кончилась, и все тут как вымерло, только одинокий фонарь раскачивало на ветру. Скванное раньше обычного сероватое русло реки скучно, неподвижно распостерлось под нами.

Кто-то сказал сегодня, что немцы планируют захватить всю европейскую часть Советского Союза.

Свет раскачивающегося фонаря то и дело проходил по Митькиному лицу, осунувшемуся, с запавшими глазами, с сумрачно свисающей из-под пилотки прядью волос.

— Где б они не осели, их выморят. — Пригнувшись, облокотясь о колени, Митька курил, припадая к сигарке, точно изголодавшийся.

На том берегу вспыхивали и перебегали огоньки, это на далеких нефтепромыслах. Где-то тут за нами граница Европы — Уральский хребет.

## 5

Блажен, кто верит счастьем и любовью,  
Блажен, кто верит небу и пророкам...

Зина Прутикова цыкает на нас — мы можем разбудить больную Анечку. Мы набрасываем на нее свои одеяла, осторожно укутываем. В темноте движемся бесшумно, как привидения.

Ох, этот черный круглый истукан, пожиратель дров, хоть бы руки согреть об него. Содрогаюсь, одеваемся. Бр-р. Бормочем стихи.

«Лермонтовский год». Столетие со дня гибели поэта. Мы писали доклады, которые теперь уже не придется прочитать на семинарах.

Анечка спит. Коса свешивается с подушки. На вид Анечке лет шестнадцать, не больше.

— Вы скажите военкому,— Зина Прутикова тихо наставляет меня и Нику,— заболел наш товарищ... что вы от имени всего коллектива...

Блажен, кто не склонял чела молодого,  
Как бедный раб, пред идолом другого!

— Тс-с!

Мы-то шепотом, а вот внизу тетя Дуся с утра пораньше во весь голос костит протрезвевшего мужа.

Еще сумерки на улице. Черные луковки храма выплывают в морозном тумане. Они будто отделились от храма, висят. Красиво, дух захватывает.

Военком на втором этаже. Лестничная площадка забита. Эвакуированные жены летчиков, некоторые привели с собой детей. Ветхие старики — беженцы из Белостока: он — в детском башлыке, повязанном концами вокруг шеи, на ней — мужская ушанка и рваная шалька поверх. Их сын пропал без вести. Каждый день они приходят сюда в военкомат в надежде узнать о нем.

На урок «Организация немецкой армии» мы уже не успеем, но на Грюнбаха никак нельзя опоздать, и, пользуясь своей формой, приосанившись, мы хватаемся за ручку двери и мигом оказываемся у военкома. И тут же застываем от смущения. Возле стола, в плащ-палатке, как в бурке, подтянутый и напряженный, — поручик Лермонтов. И ниточка усов, и темный глаз сверкает... Мы замерли. Отступить нам нельзя. От имени всего коллектива нам надо выхлопотать сколько-нибудь дров для большого товарища. Сколько-то с военкома и с Чиази сколько-то...

В несносной тишине, похолодев, слышим неизвестный нам доселе голос поручика немного с хрипотцой от простуды или от курева.

— ...в августе еще, на Грачевской переправе — может, слышали про такую, — лишился ее... Пока терпеть было можно, не обращался...

Над столом седой шар сочувственно покачивается, бубнит:

— Только для новобранцев мы располагаем, вам ведь известно...

— А теперь, сами посудите, без шинели пропадешь, — мрачно говорит поручик. — Хоть какую-нибудь. БУ...

Мы ждем, замерев. Молчание. Жметесь военком:

— А здесь-то вы еще долго? Вам надо в свою часть добраться. Там бы вам в два счета. В действующей армии иначе на это смотрят.

— Как управлюсь еще... Еще тонн десять фуража заготовить надо... Думал, до снега назад вернусь. А вот видите, как оно вышло...

Мир полон превращений. Поручик Лермонтов стал заготовителем фуража, лишился на переправе шинели и мерзнет теперь. Что-то будет с ним?

По вечерам в нашу маленькую комнату набивается человек десять, а то и больше. Сидят на кроватях. Накурят, надышат, и тепло.

Анечке легче, она лежит под ватным одеялом, приподнявшись на локте, в бледно-розовой шегольской Никиной блузке с перламутровыми пуговками; на ее детском, круглом лице застенчивое расположение к жизни удвоилось.

Поем старинные песни. Или блатные.

Ника сидит на кровати, поджав под себя ноги, кутается в белый платок, о чем-то грустно задумавшись. Наверное, о своей маме. Не поет. Стриженная под мальчика голова ее обросла, челочка сползла пониже, притулилась к темной черте бровей.

Иногда в паузах Зина Прутикова затягивает сильным, звучным голосом: «Дан приказ: ему на запад, ей — в другую сторону...» или «По долинам и по взгорьям шла дивизия в поход...»

Не идет... Не поется что-то сейчас. А ведь как пели эти песни еще недавно и в залах перед собранием, и где-нибудь в комнате на дне рождения, и на темных улицах ночной Москвы! В них звучало наше грядущее, наша общая судьба. А сейчас вот не звучат. Они пелись в предвиденье. А теперь уже началось.

— Песни — это наши молитвы, — меланхолично говорит Вова Вахрушев, который ни одной строчки пропеть не может.

— А вы, значит, безбожник, — говорит ему Ника.

— Вы посещаете занятия пунктиром. Почему гак? — своим зычным голосом спрашивает он нас с Никой.

— Обстоятельства. То то, то се.

— Личность выше обстоятельств.

Сразу становится отчего-то скучно, обиденно.

Вова уравновешен и агрессивно болтлив. Кроме того, от Вовы пахнет селедкой. У всех парней, пливших с ним в трюме, уже давно селедочный дух забила махорка. А Вова не курит. Не курит и не поет.

Зина Прутикова еще недавно внесла бы поправку: «Песни — наши спутники и друзья», или еще что-нибудь такое. Но сейчас молчит. Чувствует, должно быть, что такого рода афоризмы пали в цене, а ценность шутки, веселого слова неизмеримо выросла.

Наверное, потому так дружно полюбили все Петьку Гречко. Он из Белоруссии, из многолетней семьи служащего сберкассы, жившей весьма скудно. Дорвавшись до Москвы, Петька с первой же стипендии обзавелся тельняшкой и нырнул в развлечения, которые может предоставить Москва энергичному провинциалу. Он не имел привычки корпеть над книгами. По вечерам в общежитии Петьку можно было отыскать в той комнате, откуда доносился патефон. Шкрябая пол сбитыми на сторону ботинками, он свирепо носился в фокстроте, прижимая к тельняшке хрупкую блондинку.

В институте его никак не выделяли. Были у нас на виду «интеллектуалы», а Петька-балагур казался немного о б л е г ч е н н ы м.

Но вот мы погрузились с пристани Парка культуры и отдыха на пароход. Дана команда занять места: начальствующий состав с семьями и слушатели института — по каютам первого и второго класса; девушки-курсантки — в салон. Спали кто где. Мы с Никой — на столе, за который раньше усаживались обедать пассажиры.

Притушены огни. За темными окнами мечутся ранние снежинки, бьются о стекло. Всплеск лопастей, протяжный гудок, шлепки о мачту захлебывающегося на ветру флага.

А парни разместились в трюме.

Не мчишься в тачанке на врага по опаленной степи. В трюме из-под сельди плывешь обратным рейсом вдаль от фронта.

К таким превращениям надо как-то примениться, не впад в уныние.

Петька Гречко, неистощимый балагур, любимец трюма, выводил вверх свою команду, пропахшую сельдью, и палуба оглашалась песнями, свистом, чечеткой. Среди вымуштрованных слушателей Военного института шумела вольница. Не пресекали ее — терпели. В трюме плыли будущие десантники, еще не присягавший, не обузданный люд. Что с них взять.

Так вот всегда: приходит Петька Гречко со своей «джаз-бандой», мы поем, что-то выделяем ногами, читаем стихи.

Но в лампе догорает керосин, лампа чахнет, коптит — сигналист отбой. Всей гурьбой ребята скатываются вниз по лестнице, топоча сапогами. Громяхнет в последний раз дверь, и — оборвалось. Тишина.

Анечка уронила голову на подушку, спит. Зина Прутикова разделась, осталась в нижней рубашке и брезентовых сапогах, медленно, задумчиво поднесла руки к голове — выбирает из волос заколок.

Я вдруг замечаю, какие у нее красивые белые руки и плечи.

Ника по-прежнему сидит на кровати, поджав под себя ноги, кутаясь в платок. Я подсаживаюсь к ней. В комнате полумрак. Молчим. Лампа глохнет, последними вспышками выталкивая пламя, стекло затянуло копотью.

Я встаю, задуваю лампу и укладываюсь за черной печкой. Изголовьем мне служат стопки тетрадей с прошлогодними сочинениями школьников. Они сложены под моим сеником. Тетя Дуся вытягивает их отсюда на растопку, и мое изголовье тошает.

После гомона, песен и топота — затишье, ни звука. Лежу, кутаясь в прожженное утюгом одеяло.

Я стараюсь представить себе папу, каким он был давно, когда вернулся домой с Урала, со стройки, энергичный, деловой, неразговорчивый. Как, готовясь к докладу, он задумчиво шагал взад-вперед по коридору, заложив руки за спину.

Ничего не получается. Не вижу его таким. Все вытесняется одним воспоминанием.

Это было в тот год, когда я училась в десятом классе. Однажды я вернулась домой часа в два ночи. Пошарила в карманах — забыла ключ от входной двери. Я позвонила и услышала в ночной тишине, как в комнате у папы заскрипели пружины клеенчатого дивана. Он вставал, чтобы открыть дверь. Но он что-то долго возился, не шел. Я еще раза два нажимала кнопку звонка. Наконец папа открыл дверь. Он стоял на пороге в костюме, в вывязанном галстуке и зашнурованных ботинках. Я онемела, поняв, на чей звонок он поднялся.

Мы разошлись по комнатам, так ни слова и не сказав друг другу.

Чего б только я сейчас не отдала, чтоб не было этой ночи — моего наглого вторжения домой и тех страшных минут, что пережил по моей вине папа, решив, что за ним пришли.

Уехал папа внезапно.

Утром, после двенадцатичасовой ночной смены, не зная ничего о предстоящем его отъезде, я прохлаждалась в заводской столовой за кашей.

Придя домой, прочитала записку: «Уезжаю на трудовой фронт. Если успеешь, наш сборный пункт — Таганское трамвайное депо»...

Когда я вбежала в депо, уже никого там не было. Один только коренастый рыжий мужчина нетвердо вышагивал по путям.

— Опоздали! — сказал он мне. — Ну, ничего. — Причмокнул и отвернул борт пиджака — из внутреннего кармана блеснуло горлышко бутылки.

Подали трамвай. Он мчал без остановок на Киевский вокзал опоздавших: меня, рыжего мужчину, показывавшего нам внутренний карман пиджака и зазывавшего: «Записывайсь в мою команду!»; щуплого парнишку — парикмахера с Таганской, и его толстую мать с тюком имущества для сына; мрачную беременную женщину, провожавшую мужа, он уснул тут же в трамвае, головой ей в колени, и бритоголового деда со скаткой из зимнего пальто, всю дорогу громко певшего что-то самодельное:

Злобой дышит вся Россия,  
Чтоб германцу отомстить.

Я заглядывала в теплушки, пока наконец в одной из них папа не поднялся с нар мне навстречу. Обрадовался, показал свое место:



— Еду с удобствами. Внизу уступили.— Взялся, как за юбочку, за широкое брезентовое галифе.— Вот. Выдали.

Он повел меня по перрону, с непривычки косолапя в сапогах, бодро размахивал руками, правой и левой, которая в другое время не очень-то подчинялась ему; осмелев, норовил без очереди напоить меня фруктовой водой.

Ох, папа. Он «включен в события», и они окончательно управляют папой — он солдат.

— Заходи, папаша,— трезво сказал рыжий мужчина, тот, что ехал в трамвае,— трогаем.

Мы простились. Рыжий мужчина пропустил папу и загородил собой вход, крикнул:

— Привет, дочка!

Поезд тронулся.

## Глава третья

### 1

Пухлая мордашка старшины теперь всегда озабочена, когда он выравнивает строй, и делает это осмотрительнее прежнего, насканивает с оглядкой. С тех пор, как он схлопотал в ухо от Митьки, он немного стусевался.

Мы тоже строимся проворнее. «...Рассчитайсь!» На морозе обходится без лишних слов. Щелк каблуков, взмах под козырек и скороговорка рапорта.

Потом в гробовой тишине слушаем сообщение Совинформбюро...

Танки генерала Гудериана подступили к Москве. А мы в тылу — странная, нелепая оттяжка — зубрим немецкий, изучаем книгу этого Гудериана. Она называется ликующе, угрожающе: «Ахтунг, панцер!» — «Внимание, танки!»

Для нас война начнется, когда мы расстанемся. Пока мы вместе, это еще не война. Изменились условия жизни, но дух жизни прежний.

До Ставрополя я не знала ни Нику, ни Ангелину, хотя мы из одного института — из ИФЛИ. А теперь мы приросли друг к другу и оттого, что скоро нам предстоит разлучиться, смягчаем.

Иногда мы пытаемся заглянуть за ту черту, которая называется «фронт», и даже признаемся, у кого какие страхи.

Дама Катя, оказывается, ничего так не боится, как голода. Призрак голода является ей даже во сне. Какой же он? Костлявый, серый?

— Не знаю, а только очень страшно.

Теперь, после ее признания, большой портфель Дамы Кати больше не смешит меня. Как увижу ее, полудеревенского вида девчонку, нескладную, в долгополой юбке по сапогам, с портфелем, в котором раньше она носила стаканчик с маслом, а теперь, вероятно, пайку хлеба,— так мне отчего-то больно становится за нее.

А Анечка больше всего опасается «самоходок». Так прозвали у нас тут вшей.

Я-то постриглась, а у нее заплетенные в толстую косу, длинные, чуть не до колен, волосы. А мыла нет. Анечка иногда закрывается одна в нашей комнате и скребет голову густым гребешком. Когда она переселится в окоп, как тогда будет? Неужели придется отрезать косу? Придется, придется!

— Ну и ладно,— чуть обиженно говорит она, но тут же опять, с неизменным доверием к жизни:— Если так надо, то что ж. А если на

фронте придется увидеть, как пленного немца ударят или поведут его расстреливать? — вдруг спрашивает Анечка. — Страшно...

Мы долго молчим, и каждый из нас в меру своего воображения всматривается в какие-то бездны, разверзшиеся за порогом нашей комнаты.

— Может быть, привыкнем, — неуверенно говорит Катя.

Это невозможно представить себе. Если привыкну, притерплюсь к такому, я, наверное, уже буду не я, а кто-то другой.

Мне приходят на ум слова Гиндина: он рад, что вступает в войну зрелым человеком, а не щенком. Он не дастся войне, его она не переломает...

— Не привыкнем, — говорю я.

— Еще бы. Где тебе... Ты ведь у нас деликатная, — поддевает Ника.

Так меня дразнят теперь. Это Дама Катя удружила мне. «Она такая деликатная, такая деликатная!»

Впору обидеться на Нику, но не выходит. Знаю: поддевает, а у самой кожа почувствительнее, чем у любого.

А к ней какие навешиваются страхи? Не подпускает — забаррикадировалась чепухой: страхи-де не навешиваются, одни заботы насчет того, куда б пристроить свои тряпки.

Тряпок у нее много — два полных чемодана. Ника ведь прямо из общежития погрузилась на пароход, все имущество забрала с собой. Там у нее и туфли модельные, и белье, кофточки и кое-какие заграничные тряпки. Была, видать, Ника щеголихой, а теперь куда-то надо девать весь свой гардероб. Не потащишь же с собой на фронт.

— Распродажу устрою по дороге в часть, — не задумываясь, выпаливает Ника.

— А деньги на кой? На что они тебе?

— Деньги? Я ж не за деньги. За бриллианты. Обвяжусь по телу потайным поясом, а в пояс зашью драгоценности. Сховаю.

Мы развеселились.

— Когда будешь торговать, начни распродажу со своего черного свитера, — говорю ей. — Эй, Ника! С него начни.

Она оборачивается от окна, перестает колупать льдышки со стекла. Темные въедливые глаза сверлят меня из-под светлой челки. Лицо ее розовеет. Она смущена. Еще бы. Играет этакую практическую, расчетливую особу, а сама сентиментальна и простодушна. Свой черный свитер — мы обогревались в нем по очереди — тайно спровадила поручику Лермонтову через знакомую нам хозяйку. Да еще, кажется, приложила любезную записку без подписи. Но я молчу, молчу...

— Один — ноль в твою пользу, — говорит Ника.

— Девочки! Послушать только, о чем вы говорите!

Мы разом поворачиваемся к Зине Прутиковой. Она сидит на кровати в Никиной замшевой куртке внакидку, локтями опершись о колени и подперев ладонями лицо.

— Ведь когда-нибудь о нас напишут. Как о героинях. А вы... О чем только вы... — с силой говорит она, глядя сокрушенно перед собой в пол.

Мы молчим. Дама Катя, получив неодобрение Зины, комсомольской активистки их пединститута, расстроена, вздыхает. Анечка виновато заплетает и расплетает конец косы.

— Подайте мне мои ходули, — вдруг требует Ника. — Тогда я смогу обрести общий язык с товарищем Прутиковой...

Зина бурно поднимается, сбрасывает на постель замшевую куртку и с воспаленным лицом идет через комнату к двери. Дама Катя всполошенно хватает ее шинель и семенит вдогонку.

Анечка смотрит промытыми голубыми глазами на Нику, спрашивает с надеждой:

— Может, она ханжа?

Ника не отвечает.

Да и едва ли это так. Просто Зина привыкла быть вожаком, а тут у нас в Ставрополе нет на это вакансий. И она не в своей тарелке.

Раньше она не обращала внимания на свою внешность, а теперь цепенеет перед складным зеркальцем, в какой-то тревоге разглядывая свое красивое лицо. Потом она выдвигает из-под кровати чемодан, достает флакон «Гиацинта» и подолгу тычет стеклянной пробкой в щеки и шею.

Аромат этого последнего в ставропольской кооперации флакона растекается по нашей комнате.

## 2

Наш взвод построили в самой большой комнате райзо — для присяги. Ждали генерала Чиизи. Я думала, будет парадно, бравурно.

Генерал приехал на розвальнях, вошел в черных новых валенках с неотвернутыми голенищами. Ступал осторожно, точно боясь повредить их. Грел руки о печку посреди комнаты. Погрелся немного и тихо заговорил:

— Наши войска продолжают отступать по всему фронту. Судьба нашей родины в опасности. Мы — солдаты, и там, куда нас пошлют, выполним свой долг до конца.

Не добавил, что время работает на нас, а у Германии иссякает бензин, тогда как мы планомерно отступаем, и победа будет за нами. Сказал: «Судьба нашей родины в опасности». И все. И ни знамен, ни оркестра...

«Если я нарушу эту мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся».

Дама Катя, когда дошел до нее черед, зашагала насупленно, глядя на свои сапоги, прикрытые длиннополой юбкой, размахивая болтающимися рукавами. Она не срезала угол на подходе к столу, и командир взвода вернул ее на место. Ей пришлось начать все сначала, и она смешалась, читая слова присяги. А когда кончила и генерал пожал ей руку вместе с рукавом гимнастерки: «Надеюсь на вас!» — она сказала хриплым, осевшим голосом: «Спасибо на этом. Не сомневайтесь».

Генерал повторил, обращаясь ко всем нам:

— Надеюсь на вас, товарищи.

И пошел к выходу, осторожно ступая в неразношенных черных валенках.

## 3

Дуем сладкий кофе. Не кружками — целыми крынками, в каких тетя Дуся ставит молоко в печь. Кофемания.

Нам выдали сахар. Тот самый, что был обещан к ноябрьским праздникам, но задержался в пути: пожелтел, отсырел. Но все же сахар!

В кооперации «Заря новой жизни» нашелся кофе, ячменный. Пьем. От горячего кофе согреваемся, пьянеем.

— Мое партикулярное несчастье, — говорит Ника о своем неведомом нам возлюбленном, — угодил в роту ПТР. Как-то он там таскает это ружье... Не пишет!

Она сидит по обыкновению на кровати, поджав под себя ноги. Говорит загадочно: «партикулярное несчастье». Выдумала? Или прав-

да есть такой человек? Какой же он? И почему ему трудно таскать противотанковое ружье?

Ангелина с простодушной ухмылкой на большом мучном лице слушает, как сказку. У нее есть свое волнующее — два курса института. Ника — живая реальность той померкшей действительности, и Ангелина очень дорожит обществом своей однокурсницы.

Дама Катя и Ангелина пришли со своим сахаром. У Кати сахар в большом портфеле.

— А мой муж пишет, — говорит она. — Уже два письма было. Жалеет, что мы не родили ребенка. А теперь, кто знает, как будет. Он — сапер. — Дама Катя не жмется — просто кладет на кон, что имеет.

Анечка — вся внимание, брови вскинуты, лоб насуплен. Она ведь только что из десятилетки. Теперь, выходит, начались ее «университеты». А Зина Прутикова молча пьет кофе, глядит в нутро кринки и опять отпивает.

Внизу не смолкают вопли, брань. Это под нами тетя Дуся бушует. Лошадь притащилась, волоча вожжи по снегу, а на возу, как убитый, спал тети Дусин муж.

— Антихрист! Пьяница! Чтоб ты замерз, околел совсем! Отмучилась бы.

Напившись кофе, спускаемся всей гурьбой вниз.

Бездомная Белуха живет на снегу. Ни крыши у нее над головой, ни соломенной подстилки.

За воротами по улице идут и идут красноармейцы — в ботинках с обмотками, в сапогах, лишь кое-кто в валенках: выведены из боя на переформирование куда-то в глубокий тыл.

Вдоль пешей колонны проезжают сани, привстав в них, полковник оглядывает свое войско. Откуда-то из глубины заснувшей улицы — дробящаяся на подголоски команда: «Под-тянись!»

Мы высыпали за ворота, молча стоим, мерзнем. Идут! Дымится пар их дыхания, хрустит под ногами улица. Кое-где в рядах мелькает белое: обмороженная в пути рука на перевязи, забинтованные уши.

Идут и идут, изнуренные, замерзшие. Конца колонны не видать. Всю ночь, должно быть, будут идти.

## 4

— Боже мой, что это будет, когда вы окажетесь лицом к лицу с немцем! — Грюнбах удрученно всплескивает ручками. — Вы должны заучить эти термины наизусть, как стихи. Иначе вы ничего не поймете, когда придется допрашивать. Понимаете? Как стихи!

Я пристыженно киваю головой. Что тут возразишь. Но Грюнбах не отходит от моего стола.

— Вы когда-нибудь учили немецкие стихи? Учили? А? — спрашивает уже флегматично.

Конечно, учила. Еще в школе. А в институте переключилась на английский, и в голове мешанина какая-то, и все стихи, что были в школьном учебнике, — перепутались. Вот только одно. Прилипло.

*Ich weiß nicht, was soll es bedeuten...*

— Читайте, читайте! — восклицает вдруг настойчиво Грюнбах.

*Daß ich so traurig bin,  
Ein Märchen aus uralten Zeiten  
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.*

Он упоенно покачивает головой в такт стихам. Вдруг спохватившись, говорит печально:

— Да, это не то что устав, конечно. Я вас понимаю. Но попробуем все же повторить с вами первый параграф устава вермахта. С самого начала,— говорит он примиренно.

Пожалуйста. Насчет этого напрасно беспокоится маленький Грюнбах. Это невозможно забыть. Захочешь избавиться и не сможешь.

— «Наступательный дух немецкой пехоты...»

Я произношу это в комнате бывшего райзо с окнами на главную улицу. А по улице, мимо наших окон, идут и идут. С самой ночи. Растянулась нескончаемая колонна, движется через город. Идут издалека, с войны, тяжело припадая, волоча ноги, усталые, замерзшие красноармейцы, на спинах под вещмешками болтаются пустые котелки.

## 5

Сидим на лавках в большой комнате райзо, где недавно мы присягали. Лектор. Лицо неразборчиво, тучный подбородок лежит на лацкане пиджака. Вкатился — и к печке, расставил руки — греется. Оттуда покатился дальше, к столу.

Обещает: у Германии вот-вот кончится бензин; время работает на нас. Про это мы уже знаем. Но если оглядеть наши ряды — кое-кто слушает, распуштлив губы.

Митька Коршунов поднялся — лицо серое, окаменелое. Скрипит лавка, отодвигаются ребята, давая ему проход. Лектор замолкает, следит за ним, недоумевая.

Я слезаю с лавки, дергаю Митьку за пуговицу на рукаве: скройся, сделай милость, не надо демонстраций. Ведь мы уже присягали.

Мы зашли за печку, и теперь нас обоих не видно лектору.

— Пошлость! — с яростью говорит Митька. — За кого он нас принимает? Кого вербует? Малодушных?

Митька подавлен.

Нам и правда не надо пошлых убаюкиваний.

— Слухи о прорвавшихся войсках германцев,— говорит с усмешкой юркнувшая к нам за печку Ника,— вызвали брожение среди солдат Цезаря...

Всегда она вот так. Вроде знает защитные слова от пошлости. Мы смеемся.

Ох, эта Ника Лось, *higvi*, как она называет себя. Говорит, по-фински *higvi* — лось. А фамилия ее — калька с финского. Отец ее, дескать, финн.

Завирается. Сочиняет себе биографию. То вдруг доверительно намекает: отец ее пострадал от чека, мать — из дворян. Плетет бог знает что. Мистифицирует. Нравится ей ходить по краешку.

С нею не соскучишься. И дышится с нею вольготно.

## 6

Падает снег тяжелыми хлопьями. Все пухло, бело — сказочно. Иду в агитпункт — дома у нас нет керосина. Мну подошвами свежий податливый снег, дышу — хорошо! Радуюсь чему-то — неизвестно чему.

— Вив ля Франс! — приветствует меня Ника, она стережет мне место рядом с собой.

По другую сторону от нее — Грюнбах в котиковой ушанке, вокруг шеи шарф, затолканный концами за лацкан синего бостонового пиджака.

Длинный стол. Две лампы-«молнии» ослепительны. Щурюсь на их свет, отрываться не хочется. Мне хорошо.

Слышу, как Грюнбах консультируется у Ники насчет русских синонимов к слову «дылда».

Неугомонный маленький Грюнбах. Теперь он задался целью снабдить нас немецкими ругательствами. Факультет поддержал его инициативу — решено: издадут для нас карманный военный разговорник и карманный сборник ругательств.

— Вы спускаетесь на парашюте в тыл врага. Приземлились, — говорит он, жестикулируя, обращаясь к нам по-немецки. — И вдруг из-за куста — фашист!.. Представьте себе на минуточку...

Лично я не могу себе этого представить, но киваю утвердительно.

— ...Вы кричите: «Стой!» Но этого мало. Чтобы морально подавить его, вы должны сильно выругаться. — Он откашливается и произносит с угрозой: — Вот я тебе сейчас так дам, что ты влетишь головой в стену, и мозги твои придется вычерпывать из стены ложками!

— О, майн готт! Неужели нет у них ругательств портативнее, — вздыхает Ника, не спуская с Грюнбаха своих въедливых, узких, лукавых глаз.

— И после этого вы его уже ведете...

Куда же мы ведем его?

Мы мешаем людям заниматься, но на нас не шикают из уважения к преподавателю. А кое-кто и прислушивается с интересом.

— Само собой разумеется, что не одни угрозы... Вы также наставляете на него оружие...

Но это уже не его область, и он опять углубляется в синонимы.

«Ваше боевое оружие — немецкий язык, — сказал как-то генерал Чирази. — Изучайте его прилежно, совершенствуйтесь».

А с оружием нефигуральным мы познакомимся, по всей вероятности, уже на фронте.

Грюнбах встает и, держа в своих маленьких ручках Никину руку, прощаясь, говорит галантно и вкрадчиво:

— Ваше появление на фронте, Вероника Степановна, морально разложит укомплектованную баварскую дивизию.

Это похоже на признание в любви.

Я ретируюсь.

— Послушай! — говорит своим зычным, наполненным голосом Вова Вахрушев, выдвигаясь навстречу мне вместе со стулом. — Как у вас обстоит с «самоходками»?

Он произносит слово «самоходки» по-немецки — *Selbstfahrlafetten*. И я отвечаю ему по-немецки:

— Пока что не жалуемся. Нет у нас «самоходок».

Сложносоставное слово, как почти все военные термины у немцев. Ни за что б не заучить. Но на нашем жаргоне оно употребляется в особом значении. Так что входит в обиход. Запоминается.

## 7

Полковник Крандиевский обходил общежития. Сначала оба мужских, потом дошел и до нас.

Мы выстроились во дворе.

Тетя Дуся повязала поверх ватного пиджака нарядный, нездешний фартук. Он достался ей от проезжих эстонок, заночевавших у нее, перед тем как следовать дальше в тыл, бог весть куда.

Тетя Дуся держится возле нашего строя, ждет, что будет. Но насчет общежития ничего особенного не говорится. При сравнении с мужскими оно заметно выигрывает. Все же полковник Крандиевский призывает нас подтянуться — в бытовом отношении также.

Большие седые брови глядят на нас из-под великолепной каракулевой папахи. Стройно охватывая полковника, спадает к ногам светло-серая шинель с голубоватым акцентом.

Ему подобает говорить о подтянутости, он сам ее олицетворение. Не зная ничего о полковнике Крандиевском, мы между собой причисляем его к офицерам еще старой, царской выучки.

Наш строй — в брезентовых сапогах, в шинелях с суконными поясами. Зато головные уборы — кто во что горазд. На Нике — белый шерстяной платок, на мне — самодельная шапочка с острым мысиком, спускающимся ото лба к переносице.

Надо думать, в глазах старого военного рябит от такой пестроты. Но он об этом — ни звука. Нам разрешено нарушить форму — зимних шапок не подвезли, а суровая зима явилась раньше положенного.

Нас вообще не очень угнетают дисциплиной. Мы на отшибе от командования — за три километра от кумысосанатория. И статут Военных курсов переводчиков еще не определился. И, кроме того, вольготность, которой мы пользуемся, имеет связь с общим положением дел в стране, и мы это с тревогой подмечаем.

Полковник Крандиевский призвал нас с честью выполнить свой долг. Скоро мы должны во всеоружии отбыть к месту назначения. Время движется. Не забывайте ни на час о фронте.

Если б это сказал кто-то другой, допустим, командир взвода, мы б едва стерпели. Сами сознательные. «Взлет. Прыжок — гибель фашизму!» Но Крандиевского мы не просто слушаем, мы в н и м а е м ему.

Мы напряженно стараемся уловить в его словах что-то новое, известное лишь нашему командованию, что-то обещающее перелом в событиях.

Еще недавно по Волге на баржах, буксирах и пароходах приплывали к нам сюда всевозможные вести. Теперь — нет. Закованная льдом Волга отрезала нас от внешнего мира. Ни вестей, ни новых впечатлений. Осталось одно — Ставрополь.

А уедем, что запомнится?

Истрепанная в боях дивизия, бредущая через город. Бравурный параграф вражеского устава: «Наступательный дух немецкой пехоты». Белуха на снегу — бездомье. Поручик Лермонтов без шинели. Мешок с трофейными документами, который знает, что такое война, куда основательнее наших преподавателей. Немецкие сложносоставные военные термины, трудно поддающиеся запоминанию, и легко заводящихся вшей, прозванных одним из этих терминов.

И надо всем как девиз — наш не слишком осознанный ближний удел: «Взлет. Прыжок — гибель фашизму!»

Крандиевский внезапно прерывает себя и просто, не по-военному объявляет:

— Мы бы еще о многом поговорили, да вот обувь на вас что-то не по сезону. — И, вскинув голову в тяжелой папахе, звучно, упруго и чуть груссирюя, командует: — Ррá-зойдись!

Мы расходимся, унося ощущение ласки и смутной надежды на что-то хорошее.

Думаем ли мы о фронте? Да о чем же еще нам думать? Мы говорим о нем на уроках, в столовой и в комнате. Все больше шутливо, обыгрывая поведение каждого из нас на фронте.

Трудно облекать в мысли то, что не можешь себе толком представить. Фронт — это что-то грандиозное, без очертаний, там нет ни тебя, ни меня — только ярость, кровь, скрежет — необходимость превозмочь врага.

## Глава четвертая

## 1

Ветер с Волги. Пробирает до костей. Идешь против него, согнувшись, бодаясь. Наподдаст еще — и загонит последних прохожих по домам. А дома завалило снегом по самые оконца, скованные морозом, слепые или слегка мерцающие. Покорный уют тылового городка, оставшегося на попечении старух.

От крыльца — по целине пробоины в снегу, — топя валенки по край голенища, с коромыслом на плече, выныривая из снега и опять погружаясь, подплывают к колодцам хозяйки. На их обратном пути вьются за ними по снегу змейки — схваченная морозом расплесканная вода.

В эти глухие, забытые снегом улицы ворвалось поздним вечером известие: немцев гонят от Москвы!

Мы не усидели, рванулись наперехват ветру. Влетели в общежитие к парням, обнимались на радостях. Стянув брезентовые сапоги, оттирали окоченевшие ноги. Кстати, как хитриться сохранить в целостности ноги до фронта — вот задача.

Мы что-то пели, стоя в чулках, счастливые, растроганные. Было необычайно празднично. Хотя в самом общежитии у ребят до чего ж угрюмо, неприятно — и неметеный пол, и закопченные стекла на лампах, и запах портянок.

Мы бежали назад рысцой, притопывая, пристукивая сапогом о сапог.

Потом пришло письмо от брата: «У нас тут немец побежал...» Какое это счастье иметь брата. Живого! Бойца конной разведки. Не могу представить себе, как он седлает коня, взлетает на него и скачет в разведку. Но он жив, он в конной разведке, а немец отступает.

## 2

Теперь у нас одна забота — не замерзнуть, добраться до фронта. Снарядят ли нас, как положено, — пока не слышно про это. Дадут ли, нет ли другую обувь — неизвестно. В брезентовых стометровку возьмешь, а дальше заковыляешь на обмороженных. Эти сапоги мигом разбирают холод, деревенеют, и ноги у нас стали пухнуть. Пропадет аттестованный «военный переводчик», так и не представ по назначению в действующую часть.

К счастью, мы прибыли в Ставрополь в собственных пальто — обмундирование девушкам выдали только тут. В Москве мы к занятиям на курсы допущены не были и числились принятыми условно. Лишь в последний момент, перед отплытием, поступило указание, что можно зачислять лиц женского пола.

Я нашла покупательницу случайно, на почте — немолодую крупную женщину в стоптанных фетровых ботах, с морковкой в авоське. Она жена летчика. Эвакуированная. В пальто она нуждалась, и мы пошли ко мне. Я сняла с гвоздя почти новое драповое коричневое демисезонное пальто, которым гордилась. Воротник — стоечкой, прорезные карманы. Ничего более красивого мне не доводилось носить, и, если б можно, я не рассталась с ним.

Под пристальными, выжидающими взглядами Ники, Анечки, Зины Прутиковой женщина примерила пальто. Оно ей было тесно. Поразмыслив с минуту, она решила: за зиму исхудает на пайке, — и взяла пальто, назвав свою цену.

Наша комната насупленно следила за сделкой. Женщина достала



из сумки кучу мятых денег, положила на стол и ушла, перекинув через руку мое драповое пальто.

— Плоды деликатности,— сказала Ника.— Красиво, но убыточно.

Ближайшим воскресным утром, искристым, тихим, подрумяненным солнцем, я отправилась на базар.

Меня обогнали груженные сани. Правил мальчонка лет двенадцати. В санях везли, должно быть, овощи, заваленные лоскутными одеялами, чтоб не поморозило. На одеялах сидела огромная баба в тулупе и в расшитой цветным гарусом черной широкой юбке из-под него.

Навстречу с базара шла горожанка в плюшевом салопе, держа мешок на руках, как ребенка. В мешке бился и отчаянно визжал поросяенок.

На базаре все смешалось: промысел, азарт и беда.

Торговка уже опорожнила, меряя свой товар стаканами, один мешок подсолнухов и затолкала в него выручку.

Картошка шла по какой-то баснословной цене, а больше в обмен на мыло, на спички, соль, фитили, талоны на керосин и еще на что-то. Не понятно, как устанавливалась меновая стоимость, но стороны твердо знали, на что они могут претендовать.

Чуть поодаль была «толкучка»... Трикотажная сорочка с кружевами — ее держат за бретельки огромные негнушиеся рукавицы. Испорченные стенные часы в деревянном футляре. Застиранное байковое детское платье. На чьем-то плече, как голубь,— модельная туфелька. А дальше — домотканый половик, самовар с вмятыми боками.

Наконец я отыскала валенки, подшитые, разляпистые. Их продавал старик беженец из Белостока. Я его видела — он вместе с женой ходит в военкомат справляться о пропавшем без вести на фронте сыне.

Детский башлык укутывал старика по брови, концы скрещивались под подбородком и, обхватив шею, узлом лежали пониже затылка. Из башлыка высовывался сизый нос и клубок спутанных, заиндевелых усов под ним.

Я спросила цену. Дремлющий птичий глаз, подернутый пленкой, приоткрылся:

— Я думаю, сто пятьдесят рублей, пани. Они еще вам хорошо послужат.

Это было недорого, и я полезла в карман за деньгами.

К нам семенила старушка в мужской ушанке, повязанной драпой шалькой, спрятав руки в крохотную муфточку.

— Почему это? — спросила она и, высвободив из муфты ручку, ошупала валенок.

Старик назвал цену и сказал, что пани военная подошла раньше.

— Так дешево! Ах, мой бог! — Следя за мной, пока я доставала деньги, старушка все сожалела, что прозевала такую выгодную покупку.

Мне стало не по себе от наивной, несчастной хитрости этих обездоленных стариков. Поскорей расплатившись и схватив валенки, я скрылась в толпе.

А тут откуда ни возьмись — Витя Самостин! Помахивая рукой и что-то крича, он пробивается ко мне. Мы обнялись. Откуда он взялся? Шинель на нем не наша, не курсантская. Похоже, он на службе в ку-мысосанатории, у Чиазы. Так оно и есть.

Война всех нас, однокашников, раскидала и так вот причудливо сводит вдруг.

Я тут же переобулась. Валенки немного намерзли — но все же какое это блаженство, когда ноги в валенках.

Теперь мне ничто не мешает разглядеть Самостина. Военная форма каждого меняет на свой лад. Самостину она придавала более отесанный вид. Обычно голова его, напряженно откинута назад, была втянута в приподнятые плечи, и руки у него, казалось, коротковаты. Теперь, в шинели и шапке, он не то стройнее, не то внушительнее.

Он приехал, чтобы поступить на литературный факультет, из Сибири, с новостройки, где отец его был десятником. Узнав, что самый большой конкурс на отделение западной литературы и языков — семнадцать человек на место, — он подал заявление именно на это отделение. Ночевал он на вокзале, не ведая о том, что приезжие обеспечиваются общежитием на время экзаменов.

Мы с ним оказались в одной группе английского языка. Преподавала нам красивая женщина по фамилии Тедерольф, скандинавка, учившаяся в Кембридже. Когда она появлялась на своих стройных и крепких спортивных ногах, внося атмосферу энергии, знаний и женского успеха, — вся группа, увлеченно глядя ей в рот, на лету хватала пояснения. Самостин не поспевал. Если она обращалась к нему с вопросом, он еще больше втягивал голову в плечи и принимался перекатывать во рту камни, чудовищно искажая произношение английских слов.

Он вообще говорил туго, затрудненно и казался невосприимчивым к культуре парнем. Тедерольф билась с ним и отступила.

Но первая письменная работа спутала все: лучшей оказалась работа Самостина. Выходит, голова его соображала прекрасно, и лишь язык с тяжким трудом ворочал во рту иностранные слова.

К концу первого семестра он знал наизусть добрую половину словаря, заучивал он все слова подряд — на «а», на «б» и дальше.

Его манера говорить не изменилась, но он заставлял мириться с ней. Теперь Тедерольф весело сияла, слушая Самостина, и со спортивным упорством продолжала отрабатывать его произношение.

За летние каникулы он заучил вторую половину английского словаря. Но не было Тедерольф, чтобы подивиться и порадоваться этому, — она исчезла еще весной, не явившись однажды на урок, и теперь нас учила английскому скрипучая и прокуренная эмигрантка из Германии.

Тедерольф была арестована. Кое-кто из преподавателей тоже исчез, как и она. В самой большой аудитории бурлили собрания, решались персональные дела комсомольцев, чьи родители оказались «врагами народа».

Всему этому Самостин был человеком сторонним — не избличал и не сострадал. Он вообще вокруг себя не озирался — глядел под ноги. Под ногами — золото. Надо только суметь взять его.

«...Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына!..» — сладчайше скандировал гекзамеры профессор античной литературы.

Известный историк, рыжеватый, долговязый и веселый старик Кун был на «ты» с древними героями, богами и императорами.

Молодой талантиливый доцент с гривастой головой мыслителя и поэта сотрясал нас концепцией Дон-Кихота.

А по лестнице — лифта не было — кто-нибудь из крепких ребят нес на пятый этаж в мягком кресле дореволюционную окаменелость — латиниста, не имевшего сил подняться самому. Его, подобно многим другим, погребенным где-то в арбатских переулках, в клоповниках, нужде, в свисте коммунальных примусов, откопали, когда возник ИФЛИ.

На этом празднике интеллекта, каким был наш институт, Витя Самостин чувствовал себя беспокойно, как в Клондайке.

Обучение было поставлено на широкую ногу. Можно было, например, изучать любой язык, только изъяви желание. Самостин соображал,

во что бы вколотить свой характер, и принялся за португальский язык с персонально к нему прикрепленным преподавателем. Кроме того, с дошностью маньяка он изучал наполеоновские войны.

Жил он не по-студенчески расчетливо, компаний не водил. Из дому ему не помогали. Поработав в летние каникулы на стройке в Сибири, он возвращался в новой паре сапог и с кое-каким денежным запасом, служившим ему на первые месяцы добавкой к тощей стипендии.

Он бесценно носил недорогое пальто из выносливого бобрника. Стал бриться наголо голову. Купался по утрам в проруби. Сон свел к четырем часам, остальное время суток занимался.

Как-то его подбили, чтобы он выступил на курсе с докладом о Бородинском сражении. Он крошил мел, обозначая на черной доске редуты, флешы, коммуникации. Казалось, он знал, сколько ядер выстрелила каждая пушка, как были обуты солдаты и каждую минуту жизни Наполеона. Он был во власти цифр и фактов, не думал о тех, кто его слушал, и произвел тем большее впечатление.

Это были непривычные темы, новые мотивы, еще только-только зарождавшиеся в печати. До той поры мы выросли, думая, что насущно только то, что рождено революцией.

Ни с кем Самостин не сходилась, не питал ни к кому добрых чувств. К девушкам, правда, он относился мягче. Кое с кем из нас он был иногда откровенен, излагал свои далеко идущие планы и не обижался, если их встречали смешком.

Конечно, от человека, московской зимой сигающего по утрам в прорубь, можно было ожидать всего, но очень уж странно было представить себе Самостина на дипломатическом поприще, к которому он, оказывается, себя готовил. Мы еще помнили о наших недавних дипломатах — Чичерине, Литвинове, Коллонтай. И вдруг — Самостин. При чем он тут? Зарвался малый.

Другие развивались равномернее. Витя Самостин — иначе. Он накапливал знания, воля к победе и честолюбие проступали в нем все более явно, а в остальном он оставался прежним, и казалось, душа его глуха к впечатлениям бытия.

И вдруг — прорыв. Влюбился в нашу студентку, дочку прославленного в гражданскую войну комдива, хорошенькую девчоночку, хрупкую и, что было в редкость, изящно одетую.

Его отвергли. Кажется, с той поры он стал бриться наголо и спать по четыре часа в сутки и еще одержимее заниматься. Кое в чем он оказался приметливее, чем прежде.

Самостин встретил как-то меня с одним нашим студентом в Сокольниках, потом нарвался на нас в институте на запасной лестнице — место всех свиданий в те часы, когда в аудиториях лекции, — и, решив, что я собралась замуж, поразился: он был убежден, что все девушки стремятся выйти замуж за человека, стоящего на ногах, а не за голоштанного студента.

И позже я замечала за ним: он ценил в девушках некорыстные поступки.

Он стал отличать меня и даже однажды закатился ко мне. Вошел неожиданно, не снимая бобрника, запустил руку в карман пальто и бросил на стол горсть карамелек в цветных бумажках. Он гулял.

Приподняв плечо, скособочившись, он ходил по комнате, налетая на стулья, всматривался в предметы, сдвигал брови, изучая фотографию в рамочке, громко сопел, что-то соображая. Праздных вечеров в его жизни не было, так что за этот я была в ответе.

Я почувствовала себя неудобно и озабоченно, словно по комнате

пустился шагать шкаф и, того гляди, пребольно отдавит ногу, а вступить с ним в переговоры невозможно — не знаешь языка существ этого вида.

Потом мы сидели за чаем, и Самостин отрывистыми фразами открыто выражал свои чувства. Ох, и не любил он своих сокурсников! Он начал с нуля, дал им фору. Они не замечали брошенного вызова.

Он уже кое в чем успел. От репрессий повсюду ределю, вакансий было сколько угодно — только объявись с дипломом. Но и без диплома, со знанием португальского языка Самостин уже понадобился в «Известиях» и выполнял там какую-то работу без отрыва от института. У него стали водиться деньги. На его внешнем виде это никак не отразилось: по-прежнему он носил сапоги и брюки навывпуск и свой бобр. Не хотелось ему, по-видимому, рвать с привычным. А может быть, в этой оболочке он чувствовал себя прочнее и огражденнее от всего, что жило в те годы под занесенным мечом. Его внешний вид не только не был ни в чем ему помехой, наоборот — такой он казался социально надежным тем, кто брал его на работу. А преподаватели в институте с особым рвением относились к способному парню из глубинки.

Другой раз, когда он вот так же внезапно приехал ко мне, я собиралась на день рождения к подруге. Мы отправились вместе. В тесной комнате собравшиеся читали стихи, пели, топтались в фокстроте.

Самостин, не зная, куда себя деть, стал изучать книжную полку. Выдернул книжку, подошел ко мне.

— Гляди, гляди! — Он возбужденно листал страницы, показывая мне фотографии.

Это была знакомая ему книга об археологе Шлимане, откопавшем Трою.

— Вот, гляди! Труд без отдыха, в нужде, и какой труд, какие знания! Мощь! И никто не догадывается, что ему предстоит совершить. В неизвестности живет. А в сорок семь годков берет и поражает всех, весь мир! — Самостин, захлебываясь, листал страницы, остановился на последней фотографии: тучный пожилой человек в горностаевой мантии. — Вот! Вот он! После Трои!

Он воспаленно озирался, впиваясь в свое грядущее сквозь стены тесной комнаты, где звучал фокстрот и мерно покачивались пары. Наполеон. Кутузов, Талейран, на худой конец — Шлиман. Была бы Троя — венец всему.

Удивительное это дело — встретиться в разгар войны на ставропольском базаре. Самостин все теребил меня: как попала в армию, что собираюсь делать. Он рассматривал меня в шинели, расспрашивал. И я его теребила. Кто мы такие, каковы мы в этой новой действительности? Куда определила нас война?

Витю Самостина — в преподаватели португальского языка у Чиази.

— В городе будешь, заходи к нам. Мы в школе живем, второй квартал отсюда — угловой дом.

— А чего ж? Зайду как-нибудь. Вот хоть на базар другой раз за самосадам пойду. А у вас что, одни девки?

— Девки, девки. Женихом будешь. Заходи.

Дружески простились, и я пошла с брезентовыми сапогами под мышкой.

Ветхие старички беженцы из Белостока семенили впереди, поддерживая друг друга. Я, в их валенках, постеснялась обогнать стариков, свернула проулком в обход — благо ногам тепло, искрится снег и можно не бежать домой сломя голову.

## 3

Портной Чесноков живет на краю города. Путь к нему идет берегом реки. Ох, и ветра же на средней Волге! Снег падает на промерзшую землю, ветром относит его под заборы.

Дама Катя шагает кое-как, путается в полах шинели, спотыкается. Анечка прижимает к себе пустую крынку: на обратном пути пойдет искать молоко — ее черед.

Вот и забор, глухой. В палисаднике намеганы сугробы под самые окна. Но к крыльцу подрастнищена тропка — шагай, коль пришел.

Низкие перильца и кольцо в двери — в Ставрополе у всех дверей и ворот вот такие же кольца.

Просторные сени. Дверь в кухню. С подстилки — черная кошка, красноватым, колдовским глазом провожает нас. И пахнет не хлебом — зельем каким-то.

За кухней — зала. В незавешенном проеме зидно — за переборкой никелированная кровать, синие пухлые одеяла и подушки под потолок.

Большой, добротный, натопленный, пустой дом — всего три человека семья.

В зале против зеркала — старый-престарый, закопченный плакат: «Все за оружие! Бей Колчака!» Прикреплен портрет Дзержинского. Под ними — портной Чесноков с женой, его дочка и родня.

Время ли так тихо движется в Ставрополе, что декорации менять не требуется, или этот плакат гражданской войны вместе с портретом Дзержинского — охранная грамота портного Чеснокова, напоминание о заслугах его молодости?

Спросить не у кого. Все трое — вроде бы слегка угоревшие — смурные, недослышивают.

Сам Чесноков работает в артели «Заря новой жизни». Тут в городе и потребительская кооперация, и артель, и чайная носят такое название.

Не знаю, как на работе, а дома, с частной клиентурой, портной Чесноков неразговорчив. Прищуривается, ходит боком, припадая на ногу. Мерку не снимает, а прикидывает на глаз и все время чего-то не понимает.

Жена Чеснокова опрятная, большая, костлявая. Она при нем как бы за переводчика с клиентами. А нет его дома, и она говорит:

— Мы сами не можем, мы ничего не понимаем.

Я замечаю: на спинке венского стула висит моя гимнастерка, пережитая на прищуренный глаз Чеснокова — от нагрудных карманов разбежались лучиками выточки. На рукаве поблескивает посеребренная, старинная пуговица с выпуклым якорем.

Это как понимать? Где же моя законная — полевая, зеленая? Потерял портной Чесноков или просто пришел второпях другую — спортивную лет тридцать назад с бушлата волжского матроса?

— Пусть, пусть, — решает Ника. — Может, это твой талисман теперь. Не спарывай.

Может быть, правда, талисман.

Присаживаюсь. Пить охота.

Дочка Чеснокова в опрятном байковом платье — ее обшивает мать, — с желтыми прямыми волосами и желтой гребенкой в них, бесшумно ступая, приносит колодезную воду.

У них в семье у каждого свое назначение. У дочки — вот так послушно ступать в мягоньких войлочных туфлях. Отпиваю воду, свежую, ледяную, гляжу в кружку — белое-белое эмалированное доньшко.

Вот не сдвинусь никуда с места. Буду пить глоточками, смотреть

на белое донышко, или на дочкины желтые волосы, или на чистые некрашенные половицы. Замру. Пусть портной Чесноков прикнопит меня на стену. Вишу. Не жалеюсь. И время не шевелится, как в летаргическом сне. И всё стороной, стороной — не берedit, глухо так в затишке, укромно — край земли.

Очнусь, а война уже вся. По домам.

## Глава пятая

### 1

Лежу за черной круглой печкой одна в комнате. Болею.

Все на занятиях. В окне потихоньку развиднелось, но декабрьский день короток, и вскоре опять сумерки. Придут с занятий — засветят лампу. Пока я болею, тетя Дуся исправно заряжает лампу керосином. Она иногда заглядывает ко мне среди бела дня в длинном теплом пиджаке и мужских башмаках.

Присядет на кровать, угостит семечками. Тоненькая струйка семечек побежит из ее гsrткой сложенной руки в мою. Грызем семечки — «самарский разговор». Тетя Дуся сплевывает на пол, сумрачно вздыхает — со дня на день должны призвать ее мужа, ждут повестки. Молча ерзают большими башмаками по полу, вся во власти тревожных дум, стряхивает шелуху с пиджака, с подола юбки и поднимается — пойдет по своим делам.

Я опять одна, но одиночество не тяготит — редко случается побыть одной.

Дама Катя вернулась домой раньше всех, в руках — еловая веточка, котелок с супом и пайка хлеба для меня.

— Двенадцать населенных пунктов, сто тридцать пленных, шестнадцать автомашин и чего-то еще... — сообщает она с порога.

Теперь каждый день хорошие известия. Пока мы тут проваландаемся на курсах, может и войны на нашу долю не остаться.

Дама Катя зажгла лампу, приладила еловую веточку над моей кроватью, воткнув ее в обои. С супом надо обождать: девчата принесут что-нибудь на растопку — тогда согреют суп.

Она присаживается на мою постель, сложив на коленях руки. Из просторного ворота гимнастерки торчит белая хрупкая шея.

— Теперь уже скоро должно прийти письмо от моих, — говорит Катя, уставившись в одну точку перед собой. Со дня на день должны освободить Можайск. — Они такие неприспособленные...

Я ей говорю все то, что мы обычно говорим друг другу: они живы, целы, отыщутся, и письмо вот-вот придет. надо терпеливо ждать.

Чтобы развлечь ее, я достаю наугад у себя из-под головы прошлогоднюю тетрадку какого-то школьника.

— Тема: «Приметы весны».

Птицы — наши друзья. Это знаем ты и я.  
Честное даем мы слово, что нигде и никогда  
Мы не сделаем плохого, не разорим их гнезда

Катя крепится, не вздыхает больше, слушает и даже улыбается.

— Послушай, Катя, давай попросимся в одну часть.

Она оборачивается ко мне, кивает, пододвигается ближе, обнимает меня за шею.

И тут нас застают ввалившиеся девчонки. Зина Прутикова делает нам выговор, в первую очередь мне: я распространитель гриппозной заразы и не должна обниматься... Резонно.

Они принесли кое-что для черной прожорливой печки — несколько планок от забора и сиденье от лавки. Зина Прутикова наставляет, как распределить их на две подтопки: сиденье от лавки ставится к печке на просушку.

— Повелевай! — говорит ей Ника.

И она повелевает, это у нее получается.

— Я сейчас пойду потрясу тетю Дусю, пусть даст хоть немного сухих.— И опять, как в те дни, когда болела Анечка, у нас в комнате тепло благодаря неусыпному руководству Зины.

На этот раз она заботится обо мне. Очень мило.

— Уймись. Разве в тебе для нее дело? В задаче. А ты тут ни при чем,— говорит Ника.

Все же забота есть забота.

«Птицы — наши друзья, это знаем ты и я...»

Я бросаю школьную тетрадку на пол, туда, где свалены планки от забора, пойдет на растопку.

Ника, заметив еловую веточку над моей кроватью, принимается напевать: «Наш уголок я убрала цветами...»

— Ну уж,— обижается Катя,— вы ведь из пустяка задразните.

Стук в дверь. Гиндин. Кланяется с порога и вообще немного торжественный и с каким-то мешочком в руке. Размашисто опускает мешочек на стол.

— Из Свердловска! — Садится в шинели, только пилотку снял, и с силой гладит себя по голове.

Я-то знаю, почему он так взбудоражен. Он показывал мне фотографию черноокой харьковчанки, эвакуированной в Свердловск.

Дядя Гиндин развязывает мешочек и трясет его над столом. Сыплется сушеная вобла и пестрые бумажки — конфеты! Конфеты!

Намечается пиршество. Зина Прутикова, вернувшись снизу с добычей — охапкой сухих поленьев,— отсылает мигом Анечку за кипятком к тете Дусе.

А дядя Гиндин, он сидит под лампой, и я вижу — косится за черную печку, не знает, можно ли подойти ко мне.

Катя озабоченно оправляет мою постель. Чего уж там — respectable она не станет.

Анечка вернулась с чайником. Едим сушеную воблу с хлебом. Пища богов. Гастрономический разгул. Чревоугодие.

Гиндин протискивается за черную печку. Стоит в распахнутой шинели, с воблой в руках.

— Подумайте! Сама разыскала мой адрес,— говорит он в счастливом смущении.— Как только ей удалось отправить посылку?

Рот мой полон, и я могу лишь промычать в ответ. Ах, побольше бы таких трюфевых дам, что сквозь все почтовые препоны шлют сюда своим избранникам запрещенные продовольственные посылки.

— И носки шерстяные еще. Но как, скажите, дошла посылка?

— Непостижимо! Только на крыльях любви!

— Смеетесь.

Он стоит, наклонив набок голову, опустив плечи, и ждет от меня каких-то еще слов. Я вдруг вижу, как на тридцатитрехлетнем его лице проступает что-то растерянное, юное, двадцатилетнее, и говорю ему, как младшему:

— Вас любят. Вот и все.

Слышу, Зина Прутикова велит суп с макаронами, что принесла из столовой Дама Катя, оставить для меня на утро.

А сейчас мы приступаем к чаепитию. Кипяток с карамелькой. Какое это блаженство. Слава любви!

## 2

В старом, некогда барском доме — чьем-то дворянском гнезде, — где потом был главный корпус кумысосанатория, а сейчас классы Военного института иностранных языков, в большом зале — накрытые столы. Вино в графинах, бутерброды на тарелках, сдоба... Электричество в люстрах (у кумысосанатория свой движок).

Среди этого великолепия сидим присмирившие, в чистых подворотничках.

Командование устроило вечер для наших курсов. Вечер как бы новогодний, потому что Новый год на носу, и выпускной заодно — через несколько дней нам выдадут дипломы.

Стол составлен буквой «П». За главным столом — начальство и преподаватели.

Генерал Чирази, красивый, импозантный, залитый электрическим светом, напутствует нас. Мы первый выпуск — лицо и марка курсов.

Закончив говорить, он идет с бокалом в руке к нашим столам, браваурный и приветливый, галифе на нем с красными лампасами.

За ним — строгий, подтянутый и очень высокий и прямой, в благородных седилах, полковник Крандиевский. Бокал держит за ножку длинными аристократическими пальцами.

Мы осторожно стучим стаканами в их бокалы и не садимся — следом идет береница помощников генерала. Добрые пожелания сыплются на наши головы.

Выпиваем. В головах немного проясняется. Нас чествуют, оказывается.

А вон и Самостин, сидит за столом начальства, левее, с преподавательского края, и ерзает, крутит головой, высматривает знакомых за нашим столом. Привет, Витя Самостин!

И Грюнбах, цивильный, маленький, — там же за столом, с краю. В белой рубашке, при галстукe — это уж как всегда.

За что пьем? «Чтоб всем нам встретиться после войны». Кто там за нашим столом такой шустрый, находчивый пустил тост?

Еще недавно мы этих слов избегали. А с тех пор как немцев гонят от Москвы, опять заговорили: «после войны»...

— Ну, чтоб не последняя! — А это Митька Коршунов хмуро тряхнул головой, светлая прядь волос упала на брови.

Поднялся генерал Чирази:

— За победу! За победу над врагом, самым жестоким, самым коварным, какого знала за всю свою историю Россия, — за победу над фашистскими оккупантами!

Всгаем, опять чокаемся.

Совсем недавно генерал Чирази приезжал к нам принимать присягу, в черных неразношенных валенках. Какие это были тревожные дни для Москвы, для всех нас! Мне кажется, генерал был тогда проще, доступнее. Но, может быть, теперь просто больше порядка во всем и каждый придерживается своего места.

В конюшне у строевой части вывешено объявление — можно получить броню на свою московскую жилплощадь. Еще недавно никому и в голову не пришло б такое.

— Отчепись, — говорю Нике.

Она сидит, ни слова не проронив, и тянет меня за рукав.



— Тебе что, жалко? — простенько так обороняется, на себя не похожа. Рукав не отпускает. — Я загадала кое-что. Мне надо за талисман подержаться.

Ну, тогда ладно, держись за мою пуговицу, не жалко. Наверное, загадала, получит ли в оставшиеся до отъезда дни письмо от своего «партикулярного несчастья». Что он за тип, не пойму. Наверное, вроде Грюнбаха.

— Геноссе Грюнбах! Геноссе Грюнбах! — кричим. — К нам, пожалуйста...

Он пробирается по залу. Один-единственный цивилинный среди воинства. Как маркитантка на поле брани.

— Друзья мои... Вероника Степановна! Я хотел бы вам пожелать...

— Геноссе Грюнбах, ваше здоровье!

— Prosit!

— Чтоб не последняя, — говорит Ника, шурясь на хмурого Митьку. — Как это по-немецки?

— Prosit!

О, беспощадное электричество. Лацканы и рукава бостонского синего пиджака лоснятся вовсю на маленьком Грюнбахе.

— Ангелина-матушка, квантум сатис!

Ангелина улыбается Нике и смущенно отодвигает от себя тарелку с бутербродами. На ее широкой груди над клапаном кармана прикреплен сегодня значок парашютиста.

А вот и Витя Самостин двинул из-за начальничьего стола сюда к нам, стараясь изо всех сил не вращать плечом и выпятив от усилия колесом грудь. Три кубаря у него на петлицах. Аттестовали парня.

Мы плотнее сдвигаемся, и он протискивается на скамью между мной и Никой. Голова у него, как у солдата первого года службы — шершавая. Только-только еще обрастает.

Митька обрадованно тянется к нему через стол. И он трясет обеими руками Митькину руку. Митька — редкий сокурсник, к которому Самостин относится, можно сказать, с симпатией.

— Ну как? Какое? А что? Ничего?

Примерно так звучат их восклицания, если послушать со стороны.

— Я-то? Сам видишь, — Митька обводит зал резким движением руки. — Благообразно, благолепно, благоговейно...

Кидается к свежему человеку. Но наш Витя Самостин медлит, не братается.

Я греплю его шершавую голову.

— Да ты вышей.

Не пьет.

Митька одиноко допивает свой стакан, с грохотом ставит.

— Братцы! — взывает громко. Что-то он сейчас учудит. Ребята на него озираются, думают, перебрал. Нет, не то. Он сутулится, вроде зябко ему. — Закругляйся! Уже все было в ассортименте!

Это он о мероприятии — о пристойных столах, субординации, красных лампадах и бутербродах.

В проходе между столиками прыщеватый сонный малый — слушатель Военного института — наигрывает на баяне популярные арии. А выступать с самодельными номерами под тот баян некому.

Митька замечает напротив себя что-то такое, что приводит его в доброе расположение духа.

— Не клади, брат, глаз! — говорит он Самостину, плутовато шурясь.

И бедного Витю вгоняет в краску по самые корни отрастающих

волос, он кулаками упирается в виски, смотрит молча в стол. А как только о нем забывают, опять поворачивается и лупится на Нику.

Какое-то движение за нашим столом. Поднялась Зина Прутикова, переговаривается с баянистом. Видно, решила спать.

Запевает. Такое легкомысленное, такое зажигающее...

Анечка припадает горячей щекой к моему плечу, мечтательно глядит на волевой подбородок моего соседа — старшего лейтенанта Самостина.

Зина поет. Здорово поет. Нам нравится. Особенно вот это — «Частица черта в нас...». Мы бурно хлопаем ей.

## 3

Занятия продолжают. Урок «Организация немецкой армии». Его ведет капитан с решительным пробором в густых каштановых волосах, довольно видный мужчина лет тридцати.

Мы недостаточно внимательны, мы раздвоены. Душа наша уже отлетела, она в пути, и только тело присутствует здесь, в помещении райзо с окнами на главную улицу — белую улицу, ведущую к Волге и дальше — на фронт.

Сколько гаубиц в арtpолку у немцев, боекомплектов к ним. Калибры пушек. Типы самолетов: «хеншель-126», «юнкерс-88», «мессершмитт-109».

Это трудновато усвоить, и, кроме того, мы уверены — там, на месте, во всем разберемся, а тут пока мы не слишком прилежны.

Но «на Грюнбахе» нас опять что-то берет за живое.

Мы переводим только что прибывшие документы, датированные декабрем:

«По 472 ПП (пехотному полку).

Памятка о больших холодах.

1. Вспомогательные средства защиты от холода.

В каску вложить фетр, носовой платок, измятую газетную бумагу или пилотку с подшлемником. Подшлемники и нарукавники временно изготовить из обмоток. Наручавники также можно сделать из старых носков.

Лучше надевать две рубашки (хотя бы и тонкие), чем одну рубашку плотную (слой воздуха между отдельными гонкими рубашками — лучшая защита от холода).

Нижнюю часть живота особо защищать от холода. Прокладкой из газетной бумаги между нижней рубашкой и фуфайкой. Повязками из тряпок.

Для ног и колен: газетная бумага между кальсонами и брюками, разрез у кальсон зашить, поддеть спортивные брюки...»

Это смешит нас. Противник унижен. Мы готовы ликовать оттого, что им, гадам, холодно и они обвертывают свои ляжки газетами.

Но вообще-то говоря, в том, что они чувствуют холод, как и мы, есть какая-то несообразность. В это упираешься с недоумением.

Пока речь идет о гаубицах, о Х-126 и Ю-88, о параграфах устава, все более или менее понятно, стройно, чуждо, неосяземо и угрожающе. Но сквозь такую вот «памятку» живо представляешь себе их переживания: они страдают от холода, они — будь они прокляты — одушевленные.

Но бог с ними. Сегодня нас больше всего занимает сам Грюнбах. Он явился на занятия в военной форме. С чего бы это вдруг? Суконная гимнастерка на нем, но знаков различия нет. Он немного взволнован, как юный новобранец. Что бы все это могло значить? Нам отчего-то тре-

можно становится, глядя на него, но спросить не решаемся. Только Вова Вахрушев бесцеремонно тянет вверх руку, как школьный выскочка:

— Геноссе Грюнбах, вас можно поздравить, вы теперь военнослужащий преподаватель?

— Потом, потом, в конце урока я вам все объясню.

Наконец в коридоре ударяют кружкой в пустой жестяной жбан — конец занятий. Мы не разбираем пайки хлеба с подоконника, не мчимся в столовую. Ждем.

Грюнбах медлит, точно собираясь с мыслями. И это тоже непривычно в нем. Заправочка у него кое-какая. Складки не согнаны назад под ремень, и гимнастерка сборит на бедрах.

— Геноссен,— говорит он, и в голосе торжественность.— Это было наше последнее занятие...

Он останавливается, и мы опять терпеливо ждем, стараемся не ерзать, не дышать вслух.

Он выпрастывает из длинных, вроде как у Дамы Кати, рукавов гимнастерки свои маленькие ручки, сжимает их в кулаки и, привстав на носки сапог, неожиданно начинает декламировать:

Кто жил, в ничто не обратится!  
Повсюду вечность шевелится.  
Причастный бытию — блажен!

В первые минуты мы смущены, не понимаем, что происходит. «Повсюду вечность шевелится». Это здорово сказано.

Он останавливается и говорит с непривычной для него суровостью:

— Я прошу вас, геноссен, помнить, что автор этого стихотворения был немцем.

Он медленно гладит свои пустые петлицы, точно это лацканы пиджака, а потом опять сжимает пальцы в кулачки, быстро выбрасывает их и опять сжимает.

— Когда мы победим и в Германии с фашизмом будет покончено, мы будем вправе сказать себе, что никогда, даже в годы войны и ожесточения, не переставали любить этот прекрасный язык.

Что касается нас — с немецким языком наши отношения испорчены еще со школы. Но сейчас это не имеет значения. Мы тронуты возвышенностью слов, обращенных к нам.

Мы обступили Грюнбаха и с чувством прощаемся с ним. Его призывали в армию и откомандировывают в распоряжение штаба Южного фронта. Вот оно как получается. А мы-то думали, что он будет провожать нас, а не мы его.

— Вероника Степановна! — проникновенно говорит он, обеими руками сжимая Никину руку.— Будьте живы! Будьте живы непременно!

Он немного горд, взволнован предстоящим отъездом, пожимает нам всем руки, что-то приговаривая и не останавливая глаза на наших лицах,— его уже лихорадит: Reisefieber.

Разобрав хлеб с подоконника, уходим в столовую.

Мы с Никой сидим за столом, чертим пальцем по солевой клеенке невидимые узоры. Грустно чего-то.

Выступая вперед тяжелыми животами — в руках по тарелке,— беременные официантки принесут нам суп с макаронами.

Уже семьдесят дней мы прожили в Ставрополе и семьдесят раз ели его.

Работаем в тарелках жестяными погнутыми ложками.

Не доев одного куска хлеба, я рассеянно принимаюсь за другой и, спохватившись, сникаю. Тетя Дуся мне объясняла — это тяжелая примета, значит, кто-то из моих близких сейчас сидит без куска.

— Посмотри скорее т у д а,— вдруг шепчет Ника.

Т а м, в углу, не раз сиживал за столом наш поручик Лермонтов.

Я оборачиваюсь и не сразу понимаю, в чем дело. Человек в теплом бушлате, в зимней военной шапке ест суп с макаронами. Как мало похож он на того загадочного, носившего на прямых плечах плащ-палатку, как бурку. И все же это он. Снова в Ставрополе. Возможно, опять заготовка фуража для части.

Мы и до того не торопились доестъ суп и выкатиться из тепла столовой, теперь тем более. Переглядываемся с Никой, чему-то радуясь. Чему же?

Он объявился. Сидит тут, в нашей столовой, ест суп с макаронами. И, наверное, под бушлатом, поддетый под гимнастерку, на нем черный свитер, присланный ему кем-то «неизвестным».

## 4

Предотъездная лихорадка. Она треплет нас с того дня, как в зале кумысосанатория было отпраздновано раньше срока предстоящее окончание курсов.

После этого дни поползли в своем прежнем распорядке. Зато вечером у нас теперь в каждой комнате суматошно, людно. Вроде всем чего-то надо напоследок, а чего — сами не знаем.

Внизу, в большом классе, заставленном кроватями, весь вечер крутят где-то раздобытый патефон. Затупевшая иголка бесшумно скребет пластинки. Подтанцовывают «шерочка с машерочкой» в парусиновых сапогах, а парни тяжеломерно, задубело сидят на стульях, на кроватях, сосут сигарки.

И наша Анечка тут. Проскользнет в дверь и держится в стороне, не смешиваясь со всеми, тербит хвостик своей толстой косы, голубые глаза встревожены, что-то просыпается в них под эту хриловатую музыку.

Высоко на стене уцелел белый лист ватмана — весь в разрисованных красками неровных буквах:

Птицы — наши друзья. Это знаем ты и я.  
Честное даем мы слово, что нигде и никогда  
Мы не сделаем плохого, не разорим их гнезда.

Это единственное напоминание о том, что здесь в прежние дни, до нас, сидели за партами школьники. Где-то они уютятся теперь, вытесненные нами?

Раньше я не замечала приколотый на стену лист. А теперь, как захожу сюда, читаю вслух... Знакомые слова из школьной тетрадки, брошенной мной на растопку. Они кажутся мне библейскими.

Под ними — широкой спиной к патефону, ко всей предотъездной карусели — Ангелина с упорством зубрит немецкий.

— Ангелина-матушка, сколько ж можно!

Оборачивается — добродушная ухмылка на большом лице, обеими ладонями приглаживает свой «политзачес» — короткие гладкие волосы, зачесанные со лба к затылку, — и подзывает меня, горя желанием поговорить по душам о Dativ'e с предложениями seit, воп, zu.

Я выныриваю из комнаты.

От патефонной музыки и дыма самосада вьется по темному коридору какой-то дурман, шорохи, шепот и вздохи.

Наверху у меня, оказывается, гость — Витя Самостин. Сидит, скобочившись на стуле, вертит в руках шапку.

Молодец, что пришел. Еще бы дня два-три, и не застать ему нас. У Зины Прутиковой тоже гость — розовая, милостивая девушка из кумысосанатория, та самая, что уже навещала ее однажды, рассказывала о Куйбышеве, о Козине. Только тогда на ней был синий берет с звездочкой, а сейчас зимняя офицерская шапка-ушанка с серым цигейковым мехом. Сидят они на кровати у Зины, о чем-то шепчутся, не обращая на нас внимания.

Вошел Вова Вахрушев, долговязый, нескладный, в короткой шинели, и запахло селедкой, будто Вова только-только вылез из трюма «Карла Либкнехта».

Вова и Витя Самостин поздоровались, но разговора у них не получилось. Вова достал из кармана шинели берет и потряс им. Надо сделать Воле шапочку. Прибудут ли теплые ушанки до нашего отъезда — неизвестно, и нам давно разрешено нарушать форму.

До сих пор Вова обходился пилоткой, но по дороге на фронт он обморозит уши, и я уговорила его сменить пилотку на такой же, как у меня. головной убор.

Уже несколько человек носят шапочки моей работы. Они натягиваются на голову, на уши плотно, как шлем, а на лбу украшены мыском, спускающимся к переносице.

Кажется, что-то похожее можно увидеть на голове у французской Марианны, во всяком случае так считает Ника. Вив ля Франс!

Делается эта шапочка так: в кооперации «Заря новой жизни» покупается залежалый твердый берет — девять рублей штука. Берет хорошо смачивается водой.

Для этого я спустилась вниз к тете Дусе. Она спала на печи за частоколом наших валенок и сапог, расставленных сушиться на лежанке. С того дня, как забрали в армию ее мужа, тетя Дуся слонялась по дому потерянная, безразличная ко всему, лицо ее осунулось, потемнело.

Ника тут в одиночестве достирывает без мыла свои вещички — готовится к отъезду. Она в брюках и кофточке; замшевая куртка ее висит на гвозде.

Без гимнастерки, в этой легкой кофточке ее плечи показались мне узкими, слабыми, а лицо, опущенное над корытом, печальным и сурово задумчивым.

— Вив ля Франс! — объявляя о своем тут присутствии, смущенно сказала я и помахала Вовиным беретом.

Она тотчас же едко спросила:

— Нашла еще одну жертву? — и с ее лица сдуло то незнакомое выражение, какое я застала на нем.

Может быть, и в каждом из нас идет внутренняя, скрытая от других жизнь. Но не хотелось так думать — все, что нас разделяло, было сейчас ни к чему.

Я окунула берет в Никин таз. Вода была теплой — Воле повезло. Он сидел на опрокинутом табурете, покорно подставляя голову, и я надела на нее еще теплый мокрый берет. Обычно моим «жертвам» приходилось иметь дело с беретом, смоченным колодезной водой.

Я тянула изо всех сил берет книзу, он растягивался, облепляя Вовину голову и принимая ее форму. Это самый ответственный момент при изготовлении шапочки «вив ля Франс». От него зависит, будет ли шапочка в дальнейшем, когда высохнет, хорошо прилегать к голове и ушам.

Берет превратился в колпак, накрывший глаза, и нос, и рот Вовы. Это потешало Самостина, он хмыкал, называл Вову фрицем.

Розовая девушка, продолжая шептаться с Зиной, с интересом поглядывала в нашу сторону.

От Вовиной головы сквозь мокрый берет просачивается какой-то

приятный запах не то туалетного мыла, не то шампуня, не то «шипра» — словом, чего-то такого, что исчезло из нашего обихода.

— Вова! Твоя голова имеет совершенно сепаратный запах. Ничего общего с шинелью.

— Я сохраняю индивидуальность с головы, — сипло говорит Вова, голос его глушит мокрый берет.

Розовая девушка прыскает и опять принимается за свое. Я догадываюсь, о чем они шепчутся. Зине Прутиковой после ее удачного выступления на вечере предложено перейти в Военный институт. Четыре года учебы. Таланты надо беречь. Розовая девушка вызвана обсудить с Зиной возникшую ситуацию. Не с нами же Зине Прутиковой обсуждать ее.

Я протянула керосиновую лампу Самостину, прося его осветить, и приступила к художественной обработке колпака.

— Будет у тебя, Вова, шлем культурный. Не из портянок, как у немцев.

Ножницы елозили по его щеке — я вырезала ту часть колпака, что закрывала его лицо, оставляя на лбу мысик.

Самостин светил нам, приподняв лампу. Краем глаз я иногда замечала, как он, мотнув головой туда-сюда, изучал нашу комнату, беспокойно стараясь что-то понять, и хохолок на его макушке, освещенной лампой, смешно топорщился.

Шапка готова. Теперь ей остается подсохнуть на Вовиной голове, как на болванке. Вова посмотрел в Зинино круглое зеркальце и остался доволен.

— Женщины! — сказал он. — Вы цены себе не знаете. На вас земля держится. И зачем только вы отправились на фронт! Кто будет стеречь наши очаги?

— Ваши очаги? — гневно спросила Зина Прутикова.

Я увела Самостина за черную печку. Он поглазел на еловую ветку, воткнутую в обои над моей кроватью, спросил:

— Так уезжаете?

— Вроде так.

Вошла Ника. Она была хорошо нам видна отсюда — стояла посреди ярко освещенной части комнаты, как на сцене, в брюках, в замшевой куртке.

— Вы — амазонка! — ахнул Вова.

— Моя американская бабушка, посылая мне эту куртку, полагала, что внучка участвует в пикниках и в аристократической охоте на диких коз и оленей...

Самостин в волнении приподнял плечо, что-то хотел сказать, но передумал.

— Да ты сядь.

Он сел на мою кровать.

— Сколько ж вас тут нашелкалось! И все девки?

— Замужние тоже попадают.

Он вдруг буркнул:

— А я жениться решил.

— С богом.

Разговор не клеивался. Улыбка неуверенно блуждала по темному лицу Самостина.

Отвел плечо и локтем указал:

— Вон на ней.

— Губа не дура.

— А что? Не пойдет?

Я потрепала его по шершавым волосам — отращивает, а на гражданке сбрасывал по-солдатски.

— Ну с чего ей идти за тебя? Сам подумай.

Он втянул голову в плечи, самолюбиво надулся.

— Что уж так твердо ты за нее все знаешь? Ей что, жить не хочется?

— Всем хочется.

Но его не интересовали все. Ника же, по его мнению, перекочевала из общежития в армию, потому что деться некуда было. А теперь, став женой преподавателя Военного института, она тоже сможет зацепиться за кумысосанаторий.

Она улеглась на постели в брючках и куртке, не догадываясь, какая выгодная сделка ей подвертывалась.

— Моя бабушка,— говорила она Вове,— наивная американская старуха...

Что только мелет, что мелет при совершенно посторонних лицах. То придумала какое-то «партикулярное несчастье», то «потайной пояс». Теперь вот бабушка. Да на наши курсы не то что с американской бабушкой — со снятым с работы отцом хода нет.

— Ты чего на меня так глядишь? — заерзал Самостин. — Не правлюсь? Так, да? — И хмыкнул: — Ты скажи, не стесняйся.

— Да нет, чего там. В военной форме ты представительный мужчина.

Он бочком пошел из комнаты, не глядя в Никину сторону. Я, накинув шинель, за ним.

Внизу, в сенях, Белуха шевелила просунутыми в дверь рогами — тянет ее в теплое жилье.

Я вывела Самостина во двор. Морозно, звезд нет. Все в сизой дымке.

— Так я завтра зайду.

— Заходи, конечно.

Стоит, ждет, не скажу ли еще чего.

На морозе ни о чем толком не договоришься. И вообще после войны разберемся.

Я вернулась в дом и заглянула к Кате. Она сидела на своей кровати, уткнувшись лицом в ладони. Получила письмо от дяди: ее мать с детьми пыталась выехать до прихода немцев, но известий от нее пока нет. Я села рядом. Катя отняла от лица руки — глаза сухие, запавшие.

Мы посидели, прижавшись друг к другу, молча, оцепенело.

Когда я вернулась в «учительскую», Ника спала или притворялась — Вова кого хочешь утомит разговором. Он дожидался меня, сидя понуро на опрокинутом табурете. Он потешно выглядел в фетровой шапочке — на лбу мысик, нацеленный к переносице, нос толстый, щеки впалые. В сущности, у него чудаковатое, безобидное лицо.

Шапочка высохла, и Вова ушел в ней, сунув пилотку в карман.

Зина Прутикова не спала. Подруги ее уже не было, а она лежала, отвернувшись к стене. Беда с ней.

Ее заметили, выделили, да совсем не за то, что она ценила в себе. Так что же — побочку фронт, испытание? Учиться? Петь на вечерах «Частича черта в нас...»? Высшее образование получать до самой победы?

Зажились мы тут, в Ставрополе. Долго тянутся последние дни.

## 5

Метет, и вечер не для прогулок. но мы с Никой в последний раз шагаем не нашагаемся. В яловых сапогах, в теплых шапках-ушанках — выдали нам, снарядили в дорогу. Всё чин чинарем, как скажет Митька Коршунов.

Завтра мы простимся со Ставрополем и отправимся по Волге на

санях — сто двадцать километров пути до Куйбышева, а оттуда по железной дороге в ту сторону, куда нас пошлют.

До свиданья, Ставрополь. Мы прожили здесь не четыре месяца — в наших дипломах сказано, что мы окончили «четырёхмесячные» курсы, — и не два с половиной месяца, как это было на самом деле. Может быть, мы прожили здесь день, или полжизни, или сколько-то еще, но во всяком случае в другом измерении.

Завтра мы отрываемся от крыши, от стен жилища, от черной круглой печки и ныряем в белую метель, в бескрайность фронта. Отчего же так приподнято на душе?

Навстречу кто-то движется из снежного вихря — женщина в плюшевой шубейке, с коромыслом на плече. С полными повстречалась нам. Уж и вовсе хорошо.

Жмемся к забору, давая ей пройти.

Скрипят полозья — тянутся сани, груженные сеном. Мы — за ними. И опять хорошо.

От сена пахнет летом, чем-то несбыточным, мирным...

А за забором в обледенелом окне шевелится огонек.

«Повсюду вечность шевелится».

Может быть, потому нам дано почувствовать ее шевеление, что нас ждет дорога на фронт.

После нас придут другие — новый набор. Лягут спать на наши матрацы, займут наши места за партами в помещении райзо. Учить их будут капитаны с решительными проборами в волосах. Грюнбаха не будет.

Мы и сами понимаем, он мог возникнуть только из хаоса отступления, эвакуации, смятения.

«Будьте живы, геноссен!» Нет, не придет он помахать ручкой нам на дорогу. Отбыл. Раньше нас. Эту брешь не заполнить, даже если б сам поручик Лермонтов явился нас провожать.

Для выпускного вечера — на этот раз настоящего, прощального — командование сняло столовую райпо и предоставило нас самим себе.

Из агитпункта принесли две лампы-«молнии». Светло. Столы сдвинуты. Пьем из граненых стаканов красное. Официантки разносят тушеную баранину.

С улицы ломятся в запертую дверь проезжие крестьяне, волжские грузчики, рабочие с нефтеразработок.

Заиграл баян. Петька Гречко выскочил из-за стола, простучал подошвами по кругу и встал перед Анечкой. Она медленно поднялась, покосилась на меня захмелевшими глазами, перекинула на спину косу и величаво поплыла под баян.

А потом, сидя у столов за пустыми гранеными стаканами, мы пели наши любимые песни: «Белеет парус одинокий» и «Уходили комсомольцы на гражданскую войну».

В Ставрополе в гнетущие дни отступления мы их не пели — слишком патетичны.

И вот теперь опять:

Дан приказ: ему на запад,  
Ей — в другую сторону.

Слышу голос Зины Прутиковой. Расстается она с нами сегодня, что ли? Будет учиться на факультете, в кумысосанатории? Молчит, не признается.

Прощаясь с нами в дверях, сонные официантки просили не уносить из столовой ложки.

На улице стихло. Светила луна. Ставрополь спал, раскинувшись на



снегу доверчивыми маленькими домиками. Мы толпой ходили по белым улицам, громыхая песней.

Вот и двухэтажная школа на углу — наше общежитие. Проваливаясь по колону в снег, застучали в тети Дусяно окошко:

— Выходите, тетя Дуся, к нам! Последний раз гуляем...

За темным стеклом — словно никого живого. Прощай, тетя Дуся! Едем на войну.

Мы долго ходили берегом Волги. На той стороне вспыхивали и гасли огоньки — наверное, на нефтеразработках.

## 6

Белый пар клубится у заиндевелых лошадиных морд. Возницы стоят кучкой возле передних саней. Дед — в овчинном тулупе, реденькая борода отлетает на сторону по ветру. С ним колхозные пацаны — поигрывают кнутовищем, похлопывают в рукавицы.

Мы тем временем прощаемся, трясем друг друга за руки.

— Ну, вив ля Франс! — говорит Ника, хотя шапка на мне теперь другая — офицерская, с цигейковым мехом.

Я в команде отъезжающих, а Ника поедет завтра. Наш разъезд растянется на три дня. А потом Ставрополь опустеет.

Негнушмиися рукавицами я провожу вокруг себя: не забывай, мол, про «потайной пояс». Посмеиваемся. Слова прощальные не идут с языка.

А все уже задвигалось, закрипело. Полежай в сани.

Мы с Анечкой вместе. Ногами зарылись в солому. У нас на двоих пара валенок и пара шерстяных носков, через каждые два часа будем меняться.

Зина Прутикова порывисто кинулась к нам, закутывает одеялом Анечку, потом меня. Сама она выедет завтра — не захотела остаться на факультете. Я обхватываю ее за шею, прижимаюсь лбом к ее лбу, вернее цигейковым козырьком своей ушанки к ее цигейковому козырьку.

Все, что разводило нас, сеяло холодок, отлетело. Осталось одно — наша общая судьба.

Из-за Зининой спины появляется Гиндин. Наклоняется и тихо, торжественно говорит:

— Я рад, что был знаком с вами.

Сентиментальная душа у нашего марксиста. Но мне хорошо от такого тепла и ласки, мне уютно сидеть, зарывшись в солому, укутавшись в прожженное уютном одеяло. Побольше бы таких слов в дорогу.

Все тут. Все в сборе. Только не хватает тети Дуси. Получила весточку от мужа из части и, ничего не сказав нам, ушла пешком в Куйбышев повидать его.

А Ника? Слышу ее:

— Ангелина-лапонька, парашютистка, сигай же в солому... — Едкий, насмешливый, привычный голосок.

Верчу головой, высвобождаюсь из одеяла, отыскиваю ее. Она стоит, запихнув руки в карманы шинели. Цигейковый мех, из-под него по бровям челка, из-под челки смотрят на меня грустные Никины глаза.

Уже закрипели полозья, поплыли окна бывшего райзо. А мы никак не расцепимся взглядом.

Вот-вот оборвется наша последняя ниточка. Секундным прозрением я вдруг охватываю ее фронтовую судьбу. Фантазерка, мистификаторша, вруша. Ходить повадилась по краю пропасти. А война — это всерьез, без жалости, сплеча и без разбора.

— Ника, — кричу, — Ника!

Что же еще? Если б она ехала на каникулы к маме, тогда можно бы крикнуть: береги себя! будь осторожна! и прочее. А сейчас их не выговорить — смешные слова.

Она выдернула из кармана руку в варежке, машет. Медленно уходит дэма. Что ни дом — на шесте, на дереве скворечня. «...Честное даем мы слово, что нигде и никогда мы не сделаем плохого, не разорим их гнезда»...

Последняя заповедь Ставрополя:

Из проулка, ведущего в поле, выбегает расхристанный — шапка съехала на ухо, шинель враспашку — Самостин. Торопился из кумысо-санатория, добежал, успел.

— Ника! — кричу (она идет за санями) и показываю на Самостина: гляди, твой жених.

Поняла меня, усмехается.

Самостин подскочил к саням, трясет мою руку. Лоб его взмок. Бежал, трудился, чтоб успеть проводить. Я чувствую себя растроганной. Улыбка дрожит на его темных щеках, высыпают мелкие, белые, похожие на молочные зубы.

Он отстал от саней, стоит, не поправляя шапки, не застегнув шинель, какой-то растерянный, сбитый с толку. Остается в глухомани, в кумысо-санатории, откуда даже лошади ушли на войну.

— Витя, до свиданья!

Сани дернулись, побежали по накатанной мостовой, и наш возница, парнишка лет пятнадцати, побежал рядом, не выпуская вожжей.

Уже передние сворачивают, сейчас и мы за ними. За поворотом скроются с глаз провожающие. Ника машет чем-то белым. Расстаемся. Может быть, еще увидимся, если повезет, в Куйбышеве или в Москве. И все-таки это уже прощание. Мы затеряемся где-то в войне, и я никогда больше не увижу ее так отчетливо, так полно, как в эти минуты.

Наши сани свернули, скрипя и кренясь, и пошли резвее по пустой базарной площади, взвихривая ошметки соломы, разгоняя по снегу мерзлые лошадиные катыши.

Позади остался последний дом — портного Чеснокова.

Уходит Ставрополь... Уже лошадь пошла под гору, прямо к Волге, по разъезженной дороге, подравниваясь с другими санями. Наш возница прыгнул в сани, стегнул лошадь и во всю мочь закричал:

— Э-эй! Волга-барыня!

## Глава шестая

### 1

Тащится лошадь, покачиваются сани. Над головой — сизая пелена. Белая Волга под нами, белые берега исчирканы прутьями кустарника, высунувшегося из-под снега. За пологим берегом — белый простор сомкнувшихся земли и неба. И еще где-то там смутной стеной лес без зубьев — туман сровнял.

Едем. Впереди нас на санях — Ангелина, Митька Коршунов и еще кто-то, примелькавшийся нам со спины за эти часы. Какой он с лица, не могу припомнить. А между тем он старшой и везет засургучеванный пакет с предписанием нашей команде.

Тюх-тюх — лошадь затрусила быстрее вслед за передними. Лежу, зарывшись в солому, головой на Петьки Гречко бедре.

Дышу — дымлю паром. В ноздрях иней. Край одеяла, обледенелый, колкий, тычется в лицо.

Чьи-то следы-копытца карабкаются вверх на берег. А спадет вниз

берег — и разбежится кромешно белая даль, выманивает из саней. А то вдруг домик в снегу. Кто там? Что за жизнь? А мы все мимо, мимо.

Едем древним санным путем. Гляжу в плывущее надо мной небо, будто бы заваленное снегом, как земля.

У меня под боком завозилась Анечка.

— Тебе чего?

— Ничего, ничего.

Спохватываюсь: ведь давно пора отдать ей валенки.

— А ты чего ж молчишь!

Яростно принимаюсь стягивать валенки.

— Уж не так у меня замерзли ноги. Ты еще вполне могла бы в валенках побыть.— Стесняется.

— Ребенок, действуй!

Мы обмениваемся обувью. Теперь Анечка в валенках, я в ее шерстяных досках и сапогах. А Петьке Гречко нам нечего предложить. Он что-то не подает никаких признаков жизни — приуныл, замерз парень.

Мы окликнули его, он зашевелился, выпрастывая из соломы ноги. Спрыгнул и побежал за санями, спотыкаясь, выбрасывая в стороны руки, греясь.

Встречный обоз. Возницы соскочили, сошлись в кучу — обмен новостями. Не спешат разъехаться, канителиятся. А потом, объезжая, переругиваются друг с другом беззлобно.

Но вот опять все угомонилось у нас в санях. И опять плывет сизая пелена, уходят снежные холмы...

Сиплый собачий лай. Над крышами дым колом упирается в безветренный морозный воздух. И уже не снег — половицы под ногами; душное, кисловатое тепло избы; плач ребенка; возня и чавканье за бревенчатой стеной во дворе; молчаливый взгляд серых глаз из-под платка, терпеливо вбирающий одного за другим всю нашу ватагу, и рука в рыжих отсветах подгребает красные угольки кочергой, раздувает для нас огонь.

Мерзлый хлеб, отогретый в избе, пресный, безвкусный; чугунок дымящейся каши, медный хозяйский самовар с вмятыми боками.

Отдымили самокрутки, сушатся портянки. Спим под шинелями, на соломе, расстеленной по полу.

Просыпаюсь. Митька босиком, в гимнастерке, засупоненной ремнем, присев на корточки, кричит над головой Петьки Гречко:

— Вставайте, граф! Вас ждут великие дела!

Потешно. Это студенческая побудка в общежитии. Говорят, так слуга будил Сен-Симона.

— Поторапливайсь! — бросает нам пятнадцатилетний возница, войдя с улицы. Он деловит и степенен, приглядывает за нами, как старший за юными шалопаями.

Сейчас, Ваня, напьемся давай чаю из самовара и поедем.

Ангелина, сцепив пальцы рук, потерянно слоняется по избе, как перед дверью экзаменатора, готовится сдавать испытание по немецкому языку.

Ангелина-матушка, не в немецком дело.

А в чем?

А черт его знает в чем. Вот двинулись, едем на фронт. А там будь что будет.

— По коням! — Митька воодушевлен, бодр и свеж небывало.

Лошади двинулись по деревенской улице. Избу, где мы ночевали, уже не различить — осталась в одном ряду с такими же, как сама, смешалась с ними. Так и будет стоять в неизвестной деревне, в стороне от войны. А мы — поехали. Нас ждут великие дела.

Скатываемся вниз, дух захватывает. Ваня-возница раззадорился, нахлестывает лошадь, гонит стороной, в обгон остальных. И мы того гляди вывалимся, едва живы остались, пока съехали на Волгу.

— Запевай! — кричит Митька.

Пока еще чай из медного самовара согревает и холод не продрал до кишок — весело. Дерем глотки вслед за Петькой:

Эх, тачанка-ростовчанка,  
Наша гордость и краса.  
Пулеметная тачанка,  
Все четыре колеса.

Из поземки возникают смутные фигуры. Догоняем их, поравнялись, замедляем шаг. Женщины в черных ватных пиджаках, замотанные платками, посторонившись, идут гуськом сбоку от нас по выдолбленной в снегу пешеходной тропе рядом с санным путем.

Стой! Песня еще протянулась одиноким беспечным голосом и тоже стала.

Тетьа Дуся!

Мы с Анечкой вываливаемся из саней — и к ней. Стоит, горбясь, в темном пиджаке, замотанная платком. На груди под одеждой топорщится сверток.

Идут в Куйбышев повидать в последний раз мужей, забранных на войну, несут им из дому хлеб, крутые яички, табак.

Лошади наши едва тянут. Всех посадить некуда. Но для тети Дуси место отыщется. Стопились вокруг нее, просим сесть к нам в сани.

Не соглашается. Пойдет дальше вместе с женщинами.

Мы простились с ней и поехали.

Женщины отстали, скрылись за пеленой, с ними тетя Дуся. Как честила его, пьяного, какие только беды на его голову ни призывала — это к нам в «учительскую» сквозь пол долетало. Теперь идет под вьюгой, замерзая, горбясь, спотыкаясь, топя валенки в снегу — еще раз протиться.

Из морозной пелены — опять цепочка женщин. Еще проехали — и опять еще одна темная цепочка на снегу.

Двинулись женщины по всей Волге. От Ставрополя пройдена половина пути, впереди еще шестьдесят километров... Ни предписаний у них, ни сроков прибытия. Не засургучеванный пакет — гостинец пригрет за пазухой — последний привет и последняя забота из дому.

Мы, казенные, обеспеченные провиантом и лошадьми, мы, нужные для великих дел, что-то мы притихли. Не поется.

В обед мы опять поползли вверх на берег, в селение. Вылезли из саней. тащимся, нашариваем, где поплотней под ногами, чтоб не оступиться в снег.

Вдруг из вьюги — пес, сидит пружинисто на снегу, оскал опутан седым инеем. Овчарка. Сбоку дуло винтовки из-за полушубка — часовой. Дальше — согнутая над лопатой спина в ватной телогрейке. Человек с лопатой увидел нас, перестал загребать снег. Черная, в седых ключьях борода, нестарое, умное лицо.

— Проходите! Не останавливаться! — окрик часового.

Ноги несут мимо, столбенея. Оборачиваюсь. Скорбный, тлеющий эгонек в глазах светит нам вслед. Еще несколько шагов, и вьюга сомкнется за нами. Расчищают трассу. Значит, где-то дальше — глухие заборы, колючая проволока, сторожевые вышки...

Взгляд, провожающий нас, такой нецепкий, тихий, западает в душу.

## 2

Город возник высоко на холме, в поднебесье, миллионами огней. Окоченевшие, мы с восторгом взирали на это празднество жизни. Огней большого города мы не видели бог знает сколько — Москву мы оставили погруженной в мрак маскировки.

С утра мы на улицах, в людской толчее. Город перегружен сверх сил. В октябре здесь нашли пристанище тысячи москвичей.

Торговля книгами. Огромная реклама желудевого кофе на торце кирпичного дома. Афиши драматического театра.

Поток людей — все куда-то движется, движется. Мимо витрин довоенных, застывших. Муляж — нарезанная колбаса. Какая-то грустная гримаса у этих витрин. Но по сравнению со Ставрополем здесь еще бойко. Там мы выгребли из кооперации «Заря новой жизни» даже береты по девять рублей за штуку; одеколон, что мы не успели купить, люди распили; прилавки и полки опустели, и кооперацию можно на запор, до новой эпохи. А гут — военторг. И баня здесь действует. Нам, транзитным офицерам, даже кусочек мыла дают. Крошечный. Но ведь это не ставропольская зола — кусочек этот мылится, пенится, и всю эту благодать стараешься на себя гнать, чтобы ничего мимо не шлепнулось.

— Храждане! — всовывается голова служительницы. — Потарапливайсь! Запускаем другую партию!

Окатываемся в последний раз и шлепаем на выход, в раздевалку.

На улице нас уже ждут. Ропот и нарекания: из-за нас задержка. Мы вдесятером, как сиамские близнецы, в особенности если надо в столовую: на нас ведь на всех один продаттестат, хранится вместе с засургучеванным пакетом у старшего.

За гарелками горохового супа все понемногу отходят, благодуществуют.

— Если б они еще горох протерли, — с тихой резонностью вставляет Анечка между двумя ложками супа, — или б замочили его до того, как варить...

— И так не суп — поэма, — говорит Петька Гречко.

— Еще греночки сюда полагаются. — Все Анечкины сведения о мире вот так же сугубо позитивны.

А голубые глазки снова смотрят простенько, не то что в последние дни перед отъездом из Ставрополя, когда новость что тревожное началось блуждать в них.

Протискиваемся в проходе между столиками с ложками в руках. У двери женщина в грязном фартуке отбирает ложки. Ложка — это пропуск на выход. Сдал, тогда иди. В Ставрополе доверия больше было. Но тут обстановка другая. Едут люди на фронт, ложку — в сапог. Не напасешься.

У некоторых командиров на петлицах самодельные кубики и шпалы: в куйбышевском военторге их нет, и кто сумеет, сам нашивает из материи — аппликации. Нам тоже полагается два кубика, нас ведь произвели в технички-интенданты II ранга. Звание такое нам не нравится, но командирские кубики были бы очень кстати в сутолоке у кинотеатра.

Дают «Антон Иванович сердится». Я эту картину видела еще в Москве, и другие видели. Но мы штурмуем кассу, жаждем зрелищ, услад цивилизации. В нас вселилось что-то беспокойное — носимся по городу.

Ночуем мы на лестничной площадке второго этажа, на койках, у запломбированных дверей. Утром сюда придут на работу сотрудники управления, сорвут с дверей пломбы и сядут за столы. Под нами, на первом этаже, помещаются ВОКС и Совинформбюро. Среди этих

важных учреждений лежим на койках, обдумываем, как нам быть.

Через день мы отправимся дальше по железной дороге, в Пензе пересадка — на Южный фронт. Можно, не высаживаясь, проехать прямым до Москвы, а оттуда на юг. Заманчиво! Но, говорят, в поезде могут проверить наши литера и посадить. Словом, как повезет.

## 3

Нам повезло. Поезд тронулся, а наш старшой не явился. Только что был с нами, выправлял литера у коменданта, отправил нас на посадку, а сам отстал. Вися на поручнях, мы высматривали его на опустевшем перроне, мимо которого плыл отходящий состав. Что стряслось с ним? Об этом мы узнали много позже. Город ли так его раззадорил, или просто ему захотелось перед нами отличиться забавной выходкой, но он оплошал. У спящего на вокзальном кафельном полу лейтенанта он попытался взять отстегнутый ремень с командирской пряжкой. Лейтенант проснулся, поднял шум, и нашего тихоню-старшого сволокли к коменданту, не вняв тому, что при нем засургучеванный пакет на всю команду, а поезду время отойти.

Мы оказались в трудном положении — без предписания и без продаттестата.

Решено было держать курс на Москву, в Генштаб, за дубликатами. Ехавший в одном с нами вагоне полковник вызвался помочь нам попасть в Москву без пропусков.

Мы не сошли в Пензе. Мы поехали дальше. За окнами был мрак, поезд шел в зоне полного затемнения. Иногда вдруг являлись станции с тревожно мигающими фонариками, и было удивительно, что поезд не сбился, шел к пункту назначения.

На вторые сутки вечером мы подъехали к Москве.

Давно, когда мне не было еще трех лет, мы приехали из Белоруссии в Москву. Раздвинулись двери теплушки, и папа — он встречал нас на вокзале — снял меня и понес, завернутую в мое красное ватное одеяло, по ночной, незнакомой, огромной Москве, где нам предстояло жить. А рядом семенил мой старший брат.

Между тем и этим приездом в Москву заключена вся моя жизнь. Сейчас я куда больше робею от предстоящей встречи.

Мы благополучно миновали контрольный пост при выходе с вокзала, простились с полковником и вышли на площадь. Перед нами была земля обетованная, а мы не знали, как нам быть. Через полчаса наступал комендантский час — даже до центра не успеть добраться. Старшина позвал нас с собой, и мы пошли через площадь к двухэтажному домику, где жила его бабушка.

Старшина — это было теперь лишь прозвище. Его аттестовали: он такой же техник-интендант II ранга, как и мы. Больше он не командовал нами, но переучиться и называть его по-новому у нас уже не хватало времени.

Нас пустили в дом и провели в большую комнату, где в постели лежала старушка. Внук долго тряс ее руку, а потом пригнулся и припал к ее лицу своей бакенбардой. Она поздоровалась за руку с каждым из нас и тихо спросила сахару. У нас его не было.

— Мы сами, бабушка, сутки отлабали без ничего. — Язык Старшины состоит из странной смеси военных терминов с жаргоном «лабухов». До призыва в армию Старшина, бросив школу, играл в джазе кинотеатра «Ударник».

За спущенными на окнах бумажными черными шторами, за стеклами была Москва. Мы разостлали на полу одеяла и легли, укрывшись шинелями. В комнате горела тусклая лампочка.

Бабушка громко вздохнула и опять попросила сахару.

— Бабушка! — отрывисто сказал Старшина своим довольно пошлым голосом. — Время военное. — И натянул шинель на голову.

Митька встрепенулся, вскочил, прошлепал босиком к ее кровати.

— Бабушка! — Он стал мягко объяснять, что у нас даже продаттестаты пропали. Обещал, что утром сварим кашу из концентрата.

Он вернулся, присел возле Старшины, будто между ними никогда и ссоры не было. Я еще в школе замечала: тот, кто одолел в драке, по прошествии времени питает слабость к пострадавшему.

Нам хотелось спать, мы натянули на головы шинели, чтоб не слышать, как вздыхает бабушка.

Наш дом стоял, большой и обшарпанный, не ведая ничего о том, что это я перед ним на тротуаре с рыжим чемоданом в руке. Я еще не смела войти за ограду, а за ней, у самых стен, у многочисленных подъездов проходили его жильцы.

Нашему свиданию недоставало взаимности, дом был слишком большой, слишком каменный, чтоб заметить меня.

Поколебавшись, идти ли разыскивать управдома — мои двоюродные сестры Соня и Вава писали мне, что, уезжая, сдали ему ключ от квартиры, — я вошла в подъезд.

Новых надписей совсем не прибавилось. Те же «Туся + Дима == Любовь», и для наглядности нарисована свекла, пронзенная стрелой.

Я нажала кнопку, но звонок не действовал, и я постучала в дверь. Услышала: кто-то двигался в нашей квартире, рычал, упирался, кого-то уговаривали, волокли.

Я долго, настойчиво стучала, пока наконец дверь на цепочке приоткрылась, из щели на меня глянуло испуганное женское лицо.

Дверь захлопнулась. Звякнула вытянутая из паза цепочка, и на этот раз дверь распахнулась передо мной.

— Ну уж если вы такие настойчивые, — тихо сказала мне пожилая женщина с вытянутым лицом. Она была в ватнике, надетом на ситцевое платье, в валенках.

Я нерешительно шагнула через порог и опустила на пол чемодан.

— И здесь отыскиали. Опять вас из воинской части прислали. А я после ночи, я спать имею право или нет? Как думаете? — тускло спросила она.

Я сказала что-то насчет того, что не разыскивала ее и что она принимает меня за кого-то другого. Я хотела пройти, но она преградила путь в квартиру.

— Зря только беспокоитесь. — Настойчиво и в то же время робко ткнула она мне какую-то бумажку. Мне пришлось прочитать про то, что сука Джека должна ошениться.

Женщина беспокойно оглядывалась через плечо на дверь папиной комнаты — оттуда доносилась возня и глухое рычание.

— Я только на одну ночь сюда или, может быть, на две, не больше. Пока с нами разберутся в Генштабе...

Громоздко и хвастливо прозвучало здесь это слово — Генштаб. Я села на чемодан, подобрав под себя полы шинели. Теперь мне был виден велосипед, подвешенный на крюке под самый потолок.

— Здесь все занято. — сказала женщина.

— Но я ведь здесь жила. Ведь вон же мой велосипед...

Она повела головой за моим указательным пальцем, и, кажется, до нее стало теперь доходить что к чему.

— Вы, значит, хозяйева,— соображала она, приперев спиной дверь папиной комнаты.— А мы ничего вашего не трогаем. Так что, пожалуйста. Мы не сами по себе, не самовольно — переселены сюда из задних корпусов. Наши корпуса законсервированы. А нам бы еще лучше по своим квартирам жить.

Не отлипая от двери, она приоткрыла ее, вместе с ней отъехав в сторону, и из папиной комнаты вышла собака.

Этот доберман-пинчер ни в коем случае не был «сухой Джекой», потому что он был кобель. Он едва обратил на меня внимание, резво простучал по коридору тонкими, породистыми ногами, развернулся, прошел еще разок и, закончив разминку, удалился опять в комнату, сопровождаемый хозяйкой.

Я озиралась в опустевшем коридоре. Сюда выходили еще две двери, глухо, отгороженно захлопнутые. На одной из них, стеклянной, матовой, была прикреплена бумажка. Я подошла ближе, и от радости и волнения у меня застучало сердце, а слова на бумажке запрыгали. Рукой моего старшего брата было написано: «Привет вам, товарищи, приезжающие с фронта и из тыла! Заходите и располагайтесь. Спать укладывайтесь на клеенчатый диван во избежание распространения бекасов».

Чего только не было затолкнуто в эту комнату! Посреди нее на обеденном столе высился пружинный матрас, прикрытый моим ватным одеялом. Колченогий столик с семейным альбомом привалился, припадая, к буфету. Он вытеснен со своего места у стены черным клеенчатым диваном, переехавшим сюда из папиной комнаты, где теперь скрывался от мобилизации доберман.

Я закрыла за собой дверь. Потом повернула ключ, торчавший в двери. Постояла и двинулась к черному дивану. Споткнулась, наподдала что-то сапогом — тяжело покатила кожаный мяч. Я метнулась за ним, достала его из-под стула. Держала его на руках, не зная, куда его деть. Этот папин гяжелый мяч для упражнений больной руки.

Я положила мяч на подоконник, подперла его утюгом, чтобы не скатился, пошла к дивану.

Первым делом я отстегнула ремень, сорвала с себя гимнастерку, блузку и рубашку и вывернула их наизнанку. В швах ютились мои дорожные мучители — две мерзкие белые вши, «бекасы», как их назвал брат в своем приветствии. Я пала духом от отвращения и села в тоске на холодный клеенчатый диван.

## 4

Москва еще в утреннем сумраке. Длинный коридор Генштаба освещен электричеством. Сидя на полу, военный, стянув валенок, перематывает обмоткой ногу. По коридору снуют полковники с настольными лампами и корзинами для бумаг, с чернильными приборами в руках. Налагают свой кабинетный быт, потрясенный эвакуацией.

Вот он какой, коридор Генштаба в первые дни января сорок второго года.

Толкаю дверь под нужным номером и вижу своих ребят. Опять мы в сборе. Расселись полукругом на кожаных стульях. Дама Катя тут и Ангелина, дядя Гиндин и Зина Прутикова.

Разговаривая шепотом, откашливаются осторожно, как в театре перед поднятием занавеса.

А Ники нет. По цепочке шепотом передают мне: ее команду сняли



с поезда в Пензе — отправили на станцию Каменка, в штаб Южного фронта. Значит, все. Не увидимся больше.

А двум другим командам посчастливилось благополучно проскочить до Москвы. И вместо того чтобы ехать дальше в Каменку, они увязались за нами в Генштаб. Нам-то было велено явиться — нас передают в воздушнодесантные войска, — а они чего пришли? Теперь тут вместо нашей «обезглавленной» команды, оказавшейся в пути без старшего и без командировочного предписания, почти что тридцать человек.

Еще две-три долгие минуты, и из двери — не той, в которую проникла сюда я, а из внутренней, ведущей в другую комнату, — появляется наша Судьба. Она не в тоге и без светильника в руках. Трубы не возвещают о ее появлении. Гремят лишь наши стулья. Мы бурно встаем перед Судьбой с майорскими шпалами на петлицах, прижимающей к белору папку с болтающимися завязочками. Покивав нам, майор садится за письменный стол, папку — перед собой, и локти по сторонам ее, как часовые.

Мы тоже усаживаемся на своих стульях, тихо дышим.

У майора скромное, симпатичное лицо. Белесый чубчик свисает по лбу, маленький прилепнутый нос сосредоточенно морщится.

— ВДВ — это воздушнодесантные войска, — говорит майор. — Для нанесения удара по врагу с тыла на временно захваченной им территории. Теперь вместо отдельных десантных полков, как это было до сих пор, будут действовать целые десантные бригады. Бригады формируются, им нужны переводчики. Мы решили передать вас в ВДВ.

Просто, по-деловому, без лишних слов.

— Вопросы имеются?

— Нет вопросов! — звонко за всех Зина Прутикова. Хватает инициативу на лету. — Все ясно! — У нее это неплохо получается, во всяком случае к месту.

Окидываю взглядом наше полукружье. Ангелина придерживает руками на коленях какой-то толстенный фолиант. Ее большое белое лицо внимательно, как на занятиях в Ставрополе. Поверх нагрудного кармана, под мощным плечом Ангелины как высший орден — скромный и гордый значок парашютиста. Один-единственный тут на всех нас.

У Митьки Коршунова светлая прядь косо легла между бровей, но он не шелохнется, не откинёт ее. Мне виден один всего глаз его, въехавший глубоко под бровь, накаленный гордостью за ниспосланный военный жребий.

Все же не хватает чего-то, каких-то слов, напутствия, что ли.

Майор завязывает и развязывает шнурочки у папки.

— Вот так, значит, — дополняет он к сказанному. — Передаем вас. Кто хочет, конечно, А кто не хочет, пусть скажет.

Простовато. Даже курьезно, до чего же простовата эта самая патетическая минута нашей жизни. «Быть или не быть...» «Хотит или не хотит...»

Кто-то задвигался, встал. Высокая пышноволосая девушка с выпуклыми, часто мигающими глазами.

— Я хочу сказать, товарищ майор... Дело в том, что я не переносу высоты. Даже когда с моста вниз смотрю, голова кружится...

— Понятно. Фамилие?

Она называет, и майор глядит в свою папку и что-то там отмечает.

Эта девушка жила в большем классе на первом этаже, там же, где Ангелина. Она москвичка, из Сокольников, училась в пединституте. Добрая, компанейская девушка. Оказывается, голова у нее кружится на

мосту. Она чересчур буквально примеряет себя к делу, признается чистосердечно в непригодности. Она просто не поняла, о чем речь.

Головокружение, плоскостопие, рахит — это все из зоны практического. А речь сейчас о другом. «Быть или не быть...»

Так что высаживаем одну потерпевшую.

— Кто еще?

Минута безмолвия.

— Я! — кто-то поднимается, называет фамилию. — Я вам потом объясню...

Майор изо всех сил морщит приплюснутый нос, вглядываясь в говорящего голубыми глазами.

— Я вынужден просить оставить меня в сухопутных войсках... У меня есть основание...

Страшно взглянуть в его сторону.

Но майор с белобрысым чубчиком не делит нас на чистых и нечистых. Он покладисто берется за свою папку, дергает шнурочки, которые успел завязать, и, отыскав нужную фамилию, делает пометку карандашом: галочку, или крестик, или какой-то там знак зодиака.

— У кого еще вопросы будут?

Какое оружие выдадут? Снабдят ли компасом или самим поискать надо? Брать ли с собой одеяло?

Да мало ли о чем можно спросить. Но — перекрыто. Ведь еще Зина Прутикова за всех ответила: «Все ясно!» — и если вопрос задашь — выходит, колеблешься.

— У меня вопрос!

Боже мой, Анечка.

— Фамилие?

— Любимова. Я хотела спросить, брать ли одеяло? И дадут ли нам рюкзак?

Майор, не взглянув на нее, отвечает, но я не слышу, слежу за его карандашом, что-то отыскивающим в папке.

— Еще у кого вопросы?

Смотрю в пол, паркетный, ненатертый, обшарпанный.

Нет больше вопросов. Ни у кого!

Майор зачитывает список военных переводчиков, направляемых в ВДВ. Все уцелели в списке, кроме троих. Третья — Анечка.

Все встают, направляются к выходу, одна она не сдвинулась с места. Я пробираюсь к ней. Анечка растерянно, молча хватается за мою руку. Из глаз ее одна за другой выкатывают слезы, ползут по щекам, сваливаются за воротник, на петлицы с зелеными кубиками.

— Не надо, ну, чего ты. Ну, Анечка.

— Как же теперь? Как быть? — с отчаянием бормочет она. Не всхлипывает, не утирает слезы, и они катятся по щекам.

— Ну, прошу тебя. Ну, Анечка... — У меня нет платка, и я теряюсь, глажу ее рукава. Это все ее страсть к резонности — точки над «i» ей поставить понадобилось: брать ли одеяло, то да се. — Ну, перестань же! Чего огорчаться. Поедешь в стрелковую дивизию. Какая разница!

Но мои слова не действуют на нее утешительно.

— Да он ничего плохого не подумал, майор этот. Просто увидел, какая ты маленькая. Подумал: зачем таких детей в десант... А ты кончай плакать... И пойдем...

Ангелина приближается к нам с толстенной книгой под мышкой.

— Вот, — сказала она, положив передо мной на свободный стул свою книжищу, — какой словарь достала. Сто тысяч слов! Немецко-русский. Как думаешь, брать мне его теперь с собой?

— Бери, конечно. Спустимся на парашютах, ты часового хлоп по голове этим томом. И мы ворвемся в штаб: «Хенде хох!»

Она улыбается, довольная. Любит, когда шутят.

Анечка все еще тихо плачет. Ангелина опускается на стул, широко расставив колени под защитного цвета юбкой, подносит к голове руки и озабоченно приглаживает свой «политзачес».

## 5

На матрасе, водруженном на обеденный стол, спит сослуживец брата — инженер Петя, совершенно лысый молодой человек. Брат — на маминой деревянной кровати. А я — на папином диване. Как сказано в прикнопленном на дверь приветствии, он для транзитников.

Недели две назад, когда брата спешно отозвали из коммунистического полка, чтобы он завершил работу над своим изобретением, он застал в квартире свободной только эту самую большую комнату с балконом. Она пустовала, потому что никто не согласился занять ее — ей было почти так же холодно, как если бы наш дом был за консервирован. Она угловая.

Считают, что дом отапливается. На самом деле в котельной только слегка поддерживают огонь, чтоб не полопались трубы.

Брат и Петя приходят сюда поздно, перед самым комендантским часом. Они голодны и неразговорчивы. Первым делом берутся за плитку. Включают ее с опаской, как бы расход электричества не превысил лимит. Выйти из лимита — значит остаться всей квартирой совсем без света — отключат.

Спиралька на плитке накаляется слабо. Много ли тепла от нее. Но все же немножко есть, и плитка морально поддерживает.

Петя в ватнике, а брат в куртке свинцового цвета, из такого же материала, как аэростат. Куртку ему выдали в комполку. Оба они неуклюжи, жесты их скупы — они берут с подоконника сковороду, ставят ее на плитку и достают из буфета пакет с мукой. Разводят муку в кастрюле с водой, подсыпают немножко соды и пекут оладьи на конопляном масле. Масло чадит, оладьи растекаются, огонь под сковородой совсем слабоват, и сырые оладьи с трудом отдираются.

Газ подают только ночью, а сейчас он едва мерцает в конфорках, и чайник нагревается часами.

Я приношу из военной столовой немного хлеба и винегрета от своего обеда. Мы, военные, пока что горя не знаем. А вся гражданская Москва уже жестоко страдает от недоедания. Что-то будет, когда пакет с мукой опустеет?

Уеду далеко и буду вспоминать, как брат и лысый Петя сидят вокруг сковороды в ожидании порции оладий, непропеченных, плоских, сырых, пахнувших сгоревшей конопляной веревкой.

Сидят неуклюжие, голодные и думают об электроустройстве для сбрасывания бомб с самолета или еще о чем-то таком. Они очень берегут свои государственные тайны, лишнего слова не вымолвят и продолжают думать про себя, не забывая экономно смазывать сковороду конопляным маслом.

У брата под глазами, на крыльях носа и от углов рта к подбородку легли тени от недоедания. Он очень худой и длинный.

Обращаясь к Пете, он называет его Петром Степановичем, а Петя его — Максом. И от этого мне кажется, что Петя давно нас знает, хотя я только вчера познакомилась с ним. Макс — прозвище брата. Это я его так назвала еще в пору нашей первой дружбы. Его Максом, а себя Морисцем.

Пока они пекут свои олады, я распахиваю створки буфета и с головой зарываюсь в ворох тряпья. Активисты домоуправления в наше отсутствие зачихали в буфет постельное белье и все остальные вещи из шкафа, который остался в комнате, занятой чужими людьми.

У меня была вязаная кофточка. Отыскав ее наконец — она очутилась в драном пододеяльнике — я положила ее пока что сверху.

Светится оранжевый абажур над обеденным столом, вернее над матрацем, прикрытым ватным одеялом. Чадит конопляное масло. Громяхая лыжными ботинками, брат расхаживает в ожидании оладий по тесной тропке между диваном и обеденным столом с матрацем. Как это у них с папой похоже: ходить взад-вперед, задумавшись. Я стою спиной к буфету и слежу за братом. И вдруг догадываюсь, что думает он сейчас так озабоченно не об электросбрасывателе для бомб, а обо мне.

На месте буфета раньше стояли старинные часы. Мы их «съели», когда папа остался без работы. Часы были тем хороши, что в темном углублении за маятником был отличный тайник. Туда я прятала толстую тетрадку — дневник.

— Го-гвыр, да-ир-по... Как ты полагаешь, Макс? — сказал лысый Петя, его рот залеплен вязкой оладиной.

— Гдар-мтыр, выр фаль-цэк один... А, Петр Степанович? — примерно так можно воспроизвести то, что ответил брат.

Как они оберегают свои государственные тайны! К моим тайнам такой шепетильности у брата не было. По крайней мере тогда, в переходном возрасте.

Он обнаружил мой тайник. На обложке дневника я просила нашедшего «не читать, а после моей смерти сжечь». Эти призывы не остановили его.

Как он был возмущен! Вернувшись из школы, я была встречена грубыми криками:

— Мещанка! Что у нее на уме!

Мне не хотелось больше жить от отвращения.

Я сунула ему кулаком между глаз, как он учил меня в пору нашей дружбы, до переходного возраста, и с удвоенной силой получила сдачу.

Он вопил:

— У нее мальчишки на уме!

Я затыкала пальцами уши, чтоб не слышать. Нет же! При чем тут мальчишки. На уме у меня Коля Бурачек, мой одноклассник.

Брат преисполнен ко мне презрения, я к нему — ненависти.

— Мещанка! Окончательно разложилась. Последняя стадия человеческого падения.

Раньше мы по крайней мере ценили друг друга. Теперь нет. Брат ценит только то, что на пользу пятилетке, а личные чувства и переживания клеймит гяжким, оскорбительным словом — мещанство!

Ох, как трудно иметь брата переходного возраста в дни великой реконструкции народного хозяйства.

Я бы еще многое вспоминала, привалясь к буфету, но брат завозился, стал снимать свою куртку из азростата.

— Надо рюкзак поискать. — Ему хочется что-нибудь сделать для меня.

Я тоже сбрасываю с плеч шинель, и мы идем на кухню, выволакиваем оттуда лестницу в коридор. Брат взбирается по лестнице — я придерживаю ее — и шурует на полатах.

Поиски что-то затягиваются.

— Ну, ладно, кончай. Не найдешь. А может, его мама увезла. Только людям мешаем спать, возимся.

Брат по плечи втиснулся на полати.

— Коньки с ботинками не нужны? А таз для варенья?

— Послушай, а как ребята с нашего двора? Кальвара и Кузьмичевы? Слышно что-нибудь о них?

— Ты что, не знаешь! — голос брата уходит в глубь полатей и глухо возвращается оттуда. — Кальвара погиб. А младший Кузьмичев в госпитале, ему ногу до колена ампутировали...

Брат вдруг спустился вниз.

— Зря это я тебе...

Лицо его при тусклом освещении коридорной лампочки выглядит таким же серым, как его вигоневый свитер. Надо бы постирать его свитер, но уж не получится — некогда. Теперь уж когда вернусь постираю.

Вернусь. А Кальвары нет и никогда не будет. А маленький Кузьмичев — он на пятнадцать минут младше своего близнеца — на костылях стоит...

Из кухни появляется жиличка. Не та, что с собакой, — другая. Стоит молча, руки у пояса стиснуты. Смотрит не то чтоб с осуждением, а с какой-то кислой мыслью на сморщенном лице, точно мы с братом ей задолжали. А он опять поднялся по лестнице.

— Мориц, держи! — И мне на руки шлепнулся старый, пыльный рюкзак.

Из маленькой комнаты, где до войны жил сосед — бухгалтер универмага, — вышла еще одна жиличка в роговых очках и жидком перманенте.

— Такой шум, товарищи, — мучительно напрягаясь, изнуренно произносит она. — Мой муж... Я вынуждена всякий раз напоминать. Он работает над диссертацией... Прошу, товарищи. — И скрылась с извинениями.

А та, первая жиличка, что появилась из кухни, закипает ей вслед: тем, кто в октябре из Москвы повыехал, а теперь обратно явился, и пяти метров не стоило бы давать.

— А вы оставались? Не эвакуировались?

Она глянула на меня, сморщенные щеки ее покрылись красными пятнами.

— Еще бы! А вы как себе представляете! — И ушла к себе, решительно двинув дверь.

Я не счень разбираюсь в этой новой действительности, но, если она не собиралась защищать Москву, не вижу доблести в том, что она оставалась. Я сказала об этом брату.

— Не серьезничай. Это же мешанка!

На этот раз я с ним заодно.

Брат быстро покидал все вещи обратно на полати, отнес лестницу на кухню. Он доволен, что отыскал для меня рюкзак. Сел на наш кухонный стол.

— Ну, чего еще надо?

— Вроде все.

Он провёл рукой по голове, взъерошив свои волосы. Опять он похож на папу.

— Слушай, Мориц, а что уж тебе так понадобилось именно в десант?

— Так уж получилось само собой. Я тут ни при чем.

— Ну, ладно. А все-таки чего еще надо?

— Ничего больше.

Я села на табурет. Молча думаем об одном. Но не говорим. Что-то мешает. Мы вообще в эти дни стараемся не заговорить о папе. Может быть, из боязни что-то переступить, потерять надежду.

— Ну, спать пора.

С тех пор как у него кончился переходный возраст и он сам влюбился в одну девочку с косами, мы опять с ним дружим.

Мещанка, сказал брат. Так-то так. Но грустно отчего-то. Все же война какие-то свои вешки незримо расставляет между людьми — метит, сводит, разводит. Не поймешь. Ну да ладно, после войны разберемся.

Укладываемся. Брат на деревянной маминой кровати. Я на клеенчатом диване. Петр Степанович взбирается на пружинный матрац; положенный на обеденный стол. Задел головой оранжевый абажур, и вся люстра заходила под потолком. Уже свет погашен, а мне все кажется — я вижу, как покачивается абажур.

Еще один день в Москве прожит. Уеду, что увезу с собой, о чем вспомню? Улицы, по которым хожено-перехожено, моего брата, старый оранжевый абажур — под ним столько раз мы сидели всей семьей... Может, это и есть сейчас моя Москва.

## 6

Управление воздушнодесантных войск находится этажом выше.

Это молодое управление, оно только-только формируется. Мы, возможно сказать, у самых его истоков находимся.

Стулья сюда, в коридор, достались уже последнего разбора — венские, разномастные. На одном таком сидит Дама Катя. Я сажусь с ней рядом. Тоненькая, хрупкая шея ее торчит из просторного ворота гимнастерки. На лице застыл тревожный вопрос. Я знаю, что ее мучает. Куда же теперь, по какому адресу вышлют ей письмо, если ее родные отыщутся?

Я отвожу глаза. Мы с ней в неравном положении. У меня дома брат. — Хорошо бы нам всем вместе попасть, — говорит Катя.

Об этом теперь все наши помыслы.

Ждем еще немного. Скоро начнут вызывать.

Вызвали Старшину. Он вскочил, обдернул умело гимнастерку, складки согнал на спину под пояс и по-солдатски зашагал к двери.

Пухлость с лица его спала еще за дорогу, и баки не так пышны и глупы, как прежде, — сваялись. Взгляд серьезный. Красит человека испытание.

Ну, началось. Не сидится. Пристраиваюсь в ногу к проходящей мимо Ангелине. Хочется говорить о чем-нибудь отвлеченном: о Гай Юлии Цезаре, о войне римлян с галлами.

Что там за дверь? О чем разговаривают?

Вызвали Гиндина. Он пригнулся, быстро придавил окурок о подошву сапога и ушел, цокая каблуками, оставив на паркете у двери маленький чинарик.

— Техник-интендант второго ранга... — это несется вслед за появившимся в дверях Гиндиным. До сознания не сразу доходит, что ведь это — меня...

Я поспешно обдергиваю гимнастерку, как это делал Старшина, и переступаю порог, успев еще пригладить руками волосы.

В глубине комнаты два подполковника сидят за столом друг против друга и влоботорота к двери, то есть ко мне. Я представилась, как нас обучили в Ставрополе, сомкнув каблуки и вытянув по швам руки.

— Товарищ техник-интендант второго ранга, вы спортсменка?

Ободряющий утвердительный вопрос.

— Я играла в волейбол.

Наша женская школьная команда была чемпионом Краснопресненского района среди восьмых классов. А потом я отстала от волейбола, уж не помню сейчас почему.

— Так, так. А на лыжах хорошо ходите?

— Не так уж хорошо, но постараюсь...

— Хорошо!

Второй подполковник спросил:

— А все ж таки как у вас с лыжами обстоит? Сколько километров можете пройти?

Лихорадочно соображаю, сколько же? Пять? Скажут мало. Тридцать? Не поверят.

— Пройдет! — сказал поощрительно первый подполковник и улыбнулся мне. — Сколько понадобится, столько и пройдет!

Ощущение невероятной легкости охватило меня, словно я уже спрыгнула и болтаюсь на парашюте. Я вдруг поняла: мы выполняем всего лишь некий обряд, и все не так серьезно, как кажется, и их вопросы и мои ответы не так уж существенны.

— Ну, а ходите вы вообще-то пешком на своих двоих хорошо? Выносливы?

Это спросил второй.

— Прошлый год, когда ходила по Сванетии... Не хуже других...

Они покивали: «Так, так», точно в заговоре со мной.

Здесь было по-другому, чем вчера, когда майор испытывал крепость нашего духа. Сейчас здесь просто укомплектовывали переводчиками десантные бригады.

Подполковники переглянулись, сощурились: а вот мы к тебе сейчас с каверзой, готовься.

— Ну, а спрыгнуть не побойтесь?

Но я уже подготовилась:

— По-моему, в этом деле это всего лишь способ передвижения.

Они засмеялись громко, поощрительно. Поднялись и пожалли мне руку, напутствуя:

— Надеемся, вы с честью выполните свой долг перед родиной.

## 7

Все ушли на работу, и в квартире была такая тишина, что слышно было, как по папиной комнате бродил уклоняющийся от службы в армии доberman, стуча сухими, тонкими ногами об пол. Потом отомкнули ключом входную дверь — это вернулась с ночной работы в заводской столовой его хозяйка. Пес зарычал счастливо, стал бросаться на дверь, скрестись, пока она орудовала ключом в замочной скважине.

Холод в комнате. Прямо-таки стужа. Я стала собираться, но что-то мешало мне сосредоточиться. Вспомнила: я хотела примерить свою вязаную кофточку.

Я достала ее из буфета, надела и почувствовала себя удивительно приятно. Но надо было спешить. Сняла вязаную кофточку и спрятала ее в буфет среди тряпья — пусть лежит тут, дожидается меня — и опять облачилась в гимнастерку.

Уложила на дно рюкзака все то же шерстяное одеяло, служившее раньше подстилкой для глаженья, — ничего подходящего взамен него дома не нашлось. Две смены белья, чулки, полотенце, томик стихов

Блока, подворотнички, бумажный джемпер, чтоб надевать под гимнастерку, и шелковая трикотажная кофточка — подарок Ники. Она на прощанье раздарила свой гардероб, а хвасталась, что выгодно распродает его. Ах, фантазерка, мистификаторша, где-то она сейчас.

Записку прощальную я писать не стала. Оставила брату квитанцию на мои фото — через десять дней они должны быть готовы, пусть получит. А его фотографию (он в шинели и ушанке, худой, незнакомый, таким он был в комполку, и зачем-то трубка в руке — это, похоже, для форса) положила в немецко-русский словарь и в рюкзак. Туда же карманный разговорник. А сборник ругательств так и не успели издать на факультете.

— Кажется, все. Ну, ухожу.

Я прикрыла за собой дверь в квартиру и по привычке подергала за ручку — зашелкнулся ли английский замок? На площадке первого этажа старый архитектор задумчиво чистил свой пиджак. Я понадеялась, что он не узнает меня в шинели — после того, как в прошлом году мы залили их квартиру водой из переполненной ванны, я предпочитала с ним не встречаться. Я деловито прошла было мимо, но он остановил меня, состарившийся, седой, посмотрел внимательно сквозь толстые очки, погладил плечо моей шинели и с неподдельной добротой сказал:

— Храни вас бог.

Я шла с опаской по нашему двору, боясь, что увижу сейчас мать Кальвары. Она и раньше была, как галчонок, маленькая, тощая, вся сжавшаяся. Ее муж и старший сын арестованы, а теперь погиб младший.

Но никто из знакомых мне не повстречался.

Я вышла за ограду нашего дома. Улицы не расчищены, всюду снег. Так было только в далеком детстве, когда извозчицы саночки разъезжали по Москве. А сейчас по снегу тяжело тащится троллейбус, груженный мешками с мукой.

Темные окна домов перечеркнуты бумажными крестами. Попадают дома сплошь в бельмах, нежилые, не отапливаются, законсервированы, и окна обросли мохнатым инеем.

У Белорусского вокзала — заграждение от танков: надолбы, мешки с песком, поваленные столбы, ржавые рельсы, концом упирающиеся в Пресненский вал. Бог мой, как тут близко до боя!

Редкие прохожие. И нигде ни ребенка.

Марширует группа штатских, человек десять — мерцают штыки над головами.

Из переулка Василия Кесарийского выплыл аэростат, колоссальный, серебристый. Казалось, на московскую улицу он спустился не с зимнего неба — с чужой планеты. Бойцы ПВО в затасканных бушлатах, в серых армейских валенках вели его на привязях по мостовой. На перекрестке — опять противотанковые ежи. Пропорют еще брюхо аэростату. Но он послушно втягивается своим небесным телом в проем, открытый для машин. Озабоченные бушлаты копошатся вокруг него муравьями.

Тверская-Ямская. В сентябре на этой улице в здании средней школы находилась приемная комиссия Военных курсов переводчиков. Не районных, не общества Красного Креста — настоящих военных курсов.

Я заполнила анкету и протянула ее капитану с решительным пробормом в волосах. Просмотрев анкету, он разомкнул свой толстый неподвижный рот:

— Ничего не выйдет с вами, — и концом заточенного карандаша постукал по графе: «Имеет ли кто из ваших родственников политическое взыскание?» Ответ: «Мой отец — за потерю политической бдительности», скомкал мою анкету и бросил в корзину.

Я пришла назавтра.



— Мне надо заполнить анкету.

Он протянул мне чистый бланк, не глядя. Я заполнила еще раз: «Не имеет».

Капитан посмотрел мне в глаза, узнавая. Он взял анкету, прочитал, разжал свой неподвижный выпяченный рот:

— Экзамен сегодня с пяти часов.

Он не был чистоплюем, толстогубый капитан, лишь бы форма не подкачала.

Я села в догнавший меня пассажирский троллейбус. Расчистила монеткой глазок на стекле. Мне было видно — промелькнул Мамоновский переулок. Там, в глубине его, на углу жил Коля Бурачек. Потом он уехал на остров Диксон радистом, когда окончил десятилетку, и теперь где-то воюет.

Пушкинская площадь. Бар № 4, уже переполненный, дверь его осаждали с улицы инвалиды.

Я пересела на свободное место по другую сторону и прильнула к глазку, расчищенному прежними пассажирами. Проезжали мимо «Коктейль-холла». Не знаю, что там сейчас, он открылся всего за год до войны. Тогда посетители — те, что посмелей — сидели на высоких крутящихся сиденьях у стойки, болтая с барменшами, взбивающими коктейль. Мы садились за столики. Было интересно тянуть коктейль, рассуждать о высоких материях, о «голубых изумрудах» поэзии и поедать соленые галеты, выставленные в вазах на столики. Эти галеты выручали ребят, живших в общежитии. Когда не дотянуть до стипендии, они покупали бутылку нарзана и досыта наедались бесплатными галетами.

В Охотном ряду на конечной остановке я сошла с троллейбуса. Мой путь — через Красную площадь. Площадь в снегу, снег не расчищен, дорога укатана изредка проезжающими машинами. У Мавзолея — неподвижные часовые в черных тулупах. Сугробы снега за оградой, где покоятся герои революции.

На Спасской башне пробило одиннадцать. По чугунной ограде Василия Блаженного трепыхался плакат...

Было очень морозно. Снег сек лицо. Низко свисало зимнее небо, прикрывая от самолетов.

У Москворецкого моста я обогнула противотанковое заграждение и спустилась в Зарядье. Здесь, в доме № 11, узком и длинном, как каланча, у нас пункт сбора. Мы условились встретиться на квартире у Митькиной родни.

На мой звонок дверь открыл Гиндин.

Дама Катя запаздывала. Мы дожидались ее и Митьку со Старшиной, получающих на нас продукты, сидя с краю матраца, крытого ковровым покрывалом, отчего-то заробев и тихо переговариваясь. Здесь, видно, жила молодая семья, еще только набравшая силу. Свежие обои и блестящий лаком буфет еще не вытрепало за военное полугодие. Здесь топили исправнее, чем в нашем доме, и было непривычно тепло. Но самым непривычным было то, что тут в квартире еще сохранялась полная семья. Мужчина, ушедший на работу, и женщина, возившая по комнате коляску. За все дни в Москве я впервые увидела маленького ребенка, их строго обязывали эвакуировать. И этот, почти подпольный, явившийся навстречу всем военным невзгодам, приковал к себе. Он и его мать — молодая женщина в байковом платье, с мягким бледным лицом. Посреди военной, мерзнувшей, недоедающей, малолюдной Москвы она возит и возит взад-вперед коляску с таким спокойствием, что чувствуешь: вот он, центр ее жизни.

Пришли Митька и Старшина, груженные полученным на всех нас продовольствием, и следом Дама Катя. Распикиваем по рюкзакам концентрат каши, рыбные консервы, сахар и хлеб.

— На пять маршевых суток подлежит распределению,— важно сказал Старшина.

Мы простились с хозяйкой и, цепляясь за косяк двери разбухшими рюкзаками, покинули квартиру. Двинули на вокзал.

## Глава последняя

### 1

На разъезде под Тулой комендант впихнул нас в переполненную теплушку. Тут ехали раненые. Их везли, как ни странно, ближе к фронту — на узловую станцию, откуда теплушку прицепят к составу, уходящему на восток.

Было темно, жарко, нещадно калили железную печку. Стонали и ругались раненые. Звякали цепи. Хвост состава вихлял, и нас мотало в теплушке.

Мы с Катей забились в угол на верхних нарах, обнялись и уснули. Просыпались мы ночью от грохота раздвигаемых дверей. Холод валил к нам сюда. А в раздвинутых дверях среди бегущих мимо звезд видна была черная спина, окутанная клубящимся морозом. Это кто-то из раненых вставал за нуждой. Двери сдвигались, нас укачивало. И опять мы просыпались от грохота — и в щели над спиной раненого уже серело утро.

На станции Плеханово мы сошли, теплушку с ранеными отцепили.

Все же мы проехали с тем же составом еще сколько-то. И стоп. Юриково. Дальше участок дороги не восстановлен.

Мы шли по шпалам. Было глухо, отъединенно. Железнодорожное полотно, по которому мы шли, то опускалось, и тогда белые откосы вставали по сторонам, замыкая нас в ложбине, а ветер, проходя над нами, тербел на откосах черные прутья кустарника, высунувшиеся из снега. А то оно поднималось вверх, и тогда — если не загоразивали лесные насаждения — разбегались вдаль такие снежные просторы, что у нас, возвышавшихся над округой, дух захватывало.

Много ли времени прошло с тех пор, как мы выехали в санях на Волгу? Кажется, давным-давно это было.

Шагай, дыши в колючий, зандевелый, в свой цивильный шарфик, укрывающий лицо, поглядывай под ноги, чтоб не споткнуться. Чуть зазевался, замыкающий — Старшина — на пятки наступает.

— Держись в строю! Отлабали полпути всего.

Что с него возьмешь? Лабух. Но мы вроде породнились с ним. Ведь из всех идущих сейчас по шпалам мы ничей другой бабушки не повидали. И еще вот Митькину родственницу с коляской.

В сущности, каждому нужно из всего хаоса что-то окантовать — свой центр жизни. И у нас он есть — война. Но война неоглядна, не ухватишь, сам в нее канешь, затеряешься.

Пока мы впятером, это все еще земля обетованная. Движемся цепочкой по железнодорожному полотну. Будка стрелочника из сугроба выглядывает. Колея ведет — не собьешься. Впереди Митька, за ним Гиндин; путаясь в полах шинели, Дама Катя с портфелем и я. Замыкает Старшина.

Взорванный мост на пути. Мы обогнули его и вышли на тракт

Москва — Калуга. Начались третьи сутки нашего пути. А до войны из Москвы в Калугу поезд доставлял, кажется, за семь часов.

Изредка нас обгоняли грузовики. По сторонам тракта — присыпанная снегом разбитая техника врага. Здесь, значит, были бои дней пять назад.

Изуродованные танки Гудериана.

Мы читали о них и слышали по радио, видели их фотографии в газетах. И все же это что-то совсем другое... Можно смахнуть снег и ощупать рукой в варежке почерневший, покореженный металл. Поглядеть на пробоины в броне. «Ахтунг, панцер!»

Мы пошли дальше. Мороз гнал нас вперед. Танки генерала Гудериана засыпало снегом.

Свернули с тракта, и теперь мы шли по санной колее, никто не обгонял нас — машинам здесь не пройти.

Повстречались розвальни, и мы сошли в сторону, в снег. Везли раненых, прикрытых соломой. За розвальнями бежал вприпрыжку, пристукивая ботинком о ботинок, чтоб согреться, долговязый солдат в короткой шинели, хлеставшей широким подолом по ляжкам, прижав к груди перевязанную руку. Из серого шлема на миг глянули на нас измученные, по-детски голубые глаза, и уже разъединило нас, и за снегом он почти совсем неразличим, только скачущие черные, в обмотках ноги, прямые, как циркуль.

Идем молча, торопимся — поскорей бы до обогрева какого дойти. Руки коченеют, жжет лицо ветром.

Черный завалившийся овин, голые трубы, зачерненные пожаром, торчат из белого снега. Нигде ни дымка... Дальше, дальше!

Нигде сколько хватает глаз нет жилья. Только черные остовы изб. Закопченные трубы — маяки бедствия на засыпанной снегом земле.

Снег перестал, но стегает ветер — дорога идет полем. Шарф, заматанный вокруг лица, задышан, усыпан льдышками, они жгут.

Алексино. Опять торчат мертвые трубы. Но тут должна же быть станция. Если и нет станции, коменданту положено быть.

Тычемся в темноте, ищем станционную службу. Я наткнулась на домик, дверь нашарила — дверь под ветром легко поддалась, и я вместе с нею — туда, через порог. Надсадный окрик навстречу:

— Без дров никого не впускайте!

Чей-то махорочный, хриплый голос умиротворяюще:

— Это женщина.

Я, как истукан, шагнула в тесноту жилья, в солдатский дух, в благословенное укрытие — и застыла. Ворочаю из-за шарфа скованными морозом губами:

— Здравствуйте! — Стаскиваю с плеч рюкзак.

— Без дров никого не впускайте! — опять крикнула замотанная в платок женщина. — У меня дети больные!

Она загораживает собой стол, на котором сидят двое маленьких ребят. Женщина и дети — коренной здесь состав. А на полу под стеной — махорочные, пришлые, набились обогреться.

Из бутылочки, поставленной на косяк, торчит зажженный фитиль, огонек подсвечивает людское скопище и оконную раму над столом, затянутую мешковиной с черной свастикой. Эта немецкая тара с черным, зловещим клеймом отражает, как экран, дрожание пламени.

Опять и опять ударяет холодом в растворенную дверь и тупо переступают порог чьи-то закованные ноги. Женщина, стараясь загордиться собой детей от холода, иступленно твердит:

— Без дров никого не впускайте!

## 2

Поезд, которого ожидали на станции Алексино, застрял в снежных заносах и не подавал о себе вестей. Дощатый станционный домик кишел людьми. Сидели на узлах, на мешках с мерзлой картошкой.

Опасались к ночи десанта. Вызванный к коменданту какой-то дяденька в заячьей ушанке прошаркал к столу, браво тряхнул головой:

— Есть, спать вполуха!

Заслышав наконец прибывающий состав, все мы притихли. Потом разом завопили, нервничая. Бабка в черном тулупе, примеряя на себя мешок с картошкой, узел и бидон, согнулась, вздохнув:

— В ногах настойчивости нет.

Нас пятерых и женщину с ребенком комендант усадил в теплушку. Остальные остались на путях, и среди них бабка, согнутая под картошкой, узлом и бидоном...

Мы попали в штабную теплушку — на КП батальона. Это прибыла на фронт сибирская кадровая дивизия. Здесь все нам было внове: белые полушубки, автоматы и короткие лыжи. Мы сидели у чугунной печки посреди теплушки, ели гречневую размазю с салом, слушали рассказы о Сибири, об оставленных там девушках.

Молодой комбат, наш сверстник, отдавал приказания в телефон, и его лихой голос разносился в проводах по всему поезду. Писарь мусолит карандаш долго, раздумчиво, строчил в клеенчатой тетради с надписью «История батальона» — про боевую готовность и про сильный мороз, про то, что завтра придут на место и вступят в бой.

Все было наготове тут, в теплушке, и в то же время было так просто-душно, спокойно, будто состав шел не навстречу боям, а по расписанию мирного времени.

Утром стоянка. Морозно, скрипит снег. Солнечно. Хочется размяться, шагать по шпалам, козыряя выставленным вдоль эшелона часовым. Из теплушек несется гармонь и дробь валенок, сотрясающих дощатый пол.

Дошли до паровоза, дальше идти не стоит. Переглядываемся, шуримся от солнца — утро вроде специально для нас. Митька предлагает:

— Давайте по кругу: кто сейчас что чувствует? Только быстро... Ты? — со Старшины начал.

— Я? — Старшина трет варежкой свалывшуюся бакенбарду, с заботой оглядываясь по сторонам. — Без оружия я себя тут жмуриком чувствую. Хоть бы самую что ни есть трехлинейку...

Один он среди нас военная косточка.

Теперь Дама Катя. Она уперлась:

— Скажи. Митька, ты сам, я пока подумаю.

— Я? Что чувствую? Душевный комфорт. Высшее состояние духа...

— Ну уж! — возразил Гиндин. — Высшее! Эгоистическая чепуха. Если оно никуда не зовет, ничему не служит...

Идеалистическую ересь не выносит зрелая душа нашего марксиста.

— Я же о чувствах, — говорит Митька. — Тут без ереси никак...

Митька, Митька. Милые ребята. Мы и не догадываемся, что в последний раз стоим вот так вместе. Завтра прибудем в Калугу. Комбриг Левашов перечеркнет красным карандашом наше предписание, рассердившись, что прислали к нему не обученных прыгать с парашютом. Он не примет нас в свои десантные части и улетит во главе своей бригады в тыл врага, не зная о том, что жить ему осталось всего с неделю.

Нас разметает кого куда, и мы еще поскитаемся по зимнему фронту. Я попаду под Ржев, а Дама Катя на Ладожское озеро, Митька и дядя Гиндин в учебную десантную бригаду, а Старшина в танковые части.

Но пока мы ничего об этом не знаем. Стоим кружком. Над нами синее небо, а по размахавшему вдаль белому полю стелется легкая синеватая дымка.

Гуднул паровоз. И мы со всех ног по шпалам — к нашей теплушке.

\* \* \*

Тут я остановлюсь. Военные переводчики — не очень приметная специальность в армии. Но наш Петька Гречко сразу отличился — из ночного поиска приволок «языка». А Дама Катя со своим портфелем, набитым патронами и перевязочным материалом, пробиравась по лесам из окружения, попала к партизанам и переквалифицировалась в повариху. В литовских болотах в бою она была ранена в голову. С черной повязкой — она лишилась глаза, — располневшая, она уже много лет преподает в воронежской школе литературу и русский язык в шестых классах.

Когда к Новому году я пишу ей: «Дорогая Катя!» — я вспоминаю Ставрополь, Волгу, дорогу на Калугу и подолгу бесплодно думаю, чего бы пожелать ей, кроме «здоровья и счастья».

Может быть, сохранился в Белоруссии земляной холмик на том месте, где упал Гиндин. И в Смоленских лесах — над могилой переводчика десантного батальона Зины Прутиковой.

Но только их все равно не отыскать. Те холмики безымянными остались в тылу у врага.

О Митьке распространился было слух, что и он погиб, но он объявился и с партизанами вступал в Белград. Теперь он в экспедиции на Памире. Может, ищет «снежного человека».

Ангелина в праздники сидит в президиуме с орденскими колодками в два ряда на широкой груди. Если ее просят выступить с воспоминаниями о фронте, она поднимается и, упираясь ладонями о стол, туго, отрешенно говорит о нашем единстве. Не любит развозить. Было и было, и всего-то делов. После войны она опять упорно училась, одолела аспирантуру и возглавляет исторический факультет пединститута в Сызрани.

Старшина хорошо воевал в танковой бригаде, а незадолго до победы подорвался на mine — выжил, но остался без ноги. Сейчас он играет в джазе в самом большом московском кинотеатре «Россия». Чаще других ставропольцев я вижу Анечку. Она сидит в застекленной кабинке за кассой в «Кафетерин», что неподалеку от Белорусского вокзала. Толстой косы ее давно нет и в помине — коротко подстриженные волосы уложены мягкими локонами. Учиться после войны Анечке не пришлось — она замужем, растит двух сыновей. В сущности, они уже взрослые парни, но мне Анечка все еще кажется молодой — она ведь была младшей из нас. Я стучу в стекло ее кабинки. Она скашивает свои голубые глаза в мою сторону, улыбается, а пальцы ее продолжают ловко нажимать клавиши кассы и выбрасывать на тарелку чеки и сдачу.

Об Анечке рассказывали, что она не боялась ни обстрела, ни бомбежки. Мины жахают, а она не прячется, дуреха, стоит на виду. Сейчас, глядя на нее, никому и в голову не придет ничего такого.

Но ведь было! И Ставрополь был. Ника. И наше с ней прощанье. Потом ее плен, побег...

Может быть, следовало обо всем этом рассказать. Но ведь это другая повесть. Я же хотела рассказать всего лишь о том, как мы уходили в ту первую зиму на фронт. Мы знали — если будет эта война, она не обойдет нас. И вступали в нее, как в свою судьбу. Вот и все.



---

АЛЕКСЕЙ ПЫСИН

★

## СОЛДАТАМ

*С белорусского*

Солдатам  
Реквием поет надречный бор.  
А я не в силах, не могу отпеть их,—  
Я юными их вижу до сих пор,  
Живые их черты мне зримы в детях.

Летят над обелисками года;  
И вот уже идут с цветами внуки,—  
Их кровь родная, их глаза и руки,  
Их жизнь, что не иссякнет никогда.

Приветствуя вас, близких и несчетных,  
Без проповедей громких и речей,  
Двадцатый век меж камышей болотных  
Припас вам  
Допотопных журавлей.

Бегут мальчишки вслед весенней стае:  
А вдруг перо жар-птицы упадет?  
Чудесным оперением блистая,  
В свой час ракету кто-то поведет.

Но что бы там познать ни довелось им,  
Пускай науку вытвердят одну:  
Из малых зерен в мире — все колосья,  
И только плуг  
вздывает целину.

\* \* \*

Тучи, неба не полоните,  
Не гремите, грома, с утра,  
Не дышите жарой, ветра,—  
Мой товарищ лежит в больнице.

Как под пологом медсанбата  
Бредит он, не поймет ничего:  
То ли с ног его сбило гранатой,  
То ль землей завалило его.

Подступите поближе, криницы,  
Дайте флягу студеной воды,  
Скиньте яблоко с ветки, сады,—  
Мой товарищ лежит в больнице.

То ль из Волги вода, то ль из Вислы,  
Из лесного ли родника?..  
Как гранату, он яблоко стиснул,  
А подняться не может никак.

То ль кукушка над ним кукует,  
То ль из пушки в него палят?  
Не отступит, не сдастся солдат,  
Он живой, он еще повоюет...

\* \* \*

Избыто многое в пути,  
С дороги сметено и смыто.  
Мне в жито хочется войти,  
В бессмертное, как вечность, жито.

Затрону колосок ржаной  
На чутком проводе соломы —  
И вот заговорит со мной  
Мой пращур — пахарь незнакомый.

И донесется песня жней —  
Всплывет веков разноголосье.  
В полдневном мареве полей  
Звенят, качаются колосья.

Здесь дозревают, золотясь,  
Надежды чьи-то, думы, зовы.  
Времен былых и новых связь —  
Гудит, гудит ржаной мой провод.

И дозревает — в добрый час! —  
Весь горизонт в мембранном гуде...  
Ищу те зерна, чтоб и нас  
Услышали когда-то люди.

\* \* \*

Гул вокзалов, сполохи событий  
В бесконечность гонят колею.  
Поезда ночные, покажите  
Маленькую станцию мою.

Хоровод березок чистокорых.  
Листья облетают, словно дни.  
В колесе лесного частокола  
Скорые проносятся огни.

Так меня далекою весною  
Подхватила эта карусель:  
Тысяча земель передо мною  
И за мною тысяча земель!

Думаю без суетной оглядки  
На дожди, на листья под дождем:  
Много лет забрали пересадки  
С бросовым каким-то багажом.

До зари чего-то ожидаю,  
До зари о чем-то все молю.  
Под щекой как будто ощущаю  
Маленькую станцию мою.

*Перевел Н. Кислик.*





---

ДМИТРИЙ СУХАРЕВ

★

## ДОРОГА

Для того дорога и дана,  
Чтоб души вниманье не дремало.  
Человеку важно знать немало,  
Оттого дорога и длинна.

Человеку важно знать свой дом,  
Весь свой дом, а не один свой угол,  
Этот дом особенный: он кругл,  
Чердаки в нем крыты белым льдом.

Человеку важно знать людей,  
Чтоб от них хорошего набраться,  
Чтоб среди всех идей  
идею братства  
Ненароком он не проглядел.

А еще полезно знать, что он —  
Не песчинка на бархане века,  
Человек не меньше человека,  
В этой теме важен верный тон.

Иногда в дороге нам темно,  
Иногда она непроходима,  
Но идти по ней  
необходимо.  
Так у нас, людей, заведено.

## ПОЕДЕМ В БУХАРУ

Поедем в Бухару  
К узбекам в гости, а?  
Поедем по жару,  
Погреем кости, а?  
По дыни!  
У лотка  
Шершавую возьмешь,  
Прижмешь ее слегка  
И — нож в нее!  
Сладка...

А хочешь, в Исфару  
Поедем по урюк.  
Урючин знойный сок  
Прозрачен и упруг.  
Губами придави,  
Под сонной кожурой  
Он ходит, как живой!  
Глаза закрою — и  
Растаю, воспарю...  
Поедем в Исфару!

Я телеграмму дам,  
Бельишко соберу.  
Ведь я родился там,  
Пойми, родился там.

Не знаю, где умру...



---

ВИТАЛИЙ СЕМИН

★

## АСЯ АЛЕКСАНДРОВНА

*Рассказ*

1

**П**ожилая секретарша, которую я принял за руководителя кафедры, сказала мне, что в Москву я поторопился, что мне надо ждать еще дня два, пока моя работа будет окончательно рассмотрена. Она дала мне свой номер телефона:

— Позвоните в конце недели.

Шестизначный номер она произнесла так же быстро, как у нас в городе произносят четырехзначные. Я не запомнил.

— Мне проще прийти к вам,— сказал я.— Я ведь только за этим и приехал.

Секретарша пожала плечами.

От института до станции метро можно доехать автобусом или троллейбусом, но я еще не доверял автобусам и троллейбусам многочисленных московских маршрутов. Я пошел пешком. В метро из автомата позвонил приятелю в подмосковный городок. И хотя года три мы с ним не встречались, он сразу узнал мой голос. Это обрадовало меня, показалось хорошим предзнаменованием.

— Ничего не спрашиваю,— кричал приятель,— приедешь — расскажешь. Не забыл, как ехать? Платформа «Сорок восьмой километр». Ждем тебя сегодня. Обязательно сегодня.

В конце концов все складывалось хорошо. Работа моя имела солидные рекомендации, и даже то, что я приехал на два дня раньше, получилось кстати: жена приятеля — именинница.

Часа два я бродил по магазинам — искал подарок — и уж совсем было собрался ехать, но решил сменить рубашку и галстук.

Остановился я у дальнего родственника, заходить к нему в большую коммунальную квартиру мне лишний раз не хотелось, но делать было нечего. Ключ в замочную скважину, чтобы не привлекать внимания соседей, я вставил осторожно, но, словно меня караулили, в коридоре тотчас открылась дверь. Я аккуратно вытер ноги о половичок, независимо прошагал к своей комнате.

— Телеграмма вам,— сказали сзади меня.— В ручке.

И когда я поднес к глазам листок белой бумаги, добавили:

— Плохая.

А я еще и еще раз, как чужие, не мне адресованные, пробежал глазами слова: «Вчера ночью умер отец. Немедленно выезжайте». И подпись: «Ася Александровна».

Потом я лихорадочно звонил на аэродром, ехал в метро, ловил на площади Революции такси, пробивался на аэровокзале сквозь толпу к окошечку диспетчера, протягивал кассиру через чьи-то спины и головы свою телеграмму и наконец вылетел вечерним самолетом. Место мне досталось у окошка, я смотрел на освещенную часть крыла, на искры, отрывающиеся от моторов, и старался не думать об отце. Я знал: прилечу к двенадцати, к часу ночи подъеду к его дому, поднимусь на третий этаж — и тут-то это и произойдет. То, ради чего Ася Александровна, жена отца, которую я не любил и которую до недавнего времени мало знал, вызывала меня из Москвы.

Около полуночи нам предложили привязаться к креслам. Как всегда во время спуска, пришло ощущение полета, крыло ненадежно повалилось набок, огни города стали в уровень с окном, к реву моторов прибавился свист. Потом, оглушенный быстрым переходом к земной тишине, со странным недоверием прислушиваясь к многочисленным живым звукам аэродрома, я медленно шел со всеми по бетонным плитам, покорно ожидал автокар с прицепами, которым нас должны были перевезти от самолета к вокзалу, зачем-то долго стоял у витрины запертого киоска «Союзпечати»...

Было около двух ночи, когда я вышел из аэропортовского автобуса у дома отца. На третьем этаже, в окнах его комнаты, горел свет. Это был с детства знакомый мне сонный свет настольной лампы с толстым зеленым абажуром — отец зажигал ее, когда в доме укладывались спать.

Я взбежал наверх, потянул к себе дверь — почему-то думал, что она будет отворена, — и позвонил.

Где-то в глубине комнаты шаркнули, и будничным, вселивший секундную надежду голос Аси Александровны спросил:

— Кто там?

Я назвал себя, и дверь распахнулась стремительно, излишне стремительно — я боялся, что она так и распахнется специально для меня, — Ася Александровна всплеснула руками, ткнулась мне в плечо, тотчас же отстранилась, всхлипнула и тут же быстро вытерла сухие, внимательные, испуганные глаза. Она увела меня на кухню и там, сбиваясь с необычного, не объединившего нас «ты» на «вы», глядя на меня все теми же сухими, внимательными, испытывающими глазами, стала рассказывать, как это произошло. Она всегда воевала за отца против меня; против соседей, против врачей, против моей мамы, с которой отец развелся лет двадцать пять назад. Сейчас она воевала против врача «скорой помощи», который поздно приехал и все сделал не так. Я думал о том, что мне вот-вот нужно войти в комнату, освещенную зеленой лампой, и потому неприязненно удивлялся ее сухим глазам, ее памяти на детали, которые казались мне сейчас оскорбительно несущественными, ее мнительной ненависти к врачу «скорой помощи», который ничего не смог или не сумел сделать. «Это он убил отца!» — говорила она и требовала — не прямо, но выходило это само собой, — чтобы я, сын, мужчина, сделал то, что не под силу ей — наказал бы, добился, чтобы наказали этого врача «скорой помощи». И все это перемежалось воспоминаниями: в последние дни у отца было много гостей — «чувствовали, приходили прощаться». И я, словно чувствовал, пришел попрощаться перед отъездом в Москву, хотя это и не в моем обычае.

Потом она повела меня в комнату, которая давно стала мне чужой — еще с тех пор, как с появлением Аси Александровны на ее холостяцкую, привычную мне чистоту как бы наслоились настенные коврики, вышивки, салфеточки и где сейчас на раздвинутом обеденном столе лежало что-то неподвижное и страшное, накрытое белой простыней.

Я думал, что теперь Ася Александровна по-настоящему заплачет, разрыдается. Но она не заплакала. Она надела тонкие, прозрачные медицинские перчатки, аккуратно отвернула простыню, и я увидел мертво запрокинутую — под нею не было подушки — маленькую, пепельно-седую голову. Ася Александровна желтыми резиновыми ладонями пригладила тонкие волосы отца, поправила воротник рубашки, строго наглаженный и затянутый галстуком, сильным, привычным движением, как это делают портные на примерке, одернула лацкан пиджака, сняла с него несколько белых ворсинок. «Марлей покрывали», — будто извиняясь, сказала она. И вообще она заботилась о том, чтобы отец показался мне прибранным, красивым, и всячески подчеркивала, что теперь последнее слово за мной, что без меня она не может решить, когда быть похоронам, кого пригласить, в какой костюм одеть отца. В ее голосе появилась трещинка — вот-вот прорвутся рыдания, но рыдания не прорывались.

Ася Александровна говорила о том, что могила уже выкопана и все остальное уже сделано: и медицинские и гражданские справки, и гроб и цветы заказаны, и денег местком с бывшей работы отца немного выделил, и что мне остается только найти оркестр и ковровые дорожки на машину. Я не предполагал, что похороны такое хлопотное дело, и опять неприятно удивлялся тому, что Ася Александровна все так хорошо помнила, так много успела сделать, а главное — так беспокоилась из-за совершенно показного: как повезут отца, кто придет его провожать и какие принесут цветы.

Когда я коснулся губами скрещенных на груди рук, чистых и холодных, как будто отец, всю жизнь боявшийся заразы, только что их вымыл, у меня тоже не было слез — одно удушье. Ася Александровна снова заговорила о врачах «скорой помощи», а я смотрел на истаявшие черты, на странно утончившийся, опавший к верхней губе нос, на восковое спокойствие век и щек и думал, что давно уже, много лет назад, после первого приступа тяжелой болезни, которая открылась у отца сразу после войны, я заметил признаки его сегодняшнего смертного выражения. Вот эти грязно-зеленые прожилки на лбу, пепельно-восковые пятна под веками и на щеках, вот эти обозначившиеся косточки над запавшими глазами.

Ася Александровна накрыла отца простыней и увела меня на кухню.

— Идите домой, Игорь, все равно уже ничем не помочь, — устало и как-то примирительно сказала она мне. — Вы намучились за дорогу, вам надо отдохнуть.

— А вы?

— Я с ним тут. — И добавила, чтобы мне было легче решать: — Спать захочу — пойду к соседям. Они мне ключ оставили. Со мной сестра дежурит, она сейчас у соседей прилегла отдохнуть.

## 2

Они зарегистрировались лет через пять после войны в возрасте, когда, как мне в ту пору казалось, нормальные люди уже не женятся. Я никак не мог примириться с тем, что в комнате отца появилась худая, напудренная, молодящаяся новобрачная, на которую мне было стыдно смотреть именно потому, что она новобрачная. У меня и раньше с отцом были сложные отношения, а тут он отобрал у меня ключи от квартиры — «Я теперь не один», — несколько раз настойчиво выговаривал: «Будь вежлив!» Мне казалось страшным унижением как чужому звонить у дверей, за которыми я родился, и я перестал ходить к отцу. Он

принял это равнодушно, даже с облегчением, хотя раньше оскорблялся, если я не приходил хотя бы раз в неделю. Но Ася Александровна не согласилась на наш разрыв. Когда месяца через два я зачем-то зашел к отцу (отец спросил безразлично: «Ты?» — и ушел, предоставив мне самому закрывать дверь), она сказала: «А отец вас ждал. Нервничал!»

Она пренебрегла моей неприязнью. Не согласилась она и на нейтралитет. Она добивалась, чтобы я обязательно приходил по воскресеньям и праздникам, и с первых же дней научилась обвиняюще произносить: «Отец ждал, отец нервничал». И вообще в наших отношениях с отцом она постепенно почти полностью заслонила отца, словно взяла на себя заботу о его симпатиях и антипатиях и как-то углубила и обострила их. Она возродила старую, заглохшую за давностью лет — среди которых пять лет войны! — ссору отца с моей матерью, довела до ссоры довольно обычную «коммунальную» холодность между отцом и соседями. Ее желчная худоба, ее претензия на молодость поначалу казались мне следствием долгих лет одиночества, послевоенной бедности, но потом я стал думать, что Асю Александровну просто сжигает гордость.

— Ты же знаешь,— сказал мне как-то двоюродный брат,— ее первый муж был важной фигурой. Председатель горисполкома... — и он назвал один из крупнейших городов на Украине,— она у него секретаршей была, а потом стала женой. Он был лет на двадцать старше ее. Умер во время войны.

В пятьдесят третьем году я ушел из института. Именно тогда, как мне казалось, мы окончательно разошлись с отцом. Отец яростно осудил меня, и когда мне пришлось уехать из города, я не пришел к нему прощаться и два года ничего ему не писал. Вернувшись в город, я тоже долго к нему не ходил, пока случайно не узнал, что он в больнице, что новый приступ его тяжелой болезни лекарствами погасить не удалось — то, что последние годы висело над ним постоянной угрозой, свершилось: ему отняли ноги.

...Хирургическое отделение напоминало госпиталь военного времени; в коридоре былолюдно и шумно, а я ступал на цыпочках, отсчитывал номера на дверях палат и облегченно вздрагивал — еще не та, еще не эта! Номер на дверях палаты отца я не успел разглядеть — заметил в комнате Асю Александровну. Она кивнула мне: «Здесь», я вошел и сразу же увидел глаза отца. Господи, какие это были глаза! Будто их калили, калили и перекалили! Они были черные, хотя от природы отец голубоглаз, и неподвижные. Я шел к нему через палату, а он следил за мной своими налитыми чернотой, неподвижными глазами, словно собирался крикнуть: «Да как ты после всего смеешь!» Но когда я остановился рядом с ним, он терпеливо и вяло — ему это было трудно — разделил сморщенные, подгоревшие губы и сказал, будто прощая мне то, что я с ним сделал:

— Ничего.

И закрыл глаза.

— Идите,— шепотом сказала Ася Александровна.— Ему нельзя волноваться.

Мы вышли в коридор, и она расправилась, оживилась — должно быть, отсидела себе и ноги, и поясницу, и плечи. Даже халат на ней расправился и стал франтоватым.

— Вы давно в городе?

Я сказал, что скоро две недели.

— А я слышала, что вы уже месяц здесь,— уличила она меня.

Впрочем, больше язвить она не стала. Она была рада мне, рада

пройти по коридору, размяться. Она рассказывала, как это началось, как она добивалась, чтобы ей разрешили жить в больнице. Разрешения ей такого, конечно, не дали, никому не дают, но вот уже целый месяц закрывают глаза на то, что она здесь днем и ночью.

— Нельзя ли нанять сиделку? — предложил я.

— Сиделку! — возмутилась Ася Александровна. — Отец ночью придет в себя, а рядом чужой. И в палате ко мне привыкли. Сестру не дозовешься, а я всегда рядом. Да и вообще ко мне тут привыкли. Даже обед стали приносить на меня. А отдохнуть захочу — вы меня смените. Так? — И она испытующе посмотрела на меня.

Странное у меня было ощущение. Всегда упорно, даже назойливо молодившаяся Ася Александровна, несомненно, помолодела. И двигалась она быстро, и с каким-то победным удовольствием здоровалась со встречаемыми врачами и сестрами, и говорила возбужденно. Со мной она попрощалась дружелюбно и ушла по коридору легким, быстрым шагом, так что даже полы халата у нее развевались на ходу. А ведь она тоже очень больна: у нее необычная, казавшаяся мне раньше придуманной болезнь — лабиринтит — и серьезная, много раз осложнявшаяся на моей памяти болезнь крови.

## 3

Месяца два прожила Ася Александровна в больнице с отцом, а в начале мая состоялось их торжественное возвращение домой. В больничном садике студенты мединститута в тот день вскапывали землю. Земля перестояла, пересохла, от нее шла пыль, сквозь голые ветки акаций солнце палило по-летнему, а в тени больничного корпуса еще было холодно и сыро. Холодно, темно и сыро в этот первый яркий весенний день было и в больничном вестибюле, поэтому все встречавшие отца стояли во дворе, смотрели на студентов, шурились на солнце, на черные прыгающие точки, которые появляются в глазах в такой вот яркий, солнечный день. Говорили о загородных садах — кто-то недавно взял землю под загородный сад, — о том, что весну в городе только и увидишь, когда случайно вырвешься с работы на час-другой, а так и не заметишь, как она пролетит. Говорили о том, что после этой войны роковой возраст для мужчин — шестьдесят лет, что отцу еще повезло, такую операцию перенес и жив остался. Говорили об Асе Александровне, о том, как ей придется теперь.

Сама Ася Александровна, больнично-бледная в темном зимнем пальто — пришла в нем сюда еще зимой, — выбегала на минуту во двор посмотреть, не пришла ли санитарная машина, передавала халаты мне и моему двоюродному брату — мы должны были вынести отца на улицу — и опять убегала в больницу. Санитарная машина где-то задерживалась, я предложил Асе Александровне вызвать такси, но она наотрез отказалась: такси не годится. Наконец санитарная пришла, отца, только что научившегося сидеть, побритого, причесанного, в сером костюме, пскатили по длинному коридору к приемному покою. Мы с братом на скрещенных руках — носилки показались ненужно громоздкими — вынесли его на майское солнце, усадили на переднее сидение рядом с пожилым, снисходительным, привыкшим ко всему шофером, подождали, пока Ася Александровна попрощается с врачами, сестрами и больными, и наконец поехали. Ехать было всего два квартала.

У дома отца машина вывернула на тротуар, к самому парадному, Ася Александровна в расстегнутом пальто, с косынкой в руках — сняла ее на ходу — торопливо пошла впереди нас с братом, распахивая перед нами двери. С каждой новой ступенькой брат слабел, я чувствовал, как

потели и разжимались его пальцы, державшие мою кисть, а когда мы поднялись вверх и, придавливая себя и отца, протиснулись сквозь квартирные двери, оказалось, что посадить отца вроде бы и некуда, так все здесь было по-старому. «Ну вот и дома!» — слишком уж бодро сказала Ася Александровна, увидела наши напряженные, потные лица, крикнула: «Сейчас!» — и бросилась разбирать постель.

Родственники и знакомые, вошедшие вместе с нами, стали прощаться — отец должен отдохнуть. Стали прощаться и мы с двоюродным братом — нас ждут на работе.

— Идите, идите, — отпустила нас Ася Александровна.

Мы ушли, а она осталась с отцом одна. Я появлялся по воскресеньям, иногда, по вызову Аси Александровны, приходил в будни, чтобы отвезти отца в больницу на очередное исследование, а все остальное время она оставалась с отцом одна. С отцом, с его врачами, с его больным желудком, с его истрепавшимися нервами, с его страхами и упорным желанием выздороветь, стать на протезы, которые были ему уже не по силам.

А на первый же праздник — кажется, это был ноябрь — к отцу собрались родственники, друзья из его старой компании, которые по довоенной еще традиции собирались на все праздники вместе. Отец, чистый, причесанный, в чистой рубашке, как ухоженный, присмотренный ребенок, сидел во главе стола, и стол, уставленный бутылками, тарелками, селёдочницами, выглядел почти таким же нарядным, как в те дни, когда отец был здоров, работал и получал неплохую зарплату. Только сыр и колбаса были уж слишком тонко нарезаны и уж очень хитро, веером, разложены по тарелкам. И вино в бутылках с сохранившимися фабричными этикетками было домашним. И каждая селёдка, разрезанная вдоль, лукаво была разделена на две.

На звонки гостей Ася Александровна выходила из кухни в переднике, запястьем подавала руку, жеманно подставляла щеку — губы в жиру — под поцелуй женщин, жеманно говорила:

— Дела? Разве вы не знаете? Лучше всех! У меня всегда лучше всех... Здоровье? Разве у такой молодой женщины, как я, спрашивают о здоровье? Лучше всех, конечно, лучше всех!

Отцу в крохотную рюмку-мензурку налили разбавленного спирта, на тарелку ему положили какой-то несоленый диетический салат. Ася Александровна тоже ела что-то невкусное, диетическое и вообще за стол почти не присаживалась — то и дело отлучалась на кухню, выходила к запоздавшим гостям и каждому гостю говорила, что дела у нее лучше всех, что женщина она молодая и что здоровье у нее прекрасное.

И на Новый год, и на Первое мая, и на день рождения отца, и на день рождения Аси Александровны отец, как чистый, ухоженный ребенок, сидел во главе стола, за которым собирались родственники и друзья, а худая, жеманная женщина встречала в коридоре гостей и сообщала им, что дела у нее лучше всех, что она молодая и потому на здоровье не жалуется. И стол, накрытый ею, был почти таким же, как в те дни, когда отец работал, был здоров и получал неплохую зарплату. А хитро нарезанная селёдка, колбаса и сыр выглядели так, будто их не от бедности, а от гастрономической изощренности так тонко порезали, так замысловато разложили по тарелкам.

Я смотрел на эти тарелки и думал, что всей гордости, всей изворотливости Аси Александровны надолго не хватит. Но подходил новый праздник, и все повторялось, и я, так и не полюбив Асю Александровну, стоя уважать ее и удивляться ей. Я вспоминал истории, которые мне о ней рассказывали и которые она сама рассказывала. Эти истории и



раньше волновали меня, но я как-то не связывал их с самой Асей Александровной, потому что не любил ее.

В тридцать седьмом году ее первого мужа арестовали прямо на работе, а домой к нему нагрянули с обыском. Ася Александровна, тогда еще девочка, ходила по разгромленной обыском квартире, кокетливо улыбалась обыскивающим и пыталась увести их от шкафа, в котором лежал незарегистрированный пистолет мужа, оставшийся с гражданской войны. «Здесь мое белье, мои вещи,— говорила Ася Александровна тому из обыскивающих, который был повежливее,— разрешите, я заберу их». И, присев перед шкафом на корточки, чувствуя на своем затылке недоверчивый взгляд одного из обыскивающих, спрятала под нижнюю резинку реитуз незарегистрированный пистолет мужа.

После обыска она сразу же отправилась к прокурору и ходила к нему каждый день, добиваясь, чтобы ей сообщили, где ее муж, чтобы дали свидание с ним. Прокурор сказал ей, что муж ее — враг народа, но она ни на минуту не поверила ему.

Перед войной председателя горисполкома, больного, выпустили на волю. В сорок первом году они вместе с Асей Александровной были в числе последних гражданских, покидавших город. Через Днепр переходили в сильную бомбежку, бомбы рвались так близко от моста, что брызги казались осколками, ранившими лицо, а вода, стекавшая по щекам,— кровью. Как многие тогда, они оказались в тылу у немцев, долго скитались по деревням, пока под Ростовом, откуда Ася Александровна родом, не попали в облаву. Мужа Аси Александровны, исхудавшего, заросшего черной бородой, горбоносого, полицаи посчитали евреем, избили и арестовали. Асю Александровну задерживать не стали, но она сама пошла за проволоку. Ночью их в крытой машине повезли в Ростов. Под Батайском машина попала под сильную бомбежку нашей авиации, и тут произошло то, чего Ася Александровна до сих пор по-настоящему не может объяснить: шофер остановил грузовик, открыл дверцы кузова и ушел. Не веря в свое счастье, люди выпрыгивали и бежали в темноту. И только избитый и больной муж Аси Александровны не в состоянии был убежать. Он требовал, чтобы Ася Александровна ушла, но она осталась. Вернулся к машине шофер, не глядявая в кузов, захлопнул дверцы. Пустая машина двинулась. Муж Аси Александровны прислушивался к тряске: «Едем по грейдерной... по асфальту». Где-то в городе грузовик остановился, шофер выпрыгнул из своей высокой кабины — машина качнулась,— открыл кузов и осветил его фонариком. Увидев Асю Александровну и ее мужа, он выругался и стал показывать рукой: «быстрее, быстрее!» Потом забрался в кузов, подхватил мужа Аси Александровны под руки и поволок его к выходу. Когда вылезли наружу, Ася Александровна увидела, что грузовик стоит рядом с полуразрушенным домом, улица пустынная, никаких признаков охраны. Еще не смея верить своей догадке, она стала благодарить шофера, он отмахнулся и показал на парадное полуразрушенного дома. Вдвоем они отнесли мужа Аси Александровны туда, и немец, еще раз осмотрев кузов, уехал. Кто он был, почему так поступил, Ася Александровна не знает. Ей только показалось, что немец этот не немец: выругался он не то по-чешски, не то по-польски.

## 4

Когда на следующий день, договорившись с музыкантами и добыв ковровые дорожки, я пришел к огцу, в комнате уже было полно народу. В коридоре и комнате пахло холодом, улицей — дверь на лестничную клетку давно была распахнута. Осторожно раздвигая чьи-то спины,

я протолкался к Асе Александровне, отдал ей ковровые дорожки, сказал, что оркестр скоро будет. Увидев меня, она, точь-в-точь как вчера, всплеснула руками и, словно я мог и не прийти и будто бы ночью мы не договорились с ней обо всем, запричитала:

— Как хорошо, что ты пришел! Такое у нас с тобой горе! Такое большое горе!

К нам обернулись, вокруг меня почтительно потеснились какие-то незнакомые мужчины и женщины, а знакомые и малознакомые стали подходить здороваться. Малознакомым — их она мне когда-то уже представляла — Ася Александровна говорила:

— Это сын Петра Николаевича. Ночью из Москвы прилетел к отцу.

Она как бы хвасталась мною, тем, что у ее умершего мужа такой рослый, здоровый сын. Распахнутая на лестничную клетку дверь, обилие провожающих и это хвастовство были частью ритуала, задуманного ею, и я не возражал.

Часов в одиннадцать во двор въехал грузовик, шофер поднялся наверх, и все засуетились. В комнате что-то натянулось. Начали выносить и устанавливать в кузове стулья, понесли цветы украшать грузовик. Кто-то, став на табуретку, старался открыть давно не открывавшуюся вторую половинку двери. Запор, плотно засевший в своем гнезде, не поддавался, потребовался молоток, наконец дверь распахнулась, и тут закричала Ася Александровна. Она закричала так страшно, что другие женщины даже не ответили ей. Ее подхватили под руки, повели к соседям. Там она упала на пол, билась у меня на руках.

Господи, насколько эта женщина была сильней меня в любви к отцу! И как повезло ему заручиться ее верностью! С тех пор, как я понял, что мой отец не лучший из людей, я ничего не прощал ему: ни детские, ни взрослые обиды. Она простила ему старческую беспомощность, беду, которую он взвалил на ее плечи, его тяжелый характер, угасающий разум, саму смерть. Ведь и женился он на ней, когда уже чувствовал, что война — это была третья большая война на его веку — совсем лишила его здоровья, убила его.

И первому мужу Аси Александровны повезло повстречаться с ней. И мне повезло повстречаться с ее верностью, пусть даже обращенной не на меня.



---

Н. МЕЛЬНИКОВ

★

## ОДИН РЕЙС

*(Из записок корреспондента)*

**С**тарпом, не отрываясь, глядел в бинокль и вслух рассказывал все, что видел:

— Вот их дом. По утрам старик, отец ее, всегда на крыльце стоял. Неужели помер?.. А это кто еще там? Может, замуж вышла?.. А вот и сама! В голубом плаще. Разговаривают... На часы поглядела. Может, на работу спешит... Вот гад, шлепка ей дал, а сам хохочет... Идет, идет! — Старпом вдруг спрятался за мою спину. — Честное слово, она мне прямо в глаза посмотрела.

Наш теплоход стоял от берега метрах в десяти, а там еще широченная улица. Не то что в глаза посмотреть — человека не разглядишь.

— Она нас не видит, — сказал я. — Чего испугался?

— А биотоки? — сказал старпом. — Возьми бинокль, погляди. Она в голубом плаще.

Когда мы час назад подходили к Енисейску, старпом рассказал, что в прошлую навигацию им пришлось зазимовать здесь, не могли из-за льда пробиться домой в Красноярск, и что теперь у него в Енисейске уйма знакомых, даже жениться думал.

— Что ж не женился?

— В Красноярске куда жену девать?

Она шла в голубом плаще, деловито размахивая черной плоской сумочкой. Волосы у нее золотистые, как говорят, «не свои».

— Ты на нос посмотри, — подсказывал старпом. — У нее греческий нос. Нравится?

— Как ее зовут? — спросил я, не знаю зачем.

— Люда. Ну как?

— Вполне. Зря не женился.

— Я же женат.

— Развелся бы.

— Сам-то ты сколько раз женат?

— Один.

— А мне советуешь.

— Закон дружбы, — ответил я. — Себе во всем откажешь, а другу ни в чем.

Было раннее утро, город только пробуждался. По берегу, виляя хвостом и повизгивая, металась собака. Это она нас приветствовала. Пошатываясь, видно с похмелья, в обнимку шли два дюжих парня в телогрейках и сапожищах. Они материли друг друга, но шли в обнимку — чтоб не упасть. К реке спускался водовоз на старенькой лошаденке. Бочка была величиной с нее.

К причалу мы не подошли, бросили якорь невдалеке — против почты, церквушки и танцплощадки. Стоянка здесь недолгая: закупим хлеб — и дальше.

Мы — это не только наш сухогрузный теплоход. В Красноярске по левому борту нам прилепили лихтер, груженный тракторами, пиломатериалами и еще бог весть чем, даже фикусы есть. Такой же теплоход, как наш, подпирал лихтер с другого борта. Сделали это для того, чтобы лихтер не болтало. Всех нас тянул крошечный буксировщик. С виду пигалица, а тянет резво. Мы с нашим сухогрузным собратом помогали ему: и мы и он шли на одном двигателе. Наш караван из-за пестрого груза — красный кирпич, серый шифер, кровати, лошади — напоминал цыганский табор. Да и команда была одета кто во что горазд. Даже репродуктор разносил пение с хрипотцой, как будто с цыганским надрывом.

... Командовал парадом буксировщик. Он объявил, что стоянка будет полтора часа. Первыми отправились на берег кокши. Старпом остановил моториста-рулевого Щеткина, тоже перемахнувшего через борт в моторку.

— Ты разрешения спросил? — закричал он, перекрывая радио. — Ты ж на вахте!

Щеткин вернулся. Сначала он сплюнул в воду, затем нехотя полез наверх по трапу. Ему бы подойти, объясниться, а он направился в свое машинное отделение.

Старпома чуть удар не хватил.

— Я с тобой разговариваю? — кричал он. — Ты что, дисциплины не знаешь?

Щеткин и верно не знал дисциплины. Это был его первый рейс в жизни. После краткосрочных курсов. Хотя ему было за тридцать, определенной профессии он так и не приобрел. По его словам, он вдоль и поперек прошел всю Россию.

— А вы не наскакивайте, — огрызнулся Щеткин. — Вы тихо говорите.

Но старпом тихо говорить сейчас не мог. Во-первых, вопиющее нарушение дисциплины. Во-вторых, только что скрылся из вида, и может быть, навсегда, голубой плащ Люды, которой так нахально, по-хозяйски дал шлепка чужой дядя. Как не сорваться!

Щеткин, махнув рукой, пошел в машинное отделение. Старпом побежал за ним. Распахнулась дверца капитанской рубки, из нее высунулась лохматая голова капитана Морозова. Он будто ничего не слышал и, широко улыбаясь, сказал:

— Енисейск возник в семнадцатом веке. Имеется тринадцать церквей, из которых работает только одна... Я хочу сказать, что рыльце у нашего старпома в пушку. Дисциплина, конечно, нужна, но орать-то зачем.

Где-то внизу еще бушевал старпом, а Щеткин уже появился у капитанского мостика. Когда-то он начинал трудовую жизнь вместе с капитаном, тринадцати лет учились слесарничать. Потом капитан ушел в юнги, а Щеткин заколесил по России. И вот встретились. Один — капитан, другой — моторист и вроде начинает жизнь сначала.

— Почему нарушаешь дисциплину? — спросил его капитан.

— Старпом на меня налетел...

— Устав читал?

— Читал.

— Плохо читал.

— Уж на берег нельзя сходить? Я думал, вернусь и сдам вахту.

— А ты не думай. Не размышляй. Делай, что полагается.

— Человек не может без размышлений.

Щеткин был высокого роста, худой, костлявый, с головой, как огурец, белобрый, подстриженный под бокс, с большими мускулистыми руками. Не эти руки так и не научились что-нибудь толком делать.

Жил Щеткин бобылем. Я как-то спросил его, почему у него нет семьи.

Он ответил: «А зачем?» Интервью не состоялось...

— Пока не поздно, — сказал ему капитан, — можно на берег списать.

— Поговорим в Красноярске.

— Можно и теперь.

— Не имеешь права.

— Пойди почитай устав. Он лежит у меня на столе в каюте.

Щеткин ушел, но прежде схамил:

— Вы свою капитанскую дочку учите жить.

Капитанской дочкой он называл мотористку Веру. Вместе со Щеткиным она окончила курсы мотористов, и вместе они пришли на теплоход. Сначала держались друг друга, а потом дружба пошла врозь.

Я не видел, чтоб капитан как-нибудь отличал Веру от других. Ей просто не нужно было дважды повторять приказание.

— Люблю, когда человек работает, — говорил капитан. — Из нее выйдет толк. Помаду забросила, духи тоже. Это мое условие было.

Когда Щеткин ушел, капитан пожаловался:

— Слышали? С ним-то я разберусь. А вот жене стукнули, так она такое мне закатила перед рейсом! Целую неделю не ночевал дома. Пока грузились — жил на корабле. Только вчера помирились.

Вчера вечером Морозов познакомил меня с женой. Уходила она на рассвете. Ей на берег, а нам в рейс. Вера стояла у флагштока и ждала, когда она уйдет, чтобы поднять флаг.

— Скоро это кончится? — спрашивала худенькая бледнолицая женщина. — Я одна домой, а ты неизвестно куда.

На корабле ждали, когда она уйдет. Ждал у штурвала стармех Давыдов, ждала Вера у флагштока, ждал и капитан, но после примирения не решался торопить. Мне было жаль ее. На берегу туман прикрыл ящики, контейнеры, краны. Видны одни их силуэты. Туман прикрыл не только берег, но и весь громадный город. Там даже силуэтов домов не видно. Куда ей, худенькой, с бледным лицом, сейчас туда — одной?

Штурвальный подал сигнал. Взвился флаг. Супруга Морозова зашпешила по трапу на берег. Скоро ее поглотил туман...

Капитан продолжал жаловаться:

— Вы же сами видите, абсолютно все необоснованно... А вообще-то я дурак. Не надо жалеть людей. пожалел Щеткина — вместе в школу бежали, — а он с первых дней стал выкамаривать. пожалел старпома — его тоже никто не хотел брать. Вы ведь знаете его историю.

Историю старпома я знал. Раньше он работал капитаном ракеты. Потом попал в аварию, разбил ракету. Под суд не отдали, потому что люди остались живы: шестьдесят человек пассажиров, не считая команды. Казалось бы, человек должен быть рад — избежал суда, уже не говоря о том, что сам чудом остался жив. А нет: он был с высшим образованием, один из немногих в пароходстве, но после аварии его не поставили больше капитаном, и он обиделся и не упускал случая напомнить, кто, мол, он и кто ты.

По этому поводу капитан говорил:

— Мы постараемся искоренить в нем этот недостаток.

— Высшее образование?

— Именно. Иным оно до зарезу нужно. Иным во вред. Вот человек

обиделся, что его не поставили капитаном, потому что у него высшее образование. А если хотите, он и на старпома не тянет.

С кормы нам кто-то закричал:

— Почему вы меня не разбудили?

Это Елена Ивановна Окунькова: она тоже командировочная, как я. Только я из Москвы, а она из Красноярска, по госстраховским делам. Едет с нами до конца в небольшой город Эвенкийского национального округа Байкит.

— Почему вы меня не разбудили? — повторила Елена Ивановна, поднимаясь к нам на мостик. — Я бы тоже сошла на берег.

Капитан объяснил, что стоянка здесь недолгая, время раннее, а, как известно, в предутренние часы сон самый крепкий и сновидения самые необыкновенные.

— Мне давно ничего не снится, — ответила Елена Ивановна. Она повернулась ко мне и погрозила пальцем. — Вы сказали вчера, что мне не идет моя шляпа.

Не одного меня сместило то, что она носила на голове. Это было нечто фетровое, лиловое, бесформенное. И я действительно ляпнул вчера:

— Что это вы колпак надели?

— Не колпак, а шляпу. Сейчас так модно.

— Колпак, — настаивал я. — Полуфабрикат.

У Елены Ивановны глубокие складки у рта, неумело, неряшливо подкрашенные ресницы. Пальто на ней ветхое, с узеньким меховым воротником из какой-то рыжей кошки. Высокие черные ботинки в заплатах. В такой ненадежной экипировке она отправилась за тридевять земель.

И вот сейчас, глядя на нее, я устыдился за свою неуместную шутку и сказал:

— Я пошутил, Елена Ивановна.

Окунькова снова погрозила мне пальцем и удалилась.

В Красноярске сказали, что лихтер мы оставим на Стрелке, там, где Ангара впадает в Енисей. Все три команды приготовились к маневру, но никаких сигналов об остановке с буксировщика не поступило. Решили, что дотянем лихтер до устья Подкаменной Тунгуски, по которой нам предстояло идти на Байкит.

Мы миновали устье, а буксировщик шел все вперед и вперед. Капитан приказал связаться с ним по радио. Оттуда ответили, что лихтер оставят в пятидесяти километрах от устья.

— Почему?

— Такое распоряжение.

— Не может быть такого распоряжения!

Буксировщик перестал отвечать.

Забеспокоились и на нашем сухогрузном собрате. Кричат нам в рупор, а мы им. Ему, нашему брату, тоже в Байкит. Дорог каждый час. Караваны только раз в навигацию заходят туда и быстренько возвращаются назад. Вода там держится дней десять и падает. Замешкаешься — и пиши пропало, даже катер не пройдет. К тому же чем раньше придем, тем быстрее уйдем. Конец месяца, кому не охота выполнить план и получить прогрессивку?

Все двадцать человек — у нас десять и на нашем брате десять — высыпали на капитанский мостик. Плакала их прогрессивка. Глядят на буксировщик с тоскливым выражением на лице.

Наш капитан, поостыв, предположил, что буксировщику не хватает ста километров до выполнения плана, вот он и решил протащить лихтер, благо по течению — пусть даже в нарушение всяких правил. Там, где он собирался бросить лихтер и отпустить нас, безлюдно, а у лих-

тера никакой связи. Команда девять человек — живые люди, мало ли что может случиться! Тем не менее нам ничего не оставалось делать, как послушно следовать за буксировщиком.

Наш капитан не без юмора. Договорился с капитаном другого сухогрузного испортить кровь буксировщику: оба дали «полный». Буксировщик заплясал. Наш цыганский табор стал наступать ему на пятки. Оттуда вызвали по радио и коротко сказали:

— Не умничать.

Но мы продолжали идти полным, заставляя буксировщик плясать. Этот юмор нам дорого обошелся. Буксировщик оказался злопамятным и мстительным...

Кажется, только два человека не думали, что горит их прогрессивка: наш моторист Игорь и мотористка с нашего напарника Сима.

Он был на своей корме, она на своей. Ничего, что посредине, между судами, был лихтер и гул двигателей не позволял перекинуться хотя бы словечком. Они стояли молча и улыбались друг другу. Улыбались они не только потому, что им чертовски нравилось смотреть друг на друга; я-то не знал еще, а они знали, что теперь мы только к вечеру попадем на базу Большого порога и там заночуем.

Наша команда неодобрительно относилась к роману Игоря и Симы. Новому человеку непременно рассказывали о каких-то ее похождениях. Одно лишь упоминание о ней вызывало пренебрежительную и даже презрительную ухмылку. Не стеснялись и Игоря. Наоборот, именно при нем старались как бы невзначай припомнить еще одну скандальную историю с Симой. Но Игорь был к этим рассказам глух, будто они его не касались. Он был не только неразговорчив, а просто молчальник. Молча стоял за штурвалом. Даже когда спросишь его: «Где идем?» — он только ткнет пальцем в карту лоцманского журнала. Не выражал восторга, обыгрывая всех подряд в шахматы.

Наверно, Игорь и Сима еще долго стояли бы и смотрели друг на друга, но пришла наша кокша Валя и крикнула:

— А ну марш ужинать!

В маленьком коллективе трудно что-нибудь утаить. Впрочем, Валя и не скрывала, что влюблена в двух молодых людей сразу: в известного киноартиста Михаила Козакова и в моториста Игоря. На первого Валя махнула рукой — далеко, мол, живет. Но Игорь жил в соседней с ней каюте.

Под горячую руку досталось и мне:

— А ты, дедусь, особого приглашения ждешь?

Это она окрестила меня дедусем. Другие тоже стали так меня называть, и я не обижался, потому что был старше всех на теплоходе. Правда, Елена Ивановна Окунькова не слишком отстала от меня, но и ее только за глаза величали бабусей, а в глаза не решались — все-таки женщина.

Свободного места в каютах мне не досталось, я жил в красном уголке на кожаном диване. На кубатуру не пожалуешься — просторнее, чем у всех. Одно плохо: вместо герметически закрывающихся иллюминаторов — большие окна и по ночам в них смертельно дуло, так что утром я вставал с насморком. За день отогреешься, насморк пройдет, а на другой день то же самое. Климат менялся здесь буквально по часам. Утром шлепаешь по обледенелой корме, с капитанского мостика смахивают снег, а через несколько часов жарит солнце. Утром наденешь на себя все, что захватил из дому, а днем остаешься в одной рубашке и дышать нечем.

Всякий раз, возвращаясь из таких вот командировок за тысячи километров от Москвы, ждешь в редакции объятий, торжественных возгласов: «Ну как съездил?», «Наконец-то!», «Здоров!» Ничего подобного не происходит.

Ответственный секретарь поднимет левую бровь, состроит удивленное лицо и бросит на ходу:

— Зайдите.

Заходишь. Он встанет за длинным столом и, глядя в окно, тихим голосом предупредит:

— Отписывайтесь. Но чтоб поменьше диалога.

Закадычный друг (хоть и из начальства), забыв поздороваться, с ходу предложит:

— После работы сообразим?

Завотделом, с петушиным хохолком на голове, остановится, хлопнет себя по бокам и воскликнет:

— Слушай! Долго ты еще будешь болтаться в Москве?

...Первым на базу Большого порога пришвартовался наш напарник. Мы подошли ночью. Верно, ночь здесь не темная, вечереет только. Сначала облака спускаются на скалы. Потом на воду наползает туман. Проскочить облака и туман удалось только флагману каравана, белому красавцу — пассажирскому дизель-электроходу, а мы заночевали на базе. Скоро подошло туда еще несколько кораблей — таких же, как мы, сухогрузных.

По вечерам мой красный уголок превращался в кают-компанию. За неимением водки пили до глубокой ночи крепкий чай. Водка была, но артельная, ее меняли на рыбу и мясо.

Первой заявлялась ко мне кокша Валя. Садилась за стол, покрытый кумачовой скатертью, подпирала кулаком щеку и говорила:

— Не пойму я одного человека.

Я знал, что речь пойдет о мотористе Игоре.

— Сам посуди, дедусь, вчера ночью, например, холодище был, движок не работал. Так он мне свое одеяло принес. Я ему говорю: «Зачем мне твое одеяло, когда ты с Симкой гуляешь». — «Холодно, говорит, простынешь». У меня штепсельной розетки нет, чтоб печку включить, так он жулик смастерил. Я ему опять говорю: «Зачем мне твой жулик, ежели ты с Симкой гуляешь». А он свое: «Холодно, простынешь». И еще взял в привычку подмигивать. На день сколько раз обманывает, свистит поптичи, а я, дура, думаю, меня зовет. Со всех ног бегу. А он сидит и на небо поглядывает. Я его спрашиваю: «Звал?», а он головой мотает — «нет, мол» — и все подмигивает. Ну не дьявол? Зачем голову мне морочит? Связался с тунеядкой, а мне голову морочит.

Я говорил, что Сима вовсе не тунеядка, она работает не меньше, чем другие.

— Что ты, дедусь, понимаешь? В черных чулках ходит. А кто в черных чулках ходит? Тунеядки.

Я не спорил. Бесполезно. Ненавидит она Симу, ревнует к Игорю. Часто она наблюдала, как Игорь с кем-нибудь играет в шахматы. Игру не понимала, но «болела». И даже давала советы: «Ты не торопись, думай». Игорь почти всегда выигрывал, и тогда Валя прыгала от восторга на одной ноге вокруг стола, хлопала в ладоши, точно маленькая.

В коридоре шум: опять старпом с кем-то скандалит, но, кажется, на этот раз не со Щеткиным. Я вышел в коридор, как раз когда мимо проходила Сима. Она приветливо улыбнулась мне и поздоровалась:



— Добрый вечер.

Позади шел старпом и кричал ей вслед:

— И чтоб не смела больше сюда ходить!..

Сима остановилась и сказала так же приветливо, но уже старпому:

— Спасибо за гостеприимство. Рада была познакомиться.

Старпом, сбитый с толку, продолжал пуше прежнего орать:

— Ты что, русский язык не понимаешь? Я сказал, чтоб твоей ноги здесь не было!

А та, явно издеваясь над ним, стояла руки в боки и все так же приветливо отвечала:

— Благодарю, обязательно приду еще.

Не знаю, чем бы кончилась эта сцена, если бы Сима не расхохоталась, не показала старпому язык и не выбежала на палубу.

На крик прибежала Елена Ивановна Окунькова.

— Разве можно так с девушкой разговаривать? — возмутилась она.

— Да какая она девушка! Пробы ставить негде!

— Вы мужчина, — продолжала Окунькова, — а верите сплетням.

— Не сплетни, а факт. И вообще запрещено чужим приходить на корабль. А наш дурачок мне еще спасибо скажет. — Он резко повернулся, словно кто-то собирался его сзади стукнуть.

В конце коридора стоял Игорь, стараясь заглянуть поверх нас. Длинный, худой, с тонкой, как ниточка, шейей, он стоял с опущенными по швам руками и растопыренными пальцами, будто выронив что-то из них. Нет, нельзя было сказать, что Игорь собирался благодарить старпома.

На рассвете мы вышли к Большому порогу. Симин сухогрузный ушел раньше. Ночью на катере приезжал капитан-наставник, ответственный за караван. Договорились, что, если мы не сумеем перевалить через порог, нам поможет буксировщик, тот самый, что протащил нас лишних пятьдесят километров.

Рассеялся туман, поднялись со скал облака.

У штурвала капитан Морозов. Здесь же на мостике почти вся команда: стармех Давыдов, третий штурман Семен — круглолицый, вечно с красным лицом, будто только что вышел из парилки; Вера, Игорь и старпом. Остальные жили своими заботами. Кокша чистила картошку, моторист Витька бродил с одностволкой, высматривая уток. Щеткин возился с рыболовной снастью. Елена Ивановна, подставив подбородок солнцу, загорала. Едва доносилась из радиорубки танцевальная музыка. На мостике репродуктор выключили, и никто не разговаривал.

Я сидел здесь же, на скамейке. Если поглядеть на воду, то кажется, что мы несемся на всех парусах. На самом деле несутся воды Подкаменной Тунгуски — шестнадцать километров в час. А мы идем черепашьим шагом, прижимаясь к левому берегу. На нем, как и на правом берегу, высоченные скалы с редкой прошлогодней травой, с кладбищем очень длинных и очень тонких поваленных берез. В каменистой почве им не разойтись корнями, все короткое лето они тянутся к солнцу, а осенью и зимой буйные ветры и метели скашивают или калечат их. Лучше живет здесь пихтам, они если погибают, так обычно вместе с разрушающейся породой.

Для того чтобы понять, идем мы или стоим на месте, я выбирал то уцелевшую березку, то скалистую глыбу, нависшую над водой, и следил, ползет ли березка или глыба назад.

Капитан поглядывал на часы, что висели позади него над запасным

штурвалом. Штурвал этот нужен на случай, если откажет автоматика. Поглядев на часы, капитан улыбнулся мне.

— Движение — люкс.

И снова руль вправо, руль влево. И снова я брал на мушку березку. Но что это? Она остановилась и покачивается, то есть это мы покачиваемся. И вдруг березка поплыла, поплыла вперед, а это значит, что мы поплыли назад.

— Надо отваливать к правому берегу, — сказал капитан.

Отваливать к правому берегу оказалось не так-то просто. Несет назад, но это еще полбеды, хотя и жалко отвоеванных метров. Но уже не в них дело — заносит корму, и того гляди врежешься в скалу. А у нас груза шестьсот тонн: в трюмах мука, сахарный песок, сверху — шифер. И это еще не все — в одном из отсеков в трюме багаж для геологов и ящики для райздрави.

Но все обошлось благополучно, мы уже оказались у правого берега, начали отвоевывать потерянные метры и, даст бог, может, наберем новые. Снова руль влево, руль вправо.

Прибежал из радиорубки практикант-радист Валька.

— «Динамо» забило гол!

— Какое «Динамо», какой гол? — спросил капитан.

— «Динамо» Москва.

Стармех Давыдов повернул Вальку лицом к лесенке и подтолкнул.

Мы не заметили, как нас догнал буксировщик, но он не один, тащит небольшую самоходку. Теперь если мы не одолеем порог сами, то надо будет продержаться часа три, а там вернется буксировщик и заберет нас.

Еще раньше я заметил, что на правом берегу вершину одной из скалистых гор венчают две башенки, будто сложенные руками человека, — они напоминали остатки крепостной стены. Виднелись даже бойницы. Но человеческие руки здесь были ни при чем.

Как раз против этих башенок находился мыс, который нам предстояло обогнуть, а там, как говорится, мы были бы уже на коне. У этого проклятого порога три слива. Мы одолели третий, прошли второй и подошли к первому — к башенкам. Казалось, до мыса — рукой подать, расстояние в корпус нашего парохода.

Я смотрел на рыжий ручей, пробившийся к реке со скалы. По бокам ручья лед, он тоже пожелтел, но еще держится.

Сантиметр, еще сантиметр. Встали. Двигатели гудят во всю мочь. Я неотрывно слежу за рыжим ручьем — поползет ли он вперед или назад.

— А наш-то собрат прошел, видать, — изрек старпом.

— Благодарю за открытие, — отозвался капитан.

Бесшумно появился Валька и на пальцах показал: два—ноль. И так же бесшумно исчез. Ручей пополз вперед.

Капитан взглянул на стармеха Давыдова.

— Поможем?

Старпом кивнул и ушел. За ним Семен и Игорь.

У меня вертелся на языке вопрос, что значит «поможем» и куда ушли Давыдов с ребятами. Но капитан точно затылком угадал, что мне нужно, и сам сказал:

— Пошли помогать двигателям.

— Чем?

— Руками.

Уже потом он объяснил мне, что его теплоход такой же, что и тот, что шел вместе с нами и лихтером, но двигатели поновей. Поэтому на

них стоят ограничители. Срывать пломбы запрещено, а так, контрабандой, можно их заставить работать побыстрее.

У меня кончились папиросы. Капитан, наверно, услышал, что я ша-рю по карманам, и, не поворачиваясь, протянул пачку «беломора».

— Бери всю. У меня еще есть.

Вернулся Давыдов. За ним — Семен и Игорь. На щеках черные подтеки. Руки тоже черные и маслянистые.

— Ну что? — спросил Давыдов.

— Дело дрянь, — ответил капитан.

Я поглядел на свой ориентир, на рыжий ручей — на метр, если не больше, он ушел вперед — и тоже понял, что дело дрянь. Уперлись, точно в стену.

— Надо уходить, — сказал капитан. — Здесь не продержимся.

На мостике появилась Елена Ивановна Окунькова. На носу у нее кусочек газеты, чтобы не опалить кожу.

— У меня такое впечатление, что мы стоим на месте, — сказала она.

— У нас тоже, — ответил капитан.

— Это так надо? Мы кого-нибудь ждем?

— Нет, так не надо, — ответил капитан. — Не хватает силенок.

Остаться между башенками, у мыса, нам не удалось. Пришлось спуститься пониже. Теперь главным было удержаться до прихода буксировщика. Пришла кокша звать обедать. Капитан передал штурвал стармеху Давыдову.

— Не прижимайся к берегу, — сказал он ему и усмехнулся. — Чем дальше от берега, тем дальше от тюрьмы. Одна из трех морских заповедей.

Давыдов не любил стоять за штурвалом и всякий раз когда вставал, то ворчал. И всегда говорил об одном и том же: ему пригрозили — именно пригрозили, зная его нелюбовь к капитанскому делу, — что с будущей навигации его назначат капитаном. А он души не чаял в своих двигателях. Руки у него были всегда в масле, и, чтобы не испачкать штурвал, он обматывал его тряпкой.

Обедали не все вместе, а группками. Кому-то надо было дежурить, ждать буксировщика. Другие, отобедав, занимались своими делами. Из каюты третьего штурмана Семена слышался баян. На корабле было два инструмента: баян и гитара. Гитара пылилась, никто на ней не играл. На баяне по самоучителю учился Семен. Даже после вахты, бывало, примет душ и, прежде чем завалиться спать, чуть-чуть поиграет на баяне. Полюбилась ему, видно, только одна мелодия, а может, она давалась ему проще других — «Выхожу один я на дорогу». С аккомпанементом он еще не сладил и выводил только мотив. Стихи Семен знал наизусть и произносил их быстрее, чем налаживал мелодию. Стихи прицепились и к другим. Нет-нет, а можно было услышать, как кто-нибудь мурлычет: «...и звезда с звездой говорит».

Часа через два мы снова собрались на мостике, пришла даже кокша. Только по-прежнему возился с рыболовной снастью Шеткин, латал дыры, и по-прежнему бродил с одностволкой моторист Витька, хотя он ни разу еще не выстрелил, говорил, что экономит патроны. А потом я понял, что он, так сказать, входил в роль и не собирался стрелять. И правда, если бы он убил утку, то взять ее как? Охотиться он собирался, когда прибудем на место.

Буксировщик с минуты на минуту должен был подойти.

— Закончим навигацию, — сказал капитан, — и всей командой махнем к синему морю.

— К Черному, — поправил его кто-то.

А капитан продолжал:

— Главное, чтоб впереди что-нибудь маячило.

Он был настроен философски. Впрочем, он всегда настроен философски. У него были две излюбленные темы. В хорошем настроении он говорил о синем море и о том, что человеку должно впереди что-то маячить. В плохом настроении он клялся, что скоро уйдет в пчеловоды, что это куда мудрее, чем бороться с несовершенством бытия. Так загадочно и красиво он называл бюрократов, дураков и подлецов.

— Уж ежели социализм с ними не справился, куда мне, грешному,— говорил он.

— А дедуся возьмем к синему морю? — спросила кокша.

— Возьмем.

— А бабуся?

— Если пожелает.

А бабуся, то бишь Елена Ивановна Окунькова, сидела на шите трюма и вязала на спицах. На голове у нее по-прежнему красовалось нечто фетровое, лиловое. Рядом лежала книга в газетной обертке. Она то вяжет, то читает, то глядит на воду.

— Идет буксировщик,— сказал кто-то.

Семен, Вера и Игорь побежали к якорям готовить трос. Капитан подождал, когда буксировщик подойдет ближе, и дал сигнал о помощи. Буксировщик ответил, что принял к сведению.

Но странное дело: он продолжал идти, не сбавляя скорости. Капитан сказал, что, наверное, буксировщик хочет сделать оборот ниже, но на всякий случай вышел из рубки и крикнул в рупор:

— Прошу оказать помощь.

Буксировщик поравнялся с нашим кораблем и ответил сигналом, повторив, что принял к сведению.

Он шел по течению легко и быстро. А мы стояли — кто в рубке, кто на мостике, кто на носу с тросом в руках — и ждали, когда он остановится, начнет оборот. Но буксировщик так и не остановился, ушел вниз к базе Большого порога.

— А ведь он, кажется, ушел совсем,— сказал старпом.

— Спасибо за открытие,— отозвался капитан.

— Что бы это могло быть?

Капитан с мрачным юмором стал толковать ему, что рейс у буксировщика экспедиционный, что все, мол, у него идет по плану. Потом сделал паузу и заключил:

— Пора в пчеловоды.

Мы снялись и кормой по течению тоже пошли на базу. Кто-то сказал, что буксировщик отомстил нам за вчерашнее и вообще надо написать рапорт.

Капитан ответил, что навигация только начинается, а к концу ее наберется такое количество так называемых неувязок, что рапорт потонет в ворохе других. То, что мы теряем сутки,— только наша беда, это мы не доберем тонно-километры.

— Обидно другое,— говорил капитан,— забывают традиции! По существу мы терпим бедствие, просим о помощи, а нам отказывают... Уйду в пчеловоды.

На рассвете следующего дня мы снова ушли с базы порога и снова, как вчера, уперлись точно в стену. Нам помог второй буксировщик, он тоже обслуживал Большой порог.

Впереди был небольшой эвенкийский поселочек. Обычно, куда бы мы ни подходили, швартовался капитан. Но тут он неожиданно предложил старпому:

— Швартуйся.

— А что здесь мудреного? — ответил старпом, вставая за штурвал. — Руль переложить трудно, что ли...

Мудреного, казалось, действительно здесь ничего не было. Вода, как в озере, спокойная. У причала никого, если не считать крохотной лодочки. Но старпом именно в нее и угодил.

— Хреново швартуешься, — сказал капитан.

Вечером за чаем я спросил его: зачем он устроил это представление со швартовкой? Морозов ответил:

— И не думал. Навигация только начинается. Он должен понять сейчас или никогда, что надо заново учиться, потом будет поздно.

Хотя остановка здесь была короткая, все, кто был свободен от вахты, пошли на берег. Первыми показались на берегу радисты. Они всегда в парадной форме, то есть она парадная по сравнению с нашей штатской одежкой, а вообще-то самая обыкновенная. Они не упустили случая пофорсить на берегу среди местных девиц.

Мне дальше трапа идти никак нельзя: на берегу грязища, а я без резиновых сапог, в ботинках. Здесь же, на трапе, примостился Щеткин с удочкой. Со своим тощим портфельчиком вступила было на берег и Елена Ивановна Окунькова, но далеко идти не решилась — берег крутой, сплошное скользкое месиво. Местные, глядя на нее сверху, ухмылялись.

К трапу подошел мужик в военном картузе, в брезентовой куртке, сапогах, облепленных комками глины.

— Где начальство? — спросил он простуженным и пьяным голосом.

— На берег ушли, — ответил Щеткин.

Мужик поглядел на него и ахнул:

— Щеткин?

— Ой.

— Вольнонаемный Щеткин? Узнаешь? Игнатов.

— Тебя за версту узнаешь.

Игнатов сел рядом с ним. По всему было видно, что он рад был встрече, чего нельзя было сказать про Щеткина — этот вел беседу, не глядя на Игнатова.

— Видать, ты тоже вольнонаемным стал? — спросил Щеткин.

Из их разговора я понял, что Игнатов служил начальником режима в лагере для заключенных. Его разжаловали за что-то, говорил, что за поблажки заключенным. Теперь он здесь начальник склада.

— Это ты-то поблажки давал? — удивился Щеткин. — Не пойму, как тебя земля до сих пор носит.

— Она всех носит. Я свое дело знал. Воспитывал работяг.

— Уж как ты их воспитывал — я помню, — сказал Щеткин. — Теперь, говорят, политических нет.

Игнатов приблизил свое лицо к Щеткину и доверительно ответил:

— Есть. Только на свободе гуляют. — Он покачал головой. — Который год ишу справедливости. Где ее найти — правду?

На это Щеткин усмехнулся:

— Правда в том и есть, что тебя выгнали.

Но Игнатов словно не слышал и продолжал:

— Нет, ты мне скажи. Где правда?

— Его спроси. — Щеткин указал на меня. — Из Москвы человек. Корреспондент.

Игнатов обрадовался, вскочил, сунул мне руку.

— Здравия желаю. Игнатов. Андрей Сергеевич, старший лейтенант запаса. Пятнадцать лет работяг воспитывал. Я еще стихи пишу. — Он вытащил из нагрудного кармана листочек из школьной тетради и стал совать его мне. — Вы разверните.

Я развернул листочек. Каракули наезжали на каракули. С трудом прочитал два или три слова: смелость, служба, дружба.

— Ну что, годится?

— Нет.

Игнатов не обиделся: взял у меня листочек, свернул, положил в карман, застегнул карман на пуговичку.

— Так где начальство? Мясо есть. Могу продать.

Начальство шло по берегу, возвращаясь на теплоход.

В каюте капитана состоялась торговая сделка. Сначала Игнатов повторил свою историю величия и падения, потом загнал нам за пол-литра пятьдесят килограммов оленины. Откуда он ее взял — никто не спрашивал.

Нельзя сказать, что капитан с легким сердцем совершил сделку. Потом он не раз возвращался к этой теме.

— Чем прикажете кормить команду? — спрашивал он меня и сам же отвечал: — Без мяса никак нельзя, а купить его негде.

В дверях оказалась высокая, с могучими плечами женщина. Она назвалась женой Игнатова и просила не давать ему пить водки.

— Третий день дома не ночует, — говорила она. — Как ваши пароходы пришли. Вчера стрельбу открыл. За ним милиция должна приехать.

Игнатов стукнул кулаком по стулу и закричал:

— Ты что, сука, за мной ходишь?

— Не ругаться здесь! — прикрикнул на него капитан. — Прошу на берег. Все!

— Ну и тип, — подумал вслух кто-то, когда Игнатов ушел.

Не выдержала и Елена Ивановна Окунькова, она сказала жене Игнатова:

— Эх ты, женщина... Не стыдно такого гада мужем называть?

А та как бы в оправдание ответила:

— За ним сегодня милиция должна приехать, — и тоже ушла.

К вечеру налетел туман, а мы еще не выбрали места для стоянки. На капитанском мостике — Морозов, Вера, старпом. В углу рубки на лавочке — Елена Ивановна и я.

Минутами туман отступал, и тогда проглядывали вода и берег. С порогом справились, а с туманами, да без лоцмана, трудноато — никакая карта здесь не поможет, идем на одной интуиции капитана. Интуиция должна подсказать ему место потише и чтоб не было камней, уже не говоря о том, чтобы поближе к берегу А поближе к берегу нависают скалы.

Старпом незаметно исчез с мостика. Не хочет быть свидетелем, если врежемся. Тем более что не его вахта.

— Поглядите в бинокль, — попросил капитан Веру.

Пожалуй, только тем капитан и отличал Веру от других, что подчеркнуто вежливо обращался к ней на «вы».

На Vere кожаная курточка и брючки, заправленные в резиновые сапоги. Подстрижена Вера под мальчишку. Сама маленькая, а бинокль большущий, семикратный, того гляди выронит из рук.

— Ничего не видно, — говорит Вера.

— Зажгите прожектор.

Вера включила прожектор. Рукоятка от него над головой капитана, он повертел ее из стороны в сторону. Луч прожектора упирался в туман. Он не однородный, этот туман, движется, клубится пластами. Капитан шарил лучом, пробуя прорваться. Наконец подал команду:

— Прошу к якорю.

Значит, что-нибудь нащупал. Вера вмиг бросилась к лесенке и вот уже бежит по нижней палубе.

Тише заработали двигатели. Капитан посигналил, и Вера сбросила якорную цепь.

Капитан повернулся к нам:

— Ну как? Струхнули?

— Я не из пугливых,— ответила Елена Ивановна.— Когда вы еще под стол пешком ходили, я на войне была.

Морозов недоверчиво посмотрел на Окунькову и спросил:

— Что же вы делали на войне, если не секрет?

— Сначала в штабе работала машинисткой. Потом снайпером.

Морозов помолчал и осведомился:

— И успешно?

— Не из первых, конечно, была. Двадцать пять фашистов на моем счету. Может, и больше было бы, да я замуж вышла, забеременела. Газеты до сих пор берегу с фотографиями, названия помню: «Елена Окунькова возвращается из секрета», «Елена Окунькова в секрете»... Да что вспоминать!

Вера уже вернулась, стояла у двери. Она слышала рассказ Елены Ивановны и тарщила на нее глаза.

— Вот это да! — проговорила Вера.— Так вы, бабуся, герой? Двадцать пять фашистов уложили?

Елена Ивановна обиделась и передразнила:

— Бабуся. Тебе сколько лет?

— Двадцать.

— А мне сорок пять.

Елена Ивановна взяла свое вязание, книгу и удалилась.

— Что ж вы, товарищ моторист, человека обидели? — сказал капитан.

— Я не думала.— Она кивнула на меня.— Вот же человек не обижается. Мы его все дедусем зовем...

В Байкит мы пришли под вечер. У главного причала стояли бело-снежный красавец пассажирский и наш сухогрузный собрат. Мы прошли мимо них к складам. Там с высокого, крутого берега сооружали трап, налаживали ленту транспортера. Моросил дождь, стало быть, с разгрузкой придется подождать. Нельзя в дождь вытаскивать из трюмов муку и сахар.

Поступило предложение приобщиться к культуре и цивилизации — пойти на пассажирский поужинать в ресторане. Но не так-то просто добраться до этой культуры и цивилизации. Нет ни дороги, ни дорожки, ни тропки. Кругой, изрытый сапогами, ухабистый, скользкий берег. Шли гуськом. Капитан, Вера, Елена Ивановна и я. Балансировали, как канатоходцы. Впереди речка с недостроенным мостиком. По нему не перейти. Здесь дежурил старик с лодкой. Не знаю, как с местных, а с нас взял рублевку. И снова чертова грязь — сплошное месиво. Моя микропора, так надежно служившая мне в Москве, здесь оказалась жалкой. Не только скользит, но и воду пропускает. Зато впереди светились оранжевым цветом ресторанные окна. Перед последним броском встали передохнуть.

У каждого дома по несколько собак — лаек. Лежат себе тихо. наблюдают.

Капитан посмотрел на пассажирский и задумчиво произнес:

— Маячит, каналья.

Он был одет по всей форме: под кителем сверкал накрахмаленный

воротничок и галстук. На голове — фуражка с золотой эмблемой. Вера сменила брючки на юбку. На ней тоже был китель, а под кителем тельняшка. Мы стояли, окутанные сыростью и промозглостью. И к этой сырости и промозглости примешивался запах духов, Вера нарушила запрет. — но на этот раз капитан смолчал. Мы с Еленой Ивановной Окуньковой были в своей штатской одежке.

Пассажирский встретил нас радиолой.

Люстры, дорожки, белоснежные скатерти на столиках, бокалы, рюмочки всех калибров, официантки в белых наколках. Скажете, какая невидаль? А мы почему-то робели.

Народу много, но столики свободные есть. Не успели расположиться, а уж нам официантка меню несет.

— Если бы еще денег не брали, — сказал капитан, — тогда прямо коммунизм.

С другого конца ресторана нас приветствовали ребята с нашего собрата. Завтра пассажирский уйдет. Он вчера еще должен был уйти. Когда караваны приходят, в городе сухой закон — надо разгружать пароходы, работают круглосуточно в три смены. Но разгрузка еще не началась, и этим воспользовался ресторан. Не один, а три плана будут у него в кармане.

Слышна была нерусская речь, — это гуляли эвенки, одни мужчины, женщин среди них не видно. Народ здесь при деньгах. Район славится пушным зверем. Соболь их гордость. Но в ресторане больше было русских парней и девушек, одетых по-спортивно, должно быть, геологов — их в Байките тьма.

В меню различные рыбные блюда, но рыбу мы не заказали, ее и у нас на пароходе хоть отбавляй — выменивали ее у рыбаков за «сучок».

Мы заказали «столичную» и вермут для Веры и Елены Ивановны. Еще мы заказали бифштексы. И не просто бифштексы, а по-гамбургски. Гулять так гулять.

Рядом с нами стояли два столика, сдвинутых вместе. Там поздравляли с днем рождения девушку в очках. Вся компания — из одних только девушек. Мы тоже подняли наши бокалы в честь девушки в очках. Потом познакомились. Узнав, что я корреспондент из Москвы, виновница торжества тут же задала вопрос:

— Кто вам больше нравится — Долматовский или Вознесенский?

Радиолоа наигрывала танго. Девушек расхватили, осталась сидеть только виновница торжества, ее не пригласили — она была невзрачная, в очках, узкоплечая. Мне было жаль ее, и я бы решился потряхнуть старинной, но побоялся разговоров о поэзии.

Пока готовились наши бифштексы, мы выпили по рюмке, закусили салатом из свежих огурцов и капусты. Вообще-то не поощряется посещение ресторанов и других подобных заведений во время рейсов. И капитан повел разговор как бы в оправдание своего присутствия здесь:

— Каждый из нас вкальвает за двоих, а то и за троих. Нам, на нашем сухогрузном, положено двадцать шесть человек команды. Ее сократили до десяти, а работы не убавилось. Рядовому еще ничего, отстоит свои шесть часов, остальное время его. А у командира нет своего времени. Все отдай. По расписанию мне в ночь стоять. А на самом деле что получается?

На самом деле я видел, что получается. Капитан не уходил с мостика. Черт его знает, когда он спал. Иногда ляжет прямо в рубке на лавочку, на которой я обычно сижу. Спал урывками, на остановках. А сколько их — этих остановок? Раз, два — и обчелся. К тому же он по совместительству первый помощник механика, а тот — второй помощник кади-



тана. Вознаграждается такое совместительство девятью рублями. Не густо.

Выпили по второй, и капитан опять заговорил о своем, наболевшем:

— А ведь кто-то откликнулся на эту экономию, поддержал, поставил свои подписи в газете! Ты поинтересуйся, поспрошай у нашего брата речника, — голову даю на отсечение, не добрым словом помянут они эту экономию. Есть еще другая экономия — давать людям выходные во время рейсов. Ну сам посуди, какой интерес человеку брать выходной здесь, например? Никакого. Ему интересно после навигации приплюсовать эти выходные к отпуску... Мы десять дней стояли, пока нас грузили. Мыслимое ли это дело? А ведь кому-то, наверно, и это выгодно. Вот, думаешь, приедут из центра, поговорим, докажем. Недавно приехали два представителя из министерства, мы как раз из первого рейса со шпалой домой шли. Не успели подойти к причалу — смотрю, идут двое в шляпах, а за ними целая свита наших местных, и автомобиль позади плетется. И вот послушай, какой разговор был. «Что привез?» — спрашивает один в шляпе. «Как что, сами видите, шпалы». — «Сколько?» — «Тысячу сто тонн». — «Сколько шел?» — «Сутки». — «Почему не по форме одет?» И весь разговор. Ни фамилии не спросил, ничего. Я и подумал: что ж это за человек? Рядом стармех стоял и говорит: «Не человек он, а должность». Вот какие дела, брат. Ну хватит. — Он посмотрел на Веру. — Что, дочка, главное?

— Чтоб что-нибудь маячило. Пожалуйста, не называйте меня дочкой.

Выпили по третьей.

Где-то близко от нас тоже толковали о плане, прогрессивке, об отпусках. Каждому хотелось, чтоб ему что-нибудь маячило. Каждому хотелось к синему морю.

За удачу в пути здесь не пили — это плохая примета. Радиола сменила пластинку: пели про пять минут, в которые к нам может вернуться хорошее настроение. А у меня на душе кошки скребли. Это заметил капитан.

— Знаю, чего ты приуныл, — сказал он. — Я пожаловался, а ты приуныл. Я ведь вижу, ты сочувствуешь, переживаешь, болеешь... Одним словом, выход один: напиши правду — и повеселеешь.

— Я и не собираюсь врать.

— Ну, умолчишь. Это все равно что наврать.

— И умалчивать не собираюсь.

Через столик от нас белобрысый, конопатый парень громко и доверительно объяснял другому:

— Ты, Паша, пессимист, а я парень горячий и могу тебя запросто ударить.

Его увещевала женщина:

— Не пей больше. Отберут у тебя твои шоферские права.

— Уйду в космонавты.

— Туда выпивох не берут.

— Это поначалу. Потом без разбору брать будут. И вообще ты мне не указ.

— Я тебе покажу не указ.

— Вы, Александра Степановна, помалкивайте. Насколько мне помнится, я вас не девкой в жены взял.

На что супруга его ответствовала:

— Вас дожидаться, именно что в старых девках останешься.

— Я вам, Александра Степановна, получку всю до копейки отдаю.

А если где и заработаю для личной жизни и врежу стопаря, так это святое и законное мероприятие.

Наш столик как-то сам собой разделился: капитан с Верой завели тихий разговор, Елена Ивановна со мной. Потом капитан снова приобщил нас к себе:

— Я говорю, кругом у меня ничего не выходит. Дома, что на работе — барахлит автоматика. Я жене говорю: ведь знала, за кого замуж выходила, а теперь требуешь, чтоб на завод ушел в ремонтники. А у меня нет другой профессии, как плавать. Чем дальше, тем больше. Чужими становимся. Единомыслие только в одном: где и что купить.

Елена Ивановна в одном не согласилась:

— Странно, что вы сравниваете жену с автоматом.

— Так это я так, по аналогии.

И опять он о своем, а мы о своем, и уже на «ты», как старые добрые друзья.

— Был у меня один мужчина, — рассказывала Елена Ивановна. — Ничего плохого сказать о нем не могу. Вроде близкие были. Он о своей работе расскажет, я о своей. А думает каждый о своем, это я точно знала. Чувствовала. Только, конечно, скрывали друг от друга, про что думали... Скучища! В другой раз я не на шутку влюбилась. Душу вложила, жить без него не могла. А он делал вид, что это мне нужно, а не ему, он-то, мол, одолжение делает. Дурак. За жену цеплялся, а сам не любил ее. Ну, женщине это еще куда ни шло. Тоже, конечно, глупо обманывать себя... Мы с тобой люди военные. Я как подумаю, что тысячу раз могла быть убитой, так жутко делается. Ведь не для обмана я жить осталась? Лучше буду одна.

Я спросил ее, куда делся человек, за которого она на фронте замуж выходила.

— Разве я тебе не говорила? Он до войны женат был. Как война окончилась, так в семейный очаг потянуло... На фронте, поверишь, проходу не давали, а сейчас, черти-дьяволы, не смотрят.

— Ты колпак сними. Не идет он тебе.

— Разве в нем дело, — ответила Елена Ивановна и все-таки сняла. Ладонью пригладила волосы. — Теперь хорошо?

— Хорошо.

Явились наши радисты. Поискали глазами, где бы сесть, и сели к хорошенькой официантке. Следом за ними пришли Игорь и Сима. Оба в свитерах — он в красном, она в белом. И тут же появилась кокша Валя, подседа к нам и, поглядывая на Игоря и Симу, заговорила о том, что завтра непременно надо запастись сахаром. Потом критически оглядела наш стол и обозвала бифштекс «халтурой». Себе заказала мороженое и фруктовой воды. И все-таки не выдержала и выругалась:

— Тунеядка-то как вырядилась... Наш совсем голову потерял.

Не выдержал характер и стармех Давыдов. Верно, пришел будто для дела, с серьезным и даже сердитым лицом. От водки отказался, решил налить себе красненького. А когда выпил, тут же заговорил о деле, о том, что дурит правая машина и не какой-нибудь там насос, а что-то посложнее, ну, а что именно — понять трудно. Короче, как бы на обратном пути не встать.

— Пугаешь? — спросил капитан.

— Не пугаю, а предчувствую.

— А мы тут за синее море пьем.

— Валяйте. Нам не по дороге.

— Ренегаг ты, Давыдов. Моториста нашего обучим за штурвалом стоять, и сиди ты со своими машинами, даже койку поставим тебе туда. Согласен?

Побудешь в машинном отделении пять--десять минут и чувствуешь, что оглох. А вот человеку хоть бы что. И не прельщает его капитанский

мостик, пейзажи и чистый воздух. Каждому, говорит, свое. И сейчас нам славно здесь на пассажирском, под люстрами и с музыкой душой отойти, а он талдычит о какой-то втулке, которая, как ему кажется, на полсантиметра отошла.

— Не волнуйся,— сказал ему капитан.— В крайнем случае уйдем на одной машине, ведь по течению пойдем, вниз.

Замолчала радиола. За соседним столиком девушки грустно запели:

Бесконечной тоскою охвачена,  
Я бреду по вечерней Москве...  
То ли дождь идет, то ли плачу я...

— Видать, из Москвы,— сказал капитан.— Приехали осваивать Сибирь.

Прохожу я по Горьковской улице...

Капитан не хочет слушать:

— У нас здесь сплошные белые пятна. Если бы всей страной навальтяться...— Капитан тынет меня за рукав:— Только бы условия создать. И здесь не хуже будет, чем в Москве, только бы условия...

Стармех Давыдов вдруг объявил новость:

— У нас новый член экипажа. Щеткин щенка купил — лайку. Пятнадцать рублей отдал.

На рассвете началась разгрузка. С шифером управились быстро, еще когда шел дождь. Его перетащили без транспортера, на спинах. Потом дождь перестал, и к этому времени установили транспортер прямо со склада в наш трюм. Лента у транспортера не сплошная, а ступенчатая. У каждого стыка поставили по человеку, подправлять мешки. Они, как живые, шевелятся на ленте и переваливаются на стыках.

Нам повезло больше, чем нашему сухогрузному собрату. Он раньше нас пришел сюда, но под разгрузку попадет, когда мы разгрузимся. Склад-то один, ему сначала надо было кирпич сбросить, а его столько в нем, что конца-краю не видно. Целый день бригада девушек-старшеклассниц кидала его. Кидали прямо у берега в воду: скоро вода уйдет, а кирпич останется. Для нас теперь главное, чтоб дождя не было и чтоб бригады работали бесперебойно. Но за это можно не волноваться. Секретари райкома не уходили с берега. День и ночь, день и ночь ползли мешки. Старпом прямо-таки в лице изменился, похудел, оброс: грузчики здесь не профессиональные, весь город трудится, разный бывает народ, отвернулся — и мешка нет. И все-таки за одним мешком старпом не уследил — уплыл, то есть свистнули. Дежурная смены сказала, чтоб платили сорок рублей, потому как мука была в мешке высшего сорта, а нет — так она акт составит. Старпом в амбицию: как она, мол, смеет? Небось семь классов кончила, а он, старпом, считать, слава богу, умеет, государство не зря ему высшее образование дало. (И здесь ввернул про высшее образование!)

Капитан позвал его к себе в каюту и сделал внушение, чтоб крику не поднимал.

— Да ты понимаешь,— возмутился старпом,— я ж глаз не смыкаю, каждый мешок отмечаю.

Капитан выждал, когда старпом выложится, и сказал:

— Ты что, хочешь сорок рублей платить? Плати. Или акт подписать хочешь? Подписывай. Мое дело сторона. Я тебе помочь хочу, мне не впервые такое улаживать. Только ты помалкивай, иначе плакали твои дежки. Или акт подпишешь.

Я не слышал, о чем капитан говорил там наверху, на складе, но ни денег старпом не заплатил, ни акта не подписал. И самое странное, что все остались довольны. Я так думаю, что мешок нашелся, точнее найдется. Хитрее братва придумала с водкой. Ящик с водкой на транспортер не поставишь. Несет человек его на спине, а тут недолго и осгупиться. Так что в ночь раз-другой громыхнет со звоном у самого борта перед трапом. А под трапом пустое ведро стоит, в него и выливают содержимое ящика. И опять же никто не в обиде, потому что такие несчастные случаи заранее учитываются.

Волновалась только наша кокша Валя. Сахару завезли много, но в магазины он еще не поступал, и нам пришлось отчаливать без сахара, зато с помпой, торжественно: теперь на причалах стояло много кораблей и все подали голос, прощались, — как-никак мы первые покидали Байкит. И мы отвечали им: счастливо, мол, оставаться.

Стоя за штурвалом, капитан Морозов вывел корабль на середину реки, сделал оборот, и, как бы венчая торжественный момент, старпом выпустил красную ракету. Капитан собирался дать «полный», и тут случилось непредвиденное: Шеткин, только что поднявший якорь, вдруг снова сбросил его. Наверно, красную ракету принял за сигнал сбросить якорь. Где он такое проходил или слышал — неизвестно. Но, кажется, никто не заметил нашей заминки, и скоро Байкит остался позади. Начались камни. Когда третьего дня мы подходили к Байкиту, я не разглядел их. Высоченные, полукруглые, плоские, они вырастали прямо из воды, как памятники, и нескончаемой вереницей тянулись по обе стороны реки. А река здесь извилистая, течение дьявольское, так что теплоход приходилось сдерживать, чтоб не заносило корму.

Старпом отсыпался. На мостике были капитан, Вера и я на своей скамеечке. На Вере опять кожаная курточка и брючки. Ни пудры, ни помады на лице. Стоит рядом с капитаном, сунув руки в карманы курточки, и смотрит вперед. Сейчас не ее вахта, а Игоря и стармеха. Но стармех с Игорем в машинном, а капитан здесь, и она здесь.

— Выйдем на Енисей — получите штурвал, — сказал капитан Вере.

— Ну что вы говорите мне «вы»? На целых двенадцать лет ведь старше.

В ресторане сердилась, зачем дочкой назвал, а сейчас требует, чтоб «ты» говорил. Бедный капитан!

На шиты, на солнышко села Елена Ивановна Окунькова. Пока стояли в Байките, я и не видел ее. С утра до ночи пропадала в городе по своим госстраховским делам. В руках у нее, как всегда, книжка и вязание. Мимо нее прошел моторист Витька с одностволкой. Ему так и не удалось поохотиться в Байките. Накануне проспал вахту, и капитан лишил его права уходить с корабля.

— Будешь так вести себя, ни моториста из тебя хорошего не выйдет, ни охотника, — сказал он ему и на четырнадцать дней лишил берега.

Молчали радисты, вернее молчали их пластинки, а когда шли на Байкит, только и делали, что наяривали песни, ну еще по расписанию принимали сводку погоды, слушали разговоры пароходства с кораблями, но сами на разговор не шли, не откликались, когда их вызывали. Дело в том, что с некоторых пор электрикам-радистам скостили зарплату за работу на рациях. Опять экономия! Постановление это приняли зимой, когда корабли стоят, не подумав, наверно, что в навигацию радисты нужны до зарезу. Кое-кто из капитанов решил доказать абсурдность такой экономии и разрешил своим радистам не откликаться, когда их вызывают. А ведь пароходству важно знать, где корабль и как идут дела. И смех и грех слушать, как диспетчеры пароходства чуть ли не плача

просят: «Керчь, Керчь, где ты, Керчь?» или «Севастополь, отзовись! Севастополь, где ты?»

Теперь же радисты сами ждали, дожждаться не могли разговора с пароходством. Надо было получить команду, куда следовать: в Туру за графитом или возвращаться в Красноярск, прихватив в Стрелке шпалу. Уже наступил новый месяц, и хотелось начать его без потерь во времени и тонно-километрах. Нужен план, нужна прогрессивка.

Щеткин перестал заниматься рыболовной снастью. Он теперь занялся своим щенком, бегал за ним с тряпкой, подтирал. А когда Бобка (так звали щенка) отдыхал, что редко с ним случалось, Щеткин садился на корточки, пальцем почесывал ему шею и о чем-то говорил с ним или просто улыбался ему. Рада была собаке и кокша Валя, миска щенка никогда не пустовала. Как и Щеткин, Валя что-то рассказывала ему — наверно, про Игоря и тунядку Симку. Но Бобка пока плохой собеседник. Ему бы только поднимать ногу да цепляться за башмаки.

Прошли пороги Горлышко, Дедушка, Бабушка. Будто не было под нами камней, будто летели на подводных крыльях. Так будет и на том Большом пороге, где дважды упирались, идя вверх, как в стену, и если бы не буксировщик — ни за что не одолели бы его...

К ночи туман окутал корабль, и мы опять шарилы прожектором. Где-то рядом маленький поселок Полигус, тот самый, где старпом, швартуясь, поломал чью-то лодку, где живет и буйствует бывший начальник режима Игнатов. Поселка еще не было видно, а капитан уже сделал оборот, приближаясь к берегу. К якорям побежали Вера и Игорь.казалось, Игорь стал молчаливее прежнего. Сима осталась в Байките, и неизвестно, где и когда они теперь встретятся: ведь корабли могут получить разные маршруты.

Совсем близко проступило очертание берега, капитан дал сигнал, загромычала якорная цепь. Радисты во все горло репродуктора запустили танцевальную музыку.

Откуда ни возьмись на щитах наших трюмов тихо, как лунатики, появились местные девушки. Мы называли их «лунами», потому что лица у них лунообразные — монгольского типа. Двое парней остались в сторонке — стеснялись, а девушки парочками завертели на щитах. Железо под ними так и громыhalo.

Пришла жена Игнатова еще с одной женщиной-эвенкой. Та с небольшим чемоданчиком, просилась на корабль до ближайшей остановки. Не переставая, она спрашивала жену Игнатова:

— Может, мне не ехать? Не хочу я ехать. Что мне там делать?

Оказалось, что ей прямо-таки насильно всучили путевку в Сочи.

— Зачем мне туда? Я северная. Мне и здесь хорошо. Почему я должна ехать? И самолетом не хочу.

Кокша Валя увела ее к себе в каюту.

Жена Игнатова рассказала, что мужа вчера арестовали, увезли в Байкит. Куда девались ее осанка, ее могучие плечи? Как-то сжалась она вся, глаза покраснели, запухли от слез.

— По-моему, радоваться вам надо,— сказал ей капитан.— Какая у вас жизнь с пьяницей, хулиганом? Дети есть?

— Нет.

— Я бы на вашем месте радовался.

— Все-таки не чужой. Муж,— проговорила женщина.

Капитан вздохнул и произнес:

— Неисповедимы пути твои, господи.

Капитан вел атеистическую работу среди сектантов.

— Самое смешное,— рассказал он мне как-то,— я попросил в крайкоме почитать библию: надо, мол, врага бить его же оружием. Не

дали. Держат ее за семью замками. Боятся, что ли, что я в самом деле в бога уверую?

На рассвете мы снялись и ушли.

Меня разбудил стук молота. Корабль стоял, повернутый носом против течения. Предчувствие не обмануло стармеха Давыдова. Правый двигатель встал.

Я спустился в машинное отделение. Капитан и стармех, оба в майках, пытались навинтить громадную шайбу на толстенную атулку, но тут никакой ключ шайбу не сдвинет, да его и не было в комплекте. Капитан в прорезь шайбы вставил железную трубу, а Давыдов бил по трубе кувалдой. Скоро конец трубы сплющился, и капитан пошел нарезать другую.

— Отрабатываю девять рубликов за совместительство, — сказал он, вставая за верстак и зажимая длиннущую трубу в тиски.

Часов семь бились они, пока не сладили с шайбой. Семь часов — это более ста пятидесяти километров кошке под хвост. Скоро устье, а куда идти дальше — сообщения не поступило. Может, его и передавали, но радисты не смогли прийти на прием: в радиии сплошные разряды, и все из-за чертовой погоды. Ни с того ни с сего повалил снег. Первый раз в жизни видел и слышал, чтоб в снегопад громыхал гром и сверкала молния.

Капитан поднялся на мостик с перевязанной рукой. Видно, Давыдов от усталости прѣмахнулся, малость зацепил руку. За штурвалом стоял старпом. За последние дни он явно изменился, стал «унижать» свое самолюбие, задавал капитану вопросы: «Как лучше, отваливать от берега или не отваливать?» Снег все шел, только чуть приутих, так что видимость была.

Явился Щеткин и с порога в крик:

— Я вахту не приму!

— Почему? — спросил старпом.

— Игорь, чтоб ему пусто было, за собой не убрал!

— Он четыре часа не вылезал из трубы. Чистил ее. Я велел ему спать идти, — сказал старпом.

— Тогда и убирай за него. Я чихал на такое дело.

У капитана заходили желваки. Он тяжело опустил пятерню на плечо Щеткина.

— Не кричи и выполняй, что говорят.

— Убери руки!

Капитан чуть подтолкнул его к выходу.

— Готовься. Будешь списан.

— Тебе за рукоприкладство попадет! Я так не оставлю!

Между тем никакого рукоприкладства не было, скорей капитан хотел по-дружески остановить дурака, но тому все нипочем.

— Я за рукоприкладство покажу!

— Иди на вахту. Последний раз говорю.

— Не пойду!

На вахту вместо него заступил Витя.

Погода утихла, когда подошли к устью. Радисты получили приказание: кораблю идти в Стрелку за шпалой и — домой.

Опять мы на Енисее, только теперь идем вверх. Здесь уже настоящее лето, даже вечера теплые. Не верится, что вчера валил снег и мы замерзали. А вот и замерзали огни Енисейска, где живет бывшая зазноба старпома. На этот раз в бинокль не помотришь, мы пришли поздним вечером, пошарили прожектором по берегу, ослепили парочки на танцплощадке и пошли дальше. И все-таки старпом вытащил свой семид-

кратный из футляра и, пока проходили город, не отрываясь, смотрел в бинокль.

Мы бы не останавливались всю ночь до самой Стрелки, но нам помешали лесные пожары — дым от них. Не туман, так дым!.. На берегу дыма было мало, его тянуло к реке, на нас. А на берегу прямо-таки иллюминация, и сначала смотришь — глаз не отведешь. красиво, горят стволы и каждая веточка в отдельности, горят не в одиночку, а целыми хороводами, и вдруг то тут, то там вспыхивает хоровод высоким пламенем, отражаясь в небе и на воде. Дым уже не белый ползет по реке, а розоватый. Не сразу опомнишься и проклянешь это зрелище, подумав, что гибнет лес, что скоро деревья превратятся в обугленных уродцев. И, главное, из-за чего пожар? Только что прошли обильные дожди. Кто-то жжет костры и, уходя, забывает потушить, затоптать их...

После недолгой стоянки, чуть рассеялся дым, мы снова тронулись и на рассвете подошли к Стрелке. Опять досталась старпому незавидная работенка — следить, чтоб «пакеты» со шпалой клали не как-нибудь халтурно, а один к одному. Сначала загрузили трюмы, потом стали класть поверх них, на щиты. Запахло лесом, смолой.

Бригада девушек орудовала на берегу у портального крана, цепляя его трос к «пакетам». «Пакеты» нескончаемыми рядами лежали на берегу, а их все везли и везли на автокарах и грузовиках.

Игорь все поглядывал, не идет ли наш сухогрузный брат с Симоёй. Щетки из веревки приладил шенку ошейник, смастерил поводок — короче, готовился списываться на берег. Капитан снял его с довольствия за то, что тот отказался стоять вахту. Ел Щеткин теперь за свой счет.

Уединилась, как говорят, ушла в себя Вера. Впервые — во всяком случае при мне — ей сделал выговор капитан Морозов.

— Оказывается, вы позволяете себе читать на вахте. Уже не говоря о том, что книга эта из моей личной библиотеки и вы обещали ее беречь как зеницу ока. Антуан де Сент-Экзюпери, — произнес он в нос, видимо, считая, что говорит по-французски. — А я нашел ее на мостике.

Вера стояла, вытянувшись в струнку, как бы подчеркивая шуточный смысл выговора — несерьезность его. Но она ошиблась. Капитан неожиданно изменил тон:

— Чтоб это не повторялось — читать на вахте. Поняла?

— Поняла.

— Иди.

Вера ушла, а капитан победно взглянул на меня: видишь, мол, между нами ничего нет.

Теперь Вера стояла на верхней палубе, сунув руки в карманы курточки, и печально смотрела на воду.

С таинственной улыбкой прохаживался стармех Давыдов. Когда капитан спросил его:

— Может, сменим прокладку в левом насосе, пока стоим?

Давыдов пожал плечами и ответил:

— Можно сменить, можно и не менять.

— До Красноярска дотянем?

Стармех и на это пожал плечами.

Иными словами, он всячески хотел дать понять, что твердо решил покинуть корабль, а мне признался, что не будет дожидаться конца навигации, как-никак у него отложение солей, никто его удержать не сможет, любой врач подтвердит, что стоять ему за штурвалом противопоказано.

На все его таинственные улыбочки капитан Морозов сказал ему:

— Между прочим, пробойн корабль не получил. Тонуть не собираемся. Рановато драпаешь.

Мы еще не загрузились, когда прибыл наш сухогрузный собрат. Дождался-таки Игорь Симу. Капитан отпустил его на берег в клуб. Там кино показывали. На берегу его ждала Сима.

Корабль наш не вплотную стоял к берегу, так что трапа не перекинули. У кормы между нами и берегом затесался плавучий кран. На него и прыгнул Игорь, а уж с него на берег.

За ним наблюдала Валя и, когда тот уже был на берегу, сказала: — Жаль, в воду не упал.

К вечеру «пакеты» были уложены по самый капитанский мостик. Между ними оставили просмотровую дорожку, чтобы можно было вести корабль. Его повел третий штурман Семен. Завтра, если все будет хорошо, мы придем в Красноярск. Да и что, собственно, может случиться? Впереди остался один только порог, но там круглосуточно дежурит буксировщик. Правда, там может скопиться много кораблей, но так или иначе — дом уже близко.

Утром следующего дня мы миновали порог. Несмотря на максимальную загрузку в тысячу сто тонн, корабль давал скорость тринадцать — пятнадцать километров в час. За штурвалом стоял старпом, рядом Игорь. Мы с капитаном сидели на лавочке. И вдруг старпом закричал:

— Крути запасной влево! Заносит!

Капитан сорвался с места и изо всех сил крутанул запасной штурвал влево.

— Вправо крути! — закричал старпом.

Капитан закрутил вправо.

— Идем нормально, — сказал Игорь.

Капитан аж побледнел, взмок.

— Что случилось? — тихо спросил он.

Старпом набросился на Игоря:

— Ты что говоришь «нормально»? Не видел, как повело на берег? Не видел?

— Нет.

Капитан послал Игоря к Давыдову, чтоб тот проверил в машинном управлении.

— Будь она неладна, эта автоматика, — бранился старпом. — Я лево руля, а она хоть бы что.

Пришел Давыдов и сказал, что ничего подозрительного не нашел.

— Может, тебе почудилось? — спросил капитан старпома.

— Ты за кого меня принимаешь? Что я, мальчишка?

— То-то и оно, что нет.

— Ну, значит, не сработаемся, — заключил старпом.

— Как знаешь.

Ненадолго хватило старпома. Нет того, чтобы признать: «Почудилось, мол, мне что-то» — и дело с концом. Куда там!

Вечером мы подошли к Красноярску. Наш сухогрузный собрат не только догнал нас, но и обошел перед самым причалом и раньше нас встал под разгрузку. Но тоже не первым. Вся команда его стояла на мостике и махала нам, захлебываясь от смеха, — нате, мол, вам. Им сам бог велел обойти нас: у нас же на двигателях стояли ограничители.

Первым покинул корабль Шеткин, и, верно, навсегда. В одной руке он нес щенка Бобку, ухватив его под передние лапы, брюхом вперед, в другой — чемодан. Пошел опять колесить по свету. Но теперь уже не один, а вдвоем с Бобкой.

Черемонно и долго тряс мне руку стармех Давыдов: прошайте, мол, если что не так было — не обессудьте. Капитан дал мне адрес, взяв слово, что я зайду перед отъездом в Москву. Дежурить на корабле оста-



лись третий штурман Семен и Вера. Кокша тоже не ушла в город: ей далеко было добираться, а трамвай уже не ходили. Осталась и Елена Ивановна Окунькова. Она вообще боялась ходить по ночам. Ну и я остался, потому что знал, что номер в гостинице надо брать приступом и штурм начать с утра, а сейчас пришлось бы ночевать в вестибюле.

Давно такой тишины не было на корабле. Даже движок выключили. В моем красном уголке было не то что светло, но и не темно. На берегу горели яркие фонари, на кранах прожекторы, лучи их заглядывали в окна, ползали по стенам. Когда стихали краны, слышно было, как булькала вода за кормой.

Те, кто остался на корабле, спать не ложились, чаевничали у меня. Конечно, с окончанием рейса можно было бы и водки выпить, но ночью нигде не раздобудешь.

Семен сидел со своим баяном и тихо наигрывал «Выхожу один я на дорогу».

— Когда ты что-нибудь еще выучишь? — спросила Валя. — Так и будешь всю навигацию одно и то же тянуть. Сменил бы пластинку.

Но то-то и оно, что баян не граммофон. Пластинку не сменишь, разбирать ноты надо или подбирать по слуху. На это времени сколько уйдет, а тут мелодия уже готова.

Валя обратилась к Елене Ивановне:

— Рассказали бы что-нибудь.

— Что тебе рассказать?

— Все по порядку. Смотрю я на вас, и не верится: неужто правда снайпером были?

— Была.

— А я еще не родилась, когда война началась. Зимой сорок первого на свет появилась.

Семен перестал играть, поинтересовался:

— Вы с оптическим стреляли?

— С оптическим.

— А сейчас попали бы?

— Не знаю.

Разговор оборвался. Неожиданно вернулся с берега практикант-радиот Валька и на весь корабль закричал:

— Симку в милицию заграбастали!

А сам стоит, отдышаться не может, бежал, чтоб поделиться новостью. А когда отдышался, стал рассказывать с пятого на десятое. С трудом, но все-таки мы поняли. Игорь и Симка уходили вместе, у проходной их остановили. Обычно своих никто не останавливает, знают как облупленных. А тут от нечего делать вахтеры решили покуражиться. У Игоря удостоверение было, а у Симки нет. Тогда один из вахтеров сказал Симке какую-то гадость, а она вlepила ему пощечину. Те свистеть, прибежали дружинники, вызвали милицейскую машину. Игорь хотел вместе с Симкой ехать, его не взяли. Тогда Игорь стал кричать, что Симка его невеста.

— Кругом гогочут, — рассказывал Валька, — хороша. мол, невеста.

— А где он сейчас? — спросила кокша.

— Не знаю.

— Его все равно скоро в армию заберут, — сказала кокша.

На это ответила Елена Ивановна:

— Ну, заберут в армию. Распишутся, будут переписываться.

— Его, дурака, спасают, — продолжала кокша.

А мне хотелось сказать ей: брось ты эту свою идею — разлучить Симу и Игоря. Ничего у тебя не выйдет. Да вот и он сам. Бесшумно вошел, сел. Я думал, что хоть на этот раз парень разойдется, даст волю

словам, чтобы излить обиду. Но нет, сел себе, закурил, глубоко затянулся, выпустил дым и подмигнул кокше. Невесело, конечно, куда уж там до веселья, но все-таки подмигнул. Иди разберись, что к чему. Кокша только сплнула и ушла. А Игорь сидел, сгорбившись, будто оглохший, смотрел в пол шелочками глаз с такой собачьей тоской, что, глядя на него, я почувствовал себя виноватым.

— Ты не расстраивайся,— сказал я ему.— Выпустяг ее.

— А нет,— поддержала меня Елена Ивановна,— вместе сходим в милицию.

В коридоре опять послышались шаги и голос:

— Да вы осторожней, не торопитесь.

И другой голос:

— Не хочу в каюту... давай сюда.

Моторист Витька под руку ввел старпома с забинтованной головой. Какой-нибудь час назад старпом принял горячий душ, переоделся во все чистое, отглаженное, на затылке беретик прикрывал лысину; костюм на нем был зеленого цвета, под пиджаком рубашка-«гавайка», черные ботинки до того начищены, что казались синими. Поглядишь и не скажешь, что человек из рейса пришел, да еще из какого рейса! В Енисейске зазноба изменила ему с каким-то типом, в Полигусе, швартуясь, чужую лодку сломал, в Байките свистнули мешок с мукой высшего сорта, в одном месте автоматика отказала. Да и вообще легко ли было ему, инженеру, идти на выучку хоть и к капитану первого ранга, но без высшего...

И вот «гавайка» изодрана, а голова забинтована. Я уступил ему свое место на диване, и он лег, закрыл глаза. Все ждали, что скажет Витька. Но Витька молчал. Старпом, не открывая глаз, сам поведал, где и как его угораздило.

— Домой шел, решил кружку пива выпить. Ну, ларек-то знаете? А там спор: когда корабль затрет лед, как пробиться? Я объяснил, а он мне кукиш показал. Я ему говорю, что он сопли еще не умел вытирать, а я уже в институте учился. Ну, ему не понравилось... Опять я, дурак, сорвался...

Витька добавил, что спора самого не слышал, увидел, что старпом лежит, отвел его в аптеку, хотел домой проводить, но старпом велел вести на корабль.

Кокша принесла ему горячего чаю и пиленого сахару.

Не суждено нам было в эту ночь заснуть. Не успели мы еще разойтись по своим местам, как Вера кубарем слетела с капитанского мостика — и к нам:

— Капитан идет.

Он вошел, одетый по форме, козырнул, поискал глазами, где бы сесть. В темноте не сразу отыщешь стул. Помог Витька. Капитан сел, снял фуражку. Потом посмотрел на Игоря, Веру, радиста и Витьку — на всех рядовых, как бы давая понять им, что желательно было бы, чтобы они вышли. И те поняли и ушли все, кроме Веры. Она стояла, прислонясь к стене.

Капитан коротко рассказал, что, пока ходили в рейс, кто-то написал его жене про него и Веру. Был скандал, а после скандала жена потребовала, чтобы он уходил. И он ушел.

— Не повезло тебе с положительным героем,— сказал он мне.— Вот почитай.— Он протянул мне какую-то бумажку.

— Не буду читать,— ответил я.— Вздор пишут, а я еще читать буду.

— Нет, ты почитай.

— Не буду.

Капитан убрал бумажку в карман. Он сказал, что в пароходстве дежурный по секрету ему доложил, что в партком тоже пришла такая же анонимка.

— Пора, ой как пора в пчеловоды.

— Может, мне на другой теплоход перейти? — спросила Вера.

Капитан молчал, уронив голову на грудь. И тут прямо-таки взорвалась Елена Ивановна Окунькова:

— Черти-дьяволы! На кого внимание обращаете! Я и твоей жене скажу: дура она. Конечно, если разные идеалы, то тут никуда не денешься. Я по себе знаю. Ты эту бумажонку порви и забудь. Что же это получается: один в пчеловоды, эта на другой теплоход, третий принципиальность свою выказывает, у четвертого отложение солей... Выходит, трепались к синему морю поедом... Смотреть на вас тошно, а уж слушать подавно.

Капитан поднял голову и спросил:

— Кто на вахте?

— Семен и я, — ответила Вера.

— Почему темно? Включите движок. Разве так гостей провожают? Вера ушла. Скоро заработал движок, зажегся свет.

— Про Симку слышал? — спросил старпом.

— И про тебя слышал, и про Симку. Зря она о всякое дерьмо руки пачкает.

Под утро на корабль явился стармех Давыдов, и никто этому не удивился. Пришел веселенький и еще пуше обрадовался, что никто не спит. Ничего особенного с ним не произошло. Пока шел домой, дважды отметил знаменательное событие: ведь он решил больше не возвращаться на корабль. Жена вроде бы рада ему была, но всю ночь и по сей час пилила, что «малость набрался». Он не выдержал, оделся и пришел на корабль.

Через несколько дней ранним утром Елена Ивановна и я провожали наш сухогрузный теплоход в новый рейс. На берегу, у трапа, с нами стояла и жена Морозова.

На капитанском мостике — вся команда. Нет только Щеткина и щенка Бобки. Корабль окутан туманом, но лица разглядеть можно.

Вот уже убран трап, и корабль отчаливает.

— Я очень люблю коллектив, — сказала мне Елена Ивановна. — Но по вечерам коллектив отправляется восвояси. У нас коммунальная квартира, вечерами все сидят по своим комнатам и смотрят телевизоры. Книжки я, конечно, читаю, в кино хожу. Все-таки развитие. А вот у них на корабле я прямо душой отдохнула. — И вдруг предложила мне: — Давайте переписываться!

Теперь уже и лиц не разглядеть. Скоро весь корабль поглотит туман. Но Елена Ивановна, жена Морозова и я еще долго стояли на берегу.



---

ФАЗУ АЛИЕВА

★

## РОДНОЕ СЕЛО

*С аварского*

Устала я в дороге,  
Родимое село.  
Я повидала много —  
Везло и не везло.  
Легки были подъемы,  
А спуски — тяжелы.  
Крепки были паромы,  
А лодочки — малы.  
Друзей было немало,  
Но были и враги.  
Ах, ядовитей жала  
Их злые языки!  
Как комнату, мне снова  
Ты душу побели.  
Хоть ремеслом ковровым  
Заняться повели.  
Наверно, голько в бурю  
Понятна тишина.  
Встряхни меня, как бурку.  
Которая пыльна.  
Ты выбей все плохое,  
Что здесь не по нутру,  
Ты выбей все такое,  
Что здесь не ко двору.  
Стругай меня, как палку  
Стругают мастера.  
И я не буду плакать,  
Как плакала вчера.  
Я не кляню дорогу,  
Дорожное житье.  
И все же, слава богу,  
Я здесь, село мое!

*Перевела И. Лиснянская.*



В. СУХОМЛИН

★

## ГИТЛЕРОВЦЫ В ПАРИЖЕ

### *Несколько слов от автора*

*Я прожил за границей, главным образом во Франции и Италии, около пятидесяти лет. Вторая мировая война застала меня в Париже, где я работал во французской прессе. В июне 1940 года мне пришлось увидеть вступление немцев во французскую столицу. У меня сохранились дневники, которые я вел в оккупированном Париже и на юге Франции. С их помощью я пытаюсь воскресить картины парижской жизни в первые месяцы оккупации.*

*Не знаю, удалось ли мне передать ту атмосферу растерянности, смятения, оцепенения, в какое повергла французский народ национальная катастрофа июня 1940 года. Но, как бы ни были субъективны показания свидетеля об этих событиях, я считаю своим нравственным долгом именно сегодня эти показания дать.*

*Несколько слов о себе.*

*Я увидел в первый раз своего отца — вернее, отец увидел меня в первый раз — в канцелярии Петропавловской крепости. Мне было два года. Отец, Василий Иванович Сухомлин, был арестован летом 1884 года, вскоре после женитьбы и еще до моего рождения, и просидел до суда три года в Трубецком бастионе. В июне 1887 года он был приговорен по делу Германа Лопатина (процесс двадцати одного народовольца) петербургским военно-окружным судом к смертной казни, замененной затем пятнадцатью годами каторжных работ. Мать поехала за ним. На карийской каторге в Нерчинском округе я и провел свое детство. Потом уехал учиться в Россию, но в 1907 году, по приговору Одесского военно-окружного суда, был в свою очередь сослан в Сибирь на поселение («за принадлежность к сообществу, заведомо поставившему целью своей неспровержение существующего в государстве общественного строя»). В том же году я бежал из ссылки за границу. Прожил год в Германии, где слушал лекции по философии и праву в Гейдельберге, окончил университет в Монпелье (Франция), жил в Италии, сотрудничал во французской и итальянской социалистической прессе.*

*В июле 1917 года я приехал в Россию, но, не переменив своих тогдашних эсеровских взглядов, в феврале 1918 года выехал на международную социалистическую конференцию в Стокгольм и Лондон и снова остался за границей, прожив там на этот раз более сорока лет — главным образом в Париже. В эти годы я постепенно отошел от русских эмигрантских кругов, многое понял — в значительной мере под влиянием писем отца, жившего в Ленинграде, — и изменил свое отношение к тому, что происходило в новой России.*

*После прихода Гитлера к власти, когда над Россией нависла опасность войны, для меня и друзей моих не могло быть сомнений, на чьей нам быть стороне. Это отношение определялось не только тем, что я русский, но и новой жизнью, которую строил народ.*

*Живя во Франции, я делал все посильное, чтобы пробуждать у французов симпатии к Советской России, помогать сближению наших народов. В моем переводе французские читатели узнали и оценили немало произведений классической русской литературы и книг советских писателей.*

*Мне скоро пойдет девятый десяток. Я живу теперь в Советской стране, являюсь членом Союза писателей, пишу во французских газетах о родине, на которую возвратился, и спешу — сильно спешу — написать несколько задуманных книг о том, что видел.*

**От редакции.** Это предисловие В. В. Сухомлин написал, готовя свою рукопись к печати. В конце 1963 года В. В. Сухомлин скончался, и книга его (с сокращениями) публикуется посмертно.

*9 июня 1940 года.*

Сегодня — воскресенье. Я не был ни в одной из двух редакций, в которых работаю. Завтракал, как всегда, в ресторане Варэ «У маленького св. Бенедикта», что на углу улицы Жакоб и Сен Бенуа, в десяти минутах ходьбы от моей квартиры. Публики было меньше, чем обычно. Исчезли чехи и поляки, заселившие соседние отели после занятия Праги и Варшавы немцами. Но я как-то не обратил на это внимания.

По воскресеньям, особенно летом, у Варэ обычно бывают лишь коренные жители квартала Сен Жермен и старые верные клиенты, приезжающие из разных концов Парижа, какова бы ни была погода и что бы ни происходило в мире. Были, конечно, Наталья Сергеевна Гончарова и Миша Ларионов. Они живут поблизости, на улице Жак Калло, около тридцати лет — с тех пор как приехали в Париж с балетом Дягилева. А «У маленького св. Бенедикта» они столуются со дня его основания — когда Альбер Варэ, гарсон из «Ресторана искусств», женился на молодой и разбитной бретонке Луизе, служившей там же, и открыл свой собственный «бистро». Вслед за ним туда перекочевали его клиенты художники и их друг Гийом Аполлинэр... Приехали наши старые друзья — шоферы такси мсье Эжен и мсье Рожэ, тоже завтракающие здесь ежедневно около двадцати лет. Явился, как всегда точно в половине первого, владелец маленькой галантерейной лавки мсье Поль в своем неизменном котелке — последнем оставшемся в Париже экземпляре этого головного убора, исчезнувшего после первой войны вместе с целлулоидными воротничками. Мсье Поль сохранил и эту принадлежность туалета, и «галльские» седые усы. Пришел всегда приветливо улыбающийся старичок, владелец маленькой мастерской на улице Верней, где он занимается починкой художественных изделий из мрамора, фарфора и терракоты. Пришли и другие завсегдатаи: лысый плечистый букинист, обладатель двух ящиков с книгами и гравюрами на набережной Сены; молодая английская балерина Мэри Берри со своими двумя шотландскими терьерами; мой старый знакомый анархист Гонон, высокий и худой старик, — мастер художественного переплета с улицы Бонапарта; портной мсье Сандор, краснолицый седоусый холостяк родом из Будапешта; мой сосед по этажу, художественный критик социалист Максимильтен Готье; гарсон из соседнего литературного кафе «У двух китайских болванчиков»; бывшая танцовщица Джин, англичанка в очках, с мужскими ухватками, шеголяющая грубыми французскими словечками, — она работает с начала войны шофером на грузовом автомобиле Красного Креста; пришел ее постоянный собеседник и, если можно так выразиться, «единоверец» Серж Набоков, женственно изысканный питомец Кембриджа; появились также муж нашей старейшей официантки Клэр, который торгует на улице устрицами, кинорежиссер Д., болгарская эмигрантка Милка Г., еще несколько человек, известных нам как «отец пианистки», «музыкант в клетчатом костюме», «старый доктор»... Не было видно ни скульптора Осипа Цадкина, ни художника Манэ Каца. Впрочем, с тех пор как Манечку Каца, ко всеобщему изумлению, призвали в армию, его маленькая фигурка с розовым веселым личиком и огромной шапкой седых волос, облаченная в мешковатую солдатскую форму не по росту, в старую пилотку и грубые башмаки с обмотками, редко появляется в нашем квартале.

На своем обычном месте у окна сидел писатель Рамон Фернандес, фашиствующий мрачный алкоголик, со своей хорошенькой женой — секретаршей одной из соседних картинных галерей.

За всеми столами разговор шел, разумеется, о немецком наступлении. В Париже появились первые беженцы из восточных и северных

департаментов. Автомобили, крытые матрацами для защиты от пуль, пересекали город, направляясь к Порт д'Орлеан и Порт д'Итали. Кто-то рассказал, что в нескольких километрах от Парижа, за предместьем Сен Дени, уже слышен гул пушечной пальбы. Никто не знал ничего определенного о намерениях правительства. Слухи были самые противоречивые. Одни говорили, что Вейган не подпустит немцев к Парижу, что «у него, как и у Гамелена, есть свой план», другие — что Париж будет объявлен открытым городом и что уже начали эвакуацию правительственных учреждений. Известно было лишь одно: все, кто мог, уезжали на юг, на берег моря, в горы, на курорты, прерывая на лето свои занятия месяцем раньше, чем обычно. На Липсонском и Орлеанском вокзалах тысячи парижан проводили ночи в очередях. Но паники в настоящем смысле этого слова в городе как будто не заметно.

Варэ с женой тоже решили закрыть ресторан и дать своему персоналу отпуска раньше, чем обычно. Они уезжают завтра в своем стареньком автомобиле на три недели к родственникам в деревню. Ларионов и Гончарова категорически заявили, что никуда не поедут раньше августа. Мэри Берри сообщила, что, если начнется эвакуация, она поедет в Канны вместе со своей подругой Филлис, только что вышедшей замуж за доктора Завадского: их повезет в своей машине русский шофер такси, эмигрантский «молодой писатель» Гайто Газданов — приятель Марка Слонима. Слоним позвонил в ресторан, что его знакомый адвокат Г. купил подержанный автомобиль, но не умеет им управлять и спешно ищет попутчика, согласного доставить его в Ниццу.

В кафе «Флор» на углу улицы Сен Бенуа и бульвара Сен Жермен, куда по обыкновению я зашел после завтрака, настроение было более тревожное, чем в ресторане. На террасе, обычно кишевшей народом в это время, сидело человек пятнадцать. Хозяин подошел спросить, что мне известно относительно эвакуации. К сожалению — ничего. Я никому не звонил сегодня. Подождем, пока придет кто-либо из коллег, работающих в ежедневной прессе: они, вероятно, лучше осведомлены. Но как назло никто из них не появился. Приехал на своем «жюва-4» Ами Бакалов, болгарский журналист и поэт, живущий в Париже, и предложил отправиться с ним на восточные и северные окраины Парижа, посмотреть, что делается в рабочих кварталах и за городом. Если правительство намерено защищать Париж, уезжать не имеет смысла...

Мы объехали все пригороды и не обнаружили ни малейших приготовлений к обороне. В кварталах Виллет, Булонь-Бийанкур, Сен Дени все было тихо. Слишком тихо для воскресенья. Мало прохожих. Многие быстро закрыты. Мы выехали за город, на шоссе Париж — Страсбург. Войска нигде не видно: ни полиции, ни жандармов. Никто не строит укреплений, но издали действительно доносится глухой гул орудий, и с востока надвигается на Париж громадное черное облако. Это горят, как нам потом объяснили, склады бензина. Одно из двух: или Поль Рейно с Вейганом решили сдать Париж, или они рассчитывают отогнать немцев, как в 1914 году, не подпустив их к столице...

Мы вернулись в кафе «Флор», где застали Елизавету Р., Женечку С., Максимильена Готье, Ларионова и Гончарову. Терраса имела уже более нормальный вид, чем двумя часами раньше. Как всегда, к шести часам, когда французы, а по их примеру и парижане других национальностей заполняют кафе, чтобы выпить перед обедом свой любимый аперитив, пришли почти все обычные посетители: киноактеры, сценаристы, художники, сотрудники литературных журналов, поэт Тристан Тцара — некогда основатель «дадаизма», потом сюрреалист, а впоследствии коммунист, пришли неразлучные подруги — блондинка «ренуаров-

ского» типа *la belle Sonia* и тоненькая, гибкая брюнетка Бэлла, имеющая какое-то отношение к кинематографу; перед группой американцев уже воздвигалась приметная стопка блюдец от «перно» и коктейлей; появился Фердинанд Лопп и прошел между столиками, пожимая руки знакомым и незнакомым: все обстоит благополучно и он ждет с минуты на минуту, что президент республики призовет его в Елисейский дворец для принятия важных решений, от которых Гитлеру не поздоровится.

Фердинанд Лопп — фигура, популярная в Латинском квартале и в прилежащем к нему квартале Сен Жермен де Прэ. Безобидный шизофреник лет пятидесяти, рантье профессорской внешности — говорят, он когда-то где-то что-то преподавал — с маленькими, узко поставленными глазками, с аккуратно подстриженной бородкой, всегда прилично одетый, он воображал себя политическим деятелем, которому предстоит облагодетельствовать Францию.

Веселая студенческая богема усердно поддерживала его манию, и на всех парламентских выборах «партия лоппистов» выставляла его кандидатуру; студенты устраивали для него митинги, на которых с невозмутимым видом излагали программу самых фантастических реформ и громили «антилоп» под дружный хохот «избирателей». «Да здравствует Фердинанд Лопп! Долой антилоп!» — этот шуточный клич Латинского квартала прозвучал сегодня жидковато. Прислушиваясь к разговорам за столиками, нетрудно было понять, что всех занимал тот же вопрос, который обсуждали и мы в нашей маленькой группе: уезжать или оставаться?

Мы все склонялись к тому, что, пока правительство в Париже, нет никаких оснований для беспокойства. Я во всяком случае остаюсь: завтра я должен сдавать в типографию материал для следующего номера «Эроп Сентраль» и готовить еженедельный обзор международной политики для «Люмьер». Бакалов сообщил, что в его распоряжении находится большой автомобиль его тетки-француженки, владелицы Института красоты, уехавшей в Биарриц. В случае необходимости мы все сможем разместиться в двух машинах. Нужно лишь найти водителя. Максимильтен Готье заявил, что он готов «принести себя в жертву». Его собственная машина заложена в ломбарде. Елизавета предложила образовать немедленно маленькую «коммуну», запастись на всякий случай провизией и организовать коллективное питание во время «осады».

*10 июня.*

В Париже началась паника. По слухам, правительство выезжает в Бордо. Все бегут на юг. На вокзалах места в вагонах берутся с бою. К южным воротам Парижа — Порт д'Итали, Порт д'Орлеан, Порт де Шантильон, Порт де Версаль — устремляются потоки беженцев.

Часов в десять утра я отправился, по обыкновению пешком, в редакцию «Эроп Сентраль» на улицу Четвертого Сентября, около Большой оперы. В моем квартале все было как будто спокойно. Я пересек Сену по Мосту искусств, прошел через сад Тюльери. На авеню де л'Опера стали встречаться беженцы не только на автомобилях, покрытых матрацами для защиты от пуль, но и в деревенских повозках, запряженных лошадьми, велосипедисты и пешеходы с рюкзаками. Магазины были закрыты. У ворот некоторых домов стояли машины, в которые усаживались люди с чемоданами и матрацами.

Редакция двухнедельного журнала «Эроп Сентраль» находится на третьем этаже дома, почти целиком занятого отделом информации Чехословацкого национального комитета. До войны здесь находились мага-



зины крупной чехословацкой текстильной фирмы. В редакции я застал только уборщицу-чешку. Она сообщила мне, что началась эвакуация, что все сотрудники чешской редакции, помещавшейся на четвертом этаже, и вообще все чехи и словаки, работающие в аппарате Национального комитета и информационного бюро, уже уехали или уезжают сегодня на юг. Уборщица осталась, так как она замужем за французом, и думает, что ей ничто не угрожает. Ей нужно сжечь все оставшиеся в редакциях бумаги. Пришел муж и подтвердил эти сведения. Если я хочу, то могу позвонить в Национальный комитет или в чехословацкое посольство. В помещении Национального комитета, вблизи Марсова поля, никого не было.

Советник посольства по делам печати Штейгергоф сообщил мне, что последняя машина уходит через полчаса, и предложил взять меня с собой.

Я поблагодарил и сказал, что выберусь из Парижа своими средствами. Вместе с уборщицей и ее мужем мы очистили от бумаг все столы и шкафы и сожгли весь архив в камине. Затем, попрощавшись с ними и со стариком консьержем и сказав, что зайду позднее, чтобы взять пишущую машинку, я отправился пешком по пустынной авеню де л'Опера в редакцию еженедельника «Люмьер» на улице Риволи, напротив Тюльери. Там я застал машинистку, кассиршу и других редакторских и конторских служащих. Все эти женщины были в полной растерянности и смятении. Они сообщили мне, что «хозяева» — политический директор Жорж Борис, администратор Жорж Валуа, секретарь редакции Персо и главные сотрудники Гомбо, Грумбах, Морис Шуман, Альбер Байе — уехали накануне в Бордо, оставив адрес, по которому их можно там разыскать, и некоторую сумму денег. Журнал будет выходить в Бордо. Но как быть с редакционным имуществом, никто пока не знает. Мне пришлось взять в свои руки на несколько часов бразды правления.

Наш еженедельник, основанный десять лет тому назад, занимает резко антифашистскую, антигитлеровскую позицию. Кроме того, Жорж Борис и некоторые из редакторов — евреи. Если немцы займут Париж, гестапо, конечно, не преминет навеститься к нам. Надо было убрать все, что могло интересовать агентов Гиммлера. Кассирша согласилась спрятать у себя дома бухгалтерские книги и картотеку с адресами подписчиков. Архивы еженедельника за десять лет и старые комплекты мы перенесли на чердак и завалили разным хламом. Туда же отнесли чемоданы, оставленные кем-то из сотрудников. Я уговорил колебавшихся машинисток унести домой пишущие машинки, чтобы те не достались немцам.

Покончив с этими делами, я отправился на Сен Жермен де Прэ. Завсегдатаи кафе «Флор» и двух соседних («У двух китайских болванчиков» и «Ройяль») уже уехали на юг или собирались в путь и наскоро закусывали перед отъездом. У тротуара стояли их машины и велосипеды. В нашей маленькой группе большинство тоже высказалось за отъезд. Только Миша Ларионов возражал на своем неподражаемом французском языке: «Пуркуа паник? Иль не фо па паник». Приехал Бакалов. Я вспомнил, что мой издатель Пайо собирался тоже уезжать, но лишь в самый последний момент и только в том случае, если у кого-нибудь из знакомых найдется для него место в автомобиле. Хотя Пайо — владелец одного из самых солидных парижских издательств, у него нет собственной машины. Он ходит каждый день пешком в свою контору, в которой ничто не изменилось за последние пятьдесят лет: та же тесная приемная, те же темные закоулки, та же древняя мебель середины XIX века, те же методы работы. Лишь его просторный и светлый кабинет обставлен по современному, и сам Пайо — вполне современный человек: типичный

«просвещенный буржуа»; хотя он любит говорить, что содержание книг, которые он издает, его не интересует, он-де «торгует печатной бумагой», но на самом деле он не только чрезвычайно любознателен, но и разносторонне образован. Он издает книги по истории, экономике и политике, мемуары французских и иностранных государственных деятелей, а за последнее время — также художественную литературу, главным образом переводную. Его издательство специализировалось на переводах, и благодаря ему произведения английских, немецких, русских, скандинавских авторов широко расходятся не только во Франции, но также в Швейцарии, Бельгии, Румынии, всюду, где французский язык более распространен, чем другие европейские языки. Я перевел для него «Тихий Дон» Шолохова, «Степана Разина» Чапыгина, «В тупике» Вересаева, «Цусиму» Новикова-Прибоя, «Анну Каренину» Льва Толстого. Кроме того, Пайо издал мою книгу «Знаменитые русские судебные процессы».

Пайо — швейцарский гражданин, высокий, стройный, тугой на ухо, сибарит и скептик, немножко эстет, но весьма прижимистый хозяин.

Мы с Бакаловым пошли в контору издательства, которая находится на бульваре Сен Жермен, в десяти минутах ходьбы от кафе «Флор». Пайо выдал нам несколько сот франков на бензин, и мы условились встретиться с ним в деревне Мориньи около Этампа, в шестидесяти километрах от Парижа, на даче его знакомого, владельца гаража, жена-того на швейцарке.

Завтра мы выезжаем...

*15 июня.*

Сегодня в полдень мы вернулись в Париж, со вчерашнего дня оккупированный немцами. На всем расстоянии от южных Орлеанских ворот до моего дома около площади Сен Сюльпис на улицах не было ни души. Все магазины и бистро закрыты. В квартирах опущены шторы. После четырех кошмарных дней, проведенных на дорогах, запруженных беженцами и уходящими на юг частями разбитой армии, после бомбежки и пулеметных обстрелов с воздуха нас охватила неправдоподобная жуткая тишина. Мы въехали в мертвый город.

Расскажу все по порядку.

Бакалов заехал за мной рано утром 11 июня. На Монпарнасе мы захватили Женечку С., просившую довести ее до Этампа, где находится отряд Красного Креста, которым руководит ее знакомая богатая американка. Со всех концов Парижа тысячи машин направлялись к четырем южным воротам, где уже образовались заторы. Когда, миновав парижские предместья, мы с трудом выбрались на Орлеанскую дорогу, там творилось нечто невообразимое. Непрерывный, сплошной поток беженцев медленно двигался на юг, постепенно разрастаясь, задерживаясь подолгу на всех перекрестках; легковые и грузовые автомашины, деревенские брнчки, телеги, запряженные волами, тракторы, вьючные мулы, автобусы, детские коляски, катафалки, допотопные бабушкины ландо, ручные тележки носильщиков, вслоспеды — все виды колесного транспорта и бесконечные вереницы пешеходов с рюкзаками и чемоданами.

Люди везли и тащили на себе свой домашний скарб, узлы с бельем, швейные машины, сундуки, радиоприемники, ведра, связки книг, тюфяки, бронзовые статуэтки, самые разнообразные и самые неожиданные предметы. На одной из остановок мимо нас прошла пожилая женщина, толкавшая тачку, в которой сидела, скорчившись, маленькая старушка, видимому ее мать. На погребальных дрогах сжали перепуганные дети. Пара волов тащила длинную крестьянскую арбу, нагруженную мешками с мукой, ягнятами и домашней птицей. Рядом с нами ехали в роскошном

лимузине две дамы, старая и молодая, державшие на коленях клетку с попугаем и ангорскую кошку...

Казалось, на наших глазах происходит крушение французского государства, многовековой французской цивилизации, что порваны все общественные связи, лопнули административные скрепы, парализованы нервные и политические центры нации, все смешалось — классы, профессии, состояния, и отовсюду — из городских квартир и крестьянских ферм, из дворцов и правительственных канцелярий, из фабрик и заводов, из магазинов и бистро, из университетов и школ — хлынула наружу многомиллионная бесформенная человеческая масса, наводнившая дороги и поля Франции.

В деревнях, которые мы проезжали, нельзя было достать ни за какие деньги хотя бы кусок хлеба; все лавки были опустошены проходившими ранее беженцами. Мы двигались со скоростью в среднем от двух до трех километров в час, протанковывая иногда по нескольку часов на месте, чтобы пропустить французские воинские части. Потребовалось больше двадцати четырех часов, чтобы проделать путь от Парижа до Этампа — всего около шестидесяти километров. Я дремал на заднем сиденье, стиснутый между чемоданами и бидонами с бензином. Бакалов все время напевал, сидя у руля, песенку Эдит Пиафф «Sur la route...». Рядом с ним Женечка С. делала себе маникюр, пудрила нос и красилась как ни в чем не бывало, что выводило из себя моего приятеля, хотя в качестве заведующего (пусть временного) Институтом красоты, принадлежащим его тетке, он должен бы относиться к этому без предвзятости.

Женечка С., эмигрантская «кисейная барышня», попала в нашу компанию совершенно случайно. Она недавно приехала из Италии, где жила, по-видимому, в той же международной артистической и околортистической среде, что и на Монпарнасе, научилась недурно говорить по-итальянски, по-французски и по-английски. После смерти матери ее родственник, крупный художник, устроил ей небольшое ежемесячное пособие, которое позволило ей жить, не работая, в Риме, на Капри и теперь в Париже. В последнее время она служила кем-то вроде секретаря и переводчицы у той американки, которая, по ее словам, ждет ее в Этампе.

Утром 12 июня мы в сотый раз остановились и безнадежно застряли в нескольких километрах от Этампа. Я вылез из машины и пошел пешком вперед. У самого входа в город я обнаружил причину нашей задержки: дорогу пересекали колонны французской моторизованной пехоты, артиллерии и танков, обходившие с востока город, переполненный беженцами. На перекрестке пожилой капитан запаса с измученным, чрезвычайно «штатским» лицом, отчаянно свистя и размахивая руками, регулировал движение с помощью двух жандармов.

Пробираясь между машин, я вдруг услышал сквозь грохот гусениц, гудки автомобилей и брань шоферов какие-то странные звуки. Кто-то смеялся деревянным, искусственным смехом, выкрикивая непонятные, вернее показавшиеся мне непонятными, французские слова. В первый момент я подумал: еще один бедняга спятил. (Минувшей ночью мы уже были свидетелями того, как из ехавшего перед нами грузовика выскочил внезапно лишившийся рассудка человек и с диким воплем бросился с дороги в поле.) Подойдя ближе, я смутно почувствовал, что выкрики эти почему-то относятся ко мне. «Посмотрите на этого олуха! — кричал неизвестный по-французски. — Такой же идиот, как мы! Ему тоже захотелось прокатиться». Осмотревшись, я увидел на противоположной стороне запруженной машинами улицы своего друга доктора Завадского с молодой женой, англичанкой Филлис. Они только что поженились,

и это было их «свадебное путешествие». Леня Завадский, веселый, остроумный и выдавший виды человек (он был военным врачом одного из гвардейских полков во время первой мировой войны, служил в белой армии во время гражданской, а затем в югославском военно-морском флоте), не мог простить себе, что «поддался общей панике».

Завадские выехали из Парижа в машине адвоката Г. днем раньше нас и застряли в Этампе, так как нигде не смогли достать бензина. Перед Этампом они потеряли такси Гайто Газданова, в котором сжали Марк Слоним и Мэри Берри и где находилось все общее продовольствие. Мы вошли во двор небольшого двухэтажного домика, оставленного хозяевами. Там стоял автомобиль, в котором сидела и раскладывала пасьянс г-жа Г., бывшая певица, добродушная русская женщина, славившаяся своим гостеприимством и пирогами.

Не успели мы обменяться несколькими словами, как над нашими головами раздался оглушительный грохот и со всех сторон слышались взрывы немецких (или итальянских?) бомб. Завадский схватил за руку Филлис и потащил ее — неизвестно почему — в пустой дом. Он хотел было извлечь из автомобиля также г-жу Г., но она категорически отказалась оставить свой пасьянс: «Не все ли равно, где умирать?» Пока длилась бомбежка — вероятно, минуто-полторы, но мне показалось, гораздо дольше, — Завадские и я простояли в комнате у окна, наблюдая, как метались во дворе, за загородкой, обезумевшие кролики. Когда все кончилось, мы вышли во двор и в воротах встретили Г. и Н. Н., возвращавшихся с поисков — безрезультатных — бензина. Они были осыпаны штукатуркой от одного из разрушенных бомбой домов, но остались целы и невредимы. Убитых и раненых, по их словам, сотни.

Наскоро попрощавшись, я бросился на дорогу искать Бакалова. Поток машин медленно двигался мне навстречу. По обеим сторонам дороги лежали трупы. Сбросив в городе свои бомбы, самолеты пролетели бреющим полетом вдоль всей дороги и обстреляли беженцев из пулеметов. Пройдя километра четыре, я встретил знакомые мне автомобили, шедшие впереди и рядом с нами, но бакаловская машина исчезла, и никто не мог сказать мне, куда она девалась. На несколько секунд я почувствовал себя довольно неудобно и пустился бегом обратно. Но во дворе пригородной усадьбы уже никого не было. Мне не оставалось ничего другого, как отправиться пешком в деревню Мориньи в шести километрах от Этампа, где у нас было назначено свиданье с Пайо.

Когда я наконец добрался под вечер до указанной нам фермы, то, отворив калитку, к величайшей своей радости, увидел во дворе автомобиль Бакалова. После воздушного налета — Бакалов рассказал мне, как он силой заставил Женечку С. лечь в придорожную канаву и как она прикрывала его голову от пуль своей сумочкой, — они свернули с дороги и полями проехали прямо в Мориньи. На ферме была только хозяйка, высокая, сухая швейцарка, принявшая нас не особенно доброжелательно. Ее муж, который должен был доставить Пайо в Мориньи, до сих пор не появлялся. Все население деревни, за исключением мэра и нескольких древних стариков, ушло по направлению к Луаре. Но в нескольких фермах расположились на отдых беженцы, пришедшие с севера.

Мы решили подождать Пайо до следующего утра. Хозяйка сообщила, что владелец местного кафе уехал со всей своей семьей на юг и что теперь, как рассказывали, у него можно пить бесплатно какие угодно напитки. Она попросила меня и Бакалова проводить ее туда, так как ни за что не хотела пропустить такой счастливый случай. Я подумал, что старуха, вероятно, отчаянная пьяница. Оказалось, что дело совсем не в этом. В кафе мы застали несколько человек, мирно

потягивавших «пастис» и вермут. Наша хозяйка важно подошла к стойке, за которой были расставлены разноцветные бутылки, и долго их изучала. Выбрав пузатую бутылку самого дорогого ликера, она налила небольшую рюмку и медленно выпила ее маленькими глотками. Затем она поставила рюмку на цинковую стойку и важно направилась к выходу, словно выполняла некий ритуал. Выяснилось, что ею руководило вовсе не пристрастие к алкоголю, а нечто другое. У себя дома она не пила не только крепких напитков, но и обыкновенного вина. В нормальное время она не позволила бы себе сорвать яблоко с дерева, принадлежащего соседу. Но когда все кругом рушится и люди считают себя вправе расхищать чужое добро, то и она, добропорядочная и хозяйственная фермерша, должна получить свою долю, хотя бы символическую. Утвердить свое право и заодно попробовать, какой такой бывает бенедиктин.

Переночевав в сарае, мы на другой день тронулись в путь, так и не дождавшись Пайо. Хозяйка фермы попросила нас взять ее с собой. Однако уехать нам в этот день не удалось. Шоссе, проходящее в нескольких километрах от Мориньи, было запружено сплошной массой военных и гражданских машин, двигавшихся на юг. Мы простояли около часу на перекрестке, тщетно пытаясь включиться в непрерывный поток. Сзади слышался гул канонады, впереди — взрывы бомб. Хозяйка стала требовать, чтобы мы доставили ее обратно на ферму. В конце концов мы решили вернуться. По дороге нас остановил и попросил подвезти его французский офицер, отставший от своей части. Он был растерян и не имел никакого представления о том, где находится. Мы довезли его до ближайшей деревни и указали дорогу по карте.

На проселках не было никакого движения. Кругом безлюдные поля, холмы. Проезжали мимо садов, в которых цвели розы.

Наша деревня, казалось, мирно спала под ласковым июньским солнцем. На улицах никого не было. Пушечный гул прекратился. Сонная тишина лишь изредка нарушалась мычанием коров. Даже собаки куда-то исчезли — вероятно, ушли с хозяевами. Через полчаса после нашего возвращения по улице проскакал эскадрон арабской конницы, направляясь в сторону леса. Некоторое время спустя над нашим садом пролетел бреющим полетом немецкий самолет. Затем снова — тишина. Ровно через четыре часа мимо наших ворот промчался первый немецкий мотоциклист. За ним другой, третий. Затем появилась моторизованная пехота. Я вышел за ворота. Вдоль улицы бежали связные, разматывая телефонные провода. Другие ставили на перекрестках шесты с указателями «Nach Orleans», «Nach Paris». За ворота соседней фермы вышел старичок, с которым я познакомился накануне. Ему более восьмидесяти лет. Он — мелкий рантье, бывший парижский парикмахер. Закинув голову, он внимательно всматривался в немецких солдат, проезжавших мимо на грузовых машинах. Я спросил: «Ну что вы об этом скажете, мсье Феликс?» — «Смотрю я на них, — ответил он мне, — и думаю: странная у этих людей манера стричь волосы».

Немецкий лейтенант поселился в мэрии, на которой появилась надпись «Комендатура». Со стороны леса послышалась стрельба. Меньше чем через час мы снова увидели арабских всадников. Но на этот раз они ехали на грузовых машинах под конвоем немецких солдат. Перед вечером Бакалов пошел в комендатуру в качестве корреспондента болгарской газеты и спросил, может ли он вернуться в Париж. Лейтенант сказал, что все дороги забиты и нужно подождать два дня. На ферме нет радиоприемника, и мы не знали, что накануне, 12-го, Париж был объявлен открытым городом и что Муссолини объявил войну Франции.

Четверг 13-го и пятницу 14-го мы провели в Мориньи. Немцы к нам не показывались.

Бакалов смастерил болгарский бело-красно-зеленый флаг, наклеил на ветровое стекло автомобиля лист бумаги с надписью «Bulgarische Presse».

Возвращались мы другой дорогой — по живописной долине Шеврез, мимо пригородных дач и садов. На окнах многих домов были вывешены «белые флаги» — простыни, полотенца и даже носовые платки — в знак того, что обитатели их «капитулировали» в индивидуальном порядке. Мы проделали обратный путь в полтора часа. По обочинам шоссе, обсаженного деревьями, валялись открытые чемоданы, швейные машины, белели рассыпанные всюду письма, деловые бумаги, семейные фотографии, стояли десятки брошенных автомобилей. На перекрестках немецкие регулировщики читали надпись на стекле нашей машины, повторяли вслух: «Bulgarische Presse» — и пропускали нас, не спрашивая никаких документов. Весь путь от Мориньи до Парижа был свободен, лишь изредка встречались немецкие машины.

Дома, на улице Мезьер, я застал консьержку с мужем. Они пытались уйти пешком из Парижа, но не прошли и десяти километров и вчера вечером вернулись. Из жильцов осталась лишь Бьянка Питтони, итальянская эмигрантка, поселившаяся месяца два тому назад в квартире моей тетки, Ольги К., уехавшей к дочерям на остров Олерон. Весь наш пятиэтажный дом, состоящий из однокомнатных квартир-гарсоньерок, стоит пустой.

Я вышел на улицу посмотреть, что делается в моем квартале. Все магазины закрыты. В районе между Сен Сюльпис и Сен Жермен открыто только одно кафе, «У двух китайских болванчиков», на углу бульвара и площади, против церкви Сен Жермен де Прэ. В кафе всего лишь два клиента — Илья Эренбург с женой. Последние парижане, они одиноко сидели за столиком на террасе под полотняным навесом. Прислонившись к косяку двери, понуро стоял знакомый седой гарсон в люстриновой куртке и белом фартуке. Эренбург сказал мне, что ночует в посольстве с тех пор, как французская полиция явилась к нему на квартиру с обыском. Он собирается возвращаться в Москву. Мы условились встретиться через несколько дней у издателя Вишняка — и разошлись.

По пустынному бульвару проносились немецкие машины. Я прошел до площади Одеон. В Латинском квартале — мертвая тишина.

Неужели это конец Франции?

Я пишу эти строки вечером, в своей «гарсоньерке».

Над крышами Парижа непрерывно кружатся с оглушительным грохотом серебристые самолеты с громадными черными крестами на крыльях...

Эти страницы из моего дневника я тогда же отдал на хранение друзьям французам и получил их обратно после освобождения Франции.

В течение девяти месяцев, которые я затем провел в оккупированном Париже, я продолжал вести дневник, но не так регулярно, как хотелось бы. Некоторые страницы с записями сохранились полностью. Другие пришлось восстановить, так как я избегал называть имена и часто прибегал к «мнемоническим» записям. В дальнейшем я приведу те из них, которые, как мне кажется, могут представить интерес.

Падение Парижа потрясло, конечно, не только французов, но и многих русских парижан, за исключением откровенных германофилов и фашистов. Для меня лично Париж с детства был священным городом. Французская классическая литература, энциклопедисты, «великие прин-

ципы 1789 и 1793 годов» (как любил выражаться мой отец) входили наравне с русской литературой и русской историей составными элементами в воспитание, которое я получил на карийской каторге. В таежном каторжном поселке отец читал нам зимними вечерами не только Пушкина, Лермонтова, Некрасова и Кольцова, но и Корнеля, Расина и Виктора Гюго. В юности он жил в Париже, и там, в общении с парижскими пролетарьями, выработались его социалистические убеждения, которым он оставался верен всю жизнь, и «якобинский» патриотизм, побудивший его летом 1917 года пойти на фронт солдатом-добровольцем, хотя ему было уже около шестидесяти лет. Он был ранен во время неудачного июньского наступления, а погиб в 1938 году во время ежовских репрессий, хотя, как и все старые народовольцы, был лояльным советским гражданином и по мере сил участвовал в социалистическом переустройстве родины.

Младший единоутробный брат отца Евгений (от второго брака моей бабушки, вышедшей замуж после смерти деда за писателя Елисея Яковлевича Колбасина, друга Тургенева), отправленный родителями за границу после разгрома «Народной воли», учился в Гренобле и Париже, преподавал философию в Монопелье и Бастиа (Корсика).

В свою очередь я прожил во Франции, после побега из Сибири в 1907 году, около сорока лет, и, хотя учился также и в Германии, «галльский острый смысл» был мне всегда ближе, чем «сумрачный германский гений», — даже тогда, когда страна ученых, философов и мощного рабочего движения еще не провозгласила своим вождем невежественного мапьяка и не собиралась истреблять или обращать в рабство «низшие расы». Мысль о том, что гитлеровский сапог будет когда-либо топтать парижские мостовые, казалась мне кошунственной. Париж был для меня не только главным городом Франции, но и столицей Разума, родной Прав Человека и Гражданина. Я помню, как старичок извозчик сказал мне, когда восемнадцатилетним юношей я в первый раз вышел с Северного вокзала, направляясь с чемоданом в Латинский квартал: «Да, молодой человек, вы приехали в Город-Светоч. Все сюда едут...» Я не мог представить себе, что найдутся французы, способные отдать Город-Светоч кровавому гасителю всей европейской культуры, и что настанет день, когда прибалтийский немец Розенберг, помещь прусского юнкера с российским черносотенцем, будет с той же парламентской трибуны, с которой говорил Жорес, хоронить Великую французскую революцию. Капитуляцию я и мои ближайшие друзья воспринимали как чудовищное предательство не одной лишь Франции, но всего цивилизованного человечества.

К счастью, мне пришлось прожить сначала в Париже, а затем в так называемой «свободной» зоне достаточно долго, чтобы наблюдать не только кошмарные картины «великого исхода», не только растерянность и смятение «среднего француза», ухватившегося за престарелого маршала Петена как за своего спасителя, не только циничное сотрудничество с победителем прожженных политических дельцов, уверовавших в гитлеровскую «новую Европу», — но и отказ примириться с падением Франции и первые признаки Сопrotивления.

Между 16 мая, когда были получены первые известия о прорыве фронта у Седана и гибели армии Корапа, и 14 июня Париж покинуло более двух миллионов человек. Особенно многочисленной была вторая волна беженцев, устремившаяся на юг после прорыва фронта на реке Сомме 6 июня. Правительством и вся пресса, за двумя исключениями (о которых — ниже), оставили Париж в ночь с 9 на 10 июня. Некоторые промышленные предприятия были эвакуированы (или просто закрыты)

в самый последний момент. Паника охватила все слои общества. Первыми опустели буржуазные кварталы. Накануне вступления немцев исчезли все автомобили. Мелкие служащие, ремесленники, рабочие выехали на велосипедах. Многие ушли пешком (в их числе мой консьерж с женой и сыном). Все же в Париже осталось, по подсчетам, опубликованным впоследствии, около семисот тысяч жителей, главным образом в рабочих кварталах. Остались те, у кого не было никакого транспорта, кому некуда было идти, кто не поддался общей панике. Остались по долгу службы двенадцать тысяч полицейских, часть городской администрации, работники коммунальных служб, часть больничного персонала (в одной из городских больниц в течение нескольких дней оставался лишь один врач, мой хороший знакомый, польский еврей), чиновники финансового и почтово-телеграфного ведомств, нейтральные иностранцы — «апатриды», в том числе большинство русских эмигрантов. Остались немногочисленные французские фашисты разных толков. Осталась в полном боевом порядке армия парижских проституток.

Первых оккупантов я увидел на другой день после приезда, в воскресенье 16 июня, на площади Согласия. Над Морским министерством и над отелем «Крийон», где находился штаб генерала фон Штутница, развевался отвратительный гитлеровский флаг, красный с черной свастикой. У решетки Тюльери стояли «мерседесы», толпились немцы-водители. Я подошел к группе, в которой ораторствовал один из них, худощавый солдат с нервным, дергающимся лицом. Два типичных парижских пролетария в кепках, с велосипедами слушали, обмениваясь вполголоса замечаниями на итальянском языке. Немец кричал: «Криг фертиг! («С войной покончено!»). Через пятнадцать дней Англия — капут!.. У нас, в Германии, евреям капут! Капитализмус капут!» При этом он выразительным жестом хватал себя за горло, показывая, как Гитлер свернул шею «капитализмусу». «У нас, — кричал он, — зоциализмус!» «Пойдем, Марко, — сказал один из итальянцев, — надоело слушать это вранье». Они вскочили на свои велосипеды. Я тоже поспешил ретироваться.

В этот день я не встретил на улицах ни одного француза. Даже полиции не было видно... Метро не работало. Выходить из дому было запрещено от девяти часов вечера до пяти утра. Самолеты продолжали кружиться над городом круглые сутки.

Первые три-четыре дня все продовольственные лавки были закрыты. Мы с Бакаловым питались чаем и сухарями с медом, который мы догадались купить в Мориньи у старика пасечника.

Раньше других стали торговать универсальные магазины, куда немедленно устремились новые покупатели в серо-зеленых мундирах. Я наблюдал в Галери Лафайет, как толстый фельдфебель закупал целые партии ниток, иглоков, тесемок, пуговиц, всевозможных лент. Он пытался объясняться по разговорнику, но продавщица его не понимала. Я спросил его, для чего ему нужны все эти товары. Он объяснил, что дома у него в Веймаре собственный галантерейный магазин, которым заведует его жена, пока он завоевывает Европу. За другими прилавками творилось то же самое. Продавщица с удивлением сказала: «Они за все платят наличными. А мы боялись, что они будут просто грабить. Вообще они вполне корректны».

Открытого грабежа действительно не было. Париж опустошали «культурные» и «корректные» коммерсанты в серо-зеленых мундирах. Они не взламывали замков, не врываются в магазины, оставленные хозяевами. Они «платили за все», но платили «липовыми» деньгами — немецкими марками из расчета двадцать франков за одну (вместо десяти)



марку. А вскоре французы увидели, что современные культурные формы грабежа не менее действенны, чем те, какими пользовались в старину завоеватели, огнем и мечом разорявшие покоренные страны. После капитуляции Франция должна была выплачивать по четыреста—пятьсот миллионов золотых франков в день якобы на содержание оккупационных войск, то есть сумму, достаточную для содержания восемнадцатимиллионной армии! В действительности на эти деньги оккупационные власти и агенты немецких фирм закупали не только официально, но и на черном рынке самые различные товары (вплоть до дорогих ликеров и духов), которые вывозили в громадном количестве в Германию для продажи гражданскому населению. Не говоря уже о реквизиции продовольствия, промышленного оборудования и транспортных средств. А затем в Париже появились представители немецких концернов и принялись, при поддержке военных властей, убеждать директоров французских компаний уступить им «добровольно» контрольные пакеты акций во имя «европейского сотрудничества».

Когда «корректно» и «культурно» ограбленные парижане начали голодать, когда вернулись беженцы, подвергшиеся бомбежкам и обстрелам на дорогах, когда начались аресты, пытки и казни участников Сопротивления, разговоры о «корректности» победителей прекратились. Но в первые дни оккупации их можно было слышать повсюду. «Нужно отдать им справедливость: они корректны и победа не сделала их заносчивыми», — писал в «Матен» (24 июня) великосветский романист и эстет Абель Эрман.

Немцы действительно вели себя вполне прилично, не насиловали женщин, были подчеркнута вежливы с населением, подвозили на военных машинах беженцев, пешком возвращавшихся в Париж, угощали шоколадом детей, вообще старались заслужить расположение французов, уверяя их, что фюрер ничего не имеет против Франции, которую-де «втянули в войну англичане и евреи».

Командование приказало своим солдатам проявлять «дружелюбие», и они выполняли этот приказ с таким же тупым усердием, с каким в других странах — а позднее и во Франции — поджигали деревни и расстреливали мирных граждан. Парижане с изумлением смотрели на великолепною военную технику, на щегольские мундиры, безукоризненную выправку и бодрый вид солдат и офицеров, невольно сравнивая их с беспорядочными толпами измученных бойцов разбитой французской армии, проходивших накануне на юг мимо Парижа. Сбитые с толку официальной пропагандой, слепо веровавшие в неприступность «линии Мажино», привыкшие считать себя в полной безопасности в течение восьми месяцев «странной войны», когда англо-французская авиация бомбардировала Германию... листовками, французы не понимали, что случилось с их государством, с армией, которую они привыкли считать первой в Европе. Они чувствовали себя обманутыми, обвиняли во всем министров, парламент, партии...

О том, какое смятение царило тогда в правящих кругах, парижане узнали позднее. Министры и депутаты, несколько дней кочевавшие по старинным замкам Центральной Франции, прибыли в Бордо в тот самый день, когда первые немецкие части вступали в Париж. А 17 июня в 12 часов 30 минут французы услышали по радио дрожащий, старческий голос маршала Петена: «По предложению господина президента республики, я беру на себя с сегодняшнего дня руководство правительством Франции... Я решил отдать себя Франции, чтобы смягчить постигшее ее бедствие... С тяжелым сердцем я говорю всем сегодня, что нужно прекратить сражения... Я обратился этой ночью к противнику, чтобы спросить

его, согласен ли он изыскать вместе с нами способы положить конец военным действиям...»

Эта речь была последним ударом, окончательно развалившим французскую армию. С этого дня на всех фронтах французские солдаты, за редкими исключениями, отказывались сражаться, несмотря на то, что генерал Вейган в приказе по армии разъяснил, что до того, как будет заключено перемирие, сопротивление должно продолжаться. Немцы, однако, не прекратили наступления и в ночь с 19 на 20 июня бомбили даже Бордо, где заседало правительство Петена, обратившееся к Гитлеру через испанского посла с просьбой о перемирии.

*19 июня.*

Вчера открылись некоторые кафе на Больших бульварах и на Елисейских полях. На тротуарах перед ними сидят за столиками немецкие офицеры в элегантных летних мундирах и заводят знакомства с цветом парижской проституции. На бульваре Сен Жермен в литературное кафе «У двух китайских болванчиков» проституток не пускают. Немцы туда тоже не заходят. Сегодня в полдень там сидело человек пять-шесть жителей нашего квартала, которых я знал в лицо, хотя никогда с ними раньше не разговаривал. Они сказали мне, что плакали, слушая речь Петена, но все-таки слава богу, что кончилась эта бессмысленная бойня и наши ребята скоро вернутся домой. Один из них, аккуратный, чисто выбритый старичок с седыми усами, точно такими, как у маршала Петена, возмущался капитуляцией правительства. «Petain est un coquin» («Петен — негодяй»), — твердил он в ответ на все аргументы своих партнеров по карточной игре «belotte». Он живет в Париже, но в Лилле, в Северной Франции, у него небольшая фабрика, которой управляет его сын. Он сказал мне, что слушал вчера вечером лондонское радио. Генерал де Голль протестует против прекращения огня и призывает французов к сопротивлению. Франция не одна. Война не окончена и будет продолжаться до победы союзников. Гитлер будет разгромлен. Старичок предложил мне приходиться к нему по вечерам на улицу Вожирар слушать Лондон.

Из кафе я отправился своей обычной дорогой через Мост искусств по пустынной авеню де л'Опера на улицу Четвертого Сентября, где находилась редакция «Эроп Сентраль». Я застал там только старика консьержа, который сказал мне, что его жена умерла от разрыва сердца во время бомбежки по дороге в Орлеан и что «фрицы» были в редакции накануне с обыском. Ничего, разумеется, не нашли, но забрали пишущую машинку. Требовали, чтобы он дал им адреса сотрудников, но он ответил, что его дело маленькое, приходили, мол, разные люди в редакцию, иностранцы, но кто они и где живут — ему неизвестно. После чего он, хитро улыбаясь, открыл один из ящиков своего комода и вручил мне большую пачку писем и газет, полученных в мое отсутствие. «У меня, — сказал он, — они обыска не делали...» Консьерж дал мне, кроме того, два последних номера «Матен», которая начала снова выходить 17 июня после двухдневного перерыва. В номере от 18 июня напечатано: «Нам сообщают о смерти знаменитого хирурга Тьерри де Мартель де Жанвиль».

«Матен» ничего не говорит об обстоятельствах его смерти. Бакалов узнал от своих знакомых французов, что доктор де Мартель покончил с собой 14 июня, увидев немецких солдат на Елисейских полях. Не вынес позора. Он был крупнейшим специалистом по хирургии нервной системы.

Мать доктора де Мартеля, правнучка Мирабо, — автор романов из светской жизни, известная в литературе под псевдонимом Жип (1899 — 1932).

22 июня.

Опубликовано сообщение префектуры полиции об аресте «ответственных коммунистов», пытавшихся «восстановить коммунистическую партию и распространить революционную листовку». Арестованы Морис Треон и «ответственные по кадрам бывшей коммунистической партии» Жанша Лаврош-Шродт, Валентина Ру и Дениза Рейдэ-Жиноллен.

Большинство парижан вернулось только в сентябре, но уже в конце июня и в июле начали возвращаться беженцы, застигнутые немецкой армией в ближайших городах и местечках.

В кафе моего квартала и соседнего Монпарнаса снова стали приходить в обычные часы их постоянные посетители. Хозяева ресторанов как-то ухитрялись доставать продовольствие, главным образом на черном рынке, и вскоре там можно было неплохо позавтракать за пятнадцать — двадцать франков... На «Кафе дю Дом» появилась в начале июля, по распоряжению оккупационных властей, надпись на немецком языке: «Вход запрещен немецким военным и гражданским лицам». Это кафе издавна славилось тем, что его посещали художники, натурщицы, литераторы, среди которых было немало иностранцев, в том числе и русских. Гитлеровское командование не могло допустить общения своих чистокровных «арийцев» с этой космополитической богемой. А вылавливать евреев немцы не торопились. Пока что, как я вскоре выяснил, гестапо занялось немецкими, итальянскими, чехословацкими и польскими эмигрантами. Но я не знал еще, что тоже попал в «черный список».

Несмотря на некоторое оживление в монпарнасских кафе и на Елисейских полях, Париж был пуст в течение всего лета 1940 года. На улицах не было почти никакого движения. Автобусы и такси исчезли. Метро постепенно начало работать, но поездов было мало, и многие станции были закрыты. Фактически никакого транспорта, кроме велосипедов, не было. Появились первые «велотакси» — велосипеды с прицепом. За пять франков парижский рикша довозил вас от любого вокзала до дому. На многих прицепах красовалась надпись: «Велотакси. Быстрота, комфорт, безопасность». Но в июле их было еще мало. И это были «кустарно-одиночки». Впоследствии возникли крупные предприятия велосипедного транспорта.

В начале июля открылись несколько кино и три-четыре мюзик-холла. В них устремились немецкие солдаты. Но французы еще избегали выходить из дому. Редкие прохожие нигде не задерживались. Парижане как будто разучились фланжировать. Симфонические концерты, которые немцы устраивали в саду Тюльери, привлекали вначале лишь немногих любопытных, несмотря на широковещательные рекламы, сообщавшие, что дирижировать будет «профессор Шмидт, генеральный инспектор военной музыки».

Раза два-три я видел парад на Елисейских полях. Со стороны Триумфальной арки по безлюдному проспекту проходили церемониальным маршем солдаты парижского гарнизона оккупантов под резкие звуки дудок и глухие раскаты барабанной дроби. Впереди ехали велосипедисты. За ними шел военный оркестр, перед которым вышагивал рослый тамбурмажор. За оркестром ехал верхом офицер, четыре солдата несли знамя и маршировала рота автоматчиков. Немцы выходили из кафе и вытягивались на тротуаре с поднятой рукой. Французы торопливо сворачивали в боковые улицы.

Каждый день к Собору Парижской богородицы, к Дворцу Инвалидов и к другим архитектурным памятникам подъезжали десятки автокаров, переполненных солдатами и белесыми немками в серых мундирах:

нацистская организация «Сила и радость» показывала новым туристам парижские достопримечательности.

С первого дня оккупации в Париже было введено берлинское время. На всех парижских циферблатах стрелки были переведены на два часа вперед. Запрещение выходить из дому после девяти часов вечера, то есть после семи часов «по солнцу», оставалось в силе в течение первых двух недель. 7 июля комендантский час был продлен до одиннадцати часов, то есть до девяти «по солнцу». Но на уличном движении это почти не отразилось. Июльскими вечерами мы часто блуждали с Михаилом Ларионовым и Натальей Гончаровой по старинным улицам левого берега и по набережным Сены, не встречая ни одного прохожего. В половине одиннадцатого по городу проезжали французские полицейские машины, и громкоговоритель объявлял: «Парижане, скоро пробьет одиннадцать! Расходитесь по домам!»

В эти светлые летние вечера особенно сильно ощущалось обаяние великого города. Пустынный и безмолвный, он игнорировал завоевателей, неуверенно бродивших по историческим местам. Огни нигде не зажигались. Пустые дома смотрели темными глазницами окон на Сену и на узкие улочки Латинского квартала, который возникал перед нами таким, каким он был во времена Франсуа Вийона. Никогда Париж не был так прекрасен, никогда не был так прозрачен парижский воздух, ставший необыкновенно чистым благодаря отсутствию бензина и котли...

Перемирие было подписано 22 июня в просеке Ретонд Компьенского леса, в том самом месте и в том самом вагоне, в котором 11 ноября 1918 года маршал Фош продиктовал свои условия побежденной армии кайзера Вильгельма. Кинематограф запечатлел эту церемонию и «танец прокозов», исполненный там же Гитлером в припадке восторга. Военные действия были прекращены 25 июня повсюду, за исключением некоторых участков «линии Мажино», где находившиеся в окружении французские части сопротивлялись еще несколько дней.

По договору о перемирии три пятых французской территории были оккупированы. В зону оккупации входило все побережье Ла-Манша и Атлантического океана от бельгийской до испанской границ. Правительство Петена и парламент переехали 29 июня из Бордо сначала в Клермон Ферран, а потом в Виши, где закончила свое существование Третья республика, провозглашенная в Париже 4 сентября 1870 года после поражения, нанесенного Франции прусской армией под Седаном.

В атмосфере невообразимого разброда и паники Пьер Лаваль, открыто перешедший вместе с небольшой группой единомышленников на сторону Гитлера и Муссолини, добился от потерявших голову депутатов и сенаторов отмены конституции 1875 года. На одних он действовал угрозами; других соблазнил обещаниями доходных мест и блестящего будущего в «новой Европе», пуская в ход все ресурсы своего изворотливого ума и многолетний опыт парламентского интригана. Последний парламент Третьей республики, из которого коммунисты были изгнаны в сентябре 1939 года, проголосовал 10 июля за предложенный Лавалем закон, уполномочивавший маршала Петена издать единолично «новую конституцию французского государства». Восемьдесятчетырехлетний маршал, заядлый реакционер, враг республиканского строя, получил права абсолютного монарха. Самое слово «республика» исчезло с этого дня из законодательных актов. Лаваль не скрывал, что новая конституция будет «равняться на Германию и Италию». Из 666 членов Национального собрания (депутатов и сенаторов), присутствовавших на заседании 10 июля в казино курорта Виши, только семьдесят имели мужество голосовать против. Семнадцать — воздержались. Но никто из

них не выступил с трибуны в защиту демократического режима. Молчали лидеры социалистической партии Леон Блюм, Жюль Мок, Андрэ Филипп и другие. Молчал Эдуард Эррио. Лишь один радикальный депутат Венсан Бадн пытался взять слово, но его стащили с трибуны под улюлюканье лавалевцев.

Шестнадцатого июля в Бордо растерявшиеся лидеры республики окончательно отдали судьбу государства в руки маршалу Петену.

Когда сведения о событиях в Бордо и Виши дошли до Парижа, парижане, и без того относившиеся скептически-насмешливо к своему парламенту, потеряли последние остатки уважения к политическому персоналу Третьей республики.

Потребовалось несколько лет и участие в Соппротивлении, чтобы некоторые политические деятели довоенной Франции снова завоевали доверие избирателей. Из движения Соппротивления вышли новые люди, новые политические группировки. В подпольной борьбе против немецкой оккупации окрепла и к концу войны выросла в значительную силу коммунистическая партия, распущенная в сентябре 1939 года.

Летом же 1940 года лишь две фигуры, внезапно возникшие из политического небытия, приковывали внимание французов: маршал Петен и генерал де Голль. Большинство французов, особенно в провинции, плохо разбиравшихся в причинах и целях войны, поверило, что прославленный и престарелый маршал сумеет заключить почетный мир и вернуть из немецких лагерей два миллиона военнопленных. Те, кто уже тогда понимал, какую участь Гитлер готовит Франции, с надеждой слушали голос, раздававшийся по радио из Лондона, уверявший, что немецкая армия, победившая благодаря превосходству своей военной техники, будет в конце концов разгромлена еще более могущественной английской техникой с помощью США.

От не искушенных в политике обывателей мне приходилось тогда слышать, что правы, пожалуй, и тот и другой: Петен-де сможет облегчить положение Франции, спасет то, что еще можно спасти, а де Голль соберет силы для освобождения; если бы Петен не заключил перемирия, вся страна была бы под сапогом немецкого гаулейтера, а если бы не выступил де Голль, Франция была бы сведена на роль второстепенной державы в случае победы Англии. Возможно даже, прибавляли они, что между ними существует тайное соглашение. Но мой новый знакомый с «петеновскими» усами продолжал твердить: «Петен — негодяй». Хозяин соседней аптеки сказал мне: «Петен — старый ханжа, а Лаваль — предатель. Правительство должно было переехать в Алжир и оттуда продолжать борьбу на море и с воздуха». Подобные речи я слышал и в «Кафе дю Дом», где стали снова встречаться оставшиеся в Париже или вернувшиеся в столицу монпарнасские интеллигенты.

Парижские рабочие тайне надеялись на Советский Союз. Те, с кем мне приходилось разговаривать в первые дни оккупации, недоумевали, находились, как и все, в подавленном состоянии. Социалисты, призывавшие поддерживать правительство Даладье, а затем Поля Рейно и воевать до победного конца, отдали власть фашистам и сдали Париж Гитлеру. Коммунисты находились в подполье. Мало кто знал, что 6 июня, за несколько дней до вступления немцев в Париж, ЦК ФКП предложил правительству организовать оборону Парижа, декретировать поголовное ополчение и принять ряд мер, которые придали бы непонятной для народа войне характер народной войны за независимость и свободу. О том, что коммунисты намерены защищать Париж, я слышал в начале июня от Бакалова, у которого были связи с французскими товарищами, а почти накануне падения Парижа пропелся слух, на несколько часов под-

нявший настроение парижан, что Советский Союз якобы объявил войну Германии.

Предложение коммунистической партии было отвергнуто. Париж был объявлен открытым городом, и немцы вошли в столицу Франции без единого выстрела.

Первые признаки Соппротивления стали заметны в июле. Кое-где в коридорах метро и на стенах домов появились небольшие наклейки: «Долой оккупантов!»

В августе мой знакомый аптекарь дал мне прочитать первую листовку, отпечатанную на пишущей машинке: «Тридцать три совета жителям оккупированной зоны»: «Не ходите на их концерты, не смотрите на их парады. Игнорируйте их... Они разговорчивы... Они улыбаются вам и жалеют «бедную Францию»... Не отвечайте им... Не говорите по-немецки... Они осматривают Пантеон и Собор Парижской богородицы, но не обманывайтесь: это не туристы...»

*20 июля.*

Дня три назад на некоторых кафе Елисейских полей появилась надпись: «In diesem Lokal die Juden sind unerwünscht» («В этом кафе евреи нежелательны»). В витринах двух магазинов я видел таблички: «Rein Aritisches Geschäft» («Чисто арийское предприятие»). Это первые результаты антисемитской пропаганды. Сами немцы никаких мер против евреев пока не предпринимают. Они явно хотят предоставить инициативу французам. Антисемитский еженедельник «К позорному столбу» выбивается из сил, чтобы натравить парижан на «жидомасонов». Но парижане держат себя пассивно. «Матен» молчит. Впрочем, громадное большинство парижан, в том числе и евреи, отсутствует. Магазины, за редким исключением, закрыты. Город по-прежнему пуст. Слабое движение на Елисейских полях и на Больших бульварах. Появились два-три извозчика — допотопные фиакры, запряженные клячами. Берут за конец от ста до двухсот франков. Хотя комендантский час был продлен 6 июля до двадцати трех часов, вечером улицы безлюдны. Открыты два театра, несколько кино и мюзик-холлов, но их посещают почти исключительно немцы.

*25 июля.*

Академик Абель Эрман объясняет в «Матен» все беды, постигшие Францию, «фривольностью» французов: «В то время как немцы работали, мы предавались радостям жизни». Эти покаянные речи не мешают ему тут же умиляться по поводу того, что парижские проститутки охотно знакомятся с новыми клиентами. «Я перечитал, — пишет он, — «Пышку» Мопассана. Как известно, при обстоятельствах, напоминающих о которых было бы теперь не совсем удобно, эта особа, хотя и была «одной из тех, кого называют доступными», не сочла возможным заняться тем, что как-никак было ее профессией. Я, по всей вероятности, встретил вчера Пышку, гуляя по бульвару. Но ее трудно узнать. Во-первых, теперь она уже совсем не толстушка. У нее нет никаких округлостей. Она плакала бы от стыда, если бы была обладательницей пышного бюста. Кроме того, она уже не разыгрывает из себя недотрогу...» А в еженедельнике «Жерб», тоже обличающем «легкомыслие» французов, какая-то журналистка восторженно описывает ночные кабаре, в которых «корректные немецкие офицеры, затянутые в безукоризненные мундиры и держащиеся с большим достоинством», угощают шампанским элегантных блондинок и чинно аплодируют полураздетым или совсем обнаженным гёрлс.

На Монмартре действительно открываются один за другим мюзикхоллы, кафешантаны и ночные кабаки, в том числе русские.

*30 июля.*

Бакалов принес мне два номера нелегальной «Юманите», отпечатанные на мимеографе. Находящийся в подполье Центральный Комитет коммунистической партии призывает народ «объединиться вокруг рабочего класса» и создать «фронт свободы, независимости и возрождения Франции». ЦК заявляет, что Франция «хочет быть свободной и независимой», что она «не станет на колени перед кликой лакеев, потерпевших поражение генералов и продажных политиков» и что «великий французский народ никогда не будет народом рабов». Воззвание и статья направлены против правительства маршала Петена.

«Пари суар» сообщает, что в парижском предместье Мэзон Альфор коммунисты пытались прогнать из мэрии назначенных правительством чиновников и восстановить выборный коммунистический муниципалитет. По словам газеты, французские жандармы с помощью немецкого гарнизона арестовали манифестантов.

В номере от 18 июля «Матен» опубликовала протест немецких властей против проповеди, произнесенной французским священником в церкви курортного городка Эвиан, на берегу Женевского озера. Этот кюре позволил себе выразить надежду, что «господь-бог снова вернет Франции ее славу».

*2 августа.*

На днях вернулся мой сосед, художественный критик газеты «Попюлер», Максимильтен Готье, выехавший из Парижа одновременно с нами, 11 июня, на втором автомобиле Бакалова. Он заезжал утром, как было условлено, за Елизаветой Р., но она в последний момент отказалась уезжать. Готье потерял своих спутниц-швейцарок, знакомых издателя Пайо, после одной из бомбежек где-то около Луары. Машину ему пришлось бросить, так как кончился бензин. Он прожил месяц на крестьянской ферме, вдали от большой дороги. По возвращении он немедленно занялся поисками (по-моему, безнадежными) работы. Видел нескольких знакомых журналистов. Ему рассказали, как немцы организовали редакцию «Пари суар»: они якобы хотели назначить главным редактором Анри Жансона, талантливого литератора, пацифиста, сидевшего в тюрьме перед войной за отказ подчиниться декрету о мобилизации. По ошибке они посадили на это место его однофамильца, никому не известного мелкого репортера, который смертельно испугался, когда два немецких офицера явились за ним рано утром.

Бакалов был в отделе печати немецкой комендатуры, зарегистрировался как корреспондент болгарской газеты и получил карточки на бензин. Но газета газетой, а пока что он занялся вместе со своим соотечественником Радевым... торговлей овощами. Они ездят на машине Бакалова за город, покупают у огородников помидоры, огурцы и салат и продают их ресторанам по ценам черного рынка. Оказывается, у моего друга Бакалова, кроме поэтического дара, есть и коммерческий.

Вернулся в Париж также наш общий знакомый Лева Черток, молодой врач из польских евреев. Он был мобилизован в начале войны и направлен в польский батальон, состоявший из эмигрантов. После разгрома французской армии он скрывался на одном из пляжей Атлантического океана. Рассказывает, что в Биаррице богатая буржуазия, бежавшая из Парижа при первых известиях о прорыве фронта, устраивает в своих роскошных виллах приемы и балы в честь победителей.

*6 августа.*

Я узнал, что мой друг Жан Зиромски, деятель левого крыла французской социалистической партии, находится в Париже.

Вчера я застал его в полной прострации. «Все кончено,— сказал он мне.— нет больше Франции, нет Парижа, нет рабочего движения... Пролетариат дезориентирован... Кругом измена. Это конец Европы, конец демократии. Все наши лидеры, министры, депутаты бежали из Парижа. Для них нашлись машины, места в последних поездах. Меня бросили на произвол судьбы. Я две недели отсиживался в ратуше. (Зиромски работал в одном из отделов парижского муниципалитета.) Агенты гестапо произвели обыск на моей квартире. Если бы префект не заступился за меня, я был бы, конечно, арестован...»

Я вполне понимал его состояние и глубоко ему сочувствовал. Если я не разделял все же его отчаяния, то лишь потому, что был убежден в неизбежности войны между Советским Союзом и Германией.

Я попробовал объяснить это моему приятелю. «Как? — воскликнул Зиромски.— Ты хочешь меня уверить в том, что Москва заключила союз с Германией с тем, чтобы после разгрома французской армии начать войну против Германии, которая уже завоевала всю Европу?! Но ведь это — явная нелепость!»

Забегая немного вперед, я должен сказать, что Жану Зиромски удалось в конце концов перебраться в неоккупированную зону, что он принял деятельное участие в Сопротивлении, вступил в коммунистическую партию и был выбран в парламент.

Я снова встретил его в 1946 году, на этот раз в кулуарах Люксембургского дворца. Он был сенатором от коммунистической партии. Он бросился ко мне и долго тряс мою руку, повторяя со слезами на глазах: «Ты был прав!»

*8 августа.*

Открылся наконец наш ресторанчик «У маленького св. Бенедикта». Кстати, он так называется потому, что в нише соседнего углового дома долгие годы стояла небольшая старинная статуя этого святого, оставшаяся от XVIII века, когда весь этот квартал принадлежал Сен-Жерменскому аббатству. Лет пять-шесть назад статуя исчезла: ее похитил ночью какой-то предприимчивый американский антиквар.

Супруги Варэ, хозяйка ресторана, вернулись из Бретани, привезли кое-какие продукты с фермы родителей мадам Варэ. Картошки в Бретани нет, хотя эта провинция обычно снабжает ею Париж: немцы реквизируют весь урожай. Рыбы тоже нет. Рыбакам запрещено выходить в море. Суда реквизированы. Вниз по Сене и по каналам гонят баржи к морю. По слухам, Гитлер готовит высадку в Англии. Мадам Варэ, краснощекая бретонка с живыми карими глазами, с высокой прической, обычно веселая и острая на язык, помрачнела и кипит от негодования. Она не выносит вида немецких солдат и называет их не иначе, как «дорифорами» (зеленые жучки, вредители картофеля). К счастью, они сюда не заходят. Она снова восседает, туго затянутая в корсет, за своим цинковым прилавком около бака с горячим кофе, разливая вино по «четвертинкам», моет стаканы, получает деньги, отдает распоряжения официантке Клэр, но уже не пикируется со старыми клиентами, а дает им потихоньку прочитать «Тридцать три совета оккупированным». Ее муж Альбер Варэ, сын парижского столяра из знаменитого Сен-Антуанского предместья, тоже ненавидит оккупантов, но, как всегда, спокоен и немногословен. Несмотря на свою тучность, он чрезвычайно подвижен, возится на кухне, режет огурцы и продовольственные карточки, мчит,



когда нужно, в погреб за бутылкой «божолэ». Он удивительно похож на трактирщиков с картин старых фламандских мастеров, ему недостает только чулок и башмаков с пряжками. Его самолюбие страдает, так как он не может предложить вам ничего, кроме супа из кормовой репы — «рютабага», и изредка потрохов, которые он достает у приятеля — мясника на Центральном рынке. По продовольственным карточкам мы имеем право на двести пятьдесят граммов хлеба в день, сто восемьдесят граммов мяса в неделю и полкило сахара в месяц. Я теперь ежедневно завтракаю и обедаю у Варэ за десять—двенадцать франков. В ресторанах черного рынка «нормальный», то есть такой, как до оккупации, завтрак (сардины или салат из помидоров, бифштекс с жареным картофелем, сыр, полбутылки вина) стоит сто франков.

«У маленького св. Бенедикта» снова начинают понемногу собираться друзья, ежедневно встречавшиеся здесь и в кафе «Флор» во время «странной войны». Кафе «Флор» тоже открылось.

*15 августа.*

Вчера я встретил на Больших бульварах Мустафу Чокай-оглы. Он все такой же. Черный берет на круглой монгольской голове. Хитроватая добродушная усмешка. Что думает — не разберешь. По-видимому, ставил на всех лошадей и теперь не знает, на кого рассчитывать — на Гитлера? На англичан? Возмущается французами, но «только как сторонний наблюдатель»: оскандалились, мол, французы, разложилась Франция и т. д. Передает разговор двух немецких офицеров, который он слышал якобы случайно в кафе «Вьель» на бульваре Мадлен: «Поразительно, говорили они между собой, отсутствие всякого национального достоинства у французов». По словам Чокаева, немцы откровенно разговаривают с русскими эмигрантами, часто дружат с ними. Его впечатление: воевать с Россией не собираются. Некий «видный представитель сепаратистских кругов русской национальности» был с официальным визитом у кого-то из высших чинов немецкой военной администрации. Немец его «разочаровал». Чокаев не захотел сказать мне, кто этот «русский сепаратист». По всей вероятности, представитель одной из казачьих групп. Но вполне возможно, что он сам ходил в немецкую комендатуру.

Мустафа Чокай-оглы был в 1917 году членом Туркестанского комитета, созданного Временным правительством для управления Туркестанским краем. Он был тогда кадетом, ташкентским присяжным поверенным, если не ошибаюсь. Во время гражданской войны пытался образовать в Коканде правительство автономной Казахской республики, но вскоре бежал в Афганистан, а оттуда — в Париж. Здесь он регулярно сотрудничал в «Последних новостях» П. Н. Милюкова. Я видел его последний раз лет десять назад.

В последние годы, работая исключительно во французской прессе, я редко встречался с русскими эмигрантами. Да и вообще мои личные связи ограничивались с первых лет эмиграции эсеровскими и меньшевистскими кругами, небольшим числом «старых», то есть дореволюционных, литераторов (Ремизов, Замятин, Марина Цветаева) и эмигрантской литературной молодежи, входившей в литературное объединение «Кочевье» или сотрудничавших в журнале «Воля России». От основной эмигрантской массы бывшего «белого движения» я стоял далеко и об ее настроениях мог судить только по прессе и случайным встречам. Во время июньского «великого исхода» почти все парижские эсеры и меньшевики успели выбраться на юг с последними поездами, на автомобилях, велосипедах и пешком. Некоторые из них имели, конечно, полное

основание опасаться за свою жизнь, так как открыто поддерживали в своей печати антигитлеровскую коалицию. И действительно, как я вскоре узнал, гестапо уже в конце июня побывало на их квартирах. Правые эмигранты, деникинцы, врангелевцы, шоферы такси из бывших капитанов и полковников, метрдотели и официанты из гвардейских поручиков, владельцы русских ресторанов и лавочек, члены «Воинского союза» и просто беспартийные эмигрантские обыватели остались в Париже.

Пока наш бистро «У маленького св. Бенедикта» был закрыт, я заходил иногда в недорогие русские рестораны в пятнадцатом и шестнадцатом округах Парижа. Из разговоров с хозяевами, гарсонами и посетителями у меня создалось впечатление, что у некоторых эмигрантов из бывших военных падение Парижа и капитуляция Франции вызывали чувства совсем иного порядка, чем у меня и моих единомышленников. Было видно, что эти люди, пережившие уже два поражения — в войне с Германией и в гражданской войне, — испытывали некоторое удовлетворение от того, что французам, среди которых они двадцать лет владели жалкое существование «апатридов», приходится в свою очередь «хлебнуть горя».

Один бывший полковник сказал мне: «Франция кончена».

Я не могу, конечно, утверждать, что эти настроения преобладали тогда в белой эмиграции. Значительная часть эмигрантской молодежи успела за двадцать лет войти во французскую жизнь, приобщиться к французской культуре. Немало эмигрантов призывного возраста было мобилизовано во французскую армию. Уже летом 1940 года несколько русских эмигрантов приняли участие в первых подпольных организациях французского Сопротивления. Я расскажу о них в одной из следующих глав.

Окончательное размежевание произошло в эмиграции после нападения Гитлера на Советский Союз, когда в Париже рядовые эмигранты образовали «Союз русских патриотов» для борьбы с оккупантами, а в Нью-Йорке эмигрантский философ Федотов отрекся публично от России и предложил эмигрантам признать «новое отечество» — наднациональное Атлантическое объединение под англо-американским руководством.

*18 августа.*

В ресторане «Киев» я был свидетелем такой «трогательной» сцены: вошел молодой блестящий немецкий офицер и сел за столик; к нему направился официант с черными подстриженными усиками, с бледным, испитым лицом. Офицер вскочил: «Миша, это ты?» — «Жорж!» И друзья бросились друг другу в объятия. «Немец» оказался чистокровным берлинским русским.

*21 августа.*

Вчера банда юнцов в фашистской форме — члены «Молодого фронта» — учинила первый настоящий погром на Елисейских полях. В течение двух часов они с криками «долой евреев!» методически разбивали кирпичами витрины галантерейных и модных магазинов. Хозяева их еще не вернулись в Париж, магазины были открыты служащими за несколько дней перед погромом. Перепуганные продавщицы плакали. Прохожие открыто возмущались, но не вмешивались. Немецкие офицеры и их дамы, наслаждавшиеся на террасах кафе чудесным летним вечером, сохраняли нейтралитет. Они все еще «корректны».

«Молодой фронт» был организован по инициативе газеты «К позорному столбу». В него входят французские фашисты в возрасте от шестнадцати до двадцати. Для них реквизировано здание на Елисейских

полях, перед которым постоянно дежурят «молодые гвардейцы» в темно-серых и синих рубашках, перепоясанных ремнями, в беретах и высоких сапогах.

После дела Дрейфуса (1894—1906) антисемитизм почти совершенно исчез на добрых тридцать лет с поверхности французской политической жизни и ютился где-то в ее закоулках. Гиммлеровская пропаганда оживила антисемитские настроения в наиболее реакционных кругах французской буржуазии, а в годы, когда Гитлер приступил к осуществлению своих планов (1936—1939), юдофобские нотки стали проскальзывать и в высказываниях некоторых политических деятелей, которых до тех пор считали «левыми», вроде Марселя Деа. Однако расизм во всех его видах оставался глубоко чуждым основной демократической массе населения Франции.

Весной 1941 года мне приходилось, правда, слышать в неоккупированной зоне от обывателей, отнюдь не кровожадных, что война «имеет по крайней мере ту хорошую сторону, что избавила нас от евреев». При этом, однако, почти каждый раз выяснялось, что эти люди не знали, почему, собственно, нужно было «избавлять» от них Францию. Они повторяли то, что им твердили газеты. Но летом сорокового года в Париже истерические вопли антисемитской прессы не производили еще никакого впечатления на «среднего француза», оглушенного громадностью обрушившейся на Францию катастрофы.

*22 августа.*

Я теперь часто бываю у сотрудницы еженедельника «Эроп Сентраль» — бельгийской писательницы Жюния Летти, которая по болезни осталась в Париже во время июньской эвакуации. Ей приходится переживать немецкую оккупацию в третий раз за четверть века. Между двумя войнами она провела пятнадцать лет в Чехословакии, изучила чешский и словацкий языки и опубликовала в еженедельнике «Эроп Сентраль», в журнале «Ревю де Праг», а также в бельгийской и французской прессе множество интереснейших статей, корреспонденций и отчетов о литературе, искусстве, театре и народном творчестве Чехословакии. Жюния Летти — ее псевдоним. В действительности ее зовут Жюльетта Кастанью. Она сестра известного бельгийского византолога и слависта академика Анри Грегуара. Ей больше пятидесяти лет. Разносторонне образованная, прекрасно знающая несколько языков, она обладает, кроме незаурядного литературного таланта, совершенно изумительной работоспособностью и в нашей редакции была незаменимой сотрудницей. Я никогда не видел журналиста, до такой степени влюбленного в свое ремесло, с таким увлечением берущегося добровольно за самую мелкую, за самую «черную» редакционную работу. Она способна была одновременно делать три дела — ожесточенно выстукивать на машинке свою статью, принимать посетителей и отвечать на телефонные звонки. Ее муж, французский поэт и музыкальный критик Андрэ Кастанью, — полная ее противоположность. Медлительный южанин (он родом из департамента Восточных Пиренеев), мечтатель и сибарит, тонкий знаток музыки и искусства, он, как говорят французы, «не убивает себя работой» и печатается редко.

Я застал Летти больной, сильно похудевшей, с лихорадочными пятнами на щеках. Ее сын Дидье, мальчик лет четырнадцати, пожаловался мне, что мать не хочет звать врача. Я с трудом уговорил ее взяться серьезно за лечение.

Ее старший сын, сержант бельгийской армии, — в плену.

*Сентябрь.*

Сен Дени д'Олерон. В начале сентября я уехал из Парижа на остров Олерон к своим родным. Железнодорожное движение было возобновлено, но пассажиров было еще мало и поезд Париж — Ля Рошель был наполовину пуст. На вокзале я купил немецкую газету «Дас рейх» и с интересом прочитал большую статью, подробно объясняющую немецким солдатам, как они должны вести себя в Англии после высадки. Им рекомендовалось быть «корректными», соблюдать английское воскресенье и внушать англичанам, что у них нет более искренних друзей, чем немцы. Статья сопровождалась кратким англо-немецким «разговорником»: «Здравствуйте, миссис. Будьте любезны указать мне комнату для меня. Вот мой ордер на квартиру».

На одной из станций я увидел первую красную афишу, извещающую о расстреле французского железнодорожного служащего за саботаж. Местами вдоль полотна стояли пожилые французы в штатском, мобилизованные немцами, своего рода заложники. Мне объяснили, что «неизвестные злоумышленники» несколько раз перерезали телефонные провода. Немцы наложили штраф на городское самоуправление и заставляют граждан сторожить железнодорожный путь.

Моя тетка (сестра моего отца) О. Е. Колбасина с дочерьми и внуками живет в рыбацком селе Сен Дени на северной оконечности острова. Они снимают недалеко от пляжа небольшой дом у мадемузель Деграв, ревностной католички, принадлежащей к кругу местных «нотаблей». С ними живет муж одной из моих двоюродных сестер Вадим Андреев (сын Леонида Андреева), приехавший во время «великого исхода» на велосипеде из Парижа, где он работал на фабрике резиновых сапог чернорабочим. Муж второй кузины был мобилизован в сентябре 1939 года, командовал противотанковым орудием, был ранен, эвакуирован на юг и теперь находится в Париже. Он работал до войны в типографии, в которой печатались газеты и брошюры на немецком и итальянском языках по заказу антифашистских организаций. Муж младшей кузины, Владимир Сосинский, — в плену. Он пошел на войну добровольцем и был зачислен в иностранный легион вместе с испанскими республиканцами. До войны он работал техническим редактором одного издательства.

На острове расквартирована немецкая воинская часть, состоящая, как говорят, главным образом из австрийцев. Каждое утро на пляже фельдфебель обучает солдат десантным операциям: к берегу подходит на веслах две-три лодки, из которых выскакивают автоматчики и пулеметчики и по колено в воде бегут к дюнам. Упражнения эти носят довольно комический характер. Затем часам к двенадцати на пляж выходят офицеры в темно-синих пижамах, располагаются под дюной и загорают. Каждый вечер над островом пролетают высоко в небе немецкие и английские самолеты. Мы научились различать их по звуку моторов, а также потому, что через две-три минуты после появления англичан со стороны Ля Рошель раздаются взрывы бомб.

Местные жители избегают общения с немцами и держат себя с достоинством. Здесь не слышно разговоров о «корректности». Население острова (шестнадцать тысяч человек) состоит из рыбаков и мелких крестьян-виноделов. Многие занимаются разведением устриц. Во время купального сезона сдают комнаты дачникам. Мои родные ездят сюда каждое лето со времени первой, дореволюционной эмиграции.

В Сен Дени и в соседних деревнях живут несколько русских парижан. Я познакомился здесь с профессором Г. Федотовым, добравшимся

в Сен Дени с женой и дочерью на велосипедах во время эвакуации. Прежде я знал Федотова по его статьям в журналах «Современные записки», «Новый град» и в еженедельнике Керенского «Новая Россия». Он доказывал в них еще в 1935 году «моральное право» эмигрантов на измену, ссылаясь на примеры князя Курбского, Кориолана и других «великих предателей». На острове, оккупированном немцами, я увидел его впервые. Это человек лет пятидесяти, с русой бородкой, со сладенькой улыбкой и вкрадчивой речью. Зинаида Гиппиус, принадлежащая к одному с ним лагерю, прозвала его «подкольным ягненком».

В первый же день знакомства он ошеломил меня заявлением, что главным виновником всех бед, постигших Россию, был Н. В. Гоголь, автор «злобного пасквиля» на русских дворян, поместья которых были единственными культурными очагами в темной и дикой стране. Его жена превзошла своего мужа в изуверстве: в ответ на какое-то мое вполне невинное замечание (кажется, я сказал: «Ведь у вас на родине...» — имея в виду Петербург) она резко отпарировала: «У меня нет родины. Россия для меня не существует. Я каждый день молюсь, чтобы она исчезла с географической карты мира».

Профессор Федотов претендует, по-видимому, на роль российского Жозефа де Местра. Но, разумеется, он не монархист. Он проповедует авторитарную «неодемократию», в которой «личная воля и ответственность вождя» заменят «голосующие собрания». Его «неодемократия» как две капли воды похожа на корпоративный фашистский строй салазаровского типа. На острове профессор отдыхает от своих политико-философских упражнений и переводит на русский язык псалмы Давида.

Я вернулся в Париж 15 сентября. За три недели атмосфера в городе резко изменилась. В сентябре началось массовое возвращение беженцев. К концу месяца вернулось, по официальным данным, три с половиной миллиона человек. На террасах кафе снова было оживленно. Открылись новые станции метро. Появились первые автомобили с баллонами газа вместо бензина, реквизируемого немцами. Но основным видом транспорта продолжали оставаться велосипеды. Открылись один за другим магазины, но товары стали постепенно исчезать с полок. На восток тянулись немецкие машины, нагруженные шерстяными тканями, тюфяками, одеялами, мебелью. Продовольственные магазины опустели. Продуктов не стало, угля не стало. Но немцы привезли откуда-то несколько десятков тонн гнилой картошки.

Судя по разговорам в ресторане «У маленького св. Бенедикта», в кафе «Флор» и «У двух китайских болванчиков», парижане вышли из состояния оцепенения и растерянности. Никто больше не восхищался (по крайней мере вслух) военной техникой и «корректностью» победителей. Люди, испытавшие бомбежки и пулеметные обстрелы на дорогах, иначе смотрели на вещи, чем те, кто оставался в опустевшем Париже. Все, кто мог, слушали радио. Мой знакомый старичок с «петеновскими» усами, живший в одном доме с Жюниа Летти на улице Вожирар, приглашал к себе вечером не только меня, но и моих друзей. В ресторане и в аптеке я получал последние деголлевские листовки. Оккупантов парижане подчеркнуто игнорировали: встречая в метро или в кафе немецких офицеров, они делали вид, что не замечали их, смотрели на них, как на пустое место, хотя немцы по-прежнему были «корректны», уступали место дамам и старались всячески показать свою «воспитанность». Особенно бросалась в глаза перемена настроения в Латинском квартале, который снова заполнила молодежь, съехавшаяся к началу занятий. В студенчестве уже назревали настроения, которые прояви-

лись двумя месяцами позже в патриотической манифестации на площади Этуаль. Молодые фашисты не появлялись на бульваре Сен Мишель. Их можно было видеть только на Елисейских полях около здания «Молодого фронта».

В конце сентября и особенно в октябре можно было также наблюдать перелом настроения у немцев — первые признаки усталости, неуверенности, ослабления дисциплины под влиянием неудачи воздушного наступления на Англию, которое началось в конце августа.

А настроение французов поднялось. Я припоминаю два эпизода. В одно из воскресений студенты, гулявшие по «Бульмишу», каждый раз, завидев немца, обменивались между собой какими-то шутками и кто-то из них неизменно громко бормотал: «Глу-глу-глу!» Я шел сзади и не сразу понял намек на топление десантных барж, слух о котором прошел тогда по всему Парижу. Мой знакомый врач, доктор Коссович, работавший в Пастеровском институте, рассказал мне, что в Нормандии все больницы переполнены ранеными немецкими солдатами, большинство с сильными ожогами: англичане подожгли несколько транспортных судов в Ла-Манше.

Другой раз я был с друзьями в одном из эстрадных театров на Монмартре. Большинство зрителей были французы. Но вот туда зашел немецкий офицер. По-видимому, он плохо понимал по-французски или был разочарован, что на сцене не оказалось обнаженных гёрлс. Во всяком случае, посидев немного, он встал, намереваясь уйти. Тогда артист, исполнявший какую-то сатирическую песенку, воскликнул, обращаясь к публике: «Помогите ему надеть рукав», что по-французски означает также: «Помогите ему переправиться через Ла-Манш». Раздался взрыв хохота, и немец ушел, недоуменно оглядываясь.

Вообще отношение французов к англичанам заметно изменилось за время моего отсутствия. После событий на французской военно-морской базе Мерс-эль-Кебир французы долго не могли спокойно говорить о базе союзниках. Как известно, 3 июля 1940 года английский флот потопил в этом алжирском порту французскую эскадру, после того как она отказалась подчиниться ультиматуму, предлагавшему ей на выбор — продолжать совместную борьбу, разоружиться в одном из английских портов или уйти к Антилам. При этом погибло около полутора тысяч французских моряков. Черчилль пишет в своих мемуарах, что это было «самое тяжкое, самое бесчеловечное решение» из всех, какие ему приходилось принимать, но оно было абсолютно необходимо для спасения Англии. Французам поступок Черчилля казался в тот момент чудовишным и бесцельным преступлением, так как они были уверены, что после разгрома французской армии Англия, оставшаяся в одиночестве, не продержится более двух недель. «Англия капут», — твердили немецкие солдаты. Гитлеровская пропаганда не без успеха использовала трагедию Мерс-эль-Кебира, чтобы восстановить французов против «коварного Альбиона».

Когда я вернулся в Париж, от антианглийских настроений не осталось и следа. Англия сопротивлялась, и парижанам этого было достаточно.

Меня лично ожидал в Париже неприятный сюрприз: я узнал, что мною интересуется гестапо.

В моем дневнике я нахожу следующие записи, относящиеся к осени 1940 года.

*17 сентября.*

На другой день после моего возвращения с острова Олерон в ресторан «У маленького св. Бенедикта» зашел мсье Жюлен, хозяин гости-

ницы «Павильон», в которой я прожил весну и лето 1939 года. Он очень удивился и сказал, что за мной уже три раза приходили агенты гестапо. В первый раз они пришли 18 июня, через четыре дня после занятия Парижа. Гостиница была закрыта, так как хозяева уехали в свою родную провинцию с первой волной беженцев. Ключи оставили у привратницы соседнего дома, которая и дала их немцам. Гестаповцы спрашивали ее обо мне, осмотрели пустые комнаты, открыли чей-то сундук, оставленный в кладовой, и удалились. Когда мсье Жюлен вернулся в свой отель, агенты гестапо приходили за мной еще два раза. Я спросил, заглядывали ли они в регистрационную книгу отеля. Оказалось, что книгу эту (пронумерованную и прошнурованную) хозяин должен был сдать в полицейский комиссариат, и в ней он отмечает только даты приезда и отъезда клиентов, а адреса их записывает в свою записную книжку, которую хранит не в конторе, а у себя на квартире.

Я пошел с ним в отель, который находится в десяти минутах ходьбы от ресторана, и попросил вырвать страничку с моим адресом. После некоторого колебания мсье Жюлен уже готов был исполнить мою просьбу, но жена его испугалась: «А вдруг они придут с обыском и увидят, что одна страничка вырвана? Что тогда будет с нами?» Пока супруги спорили, их сын, мальчик лет четырнадцати, выхватил у отца записную книжку, выдрал страницу с моим адресом и разорвал ее на мелкие клочки. Родители смущенно переглянулись и замолчали. У мсье Жюлена был такой виноватый вид, что мне стало его жалко, я крепко пожал руку мальчика и поспешил уйти.

Мсье Жюлен — типичный «средний француз». Маленький, тихий человек, раненный на фронте первой мировой войны, мелкий собственник, работающий с раннего утра до позднего вечера, чтобы вывести в люди своего сына и под старость вернуться в свою тихую деревню «сажать салат», стрелять диких кроликов и сидеть с бесполезной удочкой на берегу тихой реки, по которой скользят баржи, груженные каменным углем и пшеницей. Отель «Павильон», находящийся в двух шагах от Сены, на тихой улице Верней, имеет чрезвычайно провинциальный вид, современная отельная цивилизация его не коснулась. В нем двадцать девять комнат, которые хозяин сдает ежемесячно мелким служащим, артистам, студентам и небогатым иностранцам, приезжающим на несколько дней в Париж и застревающим на годы в квартале Сен Жермен де Прэ. Он их обслуживает сам, с женой и единственной горничной. Я знаю эту семью уже несколько лет. «Как вы думаете, мсье Василь, — часто спрашивал он меня перед войной, — в России я мог бы уже перестать работать и выйти на пенсию?»

*22 сентября.*

Мсье Жюлен сообщил мне, что гестаповцы снова были у него. Узнав, что я не возвращался, они сказали на ломаном французском языке: «Парти Португаль» («Уехал в Португалию»). Почему именно в Португалию, хозяин отеля не понял.

Я разыскал знакомого служащего префектуры, которого мне рекомендовали французские друзья еще во времена Народного фронта. Он оказывал услуги журналистам, когда требовалось получить вне очереди заграничный паспорт или визу. Чиновник этот сказал мне, что гестапо до сих пор ни о ком из эмигрантов не запрашивало префектуру. Немцы действуют совершенно самостоятельно, производят обыски и аресты, не прибегая к помощи французской полиции. Очевидно, они руководствуются собственными «черными списками». К тому же все папки с делами об иностранцах, проживающих в Париже, были погружены в июне на две баржи и отправлены по каналам на юг. По слухам,

они где-то затонули во время бомбежки. «Вы можете спать спокойно», — закончил мой знакомый.

На этом кончаются записи моего дневника о том, как я избежал ареста летом и осенью 1940 года. В последующие месяцы я принимал, конечно, кое-какие меры предосторожности, но, будучи уверен, что адрес моей новой квартиры на улице Мезьер неизвестен гестапо, и полагаясь на солидарность жителей квартала Сен Жермен де Прэ, я нисколько не изменил своих привычек, продолжал ходить ежедневно в свой ресторан и в кафе «Флор», где снова стали собираться вечерами за чашкой желудевого кофе некоторые из его обычных посетителей. Лишь после войны я узнал, что агенты гестапо явились все-таки в конце 1941 года к моей консьержке на улице Мезьер, но я уже был в Нью-Йорке. В феврале 1942 года агенты Гимmlера два раза допрашивали обо мне г-жу Буато, заведующую отделом переводной литературы в издательстве Пайо, которая поняла из их вопросов, что сведения о моей «враждебной деятельности» они получили из Праги, откуда я успел вовремя выехать в марте 1939 года. Госпожу Буато держали в гестапо пять часов.

*25 сентября.*

Мой сосед, художественный критик Максимильен Готье, работает теперь в новой газете «Ожурдюи» («Сегодня»), основанной театральным критиком и известным пацифистом Анри Жансоном. По словам Готье, Жансон заявил сотрудникам, что не допустит в своей газете травли евреев, пропаганды расизма и низкопоклонничества перед победителями. Его задача — дать парижанам ежедневную газету, отвечающую их вкусам, живую, остроумную и возможно более «независимую». Жансон привлек талантливых литераторов и журналистов. В газете участвуют драматург Жан Ануй и известный беллетрист ультрапацифист Жан Жионо, поэт пейзажей Прованса и крестьянского труда, бывший в 1938 году сторонником мюнхенской капитуляции.

В редакции работают, кроме Максимильена Готье, два других моих знакомых: живущий в нашем доме этажом выше Жюльен Блан, автор недавно вышедшего автобиографического романа, и бельгийский журналист О.-П. Жильбер. В газете много места отводится «парижской жизни» — театру, кино, музыке, модам, вопросам быта, репортажам, хронике происшествий. В финансовом отношении газета не зависит от отдела пропаганды: Жансон достал деньги на издание у знакомого французского капиталиста. Но он вынужден печатать немецкие коммюнике и германофильские статьи. По словам моего соседа, редакции приходится все время изворачиваться, «плясать на натянутой веревке», по французскому выражению.

Политическая программа, напечатанная в первом номере, явно согласована с немецким посольством, во главе которого стоит теперь Отто Абец, знаменитый «эксперт» по французским делам, бывший в течение ряда лет секретным агентом Гитлера и сумевший втереться в парижские литературные и журналистские круги. Программа эта представляет курьезную смесь мелкобуржуазного анархо-пацифизма с оправданием завоевательных планов Гитлера (во имя «объединения Европы») и антикапитализма — с реакционными экономическими теориями. Но мой приятель Готье смотрит на этот документ как на обязательную формальность, без которой газета не могла бы выходить. Мне это отношение к печати чуждо, но читатели, по-видимому, различают без труда материал, навязанный извне, от редакционного. Они научились читать между строк и о подлинных взглядах ближайших сотруд-



ников газеты судят по тому, о чем те молчат. Во всяком случае все постоянные посетители «Флор» и «У двух китайских болванчиков» покупают только «Ожурдю». «В ней,— говорят они,— по крайней мере сохранился французский дух». Во всех остальных газетах царит дух Геббельса.

(Анри Жансон продержался недолго. В декабре 1940 года немцы его сместили и назначили главным редактором «Ожурдю» продажного журналиста Жоржа Сюареза, при котором газета перестала отличаться от других. Анри Жансон был арестован и просидел несколько месяцев в тюрьме Сантэ.)

Французские и иностранные евреи, жившие до оккупации в Париже, постепенно вернулись вместе со всеми другими беженцами. Никто не подозревал, что их ожидало. Конечно, все слышали о гонениях на евреев в Германии и о «нюрнбергских законах». Но большинство считало, что их все это не касается, что это внутреннее дело Германии. Мало кто отнесся серьезно в свое время к угрозам Гитлера, хотя он весьма недвусмысленно намекал в 1938 году, перед аннексией Чехословакии, что в случае войны все евреи будут истреблены в Европе.

К тому же целых три месяца немцы не предпринимали никаких мер против евреев в оккупированной Франции (за исключением Эльзаса и Лотарингии), если не считать конфискации знаменитой коллекции картин Ротшильда (оцененной в два миллиарда франков) и других собраний произведений искусства, принадлежавших евреям. Этот неожиданный «либерализм» в связи с пресловутой «корректностью» и с «нейтралитетом», соблюдавшимися немецкими офицерами во время первых попыток погрома, многих ввел в заблуждение.

А когда евреи — в частности, еврейская буржуазия, чьи капиталы особенно интересовали немцев,— вернулись в Париж, оккупанты сбросили маску.

Второго октября парижские газеты опубликовали указ, предписывавший всем евреям, проживающим в оккупированной зоне, явиться для регистрации во французские комиссариаты полиции. Всем предприятиям, принадлежащим евреям, было приказано вывесить к 1 ноября 1940 года желтые афиши на немецком и французском языках: «Юдише гешефт» («Еврейское предприятие»). Это было явным нарушением как Гаагской конвенции, запрещающей оккупанту издавать законы на оккупированной территории, так и договора о перемирии, по которому оккупированная часть Франции в административном отношении оставалась подчиненной французскому правительству.

По французским законам, акты гражданского состояния не могут содержать никаких указаний на религию или расу. Во Франции нет национальных меньшинств, все граждане считаются принадлежащими к французской национальности. Поэтому не было никакой возможности установить официальным путем, кто из французозов является евреем. Немцы могли, правда, получить кое-какие справки по книгам еврейских религиозных обществ — там, где они имелись. Но это не касалось как всей массы неверующих, так и тех, кто принял христианство.

Таким образом, организация Гимmlера и Эйхмана могла получить нужные им списки только в том случае, если евреи сами придут заявить о себе.

И евреи — французы и иностранцы — шли, часто невзирая на угрозы и несмотря на возможность скрыть свою принадлежность к «низшей расе», подчинялись явно незаконному распоряжению. Одни шли потому, что боялись наказания за неявку (по всей вероятности, их было большинство), другие — потому, что считали ниже своего достоинства

скрывать свое происхождение и не верили в возможность массового избиения беззащитных людей.

В комиссариат буржуазного квартала Пасси явился больной, с трудом передвигавшийся восьмидесятидвухлетний старик в халате и домашних туфлях — знаменитый французский философ Анри Бергсон, лауреат Нобелевской премии по литературе. Он, разумеется, давно уже порвал с еврейской религией, но тоже не считал возможным «отрекаться», хотя звание академика и всемирная известность обеспечивали ему вмешательство маршала Петена, которому удавалось иногда добиваться льгот для своих протеже.

В начале октября в кафе «Флор» пришла спросить моего совета молодая талантливая художница Соня Штейнсапфир, советская гражданка. Незадолго перед войной она приехала в Париж к своему дяде, известному художнику-декоратору Меерсону, работавшему вместе с кинорежиссерами Ренэ Клером, Александром Корда и другими. Дядя умер. В начале войны Соня окончила с отличием французскую Академию художеств. Ее родственники, французские граждане, зарегистрировались и настаивают, чтобы она тоже пошла в комиссариат. Она не знает, как ей быть. У меня никаких сомнений на этот счет не было: не ходить ни в каком случае. Она — гражданка другого государства и находится под покровительством своего консула. Американские евреи не идут регистрироваться. Она призналась, что ее паспорт просрочен, так как у нее не было денег на уплату пошлин, и она не решается идти в консульство. Мне казалось, что такое незначительное нарушение паспортных правил не может лишить защиты советскую гражданку. Она как будто согласилась со мной, но... в тот же день пошла регистрироваться в монпарнасский комиссариат на улице Деламабр. Я записал на другой день ее рассказ об этом посещении:

«Секретарь комиссара принимал посетителей по разным делам. Когда дошла до меня очередь, он спросил: «А вам что угодно, мадемуазель?» — «Я еврейка». — «Очень хорошо. Но в чем, собственно, дело? У вас какая-нибудь жалоба?» — «Нет, мне сказали, что я должна пойти к вам и заявить, что я еврейка». Секретарь пожал плечами. «Ах, да! Вы имеете в виду немецкое распоряжение? Вон там в углу лежит на столе и х книга. Можете в ней расписаться».

Секретарь комиссариата в районе, населенном художниками, был явно смущен навязанной ему оккупантами ролью, тем более что перед ним стояла красивая и элегантная молодая девушка, лауреатка Академии художеств.

Вообще французская полиция неохотно выполняла требования немецкого командования относительно евреев, не говоря уже о том, что в Парижской префектуре было немало участников подпольного Сопротивления. Мне известны случаи, когда полицейские помогали евреям скрыться даже после того, как правительство Петена издало свое собственное «Положение об евреях», превратившее эту категорию французских граждан в бесправных париев.

Когда закончилась регистрация и все еврейские магазины получили желтые афиши, наступил новый перерыв в шесть месяцев, во время которого происходила постепенная «арианизация» предприятий. Затем, в мае 1941 года, начались аресты евреев, сначала только иностранцев, которые заполнили временные лагеря вблизи Парижа. Годом позже, в июне 1942 года, французским евреям было предписано носить на груди желтую шестиконечную звезду. Им было запрещено посещать рестораны, кафе, театры, кино, рынки, пользоваться телефоном и т. д. Наконец в июле 1942 года начались массовые аресты, и поезда, переполненные

евреями, потянулись в Германию и Польшу, где уже были построены газовые камеры и крематории.

За четыре года оккупации сто пятьдесят тысяч евреев были отправлены из Франции в лагерь смерти, в том числе двадцать тысяч детей. Из этого числа остались в живых три тысячи взрослых и шестеро детей.

Юная художница, не послушавшаяся моего совета, к счастью, осталась в живых. Она была арестована летом 1941 года, когда немцы приступили к осуществлению второй части своей программы, и просидела несколько недель в пересыльном лагере. Когда заключенные узнали, что их скоро отправят в Германию, Соня Штейнсапфир бежала с двумя товарищами, перерезав ночью колючую проволоку. Беглецы в разорванном платье, израненные с трудом добрались до ближайшей железнодорожной станции и приехали в Париж. Железнодорожные служащие помогли им прятаться. Оставшиеся пока еще на свободе буржуазные «родственники» встретили Соню упреками. По их понятиям, она должна была спокойно сидеть в лагере, где ей якобы ничто «не угрожало», и не подводить их своим побегом. Соню спас наш общий друг, французский скульптор Карл Лонге, правнук Маркса (в честь прадеда его назвали не Шарлем, а Карлом), сын известного социалистического лидера Жана Лонге. Он поселил ее в своем деревенском домике в горах, где она скрывалась до конца войны.

Не все мои тогдашние друзья евреи поддались странному массовому гипнозу, гнавшему их в западни, расставленные убийцами. Лева Черток и несколько других польских и русских евреев уклонились от регистрации, приняли заблаговременные меры, чтобы избежать ареста, достали фальшивые документы и ушли в «макй». Они организовали вместе с французскими товарищами подпольный «Союз для борьбы с антисемитизмом и расизмом» и издавали нелегальную газету «Фратернитэ» («Братство»). Некоторые из них погибли. Погиб варшавский адвокат Стефан Одерфельд, жизнерадостный весельчак, любитель хорошей кухни и тонкий знаток искусства. Он эмигрировал из Польши перед войной, у него были деньги, и жил он, казалось, в свое удовольствие на улице Фзандери, вблизи Булонского леса. Мы часто встречались с ним вечерами в кафе «Флор», а однажды он угощал нас слевой и другими друзьями у себя в студии великолепным «беф бургиньон» (жаркое по-бургундски) собственного изготовления. Одерфельд, говоривший прекрасно по-немецки, взялся вести пропаганду среди немецких солдат. Он был арестован, подвергнут пытке и отправлен в лагерь смерти.

Погиб в немецком лагере мой друг Леонид Россель, родом из Ставропольского края, организовавший в Париже «Объединение русских синдицированных рабочих при Генеральной конфедерации труда». Россель был женат на француженке Ирен. Мэр города Жуаньи (департамент Йонна), где жили ее родители, выдал ему удостоверение на его собственное имя, но превратил его во француза, якобы родившегося в департаменте Йонна. Россель несколько лет жил по этому документу в Париже и на юге Франции. Он был арестован по доносу и отправлен в Германию. Его жена Ирен, тоже принимавшая участие в Соппротивлении, погибла в лагере Равенсбрюк. В доме ее родителей я спрятал перед отъездом из Парижа свою библиотеку — двенадцать ящиков с книгами, главным образом советских изданий. Ее сожгли гестаповцы, пришедшие арестовывать Ирен.

Доктор Л. Черток уцелел. Когда в мае 1941 года начались аресты евреев, он перешел на нелегальное положение, был врачом в партизанском отряде, а после высадки дивизии генерала Леклера служил военным врачом в регулярной французской армии до конца войны.

Погиб в лагере смерти и мой старый товарищ С. Д. Шупак. Я был много лет знаком с ним и с его женой Надеждой Осеевной, но, к стыду своему, долго не знал, что эта милая и скромная женщина — выдающийся ученый-санскритолог, что ее труды печатаются во французских научных журналах, что она воспитала целое поколение молодых исследователей. Н. О. Шупак, урожденная Штейнберг, сестра композитора Максимилиана Штейнберга, профессора Ленинградской консерватории (1883—1946), родилась в Вильно, училась на Бестужевских курсах и в Сорбонне, эмигрировала в 1908 году. Последние годы своей жизни Н. О. Шупак была научным секретарем Института индийской культуры при Сорбонне. Во время оккупации она вернулась из южной зоны в Париж к началу занятий, но была изгнана из университета на основании антиеврейских законов и скончалась 30 ноября 1941 года, к счастью до того, как начали работать газовые камеры.

В сборнике, посвященном ее памяти, изданном в Париже в 1945 году, профессор Андрэ Мазон пишет, что Надежде Шупак должно быть отведено видное место в истории франко-русских культурных взаимоотношений. Кроме своей прямой специальности — санскрита, — она занималась со студентами древнерусской литературой и Пушкиным, работала в Комитете научных связей с Советским Союзом, в Славянском институте и в Коллеж де Франс.

Став крупным французским ученым, Н. О. Шупак оставалась глубоко русской по своим взглядам, по своему образу жизни, по всему своему духовному облику. И, может быть, именно поэтому ее коллеги — французские профессора и ее ученики — французские студенты не только высоко ценили ее, но и любили эту выдающуюся представительницу старой русской интеллигенции.

С октября 1940 года по февраль — март 1941 года я вел свой дневник довольно регулярно. Приведу несколько записей о нашей тогдашней жизни при немцах в голодном и холодном Париже.

*Начало октября (без даты).*

В сентябре появились в Париже «зазу» — молодые люди с изысканно небрежной прической, в клетчатых пиджаках, стянутых в талии и входящих до колен, в узких мятых брюках; девушки в свитерах, коротких юбках и в башмаках без каблучков, с высоко взбитым чубом и распущенными по плечам волосами. Они часами сидят на террасах кафе бульвара Сен Мишель и вечерами отплясывают в закрытых полулегальных танцульках новомодный американский танец «сунг».

Молодежь Латинского квартала во все времена одевалась по-своему, наперекор установившимся буржуазным вкусам. Однако в костюмах, манерах и во всем поведении «зазу» чувствуется не столько вызов жителям буржуазных кварталов, сколько неосознанный протест против чопорной «корректности» завоевателей с их бритыми затылками и против военной выправки молодых французских фашистов в синих рубашках и высоких сапогах. Говорят, что мода на долгополые пиджаки пришла из Америки одновременно с новым танцем и что самое слово «зазу» взято из припева одной негритянской джазовой песенки.

«Зазу» — большей частью дети состоятельных родителей, студенты и учащиеся средних школ. Свободного времени у них, по-видимому, много, и они делят его между кафе, «сунгом» и... черным рынком. Отсутствие в магазинах продовольственных и иных товаров породило колоссальную спекуляцию, которая проникла всюду, даже в учебные заведения. Дети приносят родителям из школы консервы и бисквиты, продают и покупают мыло и тетради. За столиками кафе «зазу» совершают

сделки на папиросы, масло, сыр камамбер, отрезки материи, колбасу и кроликов.

Однако далеко не все студенты — «зазу». На медицинском и историко-филологическом факультетах, в Академии художеств распространяются нелегальные листовки. Настроение — явно оппозиционное, и, по слухам, были уже какие-то антинемецкие инциденты.

*7 октября.*

Встретил на Елисейских полях Муссэ, дипломатического корреспондента «Фигаро», с которым я часто виделся на пресс-конференциях, когда работал в «Котидьен». Элегантен, как всегда, но без обычной своей гардени в петлице. Он приехал из Дижона, где жил у своих родителей с первых дней оккупации. У его отца большой дом, и он вынужден был поселить у себя немецкого полковника. В соседнем ресторане — офицерская столовая. Немцы реквизируют дорогие бургундские вина, много пьют, но настроение у них скверное. Жалуются, что барышни из местного общества не хотят с ними знакомиться, не отвечают даже на приветствия. На днях мать Муссэ, проходя по гостиной, увидела, что полковник сидит у камина, обхватив голову руками. «Вы больны, полковник?» — спросила она. «Нет, мадам, я думал о моей гибнущей родине»...

*9 октября.*

На днях в ресторане гостиницы «Наполеон» группа полковников и капитанов рейхсвера чествовала кого-то из своих. Когда метрдотель — русский эмигрант — подошел к ним взять заказ и заговорил с ними по-немецки, председатель банкета, узнав, что он — бывший офицер белой армии, пригласил его к столу. Метрдотель извинился и пошел к администратору гостиницы, тоже русскому эмигранту, за разрешением. Получив согласие, он переоделся и вернулся к немцам в приличном «выходном» костюме. Тогда все офицеры встали, шелкая шпорами, и председатель представил каждому из них «русского коллегу». Во время веселого ужина немцы убеждали своего гостя бросить лакейскую службу и ехать в Германию, там-де для русских эмигрантов вскоре откроются блестящие перспективы. «Наш фюрер, — говорили они, — занят теперь разрешением английской проблемы. Как только она будет разрешена, он займется вплотную русской проблемой, по всей вероятности в конце ноября, во всяком случае до конца этого года. Мы думаем, что русский вопрос можно будет разрешить мирным путем. Для того, чтобы превратить действующее в настоящее время соглашение в подлинный союзный договор, мы поставим только два условия. Россия должна будет включить в свою конституцию «арийский параграф» и пропустить наши войска через Среднюю Азию в Китай и Индию. Если Москва не пойдет на наши два условия, война неизбежна. Мы знаем, что Красная Армия — серьезная сила, и что нам придется с ней повозиться. Но мы не сомневаемся в победе. И в том и в другом случае вашей стране будут нужны такие русские патриоты, как вы».

*10 октября.*

Проходя по бульвару Пуассоньер, мимо здания газеты «Матен», я встретил знакомого линотиписта из типографии, где печатался еженедельник «Люмьер». Он окликнул меня с мостовой и соскочил с велосипеда с прицепом. «Вот видите, — сказал он, — я превратился в извозчика. Перевожу багаж и пассажиров». Я спросил: «А вы не пробовали устроиться в типографию «Матен»?» — «Нет, что вы, — ответил он мне, — ведь это дом терпимости для немцев!»

*13 октября.*

Похоже на то, что немцы предпринимают какое-то «идеологическое» наступление на русских эмигрантов. В кафе «Флор» пришел мой старый знакомый М — в, бывший в России кооператором, а перед войной служивший в крупной экспортной фирме. Он когда-то учился в одном из германских университетов и сохранил добрые отношения со своим профессором философии. Бывая по делам в Германии во времена Веймарской республики, навещал своего бывшего учителя. На днях к нему явился молодой офицер люфтваффе (военная авиация) и представился: «Доктор такой-то». Оказался сыном гейдельбергского профессора. Не найдя М — ва по адресу, оставленному десять лет назад его отцу, настойчивый немец опросил нескольких консьержек и в конце концов разыскал моего приятеля за городом. «Германия,— заявил он с места в карьер,— нуждается в союзе с Россией. Эта война — последняя. После победы над Англией нужно будет заняться организацией Европы. Необходимо экономическое объединение всех европейских стран. Наши два государства должны будут взять на себя эту задачу — Россия с ее громадным промышленным и сельскохозяйственным потенциалом, Германия с ее высокой техникой и организаторскими талантами. Нужно уже теперь заняться разработкой этого проекта. Мой отец очень высокого мнения о ваших способностях. Перед русской и немецкой интеллигенцией открывается широкое поле деятельности...»

Немец заявил, что ни он, ни его отец не примкнули к национал-социалистской партии, и всячески подчеркивал свои «европейские» чувства. Никаких намеков на превосходство германской расы. Немцы-де желают жить в дружбе со славянами, с французами и, конечно же, со своими кузенами, англосаксами. Еврейский вопрос герр доктор старательно обошел молчанием.

Мой приятель не знал, как ему быть. Возражать — опасно, соглашаться — невозможно. Он отделялся общими фразами и в конце концов ответил, что давно потерял всякую связь с Россией, политикой абсолютно не занимается, интересуется только живописью, а из своей торговой фирмы ушел. Но немец, по-видимому, намерен поддерживать знакомство. М — в в отчаянии.

В ресторан «У маленького св. Бенедикта» пришла взволнованная сотрудница милюковских «Последних новостей» (газета, конечно, перестала выходить в июне, а сам Милюков находится на юге, в неоккупированной зоне) и сообщила, что немцы захватили Тургеневскую библиотеку и заколачивают книги в ящики для отправки в Германию, невзирая на протесты библиотечного правления, состоящего из видных русских эмигрантов. Парижская русская библиотека, основанная И. С. Тургеневым, существует около шестидесяти лет и содержит много ценных книг и даже рукописей.

*14 октября.*

В газетах объявлено, что все граждане, у которых проживают англичане, обязаны под страхом расстрела заявить о них в полицию до 20 октября. В нашем доме, в квартире моей тетки, где раньше жила итальянская эмигрантка Питтони, уехавшая на остров Олерон, живет теперь английская художница, наша знакомая по кафе «Флор». Она делает куклы для бродячего кукольного театра. Она немедленно собралась и переселилась к своей приятельнице французенке, где, по ее словам, она будет в безопасности...

С разных сторон мне передают, что русские шоферы такси, забранные немцами, водят грузовые машины в Германию. Они расска-

зывают о бомбежках Берлина и других городов, где им приходится ночевать в погребках. Несколько шоферов было убито.

Мой издатель Пайо рассказал мне, что к нему заходил немецкий офицер, до мобилизации бывший приват-доцентом, автор книги, изданной во французском переводе. Он вернулся из Берлина, где прожил три недели, из которых две — в погребе, из-за бомбежки.

Мадлен Д. слышала от знакомого железнодорожника, что за последнее время около ста поездов с немецкими эшелонами ушло в Румынию.

*15 октября.*

В Малом дворце на Елисейских полях открылась «Масонская выставка». Ее организаторы хотят убедить французов, что Гитлер «освободил» их от диктатуры тайных масонских лож, при посредстве которых евреи и англичане стремятся якобы к мировому господству. Немцы перевезли в Малый дворец из помещений «Великого Востока Франции» на улице Кадэ и «Великой Ложи Франции» на улице Пюто различные предметы обстановки и знаки франкмасонской символики — одеяния «вольных каменщиков», циркули, наугольники, остроконечные молотки, передники, кинжалы, скелеты из «комнат размышления», книги уставов, многочисленные фотографии и статистические таблицы. Пояснительные брошюры и надписи на стенах сообщают посетителям, что Великая французская революция была организована «жидомасонами» и что «Карл Маркс был платным агентом масонских лож». Одним словом — бред вполне в духе Пуришкевича и Маркова 2-го. Посетителей мало. На скептических парижан устрашающие плакаты, разоблачающие «всемирный заговор» и «кровавые преступления» франкмасонов, не производят никакого впечатления.

*16 октября.*

Ко мне зашел скульптор Издебский и сказал, что с Бунаковым-Фундаминским творится что-то неладное. Он вернулся из Аркашона, где проводил лето, и ни за что не хочет уезжать из Парижа, хотя в Марселе его ждет американская виза и почти все его товарищи по редакции «Современных записок» уже уехали в США. Главное же — у него бывает какой-то немецкий офицер, доктор Вайс, и ведет с ним странные разговоры. Издебский собирается вскоре ехать с семьей на юг и уже достал адрес «контрабандиста», который проведет их через демаркационную линию. Он просил меня пойти к Бунакову и уговорить его уехать вместе с ним. Я знаю Бунакова с 1905 года, встречался с ним в Париже со времен дореволюционной эмиграции, однако с двадцатых годов мы с ним не виделись. Бунаков редактировал вместе со своим родственником Цейтлиным (поэт Амари), с писателем М. Алдановым и М. Вишняком толстый ежемесячный журнал «Современные записки».

Я решил пойти к Илье Исидоровичу. Когда он открыл мне двери своей квартиры в квартале Пасси, на его лице отразилось удивление и даже некоторая растерянность. Он уже давно считает меня «большевиком», то есть почти большевиком, и теперь пытливо приглядывался ко мне во все время нашего разговора.

«Да,— сказал он мне,— у меня бывает один немецкий историк, изучающий историю России. Он хотел узнать мою точку зрения на происхождение большевизма, на его исторические корни и связь с русской национальной психологией. Мы много спорили на эту тему. Он очень заинтересовался моей библиотекой. У меня собрана вся русская историческая литература. Доктор Вайс, по-видимому, серьезный ученый, но многого не понимает или не знает...»

Когда я указал Бунакову на опасную сторону этих «научных дискуссий», он пожал плечами и категорически отказался уезжать и переходить нелегально демаркационную линию. Он не хочет расставаться со своей библиотекой, не в состоянии «пускаться на авантюру», и вообще он — против бегства в Америку и считает, что нам нужно разделить участь всех французов и русских эмигрантов.

О том, что он не только русский эмигрант, но и еврей, он как будто забыл. Все мои уговоры наталкивались на мягкий, но решительный отказ. У меня создалось впечатление, что у Бунакова полный паралич воли.

Через несколько недель после этого разговора немецкий «историк» в военном мундире прислал на квартиру Бунакова солдат, которые увезли его библиотеку. Летом 1941 года И. И. Бунаков-Фундаминский был арестован, просидел некоторое время в лагере под Парижем, где читал заключенным лекции по истории России. Затем он был отправлен в Германию и погиб в газовой камере.

*17 октября.*

Древние греки верили, что на Елисейских полях гуляют, наслаждаясь бессмертием, тени героев и мудрецов, беседуя друг с другом. Порою мне кажется, что нечто подобное происходит на парижских Елисейских полях, со всеми, разумеется, поправками на наши дни. Уже несколько раз во время моих прогулок передо мной оживали тени забытого прошлого, не мудрецы, правда, и не всегда герои, но во всяком случае ходячие анахронизмы. Так и вчера под вековыми платанами Елисейского сада я столкнулся внезапно со старым товарищем, грузином Гобечиа, которого не видел лет тридцать. Когда-то, перед выборами в Первую Государственную думу, мы выступали с ним и с его братом на избирательных собраниях. Я не знал, что Гобечиа в Париже и имеет какое-то отношение к «делегации» бывшего меньшевистского правительства.

Гобечиа сказал мне, что Жордания, Гегечкори и Чхенкели вернулись из эвакуации в Париж. Гварджаладзе, представитель грузинских меньшевиков в исполкоме социалистического интернационала, тоже вернулся. Немцы произвели обыск в помещении «делегации» и опечатали две комнаты, но никого не арестовали. Гобечиа возмущен французами и считает, что роль Франции как великой державы кончена.

Война гитлеровцев с Россией, по его мнению, неизбежна.

Насколько я понял, грузинская «делегация», в которую входят, кроме меньшевиков, какие-то другие эмигрантские группы, продолжает считать себя «правительством в изгнании». Немцы, по-видимому, не прочь поддерживать эту иллюзию. Невольно возникает вопрос, не связано ли это с планами «разрешения русской проблемы»?

*19 октября.*

Газеты сообщают о массовых арестах коммунистов. Их арестовывает французская полиция на основании закона о роспуске коммунистической партии, изданного в 1939 году правительством Даладье. Арестованные будут преданы суду за попытки восстановления запрещенных организаций и распространение нелегальной «Юманите». Они выбрали защитниками адвокатов — бывшего социалиста Зеваеса, Мориса Буателя и Гарнье.

Сегодня я остановился на улице Ренн около цветной афиши, перечисляющей потери, понесенные Францией в прошлом по вине англичан: «За два столетия Англия отобрала у нас Канаду, Тринидад, Индию,



Египет, Судан»... Афиша приводит длинный список заморских владений, захваченных Англией.

Подошел пожилой рабочий в синем комбинезоне, прочитал и сказал, обращаясь ко мне: «За два столетия! А фрицы заберут у нас все одним ударом».

Вчера я был свидетелем другой сцены. На бульваре Мадлен француз шофер лежал под грузовиком и что-то там исправлял. Подошел немецкий солдат, заглянул под машину и спросил по-немецки, в чем дело, назвав шофера «камарад». Француз поднялся и отвечал: «Pas camarade — envahisseur» («Оккупант — не товарищ»).

Фашистская газета «Франция за работой» сообщает, что полиция арестовала несколько молодых людей, ведших в нескольких округах Парижа пропаганду против антисемитизма.

### *20 октября.*

Сегодня воскресенье, чудесный солнечный день. Бабье лето.

Выхожу из метро на станции Марбэф. Елисейские поля полны народа. Я еще ни разу не видел в оккупированном Париже такой толпы гуляющих. Они двигаются непрерывным потоком от площади Согласия к Триумфальной арке. Все, задрав головы, смотрят на небо, показывают на что-то пальцами. Я смотрю тоже, но не вижу ничего, кроме белых хлопьев и длинных нитей, падающих с неба. Спрашиваю: в чем дело? Отвечают: кажется, английский самолет. Смеются. Проходят немецкие офицеры, удивленно поднимают голову. В небе — ни облачка. Никакого самолета не вижу. В одной группе оживленный спор: одни видели, что самолет начертил в небе «cou rage» («мужайтесь»), а другие прочитали «patience» («терпение»).

### *22 октября.*

Новая неожиданная встреча. Бакалов сказал мне, что со мной хочет познакомиться один «старый большевик», который работает где-то вместе с болгарскими эмигрантами. В кафе пришел коренастый, плечистый мужчина лет за пятьдесят. Густые торчащие усы. Держится развязно. Голос громкий, манеры заправского митингового оратора. Родом из Мотовилихи. Кто же он? Оказывается, ни более и ни менее как Мясников, бывший лидер «рабочей оппозиции». Как и когда он попал в Париж — не знаю. Никогда не слыхал здесь о нем. Не понимаю также, почему он захотел меня видеть. Для того, чтобы убедить меня, что «рабочая оппозиция» была права двадцать лет назад? Спрашивал меня, что я думаю о войне. Я сказал ему свои соображения, что, мол, рано или поздно советско-германская война неизбежна. Он выслушал, но своего мнения не сказал.

### *25 октября.*

Обедал у Гольдштейнов. Их приятель Анастаси, секретарь миланской Торговой палаты (Гольдштейны жили долгое время в Италии, где я с ними и познакомился в 1915 году), был у них в гостях. Говорит, что в Италии положение тяжелое. Нет железа, нефти, особенно нефтяных масел. Продовольствие есть. Безработица. Настроение плохое. Немцев ненавидят, но боятся. Буржуазия убеждена в конечной победе Гитлера. Муссолини заключает торговый договор с Петеном, будет поставлять рис, макароны и свинину в обмен на железный лом.

Доктор Залманов, русский врач (практиковавший еще перед первой мировой войной на немецких и итальянских курортах), рассказал Гольдштейну, что у него был с визитом его старый пациент, известный саарский промышленник Рехлинг, настроенный крайне пессимистиче-

ски: «Кое-как продержимся эту зиму. Но если война будет длиться еще год, не выдержим». Рехлинг принес ему два килограмма нормандского масла.

Клиент Гольдштейна, еврейский лавочник в Понтуаз, приезжавший в Париж за резиновыми сапогами, рассказал, что один из покупателей, немецкий солдат, предупреждал его: «Плохо будет евреям, если Англия не победит».

Сын моего старого товарища Женя С., талантливый французский инженер, директор фабрики каучуковых изделий, принадлежащей бывшему министру торговли Дотри, рассказал мне, что его родственница встретила случайно своего довоенного знакомого — «либерального» немца, прекрасно говорящего по-французски. С первых же слов он спросил: «Ну, что вы скажете обо всем этом свинстве? В хорошенькое положение мы попали! Куда он нас ведет?»

По его словам, в Норвегии немцы понесли большие потери. Армия устала, недовольство повсюду. Немец — военный врач — сообщил, что сорок тысяч евреев уже сидят в лагерях и, вероятно, будут уничтожены.

Эту цифру — сорок тысяч — я слышал и из других источников.

Два месяца назад немцы были уверены, что война кончится к рождеству. Да и не одни немцы. Маршал Петен был, говорят, убежден, что Англия капитулирует еще летом. Но война, по-видимому, затягивается, и начинают развязываться языки.

Сегодня газеты сообщают о новых арестах коммунистов.

*1 ноября.*

На всех предприятиях, принадлежащих евреям, появились желтые афиши согласно приказу оккупационных властей от 3 октября. В витринах некоторых магазинов рядом с желтой афишей выставлены фотографии хозяев или членов их семьи в военной форме, участников трех войн, которые Франция вела с Германией, и надписи вроде следующих:

«Мы — французы начиная с 17-го столетия. Наш дед был ранен во время франко-прусской войны 1871 г. ...Три члена нашей семьи были убиты на фронте в 1914—1918 годах... Наш отец был награжден военным крестом... Наш сын — в плену».

Я отправился на Блошиный рынок — знаменитую парижскую толкучку, где увидел следующую сцену: высокий бородатый еврей, худой, в потертом лапсердаке и потрепанной шляпе, стоит, переминаясь с ноги на ногу, перед рваным ковриком, на котором аккуратно разложены: поломанный будильник, два-три замка, ключи, заржавленная бритва, старая пепельница, подсвечник, фаянсовая пудреница. И рядом прижатая к земле двумя кирпичами большая желтая афиша: «Ю д и ш е г е ш е ф т». Еврей посмотрел на меня, грустно усмехнулся и развел руками.

Французы возмущаются, жалеют евреев. Слышны разговоры: «Евреи бывают разные, плохие и хорошие, как и католики. Большинство — честные коммерсанты... Нам нет дела до их религии...»

Инесса, польская еврейка, замужем за французским коммерсантом, вернувшаяся недавно в Париж, рассказывает, что население на юго-западе Франции хорошо принимало беженцев-евреев. Она записала речь, которой приветствовал их добродушный винодел, мэр деревни, где она прожила три месяца:

«Дамы и господа! Вы вынуждены были покинуть ваши, так сказать, очаги. Это грустно. Каждый человек любит свой домашний уют. Но что поделаешь? Война! Здесь у нас никто из вас не останется без крова. На особый комфорт, правда, не рассчитывайте. Но в домах есть проточная вода, а это уже хорошо. Относительно питания не беспокой-

тесь. Хватит на всех. Что еще сказать вам? Религия у нас здесь не играет роли. Для нас нет ни евреев, ни католиков. У немцев — другое дело. Но нас эти вещи не интересуют. Никто не будет досаждать вам из-за религии. Да, еще два слова. Я вас прошу избегать столкновений с немцами. Они — победители, и нам приходится молчать. Ничего не поделаешь...»

*2 ноября.*

Маршал Петен сообщил народу в речи, произнесенной по радио 30 октября, о своем решении «сотрудничать» с Германией. На прошлой неделе — 24 октября — он встретился с Гитлером на станции Монтуар. В газетах появилась после этого «трогательная» фотография: победитель пожимает руку побежденного. Все мои знакомые французы потрясены и возмущены, в том числе и те, кто оправдывал до сих пор политику вишийского правительства.

О каком «сотрудничестве» говорил маршал Петен? По-видимому, речь идет об участии Франции в войне против Англии.

*3 ноября.*

Сегодня французские фашисты разбили стекла в еврейском магазине на Севастопольском бульваре. Немецкие кинооператоры снимали сцену погрома. Собралась толпа человек в двести. Когда я подошел, шло оживленное обсуждение происшедшего. Многие громко возмущались. Молодые «франсисты» в синих рубашках явно не имели успеха. Я зашел в соседнее кафе и разговорился с гарсоном, бывшим свидетелем погрома. К моему удивлению, он рассказал мне ту же историю, которую я слышал от Жени С., добавив некоторые подробности: по слухам, немцы уже арестовали сорок тысяч евреев и будут сжигать их в особых печах.

*9 ноября.*

Переполох в парижских деловых кругах: немцы настаивают на «сотрудничестве» французских фирм с немецкими. Они понимают это сотрудничество таким образом: немецкий капитал будет контролировать экономику Франции, которая должна стать страной преимущественно аграрной, а французские капиталисты будут содействовать процветанию германской промышленности. Один из самых крупных парижских юрисконсультов, мэтр Адольф, специалист по составлению договоров и уставов промышленных товариществ, занят сейчас реорганизацией французских компаний и переговорами с представителями немецких концернов. Правление знаменитых металлургических заводов «Шнейдер—Крезо» было вынуждено уступить контрольный пакет акций в обмен на акции Германии «Геринг Верке». Компания «Эльзасский поташ» объединяется с Вестфальским концерном. От крупнейшей издательской фирмы «Ашет», которой принадлежит также монополия распространения газет, немцы требуют, чтобы она уступила три четверти своих акций в обмен на акции издательства «Дейче ферлаг», но председатель правления отказывается дать свое согласие. К французской компании, которой принадлежат медные рудники «Бор» в Югославии, немцы предъявили несколько иное требование: они желают «купить» эти рудники — самые крупные в Европе, — заплатив за них, разумеется, франками, которые получают от вишийского правительства якобы «на содержание оккупационной армии». Правление компании отказалось продать им свою концессию. Тогда немцы устранили директоров предприятия и назначили своих администраторов. В конце концов заместитель председателя Совета министров Пьер Лаваль заставил упрямых директоров продать все акции немцам.

Все это мне рассказали в издательстве Пайо. Издательство и его книжный магазин на бульваре Сен Жермен возобновили свою работу еще в сентябре, так же как и все остальные парижские издательства. Но немцы произвели в них основательную чистку. Пайо дал мне «список Отто» — перечень книг, изъятых из продажи Союзом издателей по соглашению с оккупационными властями. Он содержит около девятисот названий: все произведения писателей и ученых еврейского происхождения, большинство учебников истории, все книги антифашистского направления. Запрещены все романы Томаса Манна, все произведения Генриха Гейне, Поля Клоделя, Дюамеля, Зигмунда Фрейда, Арагона, Г. Уэллса, Барбюса... Роман Флобера «Госпожа Бовари» временно изъят из продажи впредь до выяснения степени его «безнравственности»!

Рукопись моего перевода «Анны Карениной» была сдана издательством Пайо в одну из провинциальных типографий за несколько дней до оккупации. Когда в город Мант (в шестидесяти километрах от Парижа) пришли немцы, они почему-то разбросали шрифт. У издателя сохранились корректуры первых ста двадцати страниц и копия перевода.

*11 ноября.*

Сегодня в пять часов дня мне нужно было встретиться по важному для меня делу с одним приятелем недалеко от площади Этуаль, на авеню де ля Гранд Арме. Я не сразу заметил, что на каждой станции метро в вагон входили группы людей — по большей части молодежи — с букетами цветов. Вскоре в переполненном вагоне стало шумно, все оживленно о чем-то разговаривали. Занятый своими мыслями, я не прислушивался к разговорам. На станции Этуаль поезд сразу опустел. Я проехал до следующей остановки, зашел в кафе, переговорил со своим знакомым и около шести часов отправился пешком по направлению к Триумфальной арке. Становилось уже темно. Дойдя до площади, я увидел такую картину: по тротуару двигалась густая толпа, большинство с цветами, несколько молодых людей, по-видимому, студентов, держали перед собой вертикально длинные хворостины и бамбуковые удилища; неподалеку, на авеню, звездой расходящихся от площади, стояли черные полицейские автокары, ажаны вежливо предлагали проходить, не задерживаясь. Вдруг со стороны Елисейских полей донеслись звуки Марсельезы, толпа остановилась, несколько групп с букетами отделились от гуляющих и помчались бегом через площадь к могиле Неизвестного Солдата под Триумфальной аркой. Полицейские перегородили тротуар, стали просить публику расходиться. Послышались негодующие возгласы: «Как вам не стыдно! Ведь вы — французы!» Тут только я вспомнил, что сегодня 11 ноября — годовщина перемирия 1918 года. Я попал на патриотическую манифестацию. Мимо меня проходят студенты, размахивая хворостинами и скандируя: «Ля голь, ля голь». Все ясно. По-французски «ля голь» (la gaule) означает «удилище». Студенты размахивали удилищами в честь генерала де Голля!

Я иду по направлению к Елисейским полям. Прохожу авеню Мак-Магон и авеню Ваграм. На углу останавливаюсь. В этот момент впереди раздается стрельба: несколько залпов или пулеметных очередей — не разобрал, навстречу со стороны Елисейских полей бегут манифестанты, за ними немецкие солдаты с ружьями наперевес; я прижимаюсь к стволу развесистого платана; солдаты хватают несколько человек и ведут их в сторону авеню Фридлянд. Один из них, мужчина лет пятидесяти, высокий, бледный, с безумными глазами, что-то кричит, жестикулируя; я узнаю его: он бывает каждый день «У двух китайских болванчиков». Другие солдаты пробегают мимо меня по направлению к станции метро, откуда раздаются истошные крики, женские вопли. Сумерки быстро

сгущаются. Я благословляю затемнение. Внезапно все стихло. Площадь опустела. Немцев не видно. Французские полицейские исчезли еще раньше, как только раздались первые выстрелы. Черные автокары, стоявшие за углом, двинулись с места. Я покинул свой платан. От соседнего дерева отделилась какая-то фигура и сказала мне: «Прелестно, не правда ли? Хорошо сотрудничество!», намекая на новую политику, провозглашенную на днях маршалом Петеном. Это был мужчина неопределенного возраста, в сером пальто, в шляпе. «Средний француз». Он вежливо поклонился, пожелал мне всех благ и направился по авеню Ош в сторону парка Монсо. Я пошел на станцию метро.

Через полчаса я был уже в ресторане «У маленького св. Бенедикта». Туда же прикатил на велосипеде знакомый наборщик. Он находился на углу Елисейских полей и площади Этуаль в тот момент, когда туда прибыла немецкая воинская часть.

— На Елисейских полях и вокруг площади,— рассказал он,— было темно от народа. Когда подъехали немецкие машины с солдатами, из толпы раздался свист. Потом Марсельеза. Солдаты стали прыгать на землю и строить. Я понял, что дело дрянь, сел на велосипед и бросился наутек, вниз по Елисейским полям. Я уже был далеко, когда сзади послышалась пулеметная стрельба.

Я пишу это ночью. На улице резкий ветер. Свищовое небо. Тусклая луна. Стоит неумолкаемый гул — над городом кружат немецкие самолеты.

### *12 ноября.*

По слухам, во время манифестации 11 ноября на площади Этуаль несколько человек были убиты или тяжело ранены. Проверить это мне не удалось. Сто сорок студентов арестованы. Университет закрыт.

(По сведениям, опубликованным после войны, 11 ноября убитых не было. Несколько человек были ранены в ноги. Университет был снова открыт в середине декабря.)

### *14 ноября.*

Газеты сообщили о свидании Молотова с Гитлером. Советский министр иностранных дел прибыл в Берлин 12 ноября, имел два продолжительных разговора с фюрером 12 и 13 ноября и отбыл в Москву 14-го утром. Вместо трех дней, как предполагалось, Молотов пробыл в Берлине всего два дня. Означает ли это, что между ним и Гитлером возникли какие-то трения, разногласия? Один американский корреспондент сказал мне, что недавно в нью-йоркском «Таймс» была напечатана корреспонденция Джедди (Geddye) из Стамбула. Джедди думает, что конфликт между Германией и СССР неизбежен, не верит в их союз. Я был знаком с Джедди в Праге в 1938 году во время «чехословацкого кризиса». Он произвел тогда на меня впечатление серьезного и хорошо осведомленного журналиста.

### *15 ноября.*

Мне позвонил пресс-атташе югославского посольства Мато В., веселый и расторопный далматинец. Он приехал на несколько дней из Виши, где теперь находится весь дипломатический корпус. Мы встретились в кафе «Наполитен» на Итальянском бульваре. До оккупации оно славилось своим мороженым и хорошим кофе, теперь в нем можно получить только эрзацы. Туда же пришел Шарль Ребер, с которым я когда-то работал в «Котидьен». Он швейцарец, родом из Женевы, называл себя учеником Романа Роллана. Отличался крайней «левизной» и бурным темпераментом, совершенно не гармонизовавшим с его чрезвычайно мирной наружностью. Это был полный, розовый молодой человек с жел-

тыми волосами и белыми ресницами, почти альбинос, похожий на приказчика из галантерейного магазина. В 1934 году был напечатан в «Попюлер» недурной его репортаж, разоблачавший участие Муссолини и Хорти в организации убийства югославского короля Александра и министра иностранных дел Франции Барту. Я тоже опубликовал тогда несколько статей на эту тему в «Котидьен». Отсюда наше знакомство с Мато В. Перед войной Шарль Ребер работал в редакции коммунистической вечерней газеты «Се суар».

Ребер не изменился, только еще более пополнел. Но этот бывший интернационалист, пацифист и антифашист сотрудничает теперь в «Эвр» Марселя Деа и считает это, по-видимому, совершенно нормальным. С места в карьер он спросил меня: «Работа у вас есть? Нет? Поступайте к нам, у нас нет специалиста по международной политике. Вас примут немедленно».

Он даже не поинтересовался, как я отношусь к сегодняшней «международной политике», считая, по-видимому, что профессиональный журналист может работать в любой газете, оставляя свои мнения при себе. Я отклонил лестное предложение, сказав, что скоро уезжаю на юг. Из дальнейших разговоров выяснилось, что, по мнению Ребера, Англия капитулирует до конца года и что теперь самый благоприятный момент для Франции, которая может занять второе место после Германии в Европе, отгеснив Италию. Благодаря своему стратегическому положению она может оказать Германии неоценимую помощь: нужно лишь начать военные действия против английских колоний в Африке и решиться на сотрудничество французского флота с немецким. В Виши этого не понимают.

Очевидно, Ребер изложил мне точку зрения Марселя Деа, который, по словам Мато, близок к Пьеру Лавалю. Ребер сказал мне еще, что в США «развивается политический кризис», в результате которого Рузвельт будет якобы вынужден пересмотреть свою внешнюю политику и пойти на сближение с Германией. «Американский посол в Лондоне Кеннеди<sup>1</sup>, — сказал он мне, — уже метит на пост государственного секретаря вместо Кордела Холла». У Кеннеди, по словам Ребера, репутация противника вмешательства США в войну, сторонника политических уступок Гитлеру. Хотя я не хотел вступать в спор и больше слушал, чем говорил, я не мог все же не заметить, что американцы только что проголосовали (5 ноября) громадным большинством не только за внутреннюю, но и за внешнюю политику Рузвельта и что, по всем данным, президент будет активнее, чем до сих пор, помогать Англии.

Мато В. сказал мне, что о результатах встречи Петена с Гитлером ходят разные слухи, но точных сведений у него нет. Пейрутон (министр внутренних дел) сказал журналистам, что в Средиземном море все остается без перемен. Это можно было понять в том смысле, что французский флот не выступит против Англии и вместе с тем что Франция сохранит свое положение в Средиземном море после победы над Англией. Но Пейрутон позвонил в последнюю минуту редактору «Пари суар», чтобы он не печатал этой информации. В дипломатических кругах Виши говорят, что Лаваль настаивает на объявлении войны Англии. Маршал Петен, Пейрутон и еще два министра — против.

Я сказал Мато, что хотел бы пробраться в Югославию, куда меня зовет мой друг Федор Евдокимович Махин. Мато обещал устроить мне визу, но как проехать через Италию?

Ф. Е. Махин основал несколько лет тому назад в Белграде русскую библиотеку, которая получает все советские издания, и «Общество для

<sup>1</sup> Американский дипломат, отец покойного президента Джона Кеннеди.

изучения советской культуры». Он издает журнал, знакомящий югославов с советской литературой. Работа Махина и группы его сотрудников сыграла немалую роль в подготовке югославского общественного мнения к восстановлению традиционных связей с Россией. Припоминаю в связи с этим следующий эпизод.

В 1937 году французский министр иностранных дел (в кабинете Народного фронта) Ивон Дельбос посетил столицы Малой Антанты — Прагу, Белград и Бухарест. Его сопровождала группа французских журналистов. В те дни главной темой всех международных переговоров был вопрос о мерах «коллективной безопасности» в связи с нараставшей опасностью войны. Когда журналисты спросили французского министра, не советовал ли он югославам установить дипломатические отношения с Москвой, он ответил приблизительно следующее: «Я был вынужден отказаться от этой мысли. Югославы объяснили мне, что, если в Белграде появится русское посольство, мы можем складывать чемоданы: старое чувство привязанности к России, живущее в народе, вспыхнет с новой силой и вытеснит все другие симпатии. Меня спросили, хотим ли мы, чтобы советское влияние вытеснило французское в культурной и политической жизни страны? Я мог ответить только отрицательно...»

Эти слова министра, насколько я помню, нигде тогда не были напечатаны. О разговоре с ним мне рассказали в Праге французские коллеги. Махин, с которым я виделся летом 1938 года, сказал мне, что Дельбосу довольно точно было изображено действительное положение в Югославии.

Когда Гитлер напал на Югославию в мае 1941 года, Ф. Е. Махин ушел в горы к партизанам и до конца войны находился в штабе армии Тито в чине генерала. Он тяжело заболел вскоре после окончания войны и умер в Белграде. Правительство устроило ему государственные похороны.

*16 ноября.*

Снова разговаривал с Мустафой Чокаевым в кафе на Бульварах. Он слушает турецкое радио, встречается, по-видимому, с какими-то «осведомленными» людьми. По его словам, немецкие власти «весьма предупредительны» по отношению к эмигрантам из Туркестанского края (он придерживается старой терминологии) и недавно дали стипендии тридцати туркестанским студентам в Берлине. С грузинами гитлеровцы тоже чрезвычайно любезны. Все члены грузинской «делегации» — в Париже.

Сюда приезжал недавно из Берлина лидер украинских националистов Севрюк. Левицкий, другой видный украинский сепаратист, — в Варшаве, Смаль-Стоцкий — в Праге. Все встречаются с немцами.

*29 ноября.*

Газеты сообщают о новых арестах в Латинском квартале. Арестованы студентка Сорбонны Жизель Вальпен, студент Академии художеств Жан Коммер, студент медицинского факультета Жан Розинер и другие, всего девятнадцать студентов. Они обвиняются в распространении коммунистических листовок. У одного из них найдена при обыске «портативная типография» (вероятно, «ронео»). «Эвр» сообщает имена адвокатов, которые будут защищать арестованных.

Сегодня я обедал вместе с Левой Чертоком у Гольдштейнов. Их предприятие, под «арийским» управлением моего родственника, снова приносит кое-какой доход. У Гольдштейна — связи с черным рынком и с итальянскими коммерсантами, благодаря чему у них всегда бывает к обеду макароны или ризотто с сыром.

Возвращаясь домой пешком по затемненным улицам, мы наткнулись на загадочную сцену. На углу улицы Алезия и авеню дю Мэн, около известного пивного ресторана, стояла большая черная машина, в темноте толпились какие-то неясные фигуры. Одна из них осветила карманным фонарем тротуар перед нами, и мы увидели большую лужу крови. Машина отъехала. Мы зашли в ресторан. Гарсон рассказал, что за одним из столов обедали четыре немца — офицеры или сержанты. Вошел какой-то немец в штатском и потребовал у них документы. Произошло бурное объяснение. Один из военных вышел вместе со штатским на улицу. Раздался выстрел. Немцы вскочили и ушли, не расплачившись. Хозяин ресторана, гарсоны, клиенты-французы застыли на своих местах. Кто кого застрелил — не знают. «Не наше дело».

«Хорошо, что они друг друга начали подстреливать», — заключил пожилой официант.

*30 ноября.*

Сегодня я случайно завтракал не «У маленького св. Бенедикта», а в ресторане около театра Одеон. За соседним столиком два незнакомых молодых француза вели откровенную беседу, несколько не стесняясь присутствием постороннего человека. По-моему, разговор этот типичен для сегодняшних настроений значительной части французской «средней» интеллигенции. Один из двух друзей, по-видимому адвокат, черно-волосый красавец лет тридцати, был заметно взволнован. В его словах звучали горечь и сдержанное бешенство. Другой, блондин с тонкими чертами лица, с ироническим, чисто парижским складом ума, слегка подсмеивался над своим приятелем, хотя, в общем, был с ним согласен. Записываю по памяти.

**Первый.** Это невыносимо! Мы не можем терпеть, чтобы иностранцы диктовали у нас свои законы. Немецкая полиция арестовывает французских ученых, смешивается в университетское преподавание, запрещает книги французских авторов!

**Второй.** Конечно, в старину завоеватели не интересовались литературой и наукой, они просто вырезали мужчин, насиловали женщин, грабили, уводили в рабство. Это было по крайней мере красочно, живописно, и Делакруа мог писать «Хиосскую резню». А теперь какую картину напишешь? Розенберг в палате депутатов? Или Гитлер у Триумфальной арки?

**Первый.** Погоди, не шути. Я спрашиваю, чем все это кончится? Пожалуй, все же Гитлер обладает каким-то необыкновенным магнетизмом. Ведь как-никак он околдовал сорок миллионов немцев...

**Второй.** При чем тут магнетизм? Просто он нашел для них приятное занятие. Самое худшее из зол — скука. Десять или двадцать миллионов немцев скучали без работы. Гитлер предложил им ряд занимательных путешествий — в Норвегию, в Польшу, в Бельгию, во Францию... Ты скажешь мне, что лучше иметь десять миллионов безработных, чем двадцать миллионов идиотов в мундирах... Я с тобой согласен, но немцы, очевидно, смотря на это иначе.

**Первый.** Гитлер не разрешил ни одной проблемы. Он ликвидировал безработицу благодаря военным заказам и мобилизации. А что будет после войны?

**Второй.** Нет, говоря серьезно, в немецкой хозяйственной системе есть, по всей вероятности, что-то положительное. Либеральная экономика явно больна. В США девятнадцать миллионов безработных. В Англии безработица была до войны хронической, образовался целый класс профессиональных безработных. Может быть, и нам надо кое-что заимствовать у немцев.



**Первый.** Беда в том, что, когда Германия хотела жить с нами в мире, во время Веймарской республики, мы оккупировали Рурскую область. А когда у немцев появилось желание воевать, мы стали пацифистами.

**Второй.** Это верно. Чемберлен хотя и старый консерватор, но по существу он — мягкотелый либерал. В Мюнхене он уверовал в миролюбие Гитлера. Когда немцы заняли Прагу, он был потрясен, оскорблен в своих лучших чувствах, честное слово!

**Первый.** Я тебе сказал, что Гитлер обладает необыкновенной силой внушения. Если бы мне пришлось встретиться с ним лицом к лицу, возможно, что и я был бы околдован.

**Второй.** А вообще говоря, я должен признаться, что все эти проблемы, государственные системы, фашизм, национальная революция маршала Петена, Новая Европа господина Деа меня мало интересуют. Какой политический строй нам нужен? Нам нужен непритязательный, милый и уютный режим, в котором все партии, все политики оставили бы нас в покое и никто не морочил бы нам голову...

**Первый.** Жалкий эгоист!..

*5 декабря.*

Арестованы и отправлены в концентрационный лагерь все британские граждане старше десяти лет.

*7 декабря.*

Файф-о-клок у правнука Карла Маркса на одной из самых тихих улиц квартала Сен Жермен, недалеко от Школы изящных искусств. В двух шагах — дом, построенный в XVI веке, в котором жил Расин. Теперь там мастерская Натальи Гончаровой и Миши Ларионова. Рядом — особняк, принадлежавший в XVIII веке знаменитой трагедийной актрисе Адриенне Лекуврер, с которой дружил Вольтер. Немного дальше находилась в 1825—1827 годах типография Бальзака, а позднее мастерская Делакура. Весь этот квартал насыщен историей: он вырос около укрепленного аббатства Сен Жермен, основанного в VI веке и разрушенного во время Великой французской революции. От аббатства осталась только церковь Сен Жермен де Прэ, XII века.

В небольшой полутемной гостиной с высоким потолком, обставленной старинной мебелью, несколько парижан, старых и молодых, французов и иностранцев, беседовали о прошлом и настоящем столицы. «Последний парижский салон, где сохранилось искусство разговора», — сострил один из гостей.

Наш хозяин — скульптор Карл Лонге, молодой человек лет двадцати восьми, высокий, худой, с черной бородой, с задумчивым взглядом. Его жена — доктор прав, адвокат при парижской судебной палате. Гости — дядя скульптора, Марсель Лонге, внук Маркса; д-р Т., уступивший не так давно свой медицинский кабинет более молодому врачу и занявшийся изучением документов по истории Парижской коммуны; неизвестный мне бородатый анархист, седой, с румяным лицом, кажется корректор; его жена, работающая в отделе рукописей Национальной библиотеки; кореец Си, работающий в китайском посольстве; молодая художница Соня Штейнсапфир; молодой польский эмигрант и менее молодой русский.

Доктор Т., постоянный клиент ресторана «У маленького св. Бенедикта», работает над биографией Жюль Валлеса, которого он считает одним из самых больших французских писателей. «Он обладал секретом французской прозы», — говорит он.

Доктор Т. рассказал несколько эпизодов из жизни Парижской ком-

муны. Его особенно интересует роль («до сих пор не выясненная») Дмитриевой, приехавшей в Париж с письмом от Маркса. Разговор зашел о патриотизме парижского пролетариата.

— Буржуазные историки,— сказал д-р Т.,— обычно скрывают, что Коммуна возникла как результат патриотического порыва парижских рабочих. Когда разъезды пруссаков вступили в Париж и появились на авеню де ля Гранд Арме, рабочие захватили пушки, стоявшие на Елисейских полях, и увезли их на высоты квартала Бельвиль, чтобы не отдавать их врагу. Пруссаки не пошли дальше Елисейских полей, так как к тому времени перемирие было утверждено палатой депутатов в Бордо. Оккупация Парижа продолжалась всего несколько часов. Рабочие доказали тогда — не в первый раз,— что по-настоящему патриотичен лишь народ, но его патриотизм революционен. Парижский пролетариат восстал против правительств капитулянтов...

— В этой войне национальное чувство ему, по-видимому, изменило,— заметил поляк.

— Это не совсем так. История не повторяется. При современной военной технике о восстании не может быть речи. Но я убежден во всяком случае, что население парижских предместий равно несправедливости предателей и оккупантов...

Д-р Т. возмущен министром внутренних дел петеновского правительства Пейрутоном.

— Вы, может быть, не знаете,— сказал он,— что Марсель Пейрутон — сын деятеля Парижской коммуны, после поражения Коммуны жившего в эмиграции.

— Он имел репутацию порядочного человека, республиканца. И что же? Сын коммунара — в правительстве современных версальцев, преследует коммунистов, сотрудничает с немцами!

Разговор перешел на вчерашнюю речь Розенберга в палате депутатов. Теоретик немецкого расизма провозгласил с трибуны французского парламента «конец эпохи 1789 года».

Один из гостей процитировал:

— «Победа крови над золотом, победа национал-социалистской идеологии над идеологией французской революции, над либерализмом, марксизмом и коммунизмом, победа арийской расы над «жидомасонством» открывает новую эпоху и, подобно победе христианства над язычеством, определит на тысячелетия историю человечества».

— Кто этот Розенберг? — спросила юная художница.

— Рижский немец, бывший русский подданный, заимствовавший у француза Гобино теорию неравенства рас.

— И дополнивший ее «Протоколами сионских мудрецов» — продуктом полицейской фантазии царской охранки...

— Во всяком случае речь Розенберга полезна в одном отношении: она окончательно откроет глаза тем, кто воображал одно время, что французским рабочим по пути с завоевателями Европы!..

*(Окончание следует)*



АНХЕЛА ФИГЕРА  
★  
СТИХОТВОРЕНИЯ

*С испанского*

**БАЛЛАДА ОБ УКРАДЕННОМ ХЛЕБЕ**

Усталый брат, что серп в руке сжимает,  
Усталый брат у гулких жерновов,  
Усталый брат с лицом побагровевшим  
В пылу печей, усталый брат, ответь,  
Где хлеб, что родила твоя усталость?  
Где хлеб, раз нет его в руках моих?  
Хлеб, что тобою был взращен для всех?  
Равно как ты растишь его на поле,  
Я потом, кровью за него плачу,  
Себе ломая кости и суставы.  
Так почему же в доме нет его?  
Ужели так невероятно долог  
Весь путь его от колоса до рта?  
Нет хлеба у детей. Куда же делся  
Тот хлеб, который праведно растили  
И за который заплатили честно?

Услышь меня, усталый брат из шахты,  
Усталый брат из цеха и со стройки,  
Усталый брат в оливковых долинах,  
Усталый брат мой с рыболовной сетью,  
Тот хлеб, что выпекают наши печи,  
Мы замесили для тебя, поверь!

Но долог путь от колоса до рта,  
И сколько хитрецов на нем таятся!  
Кровавая и злая пасть гиены  
И когти коршуна, нацеленные метко,  
Стервятник с широко разверстым клювом  
И тысячи отточенных зубов.

---

Анхела Фигера (р. 1902) — современная испанская поэтесса, автор нескольких книг стихов: «Женщина из глины» (1948, Мадрид), «Чистая Сория» (1949), «Побежденная ангелом» (1950), «Концы жизни» (1951), «Беспольный крик» (1952), «Жестокая красота» (1958). За последнюю книгу стихов получила премию испанских интеллигентов в Мексике («Новая Испания»).

Усталый брат! Приблизимся друг к другу,  
 Сплетем тесней усталые ладони,  
 Плечо к плечу, дыхание к дыханию  
 И сердце к сердцу мы прижать должны.

Пусть в труде единым станет тело,  
 Одно стремление и порыв один,  
 И пот один на всех усталых лицах,  
 И песнь одна на всех губах усталых.

Усталый брат! Приблизимся друг к другу,  
 Чтоб между нами щели не осталось  
 Для самого тончайшего жога.  
 Никто не сможет узел рук порвать  
 И заковать их в кандалы не сможет,  
 Нас не коснется злобный волчий клык  
 И молния рассечь нас не сумеет!

Тогда и хлеб из пламенных печей,  
 Тот хлеб, который праведно растили  
 И за который заплатили честно,  
 Он станет наконец моим, твоим,  
 Неоспоримым, истинным, насущным.

## ДОМ

Вышел я строить дом  
 из твоего чистого дерева.

*Пабло Неруда.*

Нет! Я не замышлял дурного.  
 Я дом хотел себе построить.

Из непорочной и пахучей  
 Сосновой жесткой древесины,  
 Из целомудренных каштанов,  
 Из крепкого тугого дуба,  
 Что так надежно подпирает  
 Мою Испанию. Я жаждал  
 Всего лишь дом себе построить  
 На родине отцов и дедов.

Просторный, с четырьмя углами,  
 Бесхитростный и простодушный,  
 Весь белой известью омытый,  
 Как материнским молоком,  
 С веселой красной черепичной крышей,  
 С приветливым навесом, что пригоден  
 Для птичьих гнезд и смутных сновидений;

И стены,  
 Просто стены и не боле,  
 Чтобы дать душе побыть наедине

С самой собою, чтоб горящий взгляд  
 Укрыть от жуткой темени ночей  
 И от позора дней, бесстыдно ярких.  
 Лишь дом. Лишь панцирь из досок и камня.

Дом для живительной прохлады;  
 И гвоздь в покорном ожиданье,  
 Чтоб на него я мог повесить  
 Одежду и свою усталость.

Приют без посторонних взоров,  
 Чтоб мог я спрятать слезы эти,  
 Пролитые на склоне дня.  
 И ложе, жаркое, простое,  
 Для сна, любви, деторожденья,  
 Для темного мгновенья смерти,  
 Мне одному принадлежащей.

Лишь этого хотел. Я вышел,  
 Чтоб дом простой себе построить,  
 Когда настал рассвет и небо  
 Приветливо заголубело.  
 Но все кричали:

— Прочь, собака!

Ни воздух, ни река, ни камни —  
 Все это не твое! Ступай!..

Я вышел дом себе построить.  
 И вот я перед вами, дети,  
 Вот я стою, нагой, побитый,  
 С нелепым легковерным сердцем,  
 Дождем пронизанным насквозь.

## РОЖДАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК

Прошу мира и слова.

*Блас де Отеро.*

Приготовь колыбель из душистой и сочной коры.  
 Белый флаг водрузи над ее изголовьем.

Я родиться готов. Но пока я еще не дышу —  
 Тише, люди! — я мира и слова прошу.

Тише, люди! Прошу хоть немного земли,  
 Не омытой слезами и кровью земли,  
 Не поруганной прахом и гнилью земли,  
 Чтобы зерна в нее погрузиться могли  
 Из моих распростертых ладоней.

Тише, люди! Я мира и слова прошу.  
 Безмятежного воздуха. Нежного неба...  
 Лучезарного моря и карты без всяких границ.  
 Я прошу, чтоб целебный цемент раскаленного пота

Затянул, не опалив ваших легких ресниц,  
Все рубцы, что нанес вам намеренно кто-то.

Тише, люди! Я мира и слова прошу.  
Я братьев своих призываю,  
Всех, кто женщиной был в этом мире рожден,  
Чтоб слышали и поспешили.  
Пусть они пробудятся, как солнце взойдет,  
И к ручью поскорей устремятся.  
Пусть почище умоют ладони и рот,  
Пусть их ногти навек от червей и чернот  
Этой влагой живой исцелятся.  
И пускай запыленные вынут сердца,  
Чтобы воздух их щедро овеял.  
Пусть нечистая алчность оставит их взор до конца  
И покинут их волосы змеи.

А потом пусть придут, чтоб родиться со мной,  
Чтоб исполнить по-новому жребий земной.  
Я родиться готов. Но пока я еще не дышу,  
Отдаю вам надежду и мира прошу.

## МЕРТВЫЙ

Подошла к нему. Взглянула. Он теперь подобен камню.  
Он подобен глыбе льда, вдруг утратившей сиянье  
и плывущий в никуда.

Подошла к нему. Сказала:  
— О, помедли хоть немного!  
Подожди! В проеме окон день счастливый ожидает  
наступленья своего.  
Подожди! В улыбке детской капля молока трепещет.

Подожди! Остались сотни удивительных историй,  
Не рассказанных друг другу  
Здесь, под кронами деревьев,  
В лабиринтах переулков  
И в тени домов, готовой дать пристанище бродяге.

Подожди! Свои ладони, пальцы, кисти и предплечья  
Я сейчас сплету с твоими неподвижными руками, так  
нелепо налитыми затуманившейся кровью.  
Стой! Люблю тебя! Помедли! Я стихи тебе читаю!  
Стой! Я в лоб тебя целую! Я тебя целую в губы!  
Да, целую! Да, целую! Ибо я люблю тебя.  
Ибо я с тобой и верю, что еще осталось время,  
Чтобы губ твоих изгибы приняли в себя дыханье  
раскаленное мое,  
Даже если их сковало тягостное нежеланье.

О, постой! Не опускайся в расступившуюся землю.  
О, постой! Не превращайся в прах, питающий траву.  
Пред твоим прекрасным ликом я, живая, утверждаю,  
Что на свете есть цветы (ты ведь их припоминаешь?);

Звонкий дрозд и дуновенье легкого морского ветра.  
Есть еще ручьев журчанье. И пленительное солнце,  
Что еще горит, быть может, в глубине твоих далеких,  
от меня ушедших глаз,  
Так безжалостно размытых злой и ненасытной влагой.  
Есть еще (ты это помнишь, ты не мог забыть так быстро!)  
Сотни девушек красивых, от которых бьется сердце  
В дни, когда весна распушит волосы свои густые.  
Не перечь мне! Я владею сказочным волшебным словом!  
Я люблю тебя! Ты слышишь? Подожди! Не смей! Останься!

Тщетно. Он лежит спокойный,  
Молчаливый, равнодушный, черствый...  
О, упрямо мертвый...

### ТОПОЛЬ

О тополь! Я склоняюсь пред тобою  
И прижимаюсь к гладкому стволу.  
Я буду здесь, покуда не привьется  
Вся плоть моя, лишенная корней,  
К твоей живой и молчаливой плоти,  
В которой лишь сердцебиенья нет.  
Вбирай в свои извилистые вены  
Пылающую, горестную кровь.  
Пускай она прольется по стволу  
И спустится к упругим корневищам.  
Когда настанет новая весна,  
Я прорасту в твоих душистых листьях,  
И если ветер шевельнет тебя,  
Он ощутит и мой счастливый трепет.

*Перевела Т. Макарова.*



# ПУБЛИЦИСТИКА

А. ТУЧИНА, Б. ЯКОВЛЕВ

★

## ЛЕНИН В ПЕРВЫЙ ГОД ОКТЯБРЯ

*(По страницам большевистских газет 1918 года)*

**О** жизни, деятельности и мировоззрении Ленина нам рассказывают источники, далеко не равноценные по точности и полноте. Это прежде всего документы ленинского литературного наследия — рукописи или их машинописные копии и прижизненные первопечатные тексты. Это стенограммы ленинских речей, не всегда, впрочем, исправленные Владимиром Ильичем, а порой даже вызывавшие своим несовершенством его протест. Это, наконец, воспоминания современников.

Есть, однако, еще один источник. Незаслуженно забытый, но интересный и содержательный. Мы имеем в виду газетные отчеты о послеоктябрьских выступлениях Ленина в Петрограде и Москве. Они воспроизводят детали и штрихи, незаметно ускользающие из памяти мемуаристов. Недаром Ленин предпочитал «толковый, краткий отчет о речи» ее несовершенной, неполной стенографической записи.

Одобрившийся Владимиром Ильичем «отчет о речи для печати» не только воссоздает, пусть даже в самой краткой форме, ее никем более не записанное содержание. Он запечатлевает реальную обстановку события и возрождает неповторимую атмосферу эпохи. Он переносит нас ко времени и месту ленинских выступлений. Мы как бы ощущаем силу и действенность ленинского слова, связь оратора с аудиторией.

Большей частью безымянные, отчеты эти составлены партийными журналистами через несколько часов, а то и минут после выступлений Владимира Ильича на съездах, конференциях, митингах, демонстрациях, собраниях в народных домах и рабочих клубах.

Возьмем для примера один лишь восемнадцатый год. Только после переезда Советского правительства из Петрограда в Москву, между 12 марта и 31 декабря 1918 года, Ленин, по еще неполным, быть может, данным, около ста раз выступает на различных собраниях трудящихся столицы и всероссийских съездах. Почти все эти выступления так или иначе отражены в печати. Им посвящены репортажи и очерки «Правды», «Известий», «Экономической жизни», «Бедноты», «Вечерних известий Московского Совета», а порой и провинциальных изданий.

Газетные отчеты о ленинских речах взаимно дополняют друг друга. В Сочинениях Ленина публикуется, как правило, лишь один — наиболее полный. Это вполне закономерно. Однако при этом нередко остаются в стороне ленинские высказывания, которые по уровню политической мысли никак нельзя отнести на счет того или иного корреспондента. Более того, в газетах (и только газетах!) опубликовано немало важнейших ленинских высказываний, которые не вошли ни в соответствующие тома Сочинений В. И. Ленина, ни в тематические сборники его работ.

Газетные отчеты о речах и докладах Ленина на митингах и демонстрациях сообщают не только о том, что именно и где говорил Ленин. Они уточняют и немаловажные



для историков и художников данные о том, перед кем произносились ленинские речи, при каких обстоятельствах, в какой обстановке, сколько людей их слышало...

Начнем с опубликованного 16 января 1918 года в «Правде» отчета, озаглавленного «Посещение Председателя Совета Народных Комиссаров дипломатическим корпусом».

В те дни, несмотря на ленинский декрет о мире, принятый Вторым Всероссийским съездом Советов, и мирные переговоры в Брест-Литовске, начались первые схватки с интервентами. К Владивостоку уже подошел японский крейсер «Ивами», а румынские реакционеры попытались обезоружить дивизию русских войск и арестовали членов солдатского комитета одного из ее полков. В ответ Советское правительство предъявило тогдашним правителям Румынии ультиматум и в качестве ответной репрессии арестовало румынского посланника в Петрограде.

В связи с этим 14 января, как отмечается в отредактированном Лениным официальном отчете,

— в 4 часа 16 минут пополудни, в Смольный, к Председателю Совета Народных Комиссаров... явились все пребывающие в Петрограде представители дипломатического корпуса...

Ленин заявил, что румынский посол Диаманди был арестован в силу чрезвычайных обстоятельств, никакими дипломатическими трактатами и никакими дипломатическими обрядностями не предусмотренных... Ленин не согласен, что репрессии в отношении представителя страны, формально нам войны не объявившей и в то же время окружившей нашу целую дивизию, морящей ее голодом, обезоруживающей ее, арестовывающей ее выборных лиц, являются, вообще говоря, недопустимыми... Для социалиста жизнь тысяч солдат дороже спокойствия одного дипломата...

С очень горячей речью выступает сербский посланник Сполайкович, подчеркивающий, что Сербия, бывшая после совершенного на нее возмутительного покушения в положении отчаянном, тем не менее австрийского посла не арестовала, и взывающий во имя чести России и Революции к Совету Комиссаров с просьбой об освобождении румынского посланника. Тов. Ленин... говорит, что он вполне разделяет возмущение Сполайковича агрессивными и империалистическими действиями Австрии и Германии, но в то же время никакими репрессиями в отношении дипломатических представителей война избегнута быть не могла, теперь же народы, войны не желающие, сумеют всеми мерами войну предупредить.

В заключение, говорится в отчете,

— Тов. Ленин заявляет, что он... сегодня доложит Совету Народных Комиссаров в интересах скорейшего разрешения вопроса. На этом заканчивается беседа с представителями дипломатического корпуса.

В том же номере «Правды» сообщается, что вечером 14 января, когда Ленин ехал с митинга, его обстреляли контрреволюционные негодяи. «Господа контрреволюционеры снова открыли огонь по революции»,— писала «Правда». Одним из эпизодов этой битвы стала и встреча Ленина с послами империалистических держав.

Это было в середине января. Месяц спустя нарушили перемирие и перешли в наступление германские империалисты. К 2 марта немецкие войска захватили Минск и Ровно, Оршу и Режицу, Юрьев и Псков, Ревель и Гомель, Нарву и Киев.

Вскоре после состоявшегося 6—8 марта Седьмого съезда партии, утвердившего Брестский мир, Советское правительство переезжает в Москву. Изо дня в день газеты сообщают о выступлениях Ленина перед москвичами. Определим, хотя бы приблизительно и неполно, масштабы ленинской аудитории тех дней. 9 апреля «Правда» под рубрикой «Московская хроника» печатает заметку «Митинг протеста»:

— 7 апреля в Алексеевском манеже происходил митинг протеста против расстрелов меньшевиками рабочих на Кавказе. Присутствовало несколько тысяч человек. С большой красочной речью выступил тов. Ленин...

В 36-м томе Полного собрания сочинений эта ленинская речь публикуется по газетному отчету «Известий Саратовского Совета». Как отмечает «Правда», вслед за Лениным выступили Подвойский и Крыленко. К ним присоединились «рабочие и работницы из публики». Вместе со всеми Ленин голосовал и за единодушно принятую резолюцию. Вот ее первый пункт:

— Мы, рабочие, собравшиеся в количестве восьми тысяч человек в Алексеевском манеже, клеймим преступную предательскую тактику меньшевиков и правых эсеров, которые зверски расправляются с кавказскими рабочими и крестьянами...

«В количестве восьми тысяч...» Восемь тысяч москвичей присутствовали на митинге. А ведь в то время не существовало никаких радиотрансляционных устройств, усиливающих слово оратора. Какая же сосредоточенная тишина царил в Алексеевском манеже, чтобы восемь тысяч пришедших туда рабочих и работниц слышали ленинскую речь!<sup>1</sup>

Но аудитория того времени отнюдь не была политически однородной. 23 апреля Ленин выступает, отмечает «Правда», «с приветствием по поводу открытия первого заседания Московского Совета в новом его составе».

Из кого же состоял тогда Московский Совет?

В него, сообщают газеты, входило 803 депутата от 394 предприятий. 354 из них были большевиками. 150 — сочувствующими им. 82 примыкали к меньшевикам, «объединенцам» и «независимым социал-демократам». 51 — к левым эсерам. 66 — к эсерам центра и правым. 5 — к анархистам и т. д.

— Результаты выборов, — подытоживает «Правда», — показали, что последние проведены с блестящей победой для революционного пролетариата.

И все же более двадцати процентов депутатов Моссовета составляли тогда представители не большевистских политических партий! И Владимир Ильич, учитывая состав аудитории, призывает «с беспощадной ясностью взглянуть прямо в глаза грозной истине». Он бичует элементы, враждебные революции, всех тех, «кто поддерживает врагов народа... кто волочится за буржуазией». Обращаясь к тем, кем «в минуты тяжелых переживаний нашей революции овладевает отчаяние, упадок духа и энергии», он предупреждает:

— Мы будем беспощадны как к нашим врагам, так и по отношению ко всем колеблющимся и вредным элементам из нашей собственной среды, которые осмелятся внести дезорганизацию в нашу тяжелую творческую работу по строительству новой жизни трудового народа.

Не абстрактным политическим противникам большевиков адресованы суровые ленинские слова, а сидящим здесь, в Большой аудитории Политехнического музея, меньшевистским, эсеровским, анархистским депутатам. Но так мочуча сила ленинской логики, что против ее положений не выступил ни один депутат.

— После речи тов. Ленина собранием был исполнен «Интернационал», — пишет «Правда». — Вносится предложение отпечатать речь тов. Ленина для рас-

<sup>1</sup> О том, как это происходило, вспоминает бывший секретарь Благущо-Лефортовского райкома партии Шаймардан Ибрагимов: «Желающих увидеть и послушать Ильича было так много, что районный комитет партии решил организовать митинг в самом вместительном помещении Москвы — в Алексеевском манеже в Лефортове. Приглашительные билеты на митинг заранее распределили по заводам, фабрикам, учреждениям, воинским частям. Но даже это огромное помещение — Алексеевский манеж — не могло вместить всех желающих... Задолго до открытия митинга манеж до отказа заполнили рабочие, кустари, солдаты, служащие. Ни скамеек, ни стульев не было, собравшиеся стояли вплотную друг к другу... Он говорил горячо, просто, понятно, убедительно, и слова его проникали в душу каждого, кто его слушал. Я стоял около трибуны, рядом со мной — пожилой рабочий. Пальцы его сжались в большие, тяжелые кулаки. Когда Ильич оканчивал фразу, мой сосед как бы про себя повторял: — Верно! Верно!»

пространения ее в массах и расклейки на улицах. Предложение единогласно принимается.

Единогласно! Теперь, когда нам известен состав тогдашнего Московского Совета, можно по праву оценить одержанную Лениным морально-политическую победу над «колеблющимися и вредными элементами»...

На четвертой Московской общегородской конференции фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов, перечисляет 28 июня «Правда»,

— зарегистрировано около 400 человек: 247 коммунистов и сочувствующих, 27 левых эсеров, 75 беспартийных, 15 меньшевиков, 8 эсеров, 7 интернационалистов, 2 анархиста и 1 максималист.

Когда узнаешь о составе аудитории конференции, по-иному воспринимаешь даже традиционные ремарки репортеров, отмечающих, что Ленин «выступает... встреченный бурными аплодисментами».

Побывал Председатель Совета Народных Комиссаров в уже названном Алексеевском манеже и 2 июля.

— До полутора тысяч мобилизованных товарищей наполнили манеж бывшего Алексеевского военного училища, — писала «Правда», — кроме них было еще порядочно красноармейцев-добровольцев.

«Правда» рассказывает, как выглядел в тот день зал, где выступал Владимир Ильич:

— Красивая эстрада украшена большим красным плакатом, на котором золотом горят так же, как они должны гореть в сердце каждого рабочего и крестьянина, великие слова:

**ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ КАЖДОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ ЗАЩИЩАТЬ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ СОВЕТСКУЮ РЕСПУБЛИКУ.**

Еще подробнее описывает газета обстановку красноармейского митинга на Ходынском поле, где Ленин выступал 2 августа:

— Несмотря на неудачную погоду — к началу митингов пошел дождь, — они состоялись во всех районах... Большой зал красноармейского гарнизонного собрания «Кукушка» переполнен собравшимися красноармейцами. Всюду, где только имеется свободное местечко, сидят и стоят густые массы их. В фойе, в саду стоят непопавшие в зал и с глубоким интересом расспрашивают выходящих о содержании речей товарищей. В промежутках играет музыка. Восторженной овацией был встречен тов. Ленин...<sup>1</sup>.

Лето восемнадцатого... Гражданская война в разгаре. В Баку и Онеге — английские интервенты. В Екатеринбурге — белочехи. В Армавире — деникинцы. В Архангельске — англо-французы. «Советская республика в опасности». Такова тема московских митингов 2 августа. Ленин в этот день выступает четырежды: в Бутырском районе, Варшавском революционном полку, Замоскворечье и на Ходынке.

Ленинская речь на митинге красноармейцев, состоявшемся в тот день на Ходынке, обычно печатается по тексту газетного отчета «Известий». Однако в «Правде» тра-

<sup>1</sup> Об этой ленинской речи вспоминает Вукол Сокол — комиссар Второй особой московской сводной бригады. Он рассказывает, как красноармейцы бригады прибыли «в полком составе на Ходынку в клуб, который назывался тогда «Кукушка». По дороге на митинг его участники пели:

Смело, товарищи, в ногу,  
Духом окрепнем в борьбе...

Ленин сказал тогда, пишет мемуарист: «Он слышал, как мы пели «Смело, товарищи, в ногу...». И эта песня наша показала ему, что мы понимаем свою задачу, и он рад, что мы дружно и смело идем в бой...» И после митинга бригада отправилась на фронт громить войска контрреволюционного генерала Краснова.

диционная заключительная фраза митинговых речей тех дней — «Смерть или победа!» — имеет полное оптимизма продолжение:

— Смерти не будет. Будет только победа социализма над мировым кулаком.

На застенографировано выступление Ленина в тот день и на митинге замоскворецких рабочих в гранатном корпусе бывшего завода Михельсона. Известное представление о содержании речи опять-таки дает газетный отчет «П р а в д ы». Ленин указал тогда

— ...на громадную опасность, грозящую нашему социалистическому Отечеству со стороны империалистических войск всех стран... которые внутри России пытаются задушить нашу революцию. Нужна мобилизация всего рабочего класса, чтобы не допустить снова диктатуры буржуазии в нашей социалистической России...

— Митинг МК РКП в Замоскворечье был устроен на заводе Михельсона, — сообщала «П р а в д а». — Громадная аудитория, вмещающая до шести тысяч человек, наполнена публикой.

«До шести тысяч человек...» Напомним, что столько мест в главном зале Дворца съездов. Нетрудно определить на основании подобных сообщений, что за 1918 — 1922 годы речи Ленина слушали в общей сложности сотни тысяч москвичей.

Но газеты не только сообщают о самих фактах или обстановке ленинских выступлений. Они, как правило, подробно излагают содержание речей Владимира Ильича.

28 августа Ленин выступает на Первом Всероссийском съезде по просвещению. 30-го «П р а в д а» публикует обширный отчет, в котором приводятся, по репортерской записи, такие ленинские высказывания о народном просвещении:

— На долю Комиссариата Народного Просвещения ныне выпадает одна из величайших задач — перевоспитание всего русского народа и воспитание будущего нашего поколения в духе строительства свободной социалистической жизни. Отныне русская школа — одна из свободнейших во всем мире. Во всех государствах, как бы они ни были свободны, буржуазия использует школу в своих целях. Русская же школа отныне освобождается от опеки буржуазии и вместе с освобождением от цепей рабства народ вступает в новую жизнь, построенную на началах социализма, братства и равенства.

Обращаясь далее к опыту новейшей истории, и прежде всего к событиям первой мировой империалистической войны, Ленин, судя по газетному отчету, говорит:

— Да чем же, собственно, и вызвана хотя бы эта продолжающаяся уже пятый год бойня, как не тем, что школа была использована врагами трудового народа в своих целях. В школах старого типа ребенку неминуемо внушаются национальные предрассудки: разжигают ненависть к другим народам, к рабочим другой национальности; юная мысль затемняется глупыми предрассудками. Школы в буржуазных странах насыщены ложью и клеветой в угоду буржуазии. Чувство ненависти к отдельным национальностям буржуазия как нельзя лучше использует в своих целях именно во время войны, которая дает им колоссальные барыши. Взять хотя бы наше время. Сейчас у нас тысячи миллионеров, которые во время войны выросли, как грибы после хорошего дождя. Им нужна война, чтобы обогащаться, а потому и школу они, не задумываясь, использовали бы в своих чисто империалистических целях. Но мы не должны допустить до этого. Мы говорим, что и наша школа будет классовой, но преследующей интересы исключительно трудовых слоев.

В заключение составитель отчета отмечает, что Ленин призывает съезд

— ...приложить все силы, энергию и знания, чтобы возможно скорее возвести здание нашей будущей трудовой школы, которая лишь одна сумеет оградить

нас в будущем от всяких мировых столкновений и боен, подобно той, что продолжается уже пятый год.

Организаторы и руководители съезда — Луначарский и Крупская неизменно ссылаются именно на «Правду».

— Кстати сказать,— писала Надежда Константиновна по этому немаловажному поводу в 1932 году,— статья в «Правде», излагающая речь Владимира Ильича, сказанную им за два дня до ранения в августе 1918 года,— эта статья не могла быть помещена в «Правде» без просмотра Владимира Ильича — показалась столь странной составителю XX тома 2-го издания Сочинений Ленина, что он выпустил ее, заменив выдержкой из никем не проверенной протокольной записи речи...<sup>1</sup>

Именно эти воспроизведенные «П р а в д о й» ленинские высказывания еще в 1924 году так развивал Луначарский:

— Вы видите, что далеко даже не всякий коммунист решился бы сказать то, что говорит Владимир Ильич. Только одна школа и никто больше, говорит он, есть средство к тому, чтобы мировые боины не были на свете... Только тогда можно сказать, что победа закреплена, когда новая школа начнет пропитывать новыми началами все фибры существа нового поколения, только тогда общество найдет силы выбросить прочь все яды, отравляющие поколение, и воспитать в душе братство<sup>2</sup> народов... Это чрезвычайно важно. Это положение Владимира Ильича. Все усилия партии в конце концов сосредоточиваются, как в основном фокусе, в школе... Кто не завоевал будущее, тот ничего не завоевал... Только тот является завоевателем, кто завоевал будущее, а его мы завоевываем в школе...

И Луначарский и Крупская считают особенно важными те самые положения Владимира Ильича, которые сохранили лишь строки газетного отчета о его речи.

Особое место в партийной печати 1918 года занимают события 30 августа, связанные с покушением на жизнь Владимира Ильича. Отметим, что еще 28 августа московские газеты невольно облегчили задачу эсеровских террористов, опубликовав объявления с точными адресами предстоящих митингов и перечнем ораторов.

Вот отрывки извещений, сыгравших такую роковую роль:

Московский Комитет Российской Коммунистической Партии  
устраивает в пятницу, 30 августа,  
БОЛЬШИЕ МИТИНГИ на тему: Две власти.  
(Диктатура пролетариата и диктатура буржуазии.)

Первым из ораторов на митингах назывался Ленин. Одновременно указывался и пункт его выступления:

1. Для ЗАМОСКВОРЕЦКОГО района. Щипок. Завод Михельсона.

При этом в объявлении говорилось:

На митинги допускаются все рабочие, члены профессиональных союзов и других рабочих, советских и партийных организаций. Вход всюду бесплатный.

Начало всех митингов в 6 часов вечера.

Таким образом, в совершенно идентичных (даже набранных одним и тем же шрифтом!) объявлениях «П р а в д а» и «И з в е с т и я» 28 и 30 августа сообщили точный адрес и час выступления Ленина.

Одновременно четырежды публиковалось и дополнительное объявление, адресованное «ВНИМАНИЮ ТОВАРИЩЕЙ, ВЫСТУПАЮЩИХ ПО ПЯТНИЦАМ» — в традиционный день еженедельных в то время митингов москвичей:

<sup>1</sup> Н. К. Крупская. Педагогические сочинения, т. 10, стр. 420—421, М. 1962. (Том XX 2-го издания Сочинений Ленина здесь указан вместо тома XXIII.)

<sup>2</sup> В оригинале явная опечатка. «бсратство».

— Московский Комитет предлагает закончить вашу работу в пятницу, 30 августа, к 5 часам, дабы выполнить поручение Московского Комитета полностью...

Ленин последовал и этому указанию... 31 августа «Правду» открывала тревожная «шапка»:

**УРИЦКИЙ УБИТ, ЛЕНИН РАНЕН. РУКАМИ ПРАВЫХ ЭСЕРОВ РУССКИЕ И СОЮЗНЫЕ КАПИТАЛИСТЫ ХОТЯТ СНЯТЬ ГОЛОВУ С РАБОЧЕЙ РЕВОЛЮЦИИ.**

**ПРОЛЕТАРИАТ ОТВЕТИТ ОРГАНИЗОВАННЫМ МАССОВЫМ ТЕРРОРОМ И УДВОЕННЫМИ УСИЛИЯМИ НА ФРОНТЕ.**

**КЛАСС УБИИЦ, БУРЖУАЗИЯ, ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗДАВЛЕН! ДА ЗДРАВСТВУЕТ РАНЕННЫЙ ВОЖДЬ ПРОЛЕТАРИАТА!**

Опубликованные в те дни официальные сообщения ВЦИК и ВЧК остаются за пределами нашего обзора, посвященного лишь оригинальным газетным материалам, а не историческим документам вообще. Наряду с ними все московские газеты собрали драгоценные для историка свидетельства очевидцев. Особенно содержателен напечатанный 1 сентября в «Правде» очерк видного партийного журналиста Н. Осинского, который выступал до Ленина на том же митинге — в гранатном корпусе бывшего завода Михельсона. Осинский так рисует картину митинга:

— Большой деревянный барак в заводском дворе. Он расположен ниже уровня земли. В это обширное здание со двора ведет несколько деревянных ступеней. Когдаходишь внутрь, сразу попадаешь в обстановку настоящего рабочего митинга. Свет падает сверху и охватывает густую массу людей. Они сидят на скамейках или стоят на полу кругом деревянного помоста, на котором помещается президиум. Среди толпы много работниц в платочках. Впереди около трибуны и у входа шныряют ребята...

Рабочие ждут Ленина. Откуда-то им известно, что он будет сегодня. Кстати сказать, именно это отсутствие самых простых предосторожностей самой первоначальной конспирации и облегчило работу наемников капитала... и у Михельсона, где выступал Ленин, публика ждала его. При всяком шуме у дверей она оглядывалась и искала его глазами.

Вот на деревянных ступенях показывается у входа невысокая крепкая фигура Ильича... Ленин торопливо проходит к трибуне, как всегда улыбаясь добродушно-насмешливо-хитро и слегка кивая головой. Этой улыбкой вождь пролетариата отстраняет от себя овации. Он понимает, что эти приветствия необходимы и неизбежны. Но он не способен принимать их так, как принимают их политические актеры и фразеры вроде Керенского и Чернова. Лично ему они вовсе не нужны. В революции для него нет ничего личного: он весь слит с борющейся массой... Это понимают и рабочие. Не было вождя, которого так любили бы и понимали, как Ленина, который был бы настолько близок массам. Он для них — не герой, не кумир, не предмет поклонения. Он для них — их собственный коллективный разум, воплотившийся в одном человеке. Когда они бурно радуются, видя и слыша Ленина, они радуются тому, что проявляется их общая, затаенная мысль... Когда говорит Ленин, между ним и его слушателями сразу устанавливается живейшая связь... Это свой говорит, наилучший из своих. Никаким огнем и железом не порвать связи между рабочими и этим невысоким, с виду обыкновенным человеком.

И вот при выходе из барака, недалеко от автомобиля, в который пролетарский вождь садился один — ибо от рабочих он ничем не хочет себя охранять, никакими штыками не отгораживает себя от массы, — к нему приближается жалкая истеричка, которая ничего общего не имеет с пролетариатом и революцией... Это стреляла в рабочую революцию дряблая, бессильная и вдвойне подлая мелкобуржуазная контрреволюция. Это стреляли люди, бесконечно далекие от той

плотной массы мужчин, женщин и подростков, которая жадно, с улыбкой, с светлой радостью проясненного сознания слушала Ленина — там, в бараке...

Опубликовала «Правда» 1 сентября и своеобразный коллективный репортаж михельсоновцев. Он воссоздает, как отмечает редакция, немаловажные «подробности относительно обстановки, при которой было совершено покушение»:

— Когда тов. Ленин кончил и пошел к выходу, дорогу ему преградил сначала гимназист, брюнет, лет шестнадцати, в гимназическом пальто. Он подал записку, которую тов. Ленин взял и, не останавливаясь, пошел дальше... Две женщины подошли к тов. Ленину с обеих сторон, и одна из них спросила, почему отбирают хлеб на железных дорогах... Ленин ответил, что издан декрет, чтобы не отбирали. В это время раздались выстрелы и тов. Ленин был ранен... Стрелявшая успела выбежать за ворота и была схвачена уже на улице. Она закрыла лицо рукою, но ей сказали:

— Нечего закрываться, умела стрелять, умей смотреть людям в глаза.

Левой рукой она пыталась что-то достать из кофточка. Ее отвели в военный комиссариат; говорят, что у нее нашли отравленные папиросы... Покушавшаяся на тов. Ленина интеллигентка, лет 35, одета прилично и скромно. Держится нервно... Политическое и умственное ее развитие производит впечатление ниже среднего...

Обратились к рабочим-михельсоновцам и другие московские газеты. Корреспонденты «Бедноты», к примеру, установили, что эсеровскую террористку Фанни Ройдман-Ройд-Каплан помогли задержать ребяташки Замоскворечья, храбрые Гавроши тех дней. Уже 4 сентября газета утверждала:

— В то время когда «взрослые» огромные толпы рабочих, окружавшие автомобиль тов. Ленина, растерялись, дети, «маленькие Вани и Пети» — эти сыновья рабочих, бросились вдогонку за Ройдман, стремившейся скрыться.

— Вот она! Она в Ленина стреляла! — кричали маленькие дети улицы.

Дети «Щипка» (так называется местность, где находится завод Михельсона) очень любили старого Ильича, и когда тов. Ленин приезжал на митинг, то они первые возвещали о его приезде громкими криками:

— То-о-варищ Ленин! То-ва-рищ Ленин прибыл!

Босоногие ребяташки... окружали всегда автомобиль при отъезде с митинга...<sup>1</sup>.

Газетные репортеры сохранили для истории множество деталей, свидетельствующих о революционном мужестве Ленина. Та же «Беднота» 1 сентября заявила:

— Заслуживают быть отмеченными: чрезвычайная выдержка и спокойствие тов. Ленина во время покушения. Когда раздались выстрелы, окружавшие его рабочие на миг растерялись... Ленин, уже раненный, воскликнул:

— Товарищи, спокойствие! Это не важно! Держитесь организованно...

О том же писали 1 сентября и репортеры «Известий»:

— Близкие к тов. Ленину лица отмечают удивительное самообладание и силу воли, проявленные им в эти дни. Когда автомобиль, после покушения, с раненым тов. Лениным прибыл в Кремль, тов. Ленин, все время не терявший сознания, не пожелал дожидаться, пока будут сооружены носилки... сам поднялся

<sup>1</sup> Репортаж «Бедноты» подтверждают и воспоминания Николая Иванова — в 1918 году председателя заводского комитета михельсоновцев. Он рассказывает: «Во дворе толпилось много ребяташек. В годы революции они привыкли к выстрелам и не боялись их. — Дяденька Иванов, какая стреляла, та на Серпуховку побежала к трамваю, — кричали ребята.

Я выбежал из ворот. Впереди меня, перегоняя друг друга, неслись ребята.

— Вон она, вон! — кричали они...»

по лестнице наверх. Вчера утром, проснувшись, тов. Ленин первым делом потребовал газеты. Врачи категорически запретили ему читать. Тогда тов. Ленин попросил, чтобы ему кратко докладывали обо всех новостях и о всех важных делах. Все время он находится в бодром состоянии духа, шутит и на требования врачей совершенно забыть о делах отвечает, что теперь не такое время...

«Вечерние известия Московского Совета» опубликовали 2 сентября беседу с доктором Винокуровым — в то время народным комиссаром социального обеспечения. Вот что рассказал Александр Николаевич представителям печати:

— Мне пришлось одному из первых оказать медицинскую помощь тов. Ленину. Это было около девяти часов вечера, когда с другим товарищем я поджидал открытия заседания Совета Народных Комиссаров. С криками: «Доктора, доктора!..» — подошел ко мне один из товарищей... Я нашел тов. Ленина на кровати с окровавленной рукой, он имел силу сам подняться на третий этаж и шутить:

— Подкузьмили мне руку...

Сейчас же мной была оказана медицинская помощь. Вызваны были наши врачи-коммунисты гг. Семашко, Бонч-Бруевич, Вейсброд и хирург-специалист профессор Розанов.

Одна пуля, произведя перелом плечевой кости, застряла сверху у лопатки. Эта рана жизни не угрожала; но другая пуля прошла через шею, затем в верхушку левого легкого, вызвала внутреннее кровоизлияние в полость плевры. Только каким-то чудом пуля не задела важных для жизни органов, находящихся в этом месте в области шести крупных кровеносных сосудов и нервов; поранение одного из них повлекло бы неминуемую смерть.

Ночь прошла в тревоге ввиду нарастающего кровоизлияния и упадка сил. Но могучее сердце могучего борца устояло в борьбе с смертельной опасностью, и уже к утру можно было сказать, что непосредственная опасность миновала, а вечером второго дня тов. Ленин уже шутил с лечащими его врачами.

Известный хирург профессор Розанов вспоминает и об этих ленинских шутках. В ответ на предписание врачей не шевелиться, не разговаривать — «улыбка и слова: «Ничего, ничего, хорошо, со всяким революционером это может случиться».

Когда Розанов спросил пациента, не беспокоят ли его пули, из которых одна отчетливо прощупывалась на шее, Ленин ответил отрицательно и при этом, смеясь, сказал: «А вынимать мы с вами их будем в 1920 году, когда с Вильсоном справимся»<sup>1</sup>.

В те дни решительно по всем заводам и фабрикам столицы шли рабочие митинги. В газетных отчетах о них слышится живое рабочее слово — прямое, смелое, порой грубоватое, проникнутое подлинно пролетарской ненавистью к врагу и полное, пожалуй, даже не сыновней, как принято говорить в подобных случаях, а суровой отцовской любви к Ильичу.

Очеркист «Правды» И. Р. 4 сентября воспроизводит беседу участников одного митинга с оратором Московского комитета партии:

<sup>1</sup> По-своему рассказывает об этих днях Крупская. Преподавательница Хаберовской Высшей партийной школы Л. Воловик излагает беседу с Надеждой Константиновной, состоявшуюся осенью 1937 года, почти два десятилетия спустя после покушения: «Вы, конечно, были в музее Владимира Ильича. А обратили ли внимание, что на пальто обведены мелом два кружка? Это следы от пуль эсерки Каплан... Я сама штопала эти дырочки. Ведь пальто было одно у Ильича. Я штопала в те дни, когда Ильич был очень болен и никто не мог сказать, придется ли ему снова надевать это пальто... Я штопала ночью. Не знаю, чего было больше на этих штопках, стежков или моих слез, которые все капали и капали... Тяжелые это были дни, очень тяжелые. А ведь мне и поплакать нельзя было. Не только потому, что люди все время вокруг, а главное — Ильич не простил бы мне, революционеру, этих слез. И я крепилась. Ведь я была не только женой...»

Надежда Константиновна вспоминает, что, как только Владимиру Ильичу стало лучше, он, подтрунивая, спрашивал, не плакала ли она. «Все отрицывалась, — говорит Крупская, — а потом как-то созналась, что плакала... Ильич тогда громко рассмеялся и в первый раз попробовал запеть. Врачи были в ужасе. С этого дня он начал серьезно выздоравливать...»



— «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», так и вы: толкуете все время о белогвардейцах, контрреволюционерах, гражданской войне, о врагах, действующих исподтишка. Как же вы при всем этом выпускали Ленина на митинги? Мало ли какая сволочь может туда пробраться. Вашего брата тоже надо бы вздуть как следует...

— Что он тебе — шутка! Добровольно голову на плаху кладут...

— Мало ли ему работы. Газеты есть: два слова написал — и то довольно.

— Надо бы на чрезвычайку нажать... Уж такое разгильдяйство, прямо слов негу...

— Выбираем, выбираем, а что они там делают — неизвестно.

— Хоть иди да сам берись.

— Отчет требовать надо...

Наконец докладчику удалось перекричать:

— Да что вы на меня напали! Подите сами, запретите ему ходить на митинги — так он вас и послушает!

— И послушает!.. Как не послушает, обязан послушать. Как мы его слушаем, так и он...

— Не для себя требуем, для дела... Не двадцать человек, а один он, ну и береги.

— Поди ты, одного выпускают, черти эдакие!

— ...Конечно, он пойдет, к своим идет, так ты его обереги как следует.

— Не надо идти, совсем не надо, коли враг на каждом углу...

В зал вбегает мальчишка и кричит:

— Экстренное прибавление! Ленин выздоровел!

— Ну, раз сказал всё, так и уходи, не мешай, — замечает один из рабочих.

Сам вынимает кошелек и про себя ворчит: — Надо взять газету, мелюзге недорого и соврать. — Читает: — «Официальный бюллетень № 7, 1 сентября 1918 года в 7 часов вечера пульс — 125, дыхание — 34, температура — 38. После проверки оказалось, что заражения крови нет». Будет жить...

Судя по опубликованному в газетах бюллетеню № 34, 10 сентября врачи разрешили Ленину садиться. Не тогда ли он впервые за эти дни и прочитал газеты, сразу наткнувшись на заголовки и «шапки» такого типа:

**ЛЕНИН БОРЕТСЯ С БОЛЕЗНЬЮ. ОН ПОБЕДИТ ЕЕ! ТАК ХОЧЕТ ПРОЛЕТАРИАТ. ТАКОВА ЕГО ВОЛЯ. ТАК ОН ПОВЕЛЕВАЕТ СУДЬБЕ!**

Видимо, к 11 сентября относится та беседа Ленина с Бонч-Бруевичем, о которой он рассказал Луначарскому еще в двадцатых годах.

— Недавно В. Д. Бонч-Бруевич сказал мне, — писал тогда Анатолий Васильевич в очерке «Штрихи», — что непосредственно после своего опасного ранения, в дни выздоровления Владимир Ильич вызвал его и еще нескольких лиц и сказал им приблизительно следующее:

— С большим неудовольствием замечаю, что мою личность начинают возвеличивать. Это досадно и вредно. Все мы знаем, что не в личности дело. Мне самому было бы неудобно воспретить такого рода явление. В этом тоже было бы что-то смешное, претенциозное. Но вам следует исподволь наложить тормоз на всю эту историю.

В 1955 году Бонч-Бруевич изложил эту беседу гораздо подробнее. По его воспоминаниям, Владимир Ильич с большим волнением и упреком говорил ему, ознакомившись с газетами, как мы предполагаем, за 31 августа — 11 сентября:

— Это что такое? Как же вы могли допустить?.. Смотрите, что пишут в газетах?.. Читать стыдно. Пишут обо мне, что я такой-сякой, всё преувеличивают, называют меня гением, каким-то особым человеком, а вот здесь какая-то мистика... Коллективно хотят, требуют, желают, чтобы я был здоров... Так, чего доброго, пожалуй, доберутся до молебнов за мое здоровье... Ведь это ужасно!.. И откуда это? Всю жизнь мы идейно боролись против возвеличивания личности, отдельного человека, давно порешили с вопросом

героев, а тут вдруг опять возвеличивание личности! Это никуда не годится. Я такой же, как и все... Лечат меня прекрасные доктора. Чего же больше!.. А тут стали меня так выделять... Я не знал, что я причинил столько волнений и беспокойства повсюду... Но надо это сейчас же прекратить, никого не обижая. Это не нужно, это вредно... Это против наших убеждений и взглядов на отдельную личность... Знаете что: вызовите Ольминского, Лепешинского и сами все приходите ко мне. Я буду просить вас втроем объездить сейчас же все редакции всех больших и маленьких газет и журналов. И передать то, что я вам скажу: чтобы они умненько с завтрашнего дня прекратили бы все это и заняли страницы газет более нужными и более интересными материалами... пожалуйста, поезжайте поскорее и прекратите сейчас же это безобразие... В какие-то герои меня произвели, гением называют, просто черт знает, что такое!.. Шутки в сторону: вопрос-то серьезный; надо сейчас же прекратить это возвеличивание личности...

В. Д. Бонч-Бруевич вспоминает, как он, П. Н. Лепешинский и М. С. Ольминский объехали все редакции московских газет, «начиная с «Правды» и «Известий», передавая всем отрицательное, негодующее мнение Владимира Ильича по этому вопросу, и предложили редакциям все спустить на тормозах...».

— На другой же день газеты были все в другом тоне, и Владимир Ильич более не поднимал этого вопроса,— пишет в заключение мемуарист.

Первая половина этой фразы полностью соответствует действительности. С 12 сентября «Правда», а за ней и все другие столичные газеты перестали публиковать какие бы то ни было приветствия Владимиру Ильичу. Что же касается «возвеличивания личности», как он называл подобные явления, то к этому вопросу Ленину пришлось вернуться по иному поводу несколько дней спустя.

15 сентября, по сообщению уже не «Правды», а «Бедноты», Владимиру Ильичу был

— ...передан портрет Карла Маркса в красках, нарисованный художником-самоучкой, рабочим петроградского завода «Старый Леснер» Лотаревым. Подарок поднесен от имени и по желанию всего Петроградского Совета. Тов. Ленин был очень рад оказанному ему вниманию.

Все подарки, которые Ленин получал от рабочих и крестьян, он неизменно передавал в музеи, библиотеки, детские дома, санатории или пересылал больным товарищам. Только дар питерцев он оставил себе<sup>1</sup>.

Историю подарка рассказал старый питерец, член КПСС с 1907 года В. П. Шуняков. Он вспоминает, что коммунист-подпольщик Петр Лотарев сперва предназначал написанный им портрет Маркса Выборгскому Совету. Но работа талантливого художника-самоучки так всем понравилась, что было решено, как гласит дарственная надпись на портрете, преподнести его «Дорогому товарищу и учителю В. И. Ленину-Ульянову от Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов».

Портрет доставили в кабинет Свердлова, который и предложил передать Владимиру Ильичу дар питерцев 17 сентября, на очередном заседании Совнаркома. Но к Свердлову неожиданно заглянул сам Владимир Ильич. Предоставим слово посланцу питерцев. В его рассказе примечательна едва ли не каждая деталь.

— Ленин узнал меня,— вспоминает Василий Петрович,— и, поздоровавшись, спросил, по каким делам я нахожусь у Якова Михайловича, да еще в нерабочее время, шутливо добавив: «Если это не секрет...» Он в это время увидел стоявший позади меня на полу, у стены портрет Карла Маркса. Подавшись вперед, он воскликнул: «Какой чудесный портрет!» — и, вопросительно потряхнув головой, спросил, не за этим ли я приехал в Москву и не об этом ли вел гайнственные разговоры с Яковом Михайловичем. Застигнутый врасплох, я ответил одним словом: «Да!»

— Ну, и что же,— продолжал он,— порешили с Яковом Михайловичем поднести

<sup>1</sup> «На полочке над диваном портрет Маркса, подарок Владимиру Ильичу от рабочих», — описывает Л. А. Фотиева рабочий кабинет Ленина в Кремле. Это и есть тот самый портрет кисти Лотарева, о котором сообщала «Беднота».

эти дорогие для меня подарки петроградцев в более торжественной обстановке с выступлением на заседании Совнаркома? Так я вас понимаю?

Я ответил утвердительно.

— И, конечно,— продолжал он,— все это предположено сделать по совету и с благословения Якова Михайловича... Яков, я очень признателен за ваше ко мне сердечное отношение, но убедительно прошу вас не создавать такого рода шумных почестей, не заслуженных мною, кстати, и несвоевременных торжественных встреч... А вас, дорогой товарищ Шуняков, я буду просить передать петроградцам мою искреннюю товарищескую признательность и благодарность за проявленную дружескую и товарищескую память обо мне...

Вот какой эпизод ленинской жизни скрывается за суховатыми строками «Бедноты» о подарке Ленину от Петроградского Совета...

Всего лишь две недели спустя после ранения — Ленин снова в рабочем строю. 17 с е н т я б р я «П р а в д а» информировала читателей:

— ...здоровье тов. Ленина настолько улучшилось, что вчера, 16 сентября, Владимир Ильич впервые принял участие в очередном заседании Центрального Комитета Российской Коммунистической партии. Члены Центрального Комитета, для которых появление Ильича было неожиданным приятным сюрпризом, горячо приветствовали своего вождя и учителя, возвращающегося к любимой работе после вынужденного перерыва.

Еще через несколько дней публикуется последнее официальное сообщение о состоянии здоровья Владимира Ильича. Датированное вечером 18 с е н т я б р я, оно сообщало о нормальной температуре, хорошем пульсе, отсутствии осложнений со стороны перелома руки.

«Владимиру Ильичу разрешено заниматься делами»,— заключали врачи.

И он тотчас же воспользовался этим разрешением, приписав к бюллетеню:

— На основании этого бюллетеня и моего хорошего самочувствия — покорнейшая моя лично просьба не беспокоить врачей звонками и вопросами.

Еще примерно через месяц Ленин впервые снова выступает перед москвичами. 23 о к т я б р я в «Правде» появился такой отчет:

— 22 октября состоялось чрезвычайное соединенное заседание высших органов Центральной и Московской Советской власти совместно с представителями рабочих организаций для обсуждения международного положения и в связи с этим положения Советской Республики. Впервые после своего выздоровления в заседании принимает участие тов. В. И. Ленин... Свердлов огласил порядок дня и сообщил, что с докладом о международном положении выступит Владимир Ильич. На трибуну поднимается тов. Ленин. Он почти не изменился после болезни, но только несколько похудел. Заметно, что тов. Ленин еще не вполне свободно владеет левой рукой. Но речь его так же ясна и проста, так же остроумны и ярки его сравнения, так же глубоко убедительны его слова. Словом, это прежний Владимир Ильич... При появлении тов. Ленина на трибуне все представители рабочей Москвы поднимаются со своих мест и приветствуют его долго не смолкающими восторженными криками. Летят кверху шапки. Рукоплескания и восторженные возгласы, едва стихнув, начинаются снова с возрастающей силой. Бурная овация длится несколько минут...

Отметили газеты и еще одно, не оставившее других документальных следов выступления Ленина незадолго до первой годовщины Октября

«П р а в д а» писала в заметке «ЛЕНИН У МИХЕЛЬСОНА»:

— Первое выступление тов. Ленина в рабочей Москве после его выздоровления состоялось в Замоскворечье, на заводе Михельсона, на том самом заводе,

где он был ранен. На том месте, где он упал, потеряв сознание, высится теперь красный пьедестал, на нем будет поставлен бюст вождя рабочей революции<sup>1</sup>.

Осень восемнадцатого года ознаменовали события величайшего революционного значения. Красная Армия за один лишь октябрь освободила Могилев и Елабугу, Красноуфимск и Орск, Самару и Ставрополь. Бугульму и Бугуруслан. Турецкие войска эвакуировали Батум. В Праге провозгласили Чехословацкую Республику. Пролетарии Будапешта избрали Совет рабочих депутатов. 3 ноября в Киле восстали немецкие матросы.

Торжественно отпраздновали москвичи первую годовщину Октября. В те дни газеты сообщали об импровизированной речи Ленина на вечере московского «Пролеткульта», состоявшемся 6 ноября в зале Литературно-художественного кружка на Дмитровке.

Отчетом о ленинском выступлении мы обязаны репортеру «Известий». Он отмечает:

—...Ленин приветствовал работу «Пролеткульта», указав, что могучее организуемое орудие — искусство, монополизированное раньше буржуазией, теперь в руках пролетариата. Лишь теперь пролетариат может творить свободно и радостно.

— Раньше, — продолжал тов. Ленин, — он не имел возможности следить за развитием пролетарской культуры и лишь теперь ему удалось осуществить свое желание и посетить один из рассадников пролетарской культуры...

Еще выразительнее многочисленные зарисовки праздничной октябрьской Москвы. Между 6—8 ноября Ленин произнес около десяти речей на различных торжественных заседаниях, вечерах, митингах, открытиях памятников. Не раз проезжал и проходил он по улицам и площадям столицы. Репортеры «Правды» помогут нам увидеть своими глазами то, что видал в те дни Ленин.

«Празднику Великого обновления» московские газеты посвятили целые страницы. Сначала предоставим слово репортерам «Правды». Они так оценивают праздничное убранство центральных площадей столицы, на которых тогда выступал Владимир Ильич:

— Глядя на то, что создал на Советской площади пролетарский гений, глядя на роскошное художественное убранство ее, вы чувствуете, что старый строй погиб безвозвратно и никогда не восстанет из мертвых. Здание Совета увешано гирляндами зелени, красными звездами с изображением герба Российской Федеративной Республики. Над зданием Совета висит огромный плакат с надписью: «ПРОЛЕТАРИУ НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ, КРОМЕ ЦЕПЕЙ. ПРИОБРЕТЕТ ЖЕ ОН ВЕСЬ МИР».

Посреди площади гордо красуется обелиск, торжественно открытый 7 ноября. Обелиск закончен только вчерне и представляет собой трехгранную колонну значительной высоты, стоящую на шестигранном пьедестале. На боковых стенках пьедестала, в нишах выгравирован текст конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Обелиск украшен гирляндами зелени, красными лентами и флагами...

Впрочем, сам Владимир Ильич относился к этому проекту весьма неодобрительно. Тот же Н. Я. Иванов вспоминает о кануне Октября восемнадцатого года: «На том месте, где был ранен Ильич, мы решили посадить деревья и устроить сквер... Быстро разобрали булыжную мостовую и расчистили площадку... В сквере мы установили большую колонну с глобусом наверху. Я залез на самый верх и обивал глобус красной материей... Вдруг во двор въехала машина, и вышел Ленин... Владимир Ильич подошел и спросил:

— Что вы здесь делаете?

Я объяснил, что мы решили поставить памятник на том месте, где было произведено покушение. Владимир Ильич махнул рукой, поморщился и решительно, как отрезал, сказал.

— Пустиками занимаетесь!

Другой старый михельсоновец — Георгий Буланов — приводит эту ленинскую реплику в несколько иной редакции: «Напрасно, — заметил Владимир Ильич, — это лишнее...»

Театральная площадь вся пестрит флагами, гирляндами и плакатами. Тут также символическая картина: «Революция призывает вождей пролетариата». Далее картина, изображающая поле с желтыми снопами, работающих женщин, изобилие плодов.. Картина, изображающая народного героя Стеньку Разина...

Репортеров «Правды» дополняют известицы. Они пишут:

— Охотный ряд с его неказистыми, пропахшими рыбой палатками — нельзя узнать. В два ряда выстроились расписные игрушечные домики с палисадниками и наивными желтыми подсолнечниками. Сквер перед Большим театром каким-то волшебством превращен в сад Черномора. Деревья окутаны кисеей лилового оттенка. Окрашенные дорожки кажутся залитыми лунным светом. По всей площади протянута в несколько рядов красная бахрома, развеваемая ветром. На разукрашенном здании «Метрополя» прежде всего бросается в глаза гигантское полотно, изображающее рабочего, уходящего из горящего города со светильником знания. На фасаде бывшей городской Думы изображен хозяин земли — пахарь с пышным колосом золотой пшеницы и румяными плодами. На стене Исторического музея два изображения — крестьянина и рабочего: «Крестьянин даст рабочему хлеб.— Рабочий даст крестьянину мир».

Широко осветили газеты открытие Лениным 7 ноября мемориальной доски работы С. Т. Коненкова на Красной площади. То было подлинно всенародное торжество и одновременно скорбный рекевнем павшим. Попытаемся совместить в данном случае отчеты «Правды» с более обстоятельным репортажем «Известий».

Правдисты рассказывают:

— Лютуют звуки революционного марша многочисленных оркестров, сливаясь со стройным пением «Марсельезы», «Интернационала» и «Похоронного марша». Колонны подходят к башне, где мемориальная доска. Сюда же подходят и устраиваются колоссальный хор и оркестр «Пролеткульта». Опять звуки «Интернационала». По площади движется большая колонна членов Шестого съезда Советов. Депутаты подходят и выстраиваются против мемориальной доски, у ступенек подножья.

Теперь предоставим слово репортерам «Известий»:

— Год тому назад,— выступает тов. Смидович,— народ решил передать власть Советам. Волею Совета, выбранного народом, мы открываем теперь памятную доску нашим павшим в борьбе за освобождение товарищам. Совет поручает открыть эту доску вам, Владимир Ильич Ленин...

В те дни не прошло и двух с половиной месяцев после 30 августа. Естественно, что корреспонденты обращают внимание и на внешность Владимира Ильича в Октябрьские дни. Они сообщают:

— Тов. Ленин выглядит... здоровым и довольным. Оживленно разговаривает и шутит с окружающими.

Но вернемся к отчету «Правды». Он посвящен ленинской речи на Красной площади:

— В. И. Ленин срезал ножницами печать на задрапированной доске, и покров падает к ногам. Глазам присутствующих представляется белокрылая фигура с веткой мира в руке и с надписью: «ПАВШИМ В БОРЬБЕ ЗА МИР И БРАТСТВО НАРОДОВ».

Площадь оглашается скорбными звуками «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Склоняются знамена. Вся площадь, вся толпа, как один человек, обнажают головы. На высокую ораторскую трибуну поднимается Ленин. Водворяется глубокая тишина... Под крики «Смерть или победа» тов. Ленин сходит с трибуны.

После речи Ленина начинается шествие. Непрерывно движутся полки и районы со своими роскошными знаменами. Проходя мимо могил, обнажают головы, склоняют знамена, льются звуки «Похоронного марша». Над площадью, в синем небе, весело трещат, пронсятся бело-красные аэропланы, разбрасывая прокламации, которые кажутся серебряными чайками. Манифестанты идут тремя колоннами, заполняя всю площадь морем голов и знамен. Здесь сотни тысяч. Никогда еще Москва не видала такой огромной манифестации, такого глубокого единодушия демонстрирующих. И какой удивительный порядок всюду, несмотря или, вернее, благодаря отсутствию жандармов и полицейских.

Снова обратимся к «И з в е с т и я м». Их репортеры заметили немало выразительных черточек октябрьской демонстрации, которую так радостно приветствовал Владимир Ильич:

— Среди обычных знамен общее внимание привлекают художественные оригинальные плакаты профессиональных союзов. Над головами демонстрантов плывут вырезанные и разрисованные изображения химиков в белых халатах, грузчиков, согнувшихся под тяжестью ноши, печатников за станком. Настоящий фурур производит Союз пищевиков, изображающий продавца, бычью голову и, что самое главное, румяные калачи.

Своеобразную красоту придают процессии футуристические плакаты, от пестроты которых и разнообразия разбегаются глаза... На площади появляется автомобиль «Международного союза артистов цирка» с огромным глобусом... Малороссийский хор исполняет «Интернационал»... Фотографы кинематографических фирм и журналов без усталости работают в этот исторический день...

На другие детали празднества, непосредственно связанные с участием в нем Владимира Ильича, ссылаются корреспонденты «Б е д н о т ы»:

— В 10<sup>3</sup>/<sub>4</sub> часа утра со стороны Никольской раздаются звуки музыки... Во главе Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета идет Ленин, простой, ясный, с мягкой улыбкой на лице... В это время над площадью показывается белоснежный «Ньюпор». Сделав несколько виражей, аэроплан сбрасывает кучу прокламаций, которые внизу моментально разбираются. За «Ньюпором» в воздухе показывается другой, третий, еще биплан, еще и еще... До самого конца торжества над площадью реяли эти стальные птицы, разбрасывая листовки и воззвания... Стройно, молодежато проходит пехота. Лихо гарцуют кавалеристы. С грохотом движется артиллерия и броневики. На штыках и орудиях красные бантики и зелень...

От шестивой то и дело отделяются депутации, чтобы возложить венки к подножию доски. Юные бойскауты шныряют между колоннами и восстанавливают порядок.

К 12 часам Красная площадь и прилегающие к ней улицы переполнены народом. Чтобы ускорить проход колонн, их пропускали мимо по четыре и пять сразу. Несмотря на это, к трем часам дефилирование продолжалось. Казалось, конца не будет этому потоку многих сотен тысяч народа. Холодное, несколько хмурое утро прояснилось, и в полдень яркое солнце заливало живое море, каким казалась Красная площадь...

Корреспондентам «И з в е с т и й» довелось записать на октябрьской демонстрации не только ленинские речи, но даже приветственные возгласы. Приведем несколько фрагментов зарисовки праздничного шествия по Красной площади:

— Громадный Пресненский район вызывает общий восторг аллегорическим шествием: на телегах едут переодетые крестьяне и солдаты в цепях крепостного права, а дальше — стоит Свобода с порванными цепями.

— Красной Пресне привет, — громко говорит тов. Ленин...

(Не тогда ли, заметим в скобках, родилось название «Красная Пресня», официально возникшее позднее?)

Советские люди вправе были гордиться революционным порядком, установленным в Октябрьские дни. Сошлемся для документально точной характеристики эпохи на опубликованный в «Правде» 5 ноября «Приказ № 1» по Московскому гарнизону. В нем сформулирована одна из главных задач Октябрьского праздника:

— В этот день нигде не должно быть ни единого выстрела.

Пусть патрули советских частей и милиции не прибегают к оружию. И пусть ни один негодяй не стреляет из-за угла, из окон или с крыш: он и домовый комитет будут беспощадно наказаны... Великий Октябрьский праздник — праздник победы российского пролетариата, — а потому да будет беспрекословное и точное исполнение распоряжений Советской власти и нигде ни единого выстрела, ни одной капли крови...

Москву восемнадцатого года окружало огненное кольцо фронтов. Бои шли на рубежах Волги и Камы, на Урале и Севере. В городе скрывались лазутчики врага, диверсанты и террористы. Октябрьские празднества в Москве наглядно продемонстрировали прочность советской власти, ее всенародную поддержку.

А с Запада каждый день, даже каждый час поступали по радио все новые революционные вести.

Первые Советы в Германии. Провозглашение Республики в Баварии и Польше. Всеобщая забастовка в Берлине. Кайзер Вильгельм отрекся от престола...

В воскресенье 10 ноября Ленин пришел на открытие клуба Октябрьской революции, созданного коммунистами Хамовнического района в одном из недавних барских особняков. Никто не записал, к сожалению, произнесенную там речь Владимира Ильича, но мы все-таки можем, по отчету «Правды», составить представление о ее характере:

— Лучшей частью вечера было появление в клубе нашего славного, дорогого Владимира Ильича, который откликнулся на приглашение Районного Комитета. В одно мгновение разнеслась весть, что пришел тов. Ленин, и все хлынули к эстраде. Неподдельной радостью и энтузиазмом горели лица рабочих... С напряженным вниманием выслушали последние сообщения о колоссальном росте революции в Германии. Разъясняя значение совершающихся событий, тов. Ленин указал на то, что теперь более всего должны мы напрячь свои силы. «Организация, организация, организация», — вот чем закончил тов. Ленин свою речь...

Можно предположить, что Владимир Ильич остался в клубе и после своей речи. Как раз в тот день он завершил работу над книгой «Пролетарская революция и ренегат Каутский».

— Несколько раз сообщались по телефону последние новости, вызывавшие бурю восторга, — пишет «Правда». — С громадным подъемом, от всей души, дружно пропели «Интернационал»<sup>1</sup>.

Рассказали московские газеты и об еще одной оставшейся незаписанной ленинской речи, произнесенной 11 ноября на вечере делегатов Шестого съезда Советов в Большом театре.

---

<sup>1</sup> В новорожденный клуб «сообщались по телефону последние новости» о германской революции, принятые правительственной радиостанцией на Ходынке. Это позволяет предположить, что предназначались они прежде всего Владимиру Ильичу. Аким Николаев — в те годы председатель Радиосовета — рассказывает: Ленин просил в любое время звонить ему, «как только что-нибудь будет перехвачено из Германии...». Не Николаев ли и телефонировал тогда в клуб Октябрьской революции Владимиру Ильичу?

Сообщая об этом концерте-митинге, «Вечерние известия Московского Совета» пишут:

— Председатель Совнаркома поделился с публикой только что полученными из Берлина по прямому проводу вестями, — и бодрым оптимизмом были окрашены комментарии к полученному материалу нашего всегда осторожного вождя...

Несмотря на категорические возражения Ленина, чествование его имени продолжалось, обретая подчас совсем уже комические формы. Нельзя без грустной улыбки читать заметку, опубликованную «Правдой» в ноябре не 1924, а.. все того же — 1918 — года, но озаглавленную при этом... «Увековечение памяти тов. Ленина». Как гласила заметка, напечатанная, видимо, по недосмотру редакции,

— Духовщинский уездный партийный комитет РКП(б) и уездный Исполком единогласно постановили: в день празднования Октябрьской революции 7 ноября увековечить память тов. Ленина, переименовав город Духовщину в город Ленина. Состоявшийся 27 — 28 октября уездный съезд комитетов деревенской бедноты приветствовал постановление уездпарткома и Исполкома и в свою очередь постановил телеграфно просить тов. Ленина позволить уездному городу Духовщина впредь носить имя неопценимого вождя пролетарских масс. самоотверженно кладущего всю свою жизнь на защиту прав бедноты.

Ленин, надо полагать, решительно возразил против «увековечения» его «памяти». Во всяком случае Духовщина и поныне носит свое древнее имя...

Сохранили газеты и примечательную историю несостоявшегося вечера в честь Ленина. 16 ноября «Известия» и «Правда» сообщили, что два дня спустя в Большом театре «в честь годовщины Октябрьской революции» организуется «вечер, посвященный вождю пролетариата товарищу Ленину». На вечере намеревались выступить Коллонтай, Ломов, Луначарский, Подвойский, Стеклов и другие ораторы с докладами и воспоминаниями на темы: «Ленин, как революционный политик», «Ленин и Третий Интернационал», «Ленин, как революционер и вождь», «Ленин и его боевой приказ о трех-миллионной коммунистической армии», «Ленин в эмиграции», «Ленин и Октябрьское восстание», «Ленин и научное предвидение», «Ленин и анархизм». Кроме того, поэты Василий Каменский и Рюрик Ивнев хотели прочитать новые стихотворения: «Ленин — пророк мировой революции» и «Ленин и мир». Вопреки обыкновению тех лет вечер был платный. Билеты продавались в кассах Большого театра и «Центробилета», а сбор предназначался для издания сборника стихотворений, посвященных вождям революции.

На следующий день — в воскресенье 17 ноября — «Правда» опубликовала «Письмо в редакцию», озаглавленное «Довольно празднеств!» и подписанное «М. Яшин». В нем говорилось:

— Великая годовщина Октябрьской революции была ознаменована повсюду в Советской России празднествами, митингами, демонстрациями... Исполнилась годовщина великих рабочих завоеваний... Как было не отметить этот день, как праздник праздников!

Но праздники приобретают у нас слишком затяжной, длительный характер. Надо знать меру. Надо положить этому конец и направить все силы опять с удвоенной энергией, опять на будничную, столь нужную теперь работу, на укрепление, на расширение Советской власти.

С этой точки зрения вечер, устраиваемый в понедельник в Большом театре в честь Ленина, представляется в значительной степени роскошью, излишеством... Все чествования, парады и т. п. только смущают его, досаждают, как нечто ненужное и тягостное

Для кого же нужен этот вечер и эта помпа? И не лучше ли было бы всем видным товарищам ораторам, которые будут распинаться о заслугах тов. Ленина, направить свое красноречие хотя бы к русским военнопленным, тысячами приезжающим из плена. На работу среди них у нас недостает сил, а мы тратим их на излишества. Право, несколько десятков новых сторонников Советской власти, ко-



торых можно было бы привлечь митингами среди неосведомленных. стоят больше, чем часы разговоров о том, что и так всем известно...

Письмо это перекликается с известными ленинскими высказываниями, записанными В. Д. Бонч-Бруевичем.

Оно, несомненно, выражает негодование самого Владимира Ильича. Подпись же под письмом М. Яшин сразу напоминает о «Маняше», как неизменно именовал Ленин младшую сестру, Марию Ильиничну Ульянову — в то время ответственного секретаря редакции «Правды»..

Назначенный на 18 ноября вечер в Большом театре не состоялся. «Известия» под рубрикой «Хроника» сообщили:

— Назначенный на 18 и перенесенный на 25 ноября вечер в честь тов. Ленина отменяется. Просят билеты возвращать в понедельник и вторник в Большой театр — с 2 до 5 часов вечера.

И все-таки подобный вечер, правда уже не в Большом театре, а в тесноватом зале кинематографа «Арс» (и по куда более скромной программе!), был проведен 20 ноября. Хроникер «Правды» рассказывает:

— Зал буквально ломился от рабочих и работниц, собравшихся сюда с целью чествования своего любимого вождя. На эстраде красовался большой портрет тов. Ленина, окаймленный красной лентой и ярко освещенный огнями... было предложено продемонстрировать ряд картин, зафиксировавших торжества Октябрьской революции, но в тот момент, когда был потушен свет, на эстраде появился тов. Ленин... Вспыхнуло электричество, и тов. Ленин, прерываемый неоднократно бурными аплодисментами, произнес небольшую, но горячую речь... После выступления пролетарского вождя была продемонстрирована кинематографическая картина, запечатлевшая наиболее интересные моменты торжеств Октябрьской годовщины..

Владимир Ильич вместе со всеми посмотрел этот подготовленный Дзигой Вертовым № 29 «Кинонедели» 1918 года. Как свидетельствует репортер «Известий»,

— После речи тов. Ленина, в его присутствии, с большим успехом демонстрировалась картина «Октябрьские торжества в Москве».

По страницам газет мы уже знаем, что могли снять советские кинооператоры в праздничной Москве тех дней...

Сообщают журналисты и подробности о выступлении Ленина в День красного офицера, проведенный в воскресенье 24 ноября в честь курсантов первых советских командных курсов пехоты и кавалерии.

— С утра погода благоприятствовала Дню красного офицера, день выдался на редкость хороший. — писала 26 ноября «Правда». — По всем улицам можно было видеть наших красных юнкеров, продающих звездочки.

После распространения значков «красные юнкера» прошли парадом по Красной площади, а оттуда прибыли на Советскую — приветствовать Московский Совет...

— Громовыми аплодисментами встречают курсанты подъехавшего тов. Ленина, — сообщает газета. — «Да здравствует товарищ Ленин! Да здравствует Московский Совет!» — несется со стороны офицеров-курсантов...

Перед нами еще один фрагмент мозаической картины революционной эпохи. Она складывается — день за днем — из сообщений большевистских газет, их отчетов, репортажей, очерков.



Ю. ЧЕРНИЧЕНКО

★

## РУССКАЯ ПШЕНИЦА

### I

Отсутствие правильного чередования культур в севообороте, нарушение агротехники возделывания хлебов неизбежно отражаются на достоинствах пшеницы. За последнее время в ряде областей Российской Федерации, Украины заметно уменьшилось содержание белка в пшенице, снизился выход сырой клейковины.

*«Правда», 8 февраля 1965 года.*

**П**шеницу растят ради содержащегося в ней белка. Старый зерновик доктор наук П. Е. Суднов говорит:

— Когда-нибудь и вы, журналисты, привыкнете писать веско и дельно: «Труженики такой-то области произвели на своих полях столько-то тысяч тонн растительного белка...»

Самый точный и неподкупный регистратор успехов и грехов земледельца — колос. Он фиксирует их количеством и качеством клейковины. Так вот колос утверждает, что достоинства русских пшениц за последнее семилетие резко упали. Один процент белка в пшеничном урожае страны — громадная величина: этим количеством протеина можно целый год кормить одну Москву и десять таких городов, как Новосибирск, то есть шестнадцать миллионов человек. В областях, производивших лучшие в мире пшеницы, мы за считанные годы потеряли не один, а три, четыре, даже пять процентов. К 1958 году среднее содержание клейковины в пшеницах Волгоградской области достигало 31,5 процента, белка — 17,2 процента. Только за пять лет эти цифры понизились соответственно до 25,7 и до 13,2 процента. В саратовских пшеницах доля клейковины упала с 30 до 21,8 процента. Белковая ценность пшениц Украины (Днепропетровская, Харьковская, Запорожская области) снизилась с 15,5 до 13,4 процента. Нужно сказать, что падение-то начиналось отнюдь не с рекордного уровня. В предвоенные годы процент белка в пшеницах Юго-Востока европейской части составлял 18,9, в украинском зерне — 18,5 процента.

Таков скрытый, но самый, быть может, досадный отзвук субъективизма, невежества, лихого администрирования: мы потеряли мировое первенство в качестве пшениц.

Трудно добытое достоинство обычно устойчиво. И нужно было приложить нешуточные усилия, чтоб нарушить устоявшуюся за десятилетия технологию и тем заставить снизиться долю белка в хлебе. В уменьшении клейковины, понятное дело, суммирована уйма разных явлений, в каждой области были свои особые беды, и теперь мудрено установить время, когда там или тут качество пшеницы стало уступать напастям. Но, мне кажется, можно довольно точно указать день, с какого пошло ухудшение хлебного дела в одном уголке российского поля — в Кулундинской степи.

В сентябре 1958 года на Алтай прибыл уполномоченный из столицы. Целинники были уже наслышаны о нем. С его именем была связана одна из дорогостоящих, быстро лопнувших затей — переделка прицепных комбайнов в самоходные. Известна была крутость, с какой он насаждал раздельный метод уборки, заставляя косить в валки и редкие и низкие хлеба. Поговаривали о его грубости. Совершенно же точно было одно: полномочия у него немалые.

Страда была трудной. Исполняя приказ о раздельной уборке, скосили в валки почти весь хлеб. А тут зарядили дожди. Комбайнеры в кровь разбивали пальцы, освобождая барабаны от жгутов влажной соломы. И если даже удавалось набрать какой бункер зерна, так проку от него было мало — на току ворох загорался после первой же ночи.

Председатели колхозов изнервничались, но сибирская сдержанность брала свое. Хозяева берегли механизаторов и технику, по опыту зная, что «окна» осенью непременно будут, и тогда возьмет хлеб тот, у кого люди не измотаны и машины целы...

Двадцатый съезд партии уже вошел в жизнь. В степи появилось много колхозов его имени. В правлениях вывешивали на стены постановление о планировании снизу. Прибавлялось людей в колхозах, сельское производство шло в гору. Ученые побывали за рубежами, выступали на собраниях партактива, издавали отчеты. Степняков особенно интересовала Канада — те же почвы, тот же климат. Выяснилось, что, кроме разорения фермеров и жестокой конкуренции, там есть и устойчивые, растущие урожаи, и недурные сорта, и достижения в качестве пшениц. Боязнь «низкопоклонства» постепенно вытеснялась острым любопытством: в чем обогнали нас? Люди, хозяйничавшие на земле, почувствовали себя не заведомыми победителями везде и во всем, а партнерами в экономическом соревновании.

Уже вышли книги реабилитированного Николая Ивановича Вавилова, с ними пришла и подлинная наука о пшенице со всеми ее мировыми возможностями и достижениями. Молодые агрономы с удивлением открывали для себя громадного ученого. Обстановка нетерпимости ко всему, что не свое, установленная в агробиологии в конце сороковых годов сессией ВАСХНИЛ, постепенно исчезала. На сортоучастках и опытных станциях все с большей иронией говорили об открытиях типа стерневых посевов ржи и о закрытии внутривидовой борьбы.

Но все четче прорисовывались и другие явления. Планирование снизу оставалось на бумаге. Ждали, когда же начнет устанавливаться научная система землепользования. Пора бы: целина за пять лет засорилась, расползся овсюг, кое-где закурились очаги ветровой эрозии. Серьезных агрономов беспокоило и другое: «вал», голый «вал», никакого внимания к качеству зерна! Хозяева и понимали и отказывались понимать то, что от них ждали и требовали чудес. Любых — преобразования прицепного старозаветного С-6 в самоход или мясного плана без фуража, чистоты полей без паров или молотбы в дождь. Но сельское производство все еще шло в гору, и многое объясняли непорядками в райкомах, в крайкоме. На народе говорились разумные вещи, но все чаще стали практиковаться «узкие» совещания и встречи, где и делалась настоящая производственная политика. Тут возражать, спорить становилось все трудней и опасней. Потому и побаивались таких совещаний, где, по слухам, без разбора за одну фразу могли снять с работы, записать «строгача»...

Итак, шли дожди. График хлебосдачи срывался. В степь приехал столичный уполномоченный.

Восемнадцатого сентября, в четверг, председателей колхозов всей Кулундинской зоны вызвали в Славгород.

Съехались родинские украинцы и благовещенские кержачки, заозерные немцы и ключевцы из-под бора. Встречались соседи, не выдавшие друг друга год, а то и два. Расспросы о дожде, о намолоте, о сынах-дочках, но и шпильки, побаски, смех.

Всем было понятно, что на совещании сначала отчитаются секретари райкомов, потом выступит первый секретарь крайкома К. Г. Пысин, поставит задачи

на период уборки. Самое интересное — выступление московского гостя — оставят на конец.

К столу президиума вышли двое: секретарь крайкома (его уважали за справедливость и строгую вежливость) и невысокий седой человек с утомленным, нервным, а в общем, вполне обычным лицом.

Меня, тогда собкора «Алтайской правды» по Благовещенке, на совещание не вызывали (это было то самое мероприятие, что не для огласки). Приехал я, полагая, что просто забыли вызвать.

Я не уловил момента, как и когда дело свелось к крику. Отчитывался славгородский секретарь райкома, столичный уполномоченный перебил его:

— Почему срываете график сдачи?

Тот сказал о погоде. Тогда полномочный гость, сам себя взвинчивая, стал выпытывать: остался ли еще кто из коммунистов в райцентре? А почему остался? Какое право они имеют отсиживаться, когда решается судьба хлеба? Славгородец пожал плечами: это же работники райфо, почты, железнодорожники, что им делать в поле?

Кажется, именно тут уполномоченный взорвался. Он вскочил из-за стола. Он кричал: почему такой капитулянт до сих пор сидит в райкоме? Снимать, снимать, чего боитесь! Вот мы в Туле снимали-снимали без счета — и нашли же наконец человека! Гнать таких надо! Кто дал право либеральничать?

С целинной Кулундой еще никто никогда так не говорил. Секретарь крайкома сидел как каменный, уставившись в зал. А зал угрюмо молчал.

Унизительна была не только грубость, — угнетала малость того, чего добивался уполномоченный. Добро б разгневало гостя, что на земле нет порядка, что овсюг, бездорожье, нет зерноскладов, что мешают хороший хлеб с польнным, что хозяйничают так же, как в первый целинный год, — резкость, даже грубость можно было б объяснить болью рачительного хозяина. Но полномочному представителю нужно было одно: чтоб сегодня же, в день его появления, на элеваторы и в глубинки пошел хлеб. Все равно какой — сухой или кутья. Товарный или семена. (Позже узнали: Новосибирскую область он оставил в ту осень без семян.)

Один за другим на трибуну всходили секретари райкомов — и все те же окрики: когда при каждом комбайнере будет уполномоченный? Снимать коммунистов отовсюду — и на агрегаты! Пусть не отходят ни на шаг! И головой ответят за молотьбу! Тысяча комбайнов — дать тысячу уполномоченных! Надо будет — две тысячи пошлем!

Молодой председатель из Ключей не удержался, крикнул с места:

— А у нас все комбайнеры — коммунисты! К ним — тоже?..

— Как фамилия? Немедленно разобрать на бюро! Сейчас же на бюро! — задыхаясь от гнева, вскричал уполномоченный.

На этом все кончилось.

Кулундинские председатели выходили молчаливые, подавленные. Народ самостоятельный, не привыкший праздновать труса, они поняли, что к ним приставлен погоняла, знающий только грубый окрик. С его бранью и криком началась для Кулунды пора, что запомнилась как пора хозяйственного беззакония.

И все-таки я тогда не очень понял, как повлияло на председателей происшедшее.

Я уехал в Благовещенку. Созвонился с Барнаулом, с редакцией, доложил, получил указание критиковать резко, невзирая на лица, — хлеб все спешет.

Но «списывал» хлеб с большими потерями. В Нижнем Кучуке работал председателем Иван Дмитриевич Тимофеев, молодой тридцатитысячник, зерновик крепотливый и тщательный. С прилежанием первокурсника он доводил до высоких кондиций сдаваемый хлеб, не думая о том, что на элеваторе его стекловидную, сухую пшеницу смешают.

После встречи в Славгороде на Тимофеева начали «жать». Дергал райком, ругала краевая газета. У молодого председателя не было той закалки, что

помогала опытным хозяевам выдерживать напор, сносить ради дела обиды. Нервы его сдали. После очередного разноса в райкоме он взял чемодан, вышел на большак и уехал неизвестно куда. Из партии его исключили заочно. Оправдывать его нельзя, сожалеть можно: жаль, рос хороший зерновик...

Хлеб пошел. Кое-где к агрегатам приставили-таки уполномоченных, с большими потерями принялись обмолачивать сырые валки. Зерно, загоравшееся в буртах у элеваторов, побелевшее от плесени в вагонах, стало поднимать процент в сводке.

В ту осень Алтаю впервые сказали, что хлеб его плох. Заготовки еще продолжались, когда наши эшелоны пришли в большие центры. Краевая газета напечатала письмо работника ОТК Ленинградского мелькомбината А. Иванова:

«Пора алтайцам перейти на сплошные сортовые посевы... Смесь разных сортов пшеницы — большая помеха при переработке зерна в муку... Качество муки при этом ухудшается. Потом, поступающие к нам алтайские пшеницы засорены овсюгом. А иногда в зерне попадают пыльные корзиночки... И, наконец, на элеваторах, очевидно, также смешиваются разные сорта пшеницы. Причем смеси бывают самые трудные для нас, мукомолов. Примесь твердой пшеницы в мягкой составляет от 5 до 60—70 процентов».

Колос, известно, чутко реагирует на отклонения от норм агротехники. Но что колос, ворох, урожай в целом могут отражать нарушения норм и в отношениях между людьми — это выяснилось в ту страду.

## II

Принимая что-нибудь на веру, наука совершает самоубийство.

*Гексли.*

Окрик и директива родили нежелание думать. Нежелание думать родило единообразие в приемах. Единообразие родило беззащитность урожая перед прихотями погоды, перед сорняками и вредителями. Отнявший право поступать согласно обстановке теряет право взыскивать. Родилась порука безответственности. Таково родословие шаблона.

При общей тенденции к расширению посевов урожайность российской яровой и озимой пшеницы за последнее трехлетие (1962—1964 годы) не выросла, а даже снизилась по сравнению с трехлетием предыдущим. О белковой ценности урожая мы уже говорили.

Гораздо сложнее проследить влияние науки на хлебное дело. В ней было столько противоречивых тенденций, подчас одна отрасль так старательно зачеркивала завоевания другой, что вычертить итоговый вектор — дело мудреное.

Широко и по заслугам пропагандировались завоевания селекции. Живущие вопреки завету «хлебом единым», селекционеры в последние годы сдавали один блистательный сорт за другим. Создание сорта — вообще подвиг.

«Новая порода начинается с одного зерна, — писал один публицист, о книге которого мы ниже расскажем. — На следующий год оно произведет только несколько зерен; они должны быть собраны с величайшей осмотрительностью... Пройдет еще год—другой, пока удастся собрать что-либо похожее на жатву этих зерен, и то, пожалуй, кукольную... Может быть, только лет через десять новая пшеница покроет площадь в одну двадцатую акра; с этого момента прогрессия начинает расти быстрее, ее результаты становятся осязательнее.

Но прежде чем будет достигнут этот результат, может случиться, что исследователь придет к заключению, что его новая пшеница ничуть не лучше старой, не более плодovита, не лучше противостоит болезням, не богаче питательными веществами, чем та, от которой происходит... что годы упорных исследований и забот пошли насмарку.

...может быть, изо всех одна оказалась лучше старой. Она-то и есть избранница, на погоню за которой никакая затрата времени и труда не слишком велика».

На Кубани глубоко чтят Павла Пантелеймоновича Лукьяненко, создателя знаменитой «безостой-1». Чтят как ученого, так дорого заплатившего за свой подарок народу.

Немцы подступали к Краснодару, Павлу Лукьяненко предложили эвакуироваться. Он мог взять или семью, или ценнейшую коллекцию пшениц. Ученый договорился, что семью увезут, оставил ее на попечение шестнадцатилетнего сына Геннадия, сам же спас коллекцию.

В Азербайджане он встретил семью, но без сына. Казачонок-комсомолец Генка, рослый и боевой парень, остался партизанить. Он, видимо, получил приказ уничтожить селекционные посева, упрятать оставшиеся семена. Их был уже целый отряд — Павел Калита, Александр Нестеренко, Петр Черкашин... Смелые, но необстрелянные, доверчивые ребята, они поддались на провокацию. СД подослало переодетых в красноармейские шинели изменников, парни пошли с ними — и были расстреляны на берегу Кубани, недалеко от полей Лукьяненко.

По возвращении отец нашел свежую братскую могилу. Он перенес тела сына и его товарищей под окна своего старого кабинета, и вот уже двадцать лет в институтском розарии стоит гранитный обелиск, список имен на котором начинается: Лукьяненко Г. П.

«Безостая-1» сотворена из спасенных коллекций. Это исключительный по урожайности и неполегамости, сильный сорт, его распространение по югу страны — воистину победное шествие: в считанные годы — миллионы гектаров. Прибавка урожайности за счет сорта — десять, пятнадцать и более центнеров! Но «безостая-1» — чудо только в том смысле, что способна отлично использовать обильное питание. Это сорт для отличных предшественников и прежде всего (по мнению зерноградской станции) для чистого пара. Исследования убедили всех в том, в чем сам Лукьяненко и не сомневался: «безостая» — способная на рекордное содержание клейковины, на исключительную урожайность при посевах на пару и люцерне — становится довольно заурядной пшеницей, если поле истощено. Распространение «безостой» совпало с борьбой против паров и трав, той борьбой, которую «научно обосновала» другая группа ученых, наиболее чутких к конъюнктуре.

И странное дело: после полного перехода на возделывание сильного сорта-шедевра Кубань практически перестала заготавливать сильные пшеницы! В самом деле, в 1962 году Краснодарский край заготовил 1,8 миллиона тонн пшеницы, в том числе сильной (с 28 процентами клейковины) только 5 тысяч тонн, в 1964 году отношение было еще хуже: 1,2 тысячи тонн сильной на 1,58 миллиона тонн заготовок. В последних статьях П. П. Лукьяненко настойчиво повторяет по сути дела одну просьбу: дайте пары, дайте люцерну, дайте азот под «безостую-1»!

Вот один из случаев, когда завоевание одной отрасли науки значительно обесценилось воздействием другой. Что-то подобное обнаруживаем и в судьбе другого редкостного, тоже отмеченного Ленинской премией сорта — «саратовской-29» Валентины Николаевны Мамонтовой.

Этому сорту повезло в пропаганде. Уже который год в печати повторяют восторженный отзыв Кент-Джонса, законодателя западных мукомолов, о «саратовской-29»: «Превосходный сильный образец, совершенно выдающаяся». Что и говорить, для лондонского ученого, для английской сдержанности вообще — удивительное проявление чувств. Но странно: с чего это большой знаток зерна стал ломиться в открытые двери, то есть хвалить достоинства русских пшениц? Ему ли не знать, что на русских сортах выросло хлебное дело Канады и США? Нет, Кент-Джонс не твердит зады, он имеет в виду перспективы. Вот что он пишет выше:

«Это одна из самых сильных пшениц, которые мы подвергали анализу за последнее время, — говорит он о «саратовской-29». — Эта краснозерная яровая пшеница заметно сильнее, чем большинство лучших пшениц «манитоба» (канадских. — Ю. Ч.), которые мы получали, и она может улучшать большее количество мягкой слабой пшеницы. Если бы имелись в наличии регулярные и надежные

коммерческие образцы этой пшеницы, то мы уверены, что она потребовала бы очень хорошей надбавки в цене».

Вот, оказывается, в чем дело: Кент-Джонс отдает пальму первенства советскому селекционеру, но одновременно напоминает, что сорт, даже самый блестящий, становится экономическим явлением лишь тогда, когда есть «регулярные и надежные коммерческие образцы», когда производство сделает успех учебного хозяйственной реальностью.

Та же история: широкое распространение сорта — и резкое падение достоинств зерна из-за плохих предшественников, из-за засоренности и вредителей. Валентина Николаевна Мамонтова говорила мне, что подчас не узнает своей «саратовской-29» в тех образцах, что присылают ей, — так низка натура и стекловидность зерна.

Институт Юго-Востока, в котором работает Валентина Николаевна, почти одновременно с «саратовской-29» дал производству ряд других новых мягких пшениц с высоким содержанием белка. Сорта, созданные в Саратове, занимают уже большую половину посевов сильной и твердой яровой пшеницы в стране. А сама Саратовская область в прошлом году выполнила план заготовок сильной пшеницы на... 0,3 процента. Область лучшего в мире хлеба не дала материала для знаменитого саратовского калача.

Но нельзя представлять дело так, будто на селекционном фронте — сплошные победы и вся беда в агротехнических провалах. В последнее десятилетие мы создали громадный новый пшеничный цех — целинные районы, но ему не дали сорта, который бы стоял на уровне «безостой-1».

Прошлой осенью Терентий Семенович Мальцев показывал мне поле прекрасной, но полностью полегшей пшеницы. Влажный год, а поле было паровое, слабый стебель не удержал колоса. На две трети урожай потерян.

— Если б селекционеры дали нам неполегающий и скороспелый яровой сорт, я, честное слово, закричал бы на всю страну: «Дайте им Золотую звезду!» — сказал Мальцев.

В прошлую уборку я видел, как ошибся в определении урожая один из самых опытных агрономов Сибири — Николай Михайлович Климанов из совхоза «Боевой». Лето было дождливое, колос обещал самое меньшее стопудовый урожай, но подточила болезнь влажного года — ржавчина.

В таких хозяйствах не структура посевных площадей, не агротехника — именно отставание селекции тормозит хлебное дело.

Известно: академик Н. И. Вавилов в своих «Основных требованиях к сорту пшеницы», описав идеал, которого не было, составил программу деятельности селекционеров. Из сорока шести его требований для Сибири, вероятно, важнейшими будут, кроме высокой продуктивности и отменного качества зерна, неосыпаемость, устойчивость к засухе, скороспелость, непрорастание зерна в валках. Н. И. Вавилов подсказал и путь к быстрому успеху для сибиряков: «Короткий вегетационный период Канады, в особенности в северных районах, заставил вести селекцию на скороспелость... Северные ассортименты зерновых хлебов Канады должны быть всемерно использованы в СССР как для прямой культуры, так и для скрещивания с нашими сортами».

Конечно, брать или не брать для прямой культуры заокеанские семена — вопрос дискуссионный. Но, вне всяких сомнений, наука должна была бросить лучшие силы, чтобы снабдить новый пшеничный цех достойными сортами. Ничего путного ни Алтайский, ни Сибирский научно-исследовательские институты сельского хозяйства не предложили агрономам.

Зато Алтайский институт в лице своего директора Г. А. Наливайко выступил с пропашной системой. Об этой «услуге» сельскому производству уже писано, мы лишь отметим, что ни одно конъюнктурное предложение со стороны науки так не напортило пшеничному производству, как это. Допустим, Г. А. Наливайко не хотел, чтоб монополия травополя была во всем Союзе замещена монополией пропашной системы. Допустим, счет на кормовые единицы, которым доказывались

преимущества пропашной, был просто модным и директор института забыл о растительном белке, ради которого и сеют-то хлеб. Но ведь он знал об опасности засорения — он же сам сперва парами очистил институтские поля, затем уж заявил об их, чистых паров, ненужности. Уроженец казахских степей, он не мог не знать о черных бурях и ветровой эрозии! В споре с Институтом зерна в Шортандах алтайцы оказались победителями, свидетельства тому — жестокая критика, которой подвергался шортандинский директор А. И. Бараев, и звание Героя Социалистического Труда, которое было присвоено Г. А. Наливайко. Цена этой «победы» — быстрое развитие ветровой эрозии на Алтае, распространение овсюга на громадной территории — от Оби до Волги.

Надо помнить о тогдашней обстановке. Нельзя на одного человека взваливать вину и за падение белкового содержания кубанских пшениц, и за эрозию в Хакасии. Но что перед нами образчик научной угодливости, пример деятельности по давнему завету «чего изволите», что авторы догмата о полном отказе от паров и о сплошной зяблевой обработке должны принять на себя долю моральной ответственности за последствия — это несомненно.

Однако, к чести Г. А. Наливайко, он не использовал авторитет научного учреждения для оправдания разных бед производства. Кукурузой он старался бороться с овсюгом — и только. На целинных же землях во всю ширь развернулась способность иных ученых находить оправдания для самых невероятных безобразий в земледелии. Находить оправдания и использовать для их пропаганды свое монопольное положение в науке. Это уж нечто похуже, чем простое угодничество.

Летом 1960 года в целинные районы приехал академик Лысенко. Омичи встречали его, как земляка: всевластный глава агробиологической науки жил в эвакуации на Иртыше. После его поездки по степным совхозам составилось мнение, что академик «здорово подначивал»: дескать, овсюга столько, что он, наверно, у вас от овса родится.

Но это не было «подначкой». Задолго до этого президент ВАСХНИЛ выступил со своей теорией биологического засорения. Правда, пропагандировалась она с какой-то стыдливостью, отнюдь не с тем напором, как яровизация, гнездовые посадки дуба, посадка картофеля глазками, и только из специальных журналов можно было узнать, что овес, а также пшеница и рожь охотно перерождаются в овсюг. Но вот овсюг стал подлинным бедствием. Масштабы его распространения ошеломили академика, судя по его же статье, и теория о самозарождении сорняка в недрах хлебных злаков была доложена целинникам как крупное завоевание биологической науки.

В Прииртышской степи, в Одесском районе, был у меня хороший знакомый, старый венгр, попавший в империалистическую войну в плен, да так и оставшийся в Сибири. Он женился на сибирской украинке и научился не русскому, а той помеси украинского с русским, на котором многие говорят в степи. Звали его Шандор Швыммер, а отец у него был Иштван. А стал он Александром Степановичем. Долгие годы руководил колхозом, был горазд на выдумки. Это он придумал сеять невероятную смесь из подсолнуха, ячменя и пшеницы. Невозможно разобрать, что посеяно, зато и не заберут в пору заготовок, — а хозяйство с фуражом! Но пшеничные поля у него всегда были исправные. Зимой и летом дед Швыммер ходил в валенках, был грузным, страдал одышкой, но ума и насмешливости ему было не занимать!

В начале августа, когда газеты напечатали памятное выступление Лысенко перед целинниками, я был у них в районе. започевал у Швыммера. Дед, не очень сильный в русской грамоте, приготовил на вечер газету с выступлением и заставил меня читать, а сам комментировал.

Лысенко признавал, что поздний сев урожайнее раннего, и все-таки требовал сеять рано: ведь убирать в августе лучше, чем в сентябре.

— Це як той из анекдота. Потерял пятак в тьмоте, а шукает под фонарем.



«Чего ж ты тут шукаешь! Ты ж не тут втерял?» — «А тут светлее, лучше шукать», — разъяснял самому себе дед Швыммер.

Академик утверждал, что ранний хлеб гибнет вовсе не от засухи, а от весеннего голодания растений.

— Ага, не вмер Данила, болячка задавила. Мне б узнать, як зробить, щоб он живой остался... Только чего-то, як дожди в маі, так и голодания того нема, все прет из земли? — вопрошал дед.

Лысенко выступал за чистый пар, но главным образом потому, что пар избавляет хлеб от весеннего голодания и можно рано сеять, рано убирать.

— От брехня! — качал головой председатель. — Паровое ж поле — самое мокрое, в него ж никогда рано не въедешь. Весновспашку ведем, уже зябь заборонили, а на пару еще сыро. То ж пацану известно!

Далее Лысенко объяснял, откуда берется овсюг: «Наша мичуринская биология, развивая дальше дарвинизм, доказала и показала, что в соответствующих условиях одни биологические виды довольно быстро могут породить другие биологические виды... Овес может породить овсюг... Зерно одного вида, допустим твердой пшеницы, «беременно» другим видом — мягкой пшеницей или овес — овсюгом и т. д.».

Швыммер, услышавший об этой теории впервые, пришел в восторг:

— Стой, так и напечатано — «беременно»? Посеешь одно, а вырастет другое! Понятно. У каждого растения свой чин. Овес чином выше, овсюг — ниже. Пшеница «мелянопус» — полный заводелом, а «милтурум» — вроде заместитель. А почва — та хочет, чтоб кадры не росли, а вниз катились. Слухай, а обратно можно? Если по доброму пару да влупить овсюга — вырастет овес? Жалко, а то б засыпались зерном... Наниз, значит, можно, а наверх — никак.

Академик подсказывал и как остановить это перерождение одного злака в другой: «Для этого наряду с очищением полей необходимо закрыть и первоисточник появления овсюга, то есть его порождение, например, овсом; закрыть и первоисточник засорения твердой пшеницы мягкой пшеницей. В целинных районах очень мало площадей засеивается твердой пшеницей, крайне нужной для нашей страны. Причиной этого является только то, что твердая пшеница сильно засоряется мягкой пшеницей».

Итак, известны овес и не сеять главный целинный злак — мягкую пшеницу. Иного вывода из этих рекомендаций не сделаешь.

Дед Швыммер, хлебороб старый и умный, не верил ни единому слову этого наказа. Если бы он поверил, то погиб бы как хозяин. Но сколько молодых, загипнотизированных академическим званием, приняли все это за непреложную истину!

Эти рекомендации до сих пор не отменены, по сей день находятся в агрономических библиотеках как завоевание науки, доблестно сокрушившей менделизм, морганизм, вейсманизм.

Вольно материалисту верить в колдовские наклонности злаков, хотя приятие чего-либо на веру — самоубийство ученого. Но на то и существуют научная информация, международный обмен делегациями ученых, журналами, книгами, чтоб иметь возможность взглянуть окрест себя, знать происходящее за рубежами. Сам поток этой информации помогает уберечься от «комчванства» — и легких его случаев, и патологических вроде биозасорения.

Через несколько месяцев после речи Лысенко был подписан документ о мерах борьбы с овсюгом. Издал его человек, которому самой судьбой назначено знать меньше о сорняках, чем академику ВАСХНИЛ. То был король Швеции. Подготовленный учеными указ исходит из довольно банальной истины, изложенной еще в священном писании, о том, что всякая растительная форма сеет «семя по роду и по подобию ее». Овсюг стал опасностью для северной страны, становящейся экспортером зерна, — и были приняты жесткие меры. Ввозить, перевозить, продавать-покупать хлеб, в килограмме которого два семени овсюга, запрещено.

его предписано размалывать на месте. Муку или дерть высочайше повелено перевозить в цистернах, чтоб случайно уцелевший сорняк не попал в землю. Фермы, поля которых засорены, приказано окружать полосой чистого пара в пятнадцать метров шириною. Карантин, решительные меры агротехнической и химической борьбы — и дела овсюга плохи. Можно подтрунивать над указанием вытряхивать мешки (не зацепился бы овсюжок), но, в общем-то, рекомендации такого рода поймут и исполнят.

В Канаде сорняки наносят ежегодный урон в двести миллионов долларов, но там, по свидетельствам наших же ученых, овсюга практически нет. Чистые пары есть, миллионы гектаров пшеницы есть, а овсюга нет. Пшеницы «манитоба» почему-то не «беременные» черной напастью. А ведь они потомки наших российских пшениц!

Конечно, русская и советская пшеница никогда бы не могла быть мировым эталоном качества, если бы русская и советская агробиология прозябала на уровне теорий биологического засорения. Нет, у нашей науки о зерне другие корни, иные традиции, иное восприятие сущего.

### III

Мобилизовать растительный капитал всего земного шара и сосредоточить в СССР весь сортовой запас семян, созданный в течение тысячелетий природой и человеком.

*Н. И. Вавилов.*

Пшеница — самый древний, самый главный хлеб человечества. Любопытно узнавать, что в четвертом тысячелетии до нашей эры обитатели нынешней Украины лепили статуэтки женщин, божков плодородия, из глины, замешанной с семенами пшеницы, да не какой-нибудь, а твердой, высокобелковой. Занятно встретить на страницах труда Вавилова фотографию египетского барельефа: жнут жнецы, и опять-таки пшеница отменная — твердая. А не интересно ли узнать, что другу Аристотеля Теофрасту уже ведомо было множество сортов мягкой пшеницы — грек отличает понтийскую и фракийскую, египетскую и сицилийскую... Позже Плиний Старший перечислит сорта римского импорта: Вечный город ел привозной хлеб.

Пшеницу сейчас возделывают на всех континентах, ее сеют у полюса холода и в Африке, ниже уровня моря (Азербайджан) и на высоте четырех километров (Перу).

А главное пшеничное поле планеты — в СССР!

Мы занимали ею в 1963 году больше шестидесяти семи миллионов гектаров, тогда как США — только восемнадцать миллионов, Индия — тринадцать с небольшим, Канада — одиннадцать миллионов га.

Человечество, приспособлявая удивительно пластичный злак к разным условиям, руками селекционеров вылепило четыре тысячи сортов: яровых и озимых, мягких и твердых, остистых и безостых — отличительным признакам их несть числа.

«Советский Союз не только занимает первое место в мире по площади мягкой и твердой пшеницы. В пределах его территории оказался максимум мирового видового и сортового разнообразия пшеницы...» (проф. П. М. Жуковский).

Род людской давно уже отобрал сорта строгого назначения. Давно нет «пшениц вообще».

Есть пшеницы слабые, их производят страны с влажным морским климатом, клейковина этого зерна весьма посредственна, содержание белка низко, и нужны прибавки отменных пшениц, чтоб хлеб Дании и Англии, Польши и Швеции, наших Литвы и Смоленщины стал высоким, пористым и достаточно питательным.

Взрослому человеку нужно в сутки будто и немного: сорок — шестьдесят граммов растительного белка. Но уж без этого «малого» не обойтись, и главный источник протеина — хлеб насыщенный.

Есть сорта средние по силе, их мука дает хороший хлеб. Это наполнители.

Гордость же мирового земледелия составляют сильные пшеницы. Это хлеб сухих солнечных степей, хлеб прерий и пампы, это пшеницы-улучшители. В них превосходная клейковина, высокое содержание белка. Хороший хлеб получается из муки, в которой уже четырнадцать процентов белка. В улучшителях содержание белка подчас переваливает за двадцать процентов.

Это о мягких пшеницах.

Особняком стоит «жемчужина среди зерновых культур» (В. Р. Вильямс) — пшеница твердая, «дурум». Ее сеют сравнительно мало (около десяти миллионов гектаров на всей планете). По качеству клейковины она считается не очень хорошей для хлебопечения, да и жалко ее тратить на хлеб. «Дурум» — это макароны, манная крупа, сырье для кондитеров.

Пшениц хороших много. Но «крупнейший мировой массив пшеницы с высоким содержанием белка находится в СССР, именно на юго-востоке европейской части, в Казахстане и в степной части Западной Сибири» (Н. И. Вавилов). Это касается и мягких сортов, и янтарного «дурума»: «Попав некогда в Россию, популяции средиземноморских твердых пшениц подверглись здесь изменениям, и в результате отборов русские твердые пшеницы уже давно имеют мировую репутацию наилучших по качеству зерна» (проф. П. М. Жуковский).

Всякие сомнения в этой части рассыпаются при знакомстве с историей хлебного дела Северной Америки. Русские эмигранты в 1874 году завезли в Канзас «крымку», там она стала называться «торки ред» — «красная турецкая». Один из лучших сортов США «хоуп» выведен из скрещивания с ярославской полбой. В 1897—1898 годах американский профессор Нильс Хансен на повозках и в санях покрыл шесть тысяч километров по Сибири и Казахстану, его экспедиция обогатила селекцию Нового Света множеством староместных русских сортов. Мягкие скороспелые «ладага» и «онега» послужили основой для создания канадских сортов «прелюд», «риворд», «престон»... А ведь худого, даже среднего не берут.

В самой же России есть «заповедный сусек». Это Заволжье, Саратов.

Еще название города оставалось синонимом страшной глуши, еще чиновники за бесценно раскупали громадные площади целины, а крестьянская сметка и старательность уже готовили ему всероссийскую славу, отбирая сорта для саратовского калача. Зимами в селах по Еруслану и Большому Иргизу по бубочке перебирали семена, и крестьянский мальчик крепко знал, какое зерно у «русака», какое — у твердой остистой «белотурки», какое — у мягкой безостой «полтавки». Друг селекционеров, чапаевец, старый колхозник с Еруслана Илья Федорович Курдупов рассказывал мне:

— Бывало, просишься мальчонкой на горку, а дед тебе — ковш семян: перебери сперва. Сидишь, перебираешь: налево — твердая, направо — мягкая. Если словчишь в спешке — дед перстом в лоб... За зиму переберешь мешок. Скупщижи платили за твердую рубль с пятаком, за мягкую — восемь гривен.

Крупчатники на мельницах Бареля, Шмидта, Степашкина были большими знатоками дела. Заведующий технологической лабораторией зерна Института Юго-Востока А. И. Марушев вспоминает:

— Я выросал во дворе, где снимал квартиру крупчатник. Это был очень уважаемый человек. Когда он шел с работы, весь белый, как дед Мороз, мы стили, здоровались. Он знал секрет смеси для саратовского калача. В общем-то, они смешивали две трети мягкой с третью твердой, используя «дурум» как улучшитель, но у каждого были еще свои хитрости...

Конечно, и тогда в Заволжье случались засухи, случалось и лебеду есть, но общий уровень зернового дела был довольно высок. На хорошем подвое крестьянской селекции и вырос один из знаменитых центров мировой хлебной науки —

Саратов. Трогательно, что виднейший зерновик Алексей Шехурдин иллюстрировал свой труд «Результаты селекции местной пшеницы «полтавка» снимком «Первые селекционеры»: крестьянские дети, мальчишки и девочки, босые, прокаленные, отбирают колосья...

Без научных завоеваний саратовцев Советская Россия не смогла бы так быстро поднять качество экспортного хлеба на громадную, внеконкурентную высоту.

Еще недавно перед главным корпусом Института Юго-Востока на окраине города стояло три окрашенных под бронзу бюста. Среди них — саратовского селекционера Шехурдина. Теперь они сняты.

При всей осторожности в обращении с бронзой, было бы только справедливым отметить ею и труд этого селекционера, и научный, духовный подвиг других саратовцев... Сорок лет проработал здесь крестьянский сын Алексей Павлович Шехурдин, создал множество пшеничных сортов.

Именно здесь в июне 1920 года тридцатитрехлетний профессор Саратовского университета Николай Иванович Вавилов сделал свой знаменитый доклад о законе гомологических рядов. В растительном мире была открыта стройная система, поиск нужных форм отныне мог стать планомерным. Значение открытия точно выразил один из участников ученого собрания, сказав об аплодисментах зала: «Это биологи приветствуют своего Менделеева».

Однако одного открытия теории центров происхождения культурных растений было бы достаточно, чтоб имя Вавилова сохранилось в мировой науке. В самом деле, прошло уже не одно десятилетие после его гибели, а вот Международный ботанический конгресс постановляет: созвать симпозиум на тему — что сделано по центрам происхождения? На первой странице крупнейшего международного журнала «Heredity» («Наследственность») рядом с именами Дарвина, Линнея, других корифеев ставят русское имя: Vavilov.

Ученый-мыслитель был и великим опытником, и организатором советской науки. Он создал Всесоюзный институт растениеводства, руководил Институтом опытной агрономии, Институтом генетики, был первым президентом ВАСХНИЛ. Мичурин растроганно писал: «Вавилов — выдающийся деятель науки, светлая голова... Ведь это он мою работу так выдвигает, так помогает в расширении наших работ... Как он любит все новое!»

Задача, поставленная Вавиловым перед самим собой и коллегами, грандиозна: собрать на родине весь ассортимент культурных растений земли, заставить селекцию всех континентов служить социализму. Человек-легенда, полиглот, храбрый землепроходец, он в седле преодолевал кручи Памира, искал редкостные пшеницы в Эфиопии и Египте, отправлял ящики с коллекциями из Монголии и с Крита, извездил Корею и Канаду, США и Палестину, Марокко и Индию, Португалию и Иран... Гигантская задача выполнялась с небывалой быстротой и энергией. Коллекция ВИРа насчитывала двести тысяч образцов, уже в ста пятнадцати точках Союза шло изучение растений-новоселов, уже многие миллионы гектаров занимали посеы сортов, завезенных Вавиловым и полученных из его материалов, уже советская биология была признанным вожакom мировой науки о наследственности, а былого саратовского профессора считали честью принять в свои члены крупнейшие академии мира... когда произошло непоправимое.

В одной из книг Николай Иванович пишет об опасностях, поджидающих исследователя в пути:

«Вот как будто и пройден самый трудный путь, можно сесть верхом на лошадь и двигаться дальше. Неожиданно из скал наверху над тропой из гнезда вылетают, размахивая огромными крыльями, два крупных орла. Лошадь всхрапывает и начинает вскачь нести по тропе... Поводья от неожиданности выпали из рук, приходится держаться за гриву. Над самой головой выступы скал. А внизу, в пропасти на тысячу метров, бурно течет красивый синий Пяндж... Это то, что впоследствии больше всего вспоминает путешественник. Такие минуты дают за-

калку на всю жизнь, они делают исследователя готовым ко всяким трудностям, невзгодам, неожиданностям».

У тех, кто заступил его творческий путь, ничего орлиного не было. Они не тонули в горных реках, не знали ни зноя пустынь, ни радости находки редкого злака. Новый президент ВАСХНИЛ Лысенко и его сотрудники повели методическую кампанию травли. Дорогой Мичурину человек был объявлен его врагом. Арестовали Вавилова прямо в поле — в тот день, путешествуя по Западной Украине, он открыл последнюю в своей жизни разновидность пшеницы.

Вся закалка героической жизни понадобилась академику Вавилу для преодоления трудностей, к которым он не готовился.

Прихоть судьбы: человек, посвятивший себя пшеницам, был привезен умирать в пшеничный центр Союза — Саратов. Ниже по Волге заканчивался разгром армии Паулюса, когда в саратовской тюрьме скончался еще один заключенный, и советская биология стала ниже на одну голову, голову гения.

Толчок, сообщенный Вавиловым нашей биологии, был так мощен, что сама «инерция» принесла колоссальные практические результаты. Когда Дмитрий Николаевич Прянишников в отчаянье бессилия телеграммой представил заключенного Вавилова к Сталинской премии за создание мировой коллекции, он просил осознать хотя бы хозяйственный выигрыш государства. Триста пятьдесят сортов культурных растений выведено на основе вавиловских материалов. Возьмем один из них. Нужен глобус, чтоб ознакомиться с родословной «безостой-1». Среди ее предков — два сорта из США, пшеницы Голландии и Италии, Англии и Средиземноморья. А прочная низкая солома, делающая шедевр Лукьяненко культурой обильного питания, взята в наследство у аргентинских хлебов. Сам принцип — скрещивание географически отдаленных сортов — это тоже Вавилов. «Все флаги в гости будут к нам», и превосходный русский колос станет лишь крупнее, прекраснее.

Да, одаренность, трудолюбие, страсть. Но и — обстановка! Тип ученого, олицетворенный в Вавилуе, выросал в благоприятнейшей обстановке чуткости и требовательности, «открытости» для всего лучшего, что создано в мире, и ненависти к «коммунистическому чванству», зазнайству и ограниченности. Эта обстановка охранялась Лениным. Держать в поле зрения планету, не изобретать изобретенное, а брать его, приспособлявая к своим условиям, уважать научное достижение даже идеологического противника — требования Ленина.

Через неделю после смерти Владимира Ильича управляющий делами Совнаркома Н. П. Горбунов напечатал в «Ленинградской правде» статью «Отношение тов. Ленина к технике и науке». Интереснейший материал тоже долго оставался под спудом: автор статьи погиб в период репрессий.

«В последнее время Владимир Ильич проявил совершенно исключительный интерес к задачам сельскохозяйственной науки, — свидетельствует Горбунов. — Летом 1922 года Владимир Ильич, будучи уже больным, послал мне через Марию Ильиничну за границу поручение — собрать и привезти с собою все материалы, касающиеся «Обновленной земли». Никаких объяснений, что такое эта «Обновленная земля», в письме не было. Мы были поставлены этим заданием Владимира Ильича в тупик.

...я написал в Москву Владимиру Ильичу чистосердечное признание в своем незнании и в том, что хотел его скрыть... «Обновленная земля» оказалась книгой, написанной американцем Гарвудом и переведенной на русский язык покойным проф. Тимирязевым. В книге этой в чрезвычайно убедительной форме описывались достижения в области применения сельскохозяйственных наук в Америке.

Впоследствии, по моем возвращении в Москву, Владимир Ильич, уже лежа в постели, неоднократно возвращался к вопросу об «Обновленной земле», горько сетовал на нашу косность и бюрократизм, благодаря которым люди не желают и не умеют видеть вперед.

«Что-то не видать у нас обетованной земли, — говорил Владимир Ильич. —

Узнайте в Наркомземе, сколько вагонов усовершенствованных семян привезли из-за границы?»

Книга А. Гарвуда теперь уже старая (впервые на русском ее издал Сытин в 1909 году). Она подчас велеречива — с «притязанием на литературность», словно извиняется за автора К. А. Тимирязев. Писателя при желании можно назвать бардом американского сельскохозяйственного капитализма. Но Ленина-просветителя, Ленина-организатора не смущал, как видим, рекламный дух книги: он отделял злаки от плевел. А Гарвуду можно многое простить ради таких ясных, емких мест:

«В наше время возделывающий землю должен приступать к своему делу в таком же вооружении знания, как адвокат, издатель, доктор или «капитан», управляющий промышленным предприятием: теперь для всякого стал ясен дикий факт, что то призвание, для которого еще недавно безграмотный неуч считался столь же пригодным, как и человек образованный, — что это призвание предъявляет настоятельное требование знаний, столь же широких и разносторонних, как и в любой иной человеческой деятельности».

Из этой книги выше мы цитировали рассуждение о селекционере. А вот что говорит автор о результатах труда зерновиков Нового Света:

«Новые пшеницы, обладающие значительно большей урожайностью, при тех же питательных качествах, существуют не на опытных только делянках, но и на фермах передового американского агронома, покрывающих тысячи акров. Мало того, были выведены новые пшеницы, подходящие к данному климату, вследствие чего были завоеваны громадные площади заброшенной земли...»

У Советской России не было тракторов, химикатов, но уж в селекции-то мы не были отстающей страной. И все же — «сколько вагонов усовершенствованных семян привезли из-за границы?». Взаимообмен нормален, необходим. Так же, как обмен завоеваниями мысли. Контакты, дискуссии, связи ученых, бывшие от века первой потребностью людей науки, советской властью были возведены в ранг государственной политики.

В библиотеке Владимира Ильича находились две книги другого саратовца, Николая Максимовича Тулайкова. К одной из них («Организация распространения с.-х. знаний среди населения С.—Штатов») написала предисловие Н. К. Крупская.

«Недавно ездил в командировку в Америку с целью изучения постановки земледелия в Северо-Американских Штатах виднейший из наших российских агрономов, проф. Н. М. Тулайков... — писала Надежда Константиновна. — Статья проф. Тулайкова... написанная на основе личных наблюдений, имеет для нас громадный интерес. Мы должны внимательнейшим образом учитывать опыт буржуазных стран, должны — пропуская его через призму наших условий, нашего коммунистического мировоззрения — широко использовать его для наших целей».

Надо осознать направленность последней фразы: не м о ж н о приглядываться к зарубежному опыту, не жел а т е л ь н о учитывать его достижения, а м ы д о л ж н ы, обязаны, для нас совершенно необходимо иметь постоянно в виду научный и практический уровень заграницы! Иначе — «комчанство», потеря требовательности и — порождение овсога овсом...

Так организовывалась борьба за (скажем современно) уровень мировых стандартов, так определялся патриотизм советского ученого и специалиста. Национальная гордость вместе со стремлением к выгоде для своей страны и народа. Признание силы противников по идеологии, партнеров по экономическому соревнованию — и глубокая убежденность в своей победе.

Неточно будет сказать, что Тулайков пал жертвой клеветы. Ведь «виднейший из наших российских агрономов» в самом деле был убежденным противником монополии травополя, поддержанного Сталиным, и не скрывал своих убеждений.

Н. М. Тулайков, как известно, был сторонником пропашной системы. Но имя его все поминалось теми, кто пропашным единообразием хотел заместить моно-

полю травополя. Да, Тулайков считал пар плохим влагонакопителем в сухой степи. «Но мы рассматриваем пар, — писал он, — как средство борьбы с сорняками для создания лучшей обстановки для пшеницы. И если явится возможность провести радикальное уничтожение сорняков другими приемами, например химическими препаратами, то от применения паровой обработки в таких случаях мы охотно откажемся». Отказываться от приема не раньше, чем другой, более прогрессивный, сможет заместить его. Как непохоже это на запрещение паров, когда в Российской Федерации обрабатывается гербицидами только шесть процентов площадей! (Правда, теперь в Канаде химическая защита от сорняков применяется почти на всех посевах, и все же пар используется широко — именно как средство влагонакопления.) Отвергая Вильямса, сторонники пропашной одновременно взяли у него догмат о том, что «порядок основной, или яблевой, обработки относится ко всем почвенным разновидностям, всем климатическим зонам и всем последующим культурам». Тулайков издевался над таким подходом, считая, что здравомыслящий агроном не может работать «в каких-то средних выдуманных, а не существующих в действительности условиях». Тулайков не терпел шаблона!

Знавшие Н. М. Тулайкова ученые (его ученик омский профессор А. Р. Кожевников, лауреат Ленинской премии В. Н. Мамонтова) рассказывают о его пропагандистском таланте. Каждое заграничное путешествие Тулайкова непременно заканчивалось серией публичных выступлений, он откровенно и доступно сообщал об увиденном, сравнивал, радовался нашим успехам, будил мысль...

Дерзкая задача: представить, что говорил бы сегодня, сейчас ученый класса Вавилова и Тулайкова, вернувшись домой, в Саратов, из поездки в одну из ведущих зерновых стран — скажем, в Канаду. О чем бы он счел нужным рассказать рядовым агрономам, руководителям хозяйств, управлений?

Конечно, его речь вместила бы в себя и опубликованные крохотными тиражами наблюдения побывавших в Канаде наших ученых, и обеспокоенность зерновиков делами «заповедного сусека».

Люди наверняка услышали бы, что мировые стандарты не стоят на месте. Под воздействием больших переходящих хлебных остатков в старых странах-экспортерах — США, Канаде, Аргентине — повысились требования к качеству зерна, а ведь появляются и молодые экспортеры — Франция, Швеция... Долгие годы действовавший международный стандарт белка (12,5 процента) уже не удовлетворяет покупателей. Собственно, покупается теперь, в сущности, не само зерно, а содержащаяся в нем клейковина. Современная мукомольная техника позволяет фракционированием муки по удельному весу получать из одного зерна муку с любым содержанием белка. В Англии для улучшения хлебопекарных качеств слабых пшениц к ним добавляют сухую клейковину. Канадцы усиленно работают над тем, чтоб наладить устойчивый экспорт отделенной клейковины. Доктор Ледингхэм, директор лаборатории района прерий в Канаде, заявил: «Придет время, когда клейковина будет поставляться на рынок как особый продукт. Нашей целью является разделение пшеничной муки на крахмал и клейковину таким образом, чтобы сохранить природные свойства клейковины».

Еще в тридцатые годы Н. И. Вавилов отмечал внимание, какое в хлебном деле Северной Америки придают учету белковых веществ. Он свидетельствовал, что процент белка «ныне выписывается на мешках и во всяком случае обязателен для крупных партий. Каждый вагон имеет указание процента белка». За тридцатилетие многое изменилось. Теперь Пшеничный комитет Канады просто запретил распространение любого, даже самого урожайного сорта, «если он не является носителем генов тех уникальных мукомольных и хлебопекарных достоинств, на которых базируется репутация западной канадской пшеницы более чем полвека». Введены отличные сорта. Собственно, известность канадских мягких яровых пшениц держится сейчас на двух сортах: на старом «тэтчер», который занимает 52 процента площади всех пшениц, и на молодом «селкирк» (27 процентов посева). Урожайность устойчива, в 1963 году с десяти миллионов гектаров собрано 17,6 миллиона тонн пшеницы. Причем качество зерна высокое — в основной массе урожай

отнесен к «манитобе № 2», следовательно, отвечает строгим требованиям по натуре и стекловидности. Среднее содержание клейковины по сорту «тэтчер» — 31,3 процента, по «селкирку» — 35,6 процента. В последнее семилетие Канада значительно подняла белковую наполненность зерна (процент протеина теперь колеблется между 14,3 и 14,9). Учтем, что Канада определяет долю протеина в абсолютно сухом, а не в стандартно-влажном, как мы, зерне, поэтому прямо сопоставлять с канадским наш белковый уровень нельзя. Снисходительны мы к себе и в другом показателе: засчитываем в стекловидные и пятьдесят процентов полустекловидных зерен, тогда как в международной практике ими считаются лишь полностью стекловидные. Миримся мы по старой памяти и с повреждением зерна клопом-черепашкой в пределах одного-полтора процентов. Импортёры же в последнее пятилетие, понимая, что посещение колоса клопом скверно отражается и на поврежденных, и на целых зернах, настойчиво требуют, чтоб вредителем, как говорится, и не пахло. У канадских зерновиков в пшеничных кондициях нет графы о повреждениях вредителем, ибо нет в полях клопа как такового.

Советские пшеницы в последние годы заставляют краснеть работников «Экспортхлеба». Взять ту же поврежденность клопом-черепашкой. На один пароход грузилась пшеница — шесть тысяч тонн. Оказалось, что в ней содержится поврежденных зерен — 3,5 процента. следовательно, процент клейковины низкий — 24, качество ее относится ко второй группе. Если добавить, что стекловидность зерна на том судне составляла 60 процентов, а содержание белка — 13,97, то всякому агроному станет ясно: это очень заурядный хлеб, компрометирующий главное пшеничное поле мира.

Обидно, но факт: наша пшеница в последнее время стала уступать зерну основных конкурентов (США, Канады) по комплексу показателей и использовалась импортёрами не как улучшитель, а как средняя пшеница в помольных смесях местной слабой с канадской «манитобой».

Положим, экспорт не главное. Главное — каким ситным колхозник с Еруслана или Лабы будет кормить рабочего с Невы или Ангары. какой хлеб будет есть сам. Но, во-первых, мы просто не можем не заниматься традиционным для себя экспортом, и заправили рынка отлично понимают временность, исключительность хлебных закупок страны, которая засеивает больше всех. Во-вторых же, рынок — арена борьбы за качество, он неподкупный оценщик уровня зернового дела в стране. Лозунг «На уровень лучших мировых образцов!» в пшеничном производстве означает не достижение, а сохранение нами ведущего уровня. Патриотизм зерновиков в том и состоит, чтобы саратовский калач, украинская паляница были, как и прежде, лучшим в мире хлебом.

Из уймы причин, вызвавших падение качества пшениц «заповедного сусека» России, стоит выделить экономические и агротехнические.

За последнее трехлетие (1962—1964 годы) урожайность пшениц в Саратовской области возросла почти вдвое против трехлетия предыдущего и достигла 10,3 центнера с гектара. И все же она остается намного ниже, чем сборы ячменя. Так как установленная правительством приплата за силу (40 процентов к цене слабой) для хозяйства остается пока журавлем в небе, производить урожайный, да еще с приплатой за «пивоваренность» ячмень стало выгодней. Естественно, что колхозы, особенно чуткие к ценам, начали быстро расширять ячменные посевы. Кроме денежной выгоды, имели влияние и чисто пропагандистские факторы: при выполнении обязательств в понятие «хлеб» охотно включали ячмень, кукурузу и даже горох. В прошлом году область довела заготовки до двухсот миллионов пудов, но собственно хлеба, то есть пшеницы, в этом «каравае» было только 80,4 миллиона пудов, а сильной пшеницы (улучшителя) — всего четыре тысячи пудов. Любопытно сопоставить: в 1913 году здесь на один гектар ячменя приходилось семнадцать гектаров пшеницы, в 1955 году — уже пять гектаров, а в прошлом году — всего полтора гектара! Переключать «заповедный сусек» на производство ячменя, как ни хорош он для пива, — непозволительная роскошь. Это разбазаривание ресурсов солнечной степи, ибо «природой здесь нам суждено» выращивать



лучшие в мире пшеницы. А если пшениц вообще меньше, то меньше будет и отменных пшениц.

Сейчас многое поправлено, но и при новых ценах мягкая пшеница не защищена здесь от опасных конкурентов. Озимая рожь... Средний ее урожай за десятилетие — 9,3 центнера, пшеницы — 7,3 центнера. Поэтому колхоз способен вырывать от гектара ржи больше, чем от гектара пшеницы, и площади под рожью могут теснить заветный злак.

И самое, может быть, главное — материальная заинтересованность, верней, отсутствие ее всюду, где доходит до качества зерна. В большинстве хозяйств заработок тракториста, бригадира, рядового агронома никак не связан с истинной, то есть белковой ценностью хлеба. Знаменитый саратовский бригадир «стопудовик» Никита Отверченко заработал известность на производстве слабых пшениц — они, по его мнению, надежнее. Клейковина, стекловидность, натура останутся для бригады абстрактными категориями до тех пор, пока за категории эти платить не станут. От сорокапроцентной приплаты, если и удастся ее получить, сейчас выигрывает колхоз-совхоз в целом, поощрительная мера не достигает тех, для кого создана.

В ряду агротехнических факторов сейчас, пожалуй, основной — предшественники. Пятая часть пшеницы в области ежегодно высевается по пшенице же. Уже одно это снижает содержание белка в зерне на два-три процента. Кроме того, монокультура зерновых создает изумительные условия для «самозарождения» овсюга. На появление этого «сожителя» пшеница отвечает тем же образом — снижает белок. Уже засорены даже целинные поля основных зерновых районов — Пугачевского, Ершовского, Краснокутского. Сейчас, после мартовского Пленума ЦК, хозяйства получили возможность отвести под пары процентов десять посевных площадей. Этого, конечно, мало: ведь только к 1975 году пропаруют все поля.

Хороший, что и говорить, предшественник кукуруза. Хороший, если у тебя в досталь техники, транспорта и ты можешь вовремя убрать кормовую культуру и вспахать зябь, подготовив почву под зерно для людей. На деле же уборка кукурузы уходит в глубокую осень, а подчас и всю зиму стоят на полях сухие бодылья. Мало автомобилей, тракторных тележек, мало тракторов! Отсюда — поздняя зябь или вовсе весновспашка, в условиях Заволжья способная переполовинить возможный урожай. Но напасти поджидают хлеб, даже когда он вырос. выколосился. Все тот же треклятый клоп-черепашка... На судне, о котором говорилось выше, был еще довольно умеренный процент повреждений. Ведь следы укусов в Заволжье теперь обычно носит пять — семь зерен из ста! Клейковина изменена ферментом насекомого и уже не дает пышного, пористого хлеба. Вредитель становится подлинным бичом «заповедного сусека». Или мы, храня «благопристойность», будем и впредь не замечать клопа-черепашку и тем плодить паразитов в хлебах — или наладим наконец химическую защиту, одновременную обработку больших территорий, спасем уже добытый белок.

Суета при уборке, выдаваемая за организаторскую работу... Так называемая «скоростная уборка», при которой хозяйство обещает скосить хлеб за двое-трое суток, подчас превращает серьезнейшее дело в халтуру: в валки ложится хлеб недозревший, ценность зерна снижается. Вторая сторона этого явления — лихорадочная торопливость при сдаче. Надо бы чуть просушить зерно, еще разок проветрить его, но подходит отчетный день, районный график сдачи трещит, и вали кулем! «Досрочно» отнюдь не значит еще «дельно», «с выгодой». Стандарты, по которым определяется первенство и слава, обязательно должны опираться на жесткую технологию.

Напомню еще раз: этот воображаемый разговор о сильном хлебе строится лишь на повторении моментов, специалистам хорошо известных. Можно уверенно говорить: мысль ученого ушла бы дальше. Куда? К удешевлению хлеба путем автоматизации приемки, подработки, сушки? К проблемам сортообновления? Или в полный голос было бы заявлено, что мы обязаны продолжить начатую Вавило-

вым работу — сосредоточить на своих полях все растительное достояние мира, вернуть той работе государственный размах? Гадать не будем.

Но это — о сильном хлебе. Свои беды у «степного янтара», у прославленной твердой пшеницы.

#### IV

Солнечному, знойному, суровому краю я посвящаю всю свою жизнь.

*Н. М. Тулайков.*

Перед последней поездкой в Заволжье я был в Государственном комитете по пищевой промышленности. Главный специалист комитета Игорь Николаевич Меняев дал мне несколько отличных макаронин из настоящей твердой пшеницы. Они были сделаны в Горьком, но на итальянской поточной линии «Брайбанти». Тускло-прозрачные, цвета топленого молока, они пружинили в руке, как стальные спицы. С этими-то «спицами» в руке я направился вверх по улице Горького. В троллейбусе спросил молодую соседку с хозяйственной сумкой в руке: что это, по ее мнению? Женщина внимательно осмотрела: «Вроде макароны, но почему не белые, не ломаются? Капроновое что-нибудь, да?»

Спросил парнишку в «техасах» и кедах. Он сказал уверенно: «Бездымный порох». А интеллигентного вида дама отломилла кусочек и посмеялась над парнишкой: «Это просто спагетти»...

Крошатся, быстро развариваются, мучнисты на вид макароны из пшеницы мягкой, из обычной хлебопекарной муки. Из твердой они будут напоминать «что-то капроновое». Роговидное на срезе зерно «гордеiforme» и «мелянопуса» дает макароны крепкие, прозрачные, вода после их варки тоже остается прозрачной.

До сих пор у нас, говорил И. Н. Меняев, семьдесят процентов макаронных изделий вырабатывается из мягкой пшеницы: не хватает твердой, мало саратовского, волгоградского, оренбургского и алтайского «дурума». Доктор наук П. Е. Суднов рассказал любопытную историю: после покупки нами итальянских поточных линий его пригласили для консультации — как ухитриться сделать макароны из смеси пшеничных видов? Чистой твердой не оказалось, а линия не приспособлена для работы с примесью мягких — рвется тесто, и все...

По данным Госкомитета, нам нужно для макарон около миллиона трехсот тысяч тонн муки твердых пшениц ежегодно. В прошлом году было заготовлено несколько более миллиона тонн, но сотни тысяч тонн зерна, принятого и оплаченного как «дурум», оказались непригодны для макаронных фабрик: нет стандартной клейковины, стекловидности, видовой чистоты... Уполномоченные Госкомитета роятся в элеваторах, отбирая для макарон что получше из мягких пшениц.

Исконные районы возделывания «степного янтара» — это неширокая полоса, идущая по засушливым степям от Днепра до Оби, через Ростов, Саратов, Оренбург, Омск к Барнаулу. На Алтае, например, твердые «белотурка», «синеколоска». «Синеуска» занимали громадные площади еще в то время, когда в научных журналах вместо современного «земледелие» писали «ниводство», а в отчетах образно, неторопливо сообщали: «пшеница родилась шестым зерном», то есть урожай сам-шесть. Теперь же тщетно было бы искать на Алтае, в Оренбурге, в степях былой Самары ответа на вопрос: что с «дурумом»? Всевластие «вала» потеснило менее урожайную, требовательную к почве твердую. Алтай даже в лучшие годы заготавливает ее всего тысяч сорок тонн, а сбор Башкирии и Куйбышева можно увезти в десятке железнодорожных маршрутов. По-настоящему области «степного янтара» осталось саратовское Заволжье — в иные годы оно дает около половины российских заготовок. Без боязни переоценить заслуги можно заявлять, что тут сказалась деятельность Краснокутской станции, давшей отличные сорта и доказавшей, что твердая пшеница — вовсе не «пластовая культура». В СССР нет института твердых пшениц, хотя в мировых ее посевах нам принадлежит весьма заметное место. Канада сеет немногим больше «дурума», чем наш

Саратов, но специальный институт твердых пшениц там создан... Правда, Краснокутская станция работает плодотворнее, чем иной институт, и линию свою ведет настойчиво.

Вот и план: проехать «заповедным сусеком» и — в Красный Кут, к создательнице лучших сортов «янтая» Анне Степановне Инякиной и супругу ее, защитнику твердой пшеницы Ивану Васильевичу Гушину.

Начинаем день в Пугачеве. Раскольничья Мечетная слобода. приют Емельяна Ивановича. Дома толстостенные, грузные, фасады сплошь в фестончиках, не улица, а череда купчих — идут на гулянье к Иргизу. Даже здание райкома в легкомысленных завитках.

Почему-то тут помнят именно купчих, а не их благоверных. Одной из них — Волковойничихе — принадлежала пятиэтажная, теперь заброшенная, мельница у самой плотины. По преданию, хозяйка в половодье спасала плотину мешками с мукой. Основа в легенде та, что город впрямь был зерноторговым, мукомольным. В старом его гербе — черноусая твердая пшеница.

Плотину и теперь каждую весну прорывает. под конец разлива ее чинят, и река Большой Иргиз превращается в самый, должно быть, длинный пруд на земле. Выше плотины по петлям-извивам даже пароходики ходят, а ниже в тоненьких струях, что просачиваются сквозь насыпь, мальчишки руками ловят окуневых мальков.

Но вот бак обкомовской машины залит, съеден в чайной общепитовский гуляш, промелькнула старая мельница, горсад с наглядной агитацией — и уже степь, холодная утренняя пыль. шелест воздуха в стекле. В июне, близ тех переломных недель, что решают, быть ли урожаю или одолеет суховей, Заволжье красиво. В здешнем пейзаже нет однообразия Кулунды: то заросший прудок, то пологий овражек, то дальняя колокольня качается в мареве. Поля свежи, изумрудны. Все еще впереди, хлеба — сама надежда, и ветер треплет их — ах, такие-сякие, зеленые...

Через каждый десяток-другой километров останавливаемся. Как вторичные корни? Что с влагой? Далеко ли до выхода в трубку? Пшеницы твердой в этих местах сеют все больше: в последние три года везло на дожди. и намолоты были выше, чем у мягкой. Правда, селекционеры Красного Кута предупреждают: разницу создает ржавчина, подтачивающая урожаи мягкой, увлекаться опасно — вдруг засуха.

Проехали Ершов, степной городок.

И вот первый из придорожных краснокутских прудов. На берегу двое паренков лет по двенадцати, в трусах, по-деревенски длинных, собирают в ведро наловленных раков. Уговариваем продать, паренки несговорчивые, долго торгуются...

— Жил старик со своею старухой у самой реки Еруслан ровно тридцать лет и три года. Палат каменных не нажил, полированных мебели, изволите видеть, не приобрел, даже в доктора не вышел, а уже старик... Бросьте, назовем вещи своими именами. Давайте за несбывшиеся надежды, мир праху их, и за чужую молодость! — Иван Васильевич в третий раз поднимает однажды налитую рюмку.

Мы кутим. На столе алеет редиска, желтеет привезенное Иваном Васильевичем из командировки сливочное масло. С суетливой удалью он наполняет наши рюмки, делая вид, что сам пример подает. А Анна Степановна и тут нетороплива, немногословна: подложит яичницы — ешьте без церемоний. В открытое окно. просеянное сквозь гардинку, сыплется закатное солнце, легко, вольно, и мы кутим.

Тридцать три года в поселке селекционной станции, в многоквартирном деревянном бараке. Суровый уют тридцатых годов — венские стулья, железные кровати, некрашенные книжные полки. Несколько приемников — подарки к юбилею. Отдать кому-нибудь — неуважительно: люди хлопотали, дарили... Теперь, я знаю, Иван Васильевич и Анна Степановна вместе получают пятьсот в месяц — фантастические для деревни деньги. Но, во-первых, надо строить дочерям квар-

тиры в кооперативных домах, и денег просто не остается. А во-вторых — на кой шут им сдались эти торшеры — шезлонги, которых, кстати, и не завозят в Красный Кут?

Две параллельно идущие жизни.

Одна — бесконечно трудная, в вечных заботах, эпохи ее разнятся тем, что приходилось доставать: черный хлеб, молоко для детей или (как сейчас) сливочное масло. Итог этой жизни — семьи дочерей и внучата, которых привозят на лето.

Конечно, они могли бы жить безбедно, если б завели хозяйство. Но тогда бы у них не было второй жизни.

Вторая их жизнь — твердая пшеница. Здесь эпохи отмечены сортами Анны Степановны и тем, насколько Ивану Васильевичу удалось потеснить «пропагандство». Сорга — тоже дети. Первый называется «мелянопус-1932», его номер случайно совпал с годом их поселения на станции. От него и «мелянопуса-69» родился шедевр Анны Степановны «мелянопус-26». Первый его колос был выделен в тридцать восьмом году, передан сорт на государственное испытание в пятьдесят втором. Зерна этой пшеницы настолько крупны, что отделять примесь мягких можно просто ситом. Это и помогло «двадцать шестому» быстро выйти в люди. Перед новым, 1965 годом Иван Васильевич послал супруге на курорт нарядную открытку: «Поздравляю тебя с первым миллионом гектаров твоих пшениц». Работает Анна Степановна методом гибридизации, новомодных приемов вроде аллополиплоидии, получения мутаций ионизирующим излучением, не признает, но рука у нее легкая, мягкое упорство ее все одолевает, и новые сорта еще придут.

Агробиолог Иван Васильевич воюет, собственно, за научно обоснованные условия выращивания «янтара». Но сам он считает, что дерется прот и в «пропагандства». Пусть так. Он ревниво настроен ко всему, что не относится к виду «тритикум дурум», будь то ячмень или мягкая пшеница. Негодовал, когда в пятьдесят девятом году сильную и твердую пшеницу как бы уравнили в качестве, установив на ту и другую сорокапроцентную прибавку к цене. Как можно равнять твердую с чем бы то ни было, если на мировых рынках за нее платят вдвое дороже, чем за лучшую сильную! Сто сорок долларов тонна, не хотите ли? Но в довершение бед были объявлены такие каверзные условия приемки, закупочных кондиций наделали столько, что колхоз просто не мог сквозь них протиснуться. Двадцать разных придинок, можете себе представить? Элеватор говорит: «Брак, приплаты не будет». А колхоз отвечает: «Идите к шутам, ячмень буду сеять». За один голько год Саратов сократил площадь под «дурумом» на двести тысяч гектаров.

Иван Васильевич печатно и устно боролся с губительной этой придиричностью, с самым категорическим принципом «все или ничего». Положим, стекловидность у зерна на один процент ниже нормы. Оно же не перескает от этого быть сырьем для макарон! Почему ж колхозу не приплатят ни копейки, не возместят затрат?

Я привык к филиппикам Ивана Васильевича против частокола кондиций. Ожидал и при этой встрече брани в адрес стандартов. И вдруг выясняется: он одержал победу. Да такую сокрушительную, какой сам не рад. Частокол снесли вовсе! Одним распоряжением сняли всякие ограничения в приеме твердой пшеницы, кроме влажности и примеси других типов. Оказывается, Государственный комитет по хлебопродуктам, обеспокоенный срывом заданий по производству «дурума», решил вовсе отказаться от требовательности. Зерно было велено принимать с приплатой, и когда есть сортовые документы, и когда нет таковых, но цвет «нормальный». Саратовские заготовители, памятуя, что «на вкус и цвет товарища нет», стали думать, что произошла какая-то несуразица. ошибка, послали запрос: как понимать эту самую нормаль, разве есть шкала цвета?

В ответ и пришла телеграмма, которую Иван Васильевич именует «актом о капитуляции».

Документ замечательный. Пример того, как «организуется» отставание от мировых стандартов.

«При выплате повышенной на сорок процентов цены на твердую пшеницу урожая 1963 — 1964 гг. показатели качества по натурному весу, стекловидности, содержанию и качеству клейковины, наличию зерен, поврежденных клопом-черепашкой, не учитываются. Член комитета Ефимов».

— Не учитываются, баста! Распускайте змей, мы добрые! — Иван Васильевич негодует. — Пр-пропагандство чистой воды... Кому нужен такой протекционизм? Зачем было Анне Степановне шестнадцать лет начинать «двадцать шестую» клейковиной, добиваться стекловидности, высокой натуре, если на это элеватору начхать? Что ж остается от преимуществ сорта — одна урожайность? Опять голый «вал»? Ведь в хозяйстве могут так укатать сорт, что и родная мать не узнает. Да что — «могут»? Ведь напринимали же осенью такого зерна, какого с приплатой теперь никому не сбудешь. Десятки тысяч тонн лежат на элеваторах — низка клейковина. Областные заготовители ругают потребителей непечально, но те себе на уме, надбавку возвращать элеваторам не желают. Что ж, растить «дурум» в убыток государству? Этого еще не хватало...

Негодование Ивана Васильевича вызывает само положение, при котором на Еруслане люди весь век работают ради того, чтоб на маленькую ступень поднять качество русской твердой, а на Чистых прудах в Москве могут одним росчерком пера обесценить весь труд. Положим, «протекционизм» помог поднять производство, план заготовок выполнен на семьдесят восемь процентов, чего прежде не бывало, но теперь сам черт не поймет, «янтарь» заготовлен или песок!

(Когда я, вернувшись в Москву, побывал в Государственном комитете по хлебопродуктам, ответственный работник объяснил мне, что препоны убрали, чтоб подзадорить хозяйства, заставить подналечь на «дурум». «Через годок-другой поставим кое-какие рогатки — и все образуется». Иван Васильевич безусловно прав в том, что наукой в хлебных закупках пока не пахнет: можно снять «рогатки», можно и поставить их...)

Ну, а что же сейчас делать?

Как что делать? Вводить обдуманную зависимость цены от качества. Освоить здравый принцип «лестнички»: выше натура, больше клейковины — больше барыш. Вот давайте сопоставим по производству твердой Саратов с Канадой. В урожайном шестьдесят четвертом мы заняли ею 713 тысяч гектаров, собрали около девятисот тысяч тонн, а в госзакуп даже при крайне низких требованиях поступило 390 тысяч тонн. Где остальная? На трудодни выдали — ее охотно берут, век лежать может, хотя хлеб из нее не ахти. Птице скормили, свиньям пошла. А канадцы в урожайном шестьдесят третьем сеяли твердую на девятистах тысячах гектаров, намолотили миллион четыреста тысяч тонн. И все это, представьте, «амбер дурум», по какой? У них шкала качества давно в ходу. Есть семь классов твердой, от самой непревосходной до дрянненькой. Но и дрянная остается твердой! Разумно? Конечно. Потому что далеко не все равно для рынка, два процента примеси мягких в твердой или пятнадцать, восемьсот граммов весит литр зерна или семьсот пятьдесят. Первый признак серьезной работы — культура учета. Пшеничный комитет Канады считает необходимым даже знание процента зольности, выхода крупки, качества макарон, не говоря уже о классических показателях. Обезьянничать не стоит, нам пока хватило бы четырех классов, различающихся натурой, стекловидностью, содержанием клейковины, примесью мягких. Но тогда и сорок процентов приплаты надо «разменять»: за первый класс платить, скажем, шестьдесят процентов поощрительной премии, а за четвертый и двадцать пять хватит. Вот такого рода «рогатки» председатель колхоза стал бы уважать, потому что тут увидел бы не чью-то прихоть, а хозяйственную разумность.

Да, но это все о качестве, а сколько может быть того зерна? Как правильно определить заказ хозяйству на пшеницу? Ведь задание пятьдесят девятого года — сдавать Саратову ежегодно пятьсот тысяч тонн «дурума» — явно волевое уже самой круглостью цифры. Хорошо бы иметь столько, а сколько может давать об-

ласть, гармонически развивая все отрасли хозяйства? Даже последнее задание основано скорее на эмоциях, чем на учете природно-экономических условий («двести миллионов сдавал Саратов — это много, сто — мало, пусть будет сто сорок два»). Да, собственно, иначе пока и не может быть, и наш разговор неминуемо сворачивает на тропу все того же кадастра.

Насколько скрупулезно учитывается у нас труд, отец богатства, настолько же безучетна его мать, земля. Выразить количественно производительность различных участков земли при сегодняшних объективных условиях — это и значит создать кадастр. В сугубо практическом понимании кадастр — это ликвидация споров. Между областью и районом («почему Красный Кут должен сдавать столько-то, а Ершов — эвон сколько?»), между колхозами в одном районе («вы «Зарю» любите, план ей скостили, а «Рассвет» должен отдуваться?»), даже между бригадами. Каждому — по его земле, его осадкам и солнцу. Но и для правильного размещения разных культур, для учета эффективности вложений капитала кадастр совершенно необходим.

Такого документа нет. А нужда в нем громадна. И нужно видеть, каких трудов стоят областным организациям попытки создать некое отдаленное подобие кадастра! Как равномерно нагрузить два сильно различающихся района — скажем, Новоузенск и Аркадак? Да чтоб сдача зерна была гарантирована, чтоб животноводство могло расти... По почвенным картам выводят средний балл пашни. Потом переводят в условную пашню все угодия. Затем приводят к зерновому, так сказать, знаменателю все технические культуры, а к мясному — все животноводческие продукты. Пересчитывают условное мясо на условное же зерно, делят на условную пашню. Сложно. Неточно. Кустарно. А ведь надо еще учесть развитость хозяйств. Перегрузи слабый колхоз, лиши его возможности продавать зерно сверх плана по полуторной цене — и век он в люди не выйдет. Можно уважать желание области поставить заказы хозяйствам на научную основу. Но и то признать надо, что кустарщина тут не выручит.

— Слушайте, если верить расчетам, на создание кадастра нужно только тридцать миллионов рублей, так? — прерывает Иван Васильевич. — Так возьмите те, что добыты Анной Степановной. Seriously. За два года она прибавкой урожая от своих сортов дает минимум четыре миллиона центнеров «дурума». Вот вам тридцать с лишним миллионов! Как, матушка, согласна?..

\* \* \*

Мы не можем никому уступать в мощи авиамоторов. Это несомненно. Мы с досадой на самих себя спрашиваем в магазине не свои — импортные башмаки. Видимо, пора наверстывать.

Но пшеница... Пшеница из герба Советской России символом труда и народного блага вошла в геральдику социалистического мира. Русская пшеница унаследована нами от дедов как лучшее зерно планеты. Мы не смеем терять этой славы.

Июль 1965 г.



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

*К 70-летию со дня рождения Э. Багрицкого*

Н. ЛЮБИМОВ

★

## ПОЭТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

**В** один из ноябрьских дней 1931 года я очутился из лестнице самого высокого во всем проезде Художественного театра, недавно отстроенного писательского дома, где мне прежде бывать не доводилось, и, потоптавшись у дверей квартиры, где жил незнакомый мне человек, которого я и видел-то до этого раз в жизни, и, кое-как отдышавшись, нажал кнопку звонка.

Стихов я тогда почти уже не писал. Внутренний беспокойный голос говорил мне, что для того, чтобы иметь право называться стихами, им не хватает самого главного: свежести слов и простоты чувства. К тому же меня все сильнее захватывали в институте лекции профессора Б. А. Грифцова по теории перевода, в особенности — с редкой филологической проницательностью и педагогической чуткостью руководимый им же семинар по переводу французской прозы. На этом семинаре, рассчитанном на два с половиной года, мы пробовали свои силы в воссоздании на русском языке произведений, принадлежащих писателям XIX—XX веков — от Шатобриана и Бальзака до Марселя Пруста и Жана Жироду. Однако мне все же хотелось услышать мнение поэта о моих стихотворных опытах, и притом поэта современного и по тематике, и по обращению со словом. Жертвой «нападения» я избрал Эдуарда Багрицкого, ибо к тому времени он стал самым моим любимым из современных поэтов. И далеко не только моим.

В провинции, до поступления в московский институт, я читал регулярно только один «толстый» журнал — «Новый мир». Следовательно, я знал те стихотворения Багрицкого, которые он тогда печатал в «Новом мире»: первую часть «Трясины», «Сурпинус Сагрио», «Стихи о себе» да перевод «Веселых инших» Бернса.

Но вот я в институте, на первом курсе. Стилистику читал у нас Леонид Петрович Гроссман, лекции которого, выходявшие далеко за установленные для них пределы, раскрывавшие перед студентами красоту и величие русского языка и литературы, я вспоминаю с чувством живейшей к нему благодарности. Как-то раз, придя на занятия, Леонид Петрович достал из своего миниатюрного дамского портфеля, не гармонировавшего с огромным ростом его обладателя, миниатюрную книжницу и прочитал нам от первой до последней строчки «Думу про Опанаса». Тут-то я и ошалел. От этой короткой и в то же время на диво «просторной» поэмы на меня пахнуло благоуханием украинского степного раздолья, жарким и грозным ветром гражданской войны.

Леонид Петрович спросил, не возьмется ли кто-нибудь из студентов написать реферат о стилистике «Думы про Опанаса». Вызвался я.

На другой день я бросился покупать только что вышедший вторым изданием в ЗИФе «Юго-Запад» и всю книгу, начиная с «Птицелова» и кончая «Папиросным корбком», прочитал на московских улицах, то бредя по тротуарам и натываясь на прохожих, посылавших мне вслед не слишком лестные эпитеты и не слишком добрые напутствия, то поджидая на остановке трамвая, благо ждать тогда приходилось ой-ой как долго. Эта книжечка и сейчас стоит у меня на полке, как и вышедшие в 1932 году «Избранные стихи» с дарственной надписью Эдуарда Георгиевича.

Я сразу почувствовал, что нашел своего поэта. Многое в этой книжке оказалось надолго, а иное и навсегда близко моей душе, выдержав испытание нашим беспощадным ко всему неполноценному в искусстве временем. Прежде всего нежная любовь к природе (эту нежность только усиливают по закону контраста грубоватость выражений, стук поэтизмов с прозаизмами):

...соловей,  
Глазастая птица, предвестница лета,  
С тобою купил я за десять рублей —  
Черемуху, полночь и лирику Фета!

За этой «глазастой птицей» так и видишь сдержанную улыбку любящегося ею поэта. С такой любовной фамильярностью, кажется, еще никто из поэтов к соловью не обращался. Конкретность определения («глазастая птица»), бытовая подробность («десять рублей»), свежесть интонации — все это возвращало опошленному донельзя соловью его исконные права на дружбу с поэзией.

«Юго-Запад» радовал мой глаз и слух. Меня пленяла стремительная певучесть его стихов. И точно: у Багрицкого в «Юго-Западе» ничто не стоит на месте — все вихрится, все куда-то мчится, несется, и сверкающий этот крутень звучит, поет... Воздух. Свет. Цветущий, поющий, душистый, вместе с ветром летящий навстречу простору.

Вот море подбрасывает на волнах шаланду:

По рыбам, по звездам  
Проносит шаланду...

Вот крутятся колеса поезда и пыхтит паровоз:

В аллеях столбов,  
По дорогам перрсонов —  
Дягушечья прозелень  
Дачных вагонов.  
Уже оконувшийся  
В масло по локоть  
Рычаг начинает  
Акать и окать...

А вот стук моторной лодки:

Да слушать сквозь ветер,  
Холодный и горький,  
Мотора дозорного  
Скороговорки...

Так Багрицкий рисует не только словами, но и ритмом и звуком.

А какова у поэта наметанность глаза! Теперь, как ни посмотрю я на лист смородины, все мне представляется дягушечья лапка («Папиросный коробок»). Когда я смотрю на сыр, мне вспоминаются «ноздреватые обрывы сыра» из «Встречи», вошедшей во вторую книгу стихов Багрицкого — «Победители». А какое высокое напряжение в его эпитетах и метафорах — напряжение, усиливающееся от книги к книге: «Звезды шарахались, трепеща» («Последняя ночь»); «поток... мрака и неистового света» («Февраль»). Или — в описании охоты на фазана («Последняя ночь»):

Фазан взорвался, как фейерверк.  
Дробь вырвала хвою. Он  
Пернатой кометой рванулся вниз  
В сумятицу вешних трав.

А мастерство, с каким Багрицкий сочетает в построении слитных образов неожиданность с характерностью, сплавляет зрительный образ со звуковым, мастерство, с каким он сращивает очертанья, движенье, звук, запах и цвет! Вспененные и шумные волны сливаются у него в «свистящее мыло» (сравните с этим «буруны, сединой гремящие певучей» из «доюго-западного» «Сказания о море...» или «мокрую дрожь деревь-



ев» — о саде, исхлестанном дождем и раскачиваемом ветром, из «Папиросного коробка»). Или о выстреле:

И побежал, ветерком катимый,  
Громкий сухой одуванчик дыма.

Примерами этого умения сливать различные свойства предмета в единый движущийся образ богаты последующие книги Багрицкого. Так, в стихотворении «Весна, ветеринар и я» из книги «Победители» —

Коровы плывут, как пятнистый дым,  
Пропитанный сыростью молока.

«Думу про Опанаса» я, готовясь к реферату, все перечитывал и перечитывал. В ней меня захватывали и тема, и развитие сюжета, и судьбы героев. Захватывал шевченковский ритм (казалось, только в этом ритме она и могла быть написана), и все эти с корнями пересаженные из народной поэзии сравнения, олицетворения, повторы, подхваты, словесные, синтаксические и интонационные переключки, усиливающие песенность поэмы, и свобода сильного поэтического дыхания. Меня изумляло свойство поэта одним образом вызвать поток ассоциаций («Украина — мать родная — билась под конями»), и все то же умение найти неожиданные черты сходства между, казалось бы, далекими явлениями и раскрыть это сходство непременно в состоянии движения («Сабли враз переклестнулись кривыми ручьями...»), и колоритность языка, не перегруженного, однако, украинизмами. Да и зачем было такому тонкому художнику, как Багрицкий, прибегать к приему эффектного, но дешевого? Багрицкий и без помощи украинизмов воссоздает пейзаж Украины, ее аромат, указывает на одно из отличительных свойств украинского народа — его певучесть, и выражает свою сыновнюю любовь к Украине:

Тополей седая стая,  
Воздух тополиный...  
Украина, мать родная,  
Песня — Украина!..

Впоследствии Багрицкий сдерживал напор песенной стихии. Новое вино требовало иных мехов. И все же лирическая песенная струя нет-нет да и прорвется.

Думается, что Багрицкий согласился писать либретто оперы «Дума про Опанаса» отчасти для того, чтобы дать исход этой до конца его жизни клокотавшей в нем струе. И уж в либретто, благо к тому его обязывал жанр, он дал ей волю! Достаточно вспомнить хотя бы переключку часовых:

В зеленом садочке,  
У Буга на взгорье,  
Цвети, моя вишня, цвети!  
На тихие воды,  
На ясные зори  
Лети, мое сердце, лети!..  
  
Звезда полевая  
Над брошенной хатой,  
Дождями размыты пути.  
На плямя пожара,  
На дым языкатый  
Лети, мое сердце, лети!

И уже в предсмертных, в последних двух строчках недописанной поэмы «Февраль» мы вновь узнаем этот вольный и широкий разлив стиха, снова слышим знакомый нам по «Юго-Западу» голос поэта, у которого сердце в груди заходит от мучительного счастья жить на земле:

Будут ливни, будет ветер с юга,  
Лебедей влюбленное ячанье.

В августе 1931 года я увидел самого Багрицкого. В клубе ФОСП состоялся доклад поэта Семена Олендера об «упадке лиро-эпического жанра». В прениях среди друзей

выступили представитель старшего поэтического поколения Сергей Городецкий, поделившийся своим опытом руководителя одного из заводских литкружков и предостерегавший молодых поэтов от словесных вычур («Ведь не скажут просто: «Я вышел на эстраду»,—нет, им непременно надо закрутить похлеще: «Стопроцентным броском выкинулся я на эстраду»,—сетовал Сергей Митрофанович), и совсем еще юный Ярослав Смеляков, говоривший со сбивчивой пылкостью, восполнявший пропуски ассоциативных звеньев яростными взмахами правой руки, и Эдуард Багрицкий. Он пришел с опозданием и грузно опустился в одно из кресел президиума, сутулый, с поседевшим крылом волос, нависавшим надо лбом. Глядел исподлобья, как будто сурово, а при смотришься — больше устало, нежели хмуро. Позднее я научился различать под внешней несомненной суровостью его взгляда на лету схватывающую зоркость и глубоко запряганную, но столь же несомненную ласковость. А ведь если бы не эта его жестковатая благожелательность, разве так льнули бы к Эдуарду Багрицкому самые разные люди?.. Время от времени он как бы судорожно вздрагивал — это астма сотрясала все его тело. О чем он говорил в своем коротком выступлении — признаться, я от волнения не запомнил. Помню только, что, когда он закончил выступление, аудитория, большинство которой составляла молодежь, дружно начала просить Багрицкого почитать стихи. Багрицкий наотрез отказался.

...Итак, я стою у дверей его квартиры и, прежде чем позвонить, стараюсь отдышаться. Я так тяжело дышу, что, мне кажется, не услышу ни единого звука из предстоящего разговора. Впрочем, я все еще сомневаюсь, что разговор состоится. Может быть, Багрицкого нет дома. Может быть, он занят. Да, вернее всего, что занят. Так или иначе, он меня не примет. Ну, с какой стати пустит он к себе в дом безвестного юнца, хотя пока что этот юнец не собирается отнимать у него больше пяти минут — он пришел только спросить, не может ли Багрицкий как-нибудь, когда у него будет свободное время, послушать его стихи... Очень скоро мне пришлось убедиться, что я был далеко не первый и не последний, кто вот так, «с ветру», даже не сговорившись предварительно по телефону, ломился в эту квартиру. К Багрицкому мог прийти кто угодно и когда угодно — известный поэт, молодой красноармеец, написавший свое первое стихотворение, пока еще не в ладу не только с версификацией, но и с орфографией, критик, врач, рыбовод, беспризорник, начинающий историк, собирающий материалы для своей первой работы. Вечно у него бывала нетолченная труба народа, и всем он уделял внимание и оказывал помощь не «по обету», не напоказ, а в силу неукротимой любознательности, неукротимого интереса к каждому человеку, если только он не лоботряс, если только он мастер своего хотя бы и скромного дела, даже и не мастер, а хотя бы только полмастерье, но подмастерье смывленный и работающий, хотя бы и совсем новичок, но чего-то добивающийся в жизни, к чему-то стремящийся. В прошлом веке у московских студентов существовала поговорка: «Хожу в университет, а учусь в Малом театре». Иные студенты литфаков могли тогда сказать про себя: «Ходим в вуз, а учимся у Эдуарда Багрицкого». Но все это мне довелось наблюдать потом, а пока что я в смятении. Во всяком случае я уверен, что откроет мне домработница или кто-нибудь из родных. Ну, была не была! Молодость порывиста, молодость напориста, молодость бесцеремонна. Звоню. К моему радостному изумлению и вместе с тем к ужасу, отворяет дверь сам Багрицкий, просто и скромно одетый,—так он одевался всегда — и, спросив: «Вы ко мне?» (в этой квартире жил еще один писатель), проводит к себе в комнату, из передней — налево. В комнате бросается в глаза благородная скромность обстановки. Справа, как войдешь, книжный шкаф. Слева от двери, у стены, отделяющей кабинет от передней, тахта, над ней телефон. У тахты — вплотную к левой стене — рабочий стол, возле стола два стула. А дальше — до самой балконной двери — зелено-голубое царство аквариумов. В этой же комнате впоследствии некоторое время обитал попугай, внятно произносивший имя жены Эдуарда Георгиевича: «Лиди!»

Багрицкий предложил мне сесть на стул, а сам принял, как я потом удостоверился, свою обычную позу: сел на тахту, поджал под себя ноги, слегка склонил головунабок... Болезнь старила его: он рано ссутулился, цвет его одутловатого лица был серый, время от времени он задыхался, дышал через опущенную в пузырек трубочку адреналином. Но глаза у него были пытливые и живые. Некоторые из писавших о нем сравни-

вали его с птицей. Сравнение верное. Он и правда напоминал круглоглазую нахохлившуюся больную птицу, глядевшую, однако, сторожко и любопытно.

Назвав себя, я сказал, что мне бы хотелось показать Эдуарду Георгиевичу свои стихи, и, если это возможно, я просил бы его назначить, когда мне прийти еще.

— А вы прочтите мне сейчас.

— Да я ничего с собой не захватил.

— Прочтите что знаете наизусть.

Как на грех, ни одного из тех стихотворений, которые я собирался прочитать Багрицкому, я целиком наизусть не помнил. По выражению его лица я догадался, что это ему не понравилось. Он назначил мне следующую встречу что-то очень скоро, дня через два, но отпустил не сразу. Стал расспрашивать, сколько мне лет, где я учусь, кто мои любимые преподаватели, одобрил то, что я изучаю иностранные языки и намерен в дальнейшем переводить художественную прозу. Особенно ему пришлось по душе, что я занимаюсь испанским языком, — в то время им владели у нас считанные единицы. Впоследствии он отечески радовался за меня, когда я подписал свой первый договор с издательством. Затем Багрицкий перешел к моим пристрастиям в области русской поэзии. Сначала повел речь о поэтах минувшего века, потом о современниках — покойных и еще здравствовавших. Я робко заговорил о своей любви к Есенину. Есенина тогда почти не переиздавали, неохотно выдавали в библиотеках, да и го не во всех, на литературных концертах его стихотворений не исполняли, в печати упоминали редко, а если и поминали, то в большинстве случаев словом недобрый. Признался я в своей привязанности к Есенину, рискуя получить лихой нагоняй за то, что продолжаю любить как будто бы уже забытого, «упадочного» поэта. И вот тут при первом же нашем знакомстве мне открылась черта, крайне для Багрицкого характерная: его вкусовая широта, ничего общего, однако же, не имевшая с размагниченной снисходительностью, неизменно сочетавшаяся со вкусовой строгостью. Он словно боялся утратить хотя бы одну подлинную ценность, пренебречь хотя бы единым подлинно значительным явлением, пусть даже ему и не близким.

— А что же тут плохого, что вы любите Есенина? — услышал я неожиданный для себя ответ. — У него довольно много слабых, недоработанных строк, но поэт он все-таки замечательный, настоящий. Хотя мне лично, говоря откровенно, он чужд, временами до того, что я совсем не могу его читать.

У меня отлегло от сердца. Я осмелел и сознался, что люблю стихи Ахматовой. Оказывается, и это обстоятельство ни в малой мере не уронило меня в глазах Багрицкого. Тогда я, уже совсем расхраб्रившись, сказал, что из символистов чту не одних только канонизированных новейшей историей литературы Блока и Брюсова, что мне кое-что нравится даже у Бальмонта.

— Ну и па здоровье. У Бальмонта уйма дерьма, хоть обозами вывози, но когда разроешь — попадают жемчужные зерна. Помните: «Есть в русской природе усталая нежность...»?

И он прочитал мне «Безглагольность», назвал еще несколько стихотворений, в том числе — «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...», а потом засыпал меня вопросами:

— Белого знаете? «Пепел», «Первое свидание»?.. А Иннокентия Анненского? Только «Кипарисовый ларец»? Мало. А Мандельштама? Отдельные стихотворения? Мало. Я их обоих знаю наизусть — от доски до доски... А Случевского читали? Ух, какой поэт!

Прихожу в назначенный мне Багрицким день, в назначенный им вечерний час. У Багрицкого молодые поэты. Запомнился мне Павел Вячеславов. Поэты поговорили, пошумели и ушли. Я остался с Багрицким с глазу на глаз. Прочел ему стихи по разграфленной в клетку тетради. Багрицкий без труда нащупал в них слабое место — подражательность.

— В первый раз, когда вы ко мне пришли, я попросил вас прочитать стихи на память. Вы отказались — вы их не помните. Я сразу увидел в этом недобрый знак, толь-

ко вам тогда не сказал, чтобы не обескуражить. Свои стихи, свои в полном смысле этого слова, поэт не может не знать наизусть.

Но он тут же меня ободрил,— при всей его внешней, безобидной и беззлобной резкости, при всем его пристрастии к круто просоленному словцу, в нем жила деликатность, в нем жила душевная мягкость:

— Я не гадалка, не пророк и не знахарь. Выйдет из вас поэт или не выйдет— сказать не берусь. Тут многое зависит от того, с какой беспощадностью вы будете работать над собой. Сама по себе подражательность— болезнь детская и не всегда опасная, проходит с возрастом и при большом желании излечиться. Это я знаю по себе. Вы говорите, вам еще девятнадцати нет? Ну, в ваши годы я писал не лучше вас:

В душе моей страсти кричат,  
Как совы полночной порою.

Врезались мне в память отдельные его замечания, советы, признания:

— Если я задумал поэму, сначала я должен расставить фигуры, только после этого начинаю писать.

— Опытный охотник не бьет зверя в лоб— он обходит его стороной. Так и в поэзии: лобовая атака ничего не дает. Обойдешь явление стороной— скорее попадешь в цель.

— Вы боитесь слова и этим обедняете свои стихи. «Непоэтичных» слов нет— запомните это раз навсегда. Поэтичность слова зависит от того, как и где вы его употребите. Безбоязненно употребляйте любые технические выражения, самые простые, самые обиходные слова, вплоть до матерных,— добавил он с вызовом.

В намеренном этом «перехлесте» сказалась ненависть Багрицкого к «красивости», ненависть тем жарче накаленная, что он сам на первых порах заплатил «красивости» более или менее обильную дань.

— Стихи надо делать не так,— он пробежал пальцами по столу,— а вот так...— Пальцы медленно, преодолевая незримое сопротивление, сжались в кулак.

Этим жестом он как бы призывал к максимальной экономии изобразительных средств, к максимальному уплотнению фразы, к композиционной слаженности и сцепленности, к точности словоупотребления.

Думая потом над этим жестом, я понял, что он относился не только к поэзии. И когда мне пришлось переводить гранильщиков и чеканщиков слова, я столько раз вызвал его в памяти, чтобы он уберег меня от словесной безответственности, от словесной развинченности, от словесной расхлябанности, от синтаксической рыхлости, при которой слова расплзаются, как раки из корзинки. А в переводе это двойной грех, ибо оригинальный писатель отвечает по крайней мере только за себя, переводчик же отвечает перед читателями и за переводимого автора: он может приблизить иноязычного автора к читателю, может сдружить их, а может и развести в разные стороны. До переводов Маршака русский читатель любил отдельные стихотворения Бернса, любил, кстати сказать, благодаря тому же Багрицкому, автору переводов «Джона Ячменное Зерно» и «Веселых нищих», но творчество Бернса он полюбил благодаря Маршаку. И разве русский читатель осязал поэтическую мощь «Фауста» до перевода, выполненного Пастернаком? До этого перевода он принужден был верить гётеанцам на слово, что «Фауста» создал человек, «вместивший в себя все земное», создал не только гениальный мыслитель, но и гениальный поэт. Холодковский приготовил читателю суп, где капустные листья мыслей плавают в поэтической жиже,— о перевод Брюсова (вообще-то говоря переводчика сильного и кое в чем доселе не превзойденного— достаточно вспомнить его Верхарна) можно сломать даже молодые крепкие зубы.

Казалось бы, после второй моей встречи с Багрицким судьба имела полное право поставить точку. Ан нет! Отношения наши укрепились, встречи участились. Позвонишь, бывало, по телефону. Отвечает какой-то странный голос, похожий на кукареканье: «Алё!» Это Багрицкий, все-таки порой изнемогавший от наплыва посетителей, пытается говорить тонким женским голосом. «Можно попросить Эдуарда Георгиевича?»— «Он болен. А кто его спрашивает?»— «Любимов».— «А, Коля! Вы сейчас свободны? При-

ходите». Этот мгновенный переход от чужого голоса к своему обычному радовал меня неизъяснимо. У ног моих вырастали крылья, и я мчался по Тверскому бульвару, где я тогда жил, по улице Горького, затем — несколько шагов по проезду Художественного театра, несколько шагов по двору — и бегом по лестнице.

Каждый разговор с Багрицким я, ненасытный и в ту пору уже бескорыстный любитель поэзии, преимущественно — русской (те немногие стихотворения, которые еще выходили из-под моего пера, после бесед с Багрицким решительно не удовлетворяли меня самого), ценил на вес золота.

Когда Багрицкий читал стихи, я слушал разинув рот. Как человек, он был наделен большим, своеобразным обаянием. Как собеседник, был неистощим на «раблезианские» шутки. Багрицкий баловал меня вниманием, устраивал для меня целые «литературные концерты». Видимо, ему хотелось, подобно тому, как ставят голос, поставить мне вкус в поэзии независимо от того, выйдет из меня «профессиональный певец» или нет. При мне занимался он и с «начинающими» и с «продолжающими». Это была не квартира, а поэтический факультет для всех желающих. Лекций он почти не читал. Это были семинары с доскональным разбором приносимых на его суд стихов — разбором строк, строк, образов, словосочетаний и отдельных слов — и с чтением стихов, которые он считал образцовыми, которые должны были наглядно показать, как надо. Читал он и свои стихи как в целях педагогических, так и по желанию слушателей. Мне он читал их редко. Сколько, бывало, ни пристаешь и ни просишь, ответ один:

— Охота была... Дайте лучше я вам хорошие стихи почитаю...

О своих произведениях он вообще отзывался непочтительно. Сообщив, что либретто «Думы» будет напечатано в альманахе «Год шестнадцатый», выходящем под редакцией Горького, он добавил:

— Горькому понравилась эта фиговина.

«Фиговина» ему, вероятно, была нужна, чтобы собеседники не подумали, что он хвастается горьковским одобрением, а между тем по глазам его было видно, что он сегодня «именинник». Начисто свободный от тщеславия, в общем равнодушный к похвалам критики, похвалу Горького он, чувствовалось, переживал как большое событие в своей жизни.

Единственно, чем чрезмерно строгий к себе поэт гордился — и гордился по праву, — это искусством чтения стихов. Удивительное дело! Когда он читал стихи, даже целые поэмы, он почти переставал задыхаться. Специфически актерского чтения, заглушающего музыку стиха, его ритм, мелодику, инструментовку ради узко и примитивно понимаемой смысловой выразительности, он не выносил. Когда я посмел сказать ему, что он читает стихи лучше одного знаменитого актера, он возмутился:

— Сравнили! Еще бы не лучше! Он не умеет читать новых поэтов — ни Маяковского, ни меня. Не умеет, а берется.

Актерскому чтению он противопоставлял чтение поэтов, но только тех, которые не впадают в другую крайность — «не бубнят по рифмам, как дятел», которые умеют сочетать музыкальность со смысловой выразительностью. Сам он читал именно так и эту именно особенность ценил в чтении Сельвинского и Кирсанова.

Требовательность Багрицкого к себе как к поэту росла неудержимо. Он охладевал к произведениям, принесшим ему заслуженную известность. Он отмахивался, когда я начинал восхищаться «Думой», отмахивался, как от чего-то уже преодоленного и уже ненужного ему. Жалел, что в свое время включил в и без того спрессованный до отказа «Юго-Запад» стихотворение «Осень» («По жнитвам, по дачам, по берегам...»), — теперь он считал его слабым. За свою — правда, недолгую — литературную жизнь он издал три тоненькие книжечки — «Юго-Запад», «Победители», «Последняя ночь», в 1932 году выпустил в «Федерации» единственную итоговую книгу «Избранные стихи», где представил предыдущие сборники в значительно урезанном виде.

Багрицкий был искусным и неутомимым пропагандистом поэзии. В одну из первых наших встреч он спросил меня, как я отношусь к Пастернаку. Я ответил честно, что в стихах Пастернака меня поражают отдельные строки, отдельные образы, но что в целом он мне непонятен.

— Пастернак — хребет поэзии, — сказал Багрицкий. — Все мы пишем с оглядкой на Пастернака. Нам стыдно бывает перед ним за плохие стихи. Да и что же в нем непонятного? — продолжал Багрицкий. И, полагая, что лучший агитатор — это верно интерпретированные стихи самого поэта, сейчас же предложил: — Дайте я вам прочту... Ну вот, слушайте... «Определение поэзии»...

И он так прочел:

Это — круто налившийся свист,  
 Это — щелканье сдавленных лодинок,  
 Это — ночь, леденящая лист,  
 Это — двух соловьев поеднок.

Это — сладкий заглохший горох,  
 Это — слезы вселенной в лопатках,  
 Это — с пультов и флейт — Фигаро  
 Низвергается градом на грядку.—

так прочел, что казалось, будто стены комнаты неслышно рухнули, и мы вышли в открытый мир, — вот так незаметно выходят в открытое море, — и поэзия смотрит на нас из каждой душистой копны, из каждого золотого снопа, из-за покосившегося плетня сгорода, из сарая, откуда тянет слежавшимся сеном и мышиным пометом, с чердака, где пахнет теплой пылью, кирпичами дымоходов, раскаленным от солнца железом кровли и еще чем-то таинственным и не поддающимся определению, из каждого комка земли на вспаханном поле, из каждой плодовой завязи, из цветка подорожника со следами дегтя от проехавших по нему колес, из каждой сухой лиловато-серой былинки, из каждой матово блестящей на солнце росинки, отовсюду — только оглянись, только взглядишь...

В пропаганде поэзии, в пропаганде того или иного поэта Багрицкий больше всего доверял, во-первых, своему вкусу, умению выбрать для чтения то, что сразу возьмет слушателя в полон, а во-вторых, своему голосу, восстанавливавшему то, чего ты не разглядел при чтении глазами, допевавшему то, чего ты не расслышал внутренним своим слухом. Мне он читал тех поэтов, которых я или совсем не знал, или знал худо, или в силу вкусовой недоразвитости недооценивал. Как-то раз он спросил меня, читал ли я Баратынского. Мне был известен Баратынский хрестоматийный, то есть как раз не характерные и не лучшие его вещи, вроде «Где сладкий шепот моих лесов?..».

«Как посравнить, да посмотреть...» Мы все еще недостаточно ясно себе представляем, какое огромное культурное дело уже сделала и продолжает делать горьковское детище — «Библиотека поэта», предприятие в своем роде единственное и по широте размаха, и — за редким исключением — по тщательности выполнения, мы все еще мало ею гордимся. А между тем трудно найти достаточно сильные слова благодарности ее руководителям и сотрудникам, начиная с покойного Ю. Н. Тынянова. Ведь она ввела поэзию в массы! А что было во времена моего детства и ранней молодости? Я уже не говорю о фольклоре, о русских поэтах XVIII века, но и книги поэтов прошлого столетия, и книги поэтов начала нынешнего века в большинстве случаев представляли собой библиографическую редкость. К таким дорогим «букинистическим» книгам рядовому любителю поэзии приступить не было. Нам оставалось только смотреть, да облизываться, да пробавляться еще не окончательно потрепавшимися в частных собраниях «Приложениями к «Ниве» или хрестоматийными и антологическими крохами. Собрания сочинений даже таких первоклассных поэтов, как Баратынский, можно было найти преимущественно в больших библиотеках больших городов...

Багрицкий попросил меня достать из шкафа гржебинский однотомник Баратынского и раскрыл его на «Последнем поэте»:

...Человеку непокорно  
 Море синее одно,  
 И свободно, и просторно,  
 И приветливо оно;  
 И лица не изменило  
 С дня, в который Аполлон  
 Поднял вечное светило  
 В первый раз на небосклон.

Затем я этот однотоми́к с разрешения хозяина унес на несколько дней домой, и к числу моих «вечных спутников» в русской поэзии вскоре прибавился Баратынский.

Полонского я знал опять-таки хрестоматийного. Полонского — автора «Орла и змея», «Бэды-проповедника», того, которого насмерть задекламировали на литературных вечерах в дореволюционной провинции. Багрицкий показал мне Полонского — свежего лирика с негромким, но своим голосом особенного, «цыганского» тембра, того Полонского, которого любил Блок.

Улеглася метелица... путь озарен...  
Ночь глядит миллионами тусклых очей...  
Погружай меня в сон, колокольчика звон!  
Выноси меня, тройка усталых коней! —

покачиваясь всем корпусом в лад напеву, читал, или, вернее, пел, Багрицкий, и я видел перед собой искрящееся снежное поле, я ехал в санях и сквозь полудремоту слышал визг их полозьев и заунывный звон колокольчика.

Багрицкий читал мне стихи из «Яри» С. Городецкого — книги, которую он очень любил:

Ой, стрела ты нестреляна,  
Золоченая стрела!  
Ты куда летишь, каляна,  
Из Перунова угла?

В первых двух строках слышался широкий, песенный, славословный зачин, переходивший потом в предостерегающее: «Ты куда летишь...», и дикой силой наливалась следующая строфа:

Ой, стрела ты золочена,  
Не лети, остановись!  
В терем змея Самосона  
Огневицею помчись.

Сквозь грозную удаль, с какою Багрицкий читал эти стихи, мне мерещилась языческая дремучая Русь. Однажды он прочитал мне целиком поэму Андрея Белого «Первое свидание». Дочитав до конца:

И под березкой кружевною,  
Простертой доброю рукой,  
Я смыт вздыхающей волною  
В неутихающий покой —

он с каким-то досадливым восхищением стукнул кулаком по столу и воскликнул:

— Вот! Больше из четырехстопного ямба ничего нельзя сделать...

Я основательно знал Бунина в объеме марковского собрания плюс «Господин из Сан-Франциско» и уже тогда испытывал на себе могучее и терпкое очарование его холодноватой на поверхности и страстной в глубине прозы. Бунин-поэта заслоняли от меня символисты. Раскрыл мне на него глаза Эдуард Багрицкий. Бунин был одним из его любимых поэтов XX века. Марковское собрание сочинений Бунина стояло у него в книжном шкафу рядом с марковским же собранием сочинений другого его любимца — Случевского. В его чтении особенно запомнился мне «Сапсан». Некоторыми существенными своими чертами поэзия позднего Бунина, отошедшего от элегического тона и от манеры не вполне самостоятельного «Листопада», где еще перекликаются голоса Полонского и Фета, не могла не быть близка Багрицкому. Такое стихотворение, как «Песня» («Я — простая девка на баштане...»), мог бы написать автор «Юго-Запада».

То, что сам Бунин определил как «сладостную боль соприкасанья душой со всем живущим» («Памяти друга»); бунинское бесстрашие во введении прозаизмов: «...а он дремал, седой, зобастый, круглоглазый» («Сапсан»), «Там табунятся волчьи свадьбы, там клочья шерсти и помет» («Сапсан»), «Долина серая, нагая, как пах осла» («Имру-уль-Кайс»); та ненасытная жадность, с какою Бунин схватывал взором краски и очертания: «...лунный лик... серебристым блеском ртути слюду по насту озарял» («Сапсан»); та пристальность, с какою Бунин всматривался в детали: «Когтистыи

след в снегу глубоком» («Сапсан»); бунинское свойство — показывать явление с неожиданной стороны, иногда через сугубо прозаическую деталь, снимающую налет литературщины, налет тривиальной экзотики, под которой мы уже перестаем различать само явление (начало стихогворения «Стамбул»: «Облезлые худые кобели с нечальными млящими глазами...»); накал бунинских эпитетов; бунинские метафоры и сравнения, построенные по принципу «сжатого кулака»: «кипящий снег» — о вспененных волнах, нос корабля «в снегу взрезает синий купорос» («Полдень») — все это, несомненно, привлекало гворческое внимание Багрицкого. В пору созревания, в пору освобождения от манерной литературщины поэзия Бунина должна была сослужить ему верную службу.

...Когда Багрицкий читал стихи о природе, к моему восхищению неизменно прищивалось чувство горечи. Путь к непосредственному общению с природой был ему уже заказан. Он уже не видел, как по весне идет в наступление «свиристая зелень», не слышал, как «гортань продувают ветвей новоселы», не «выслеживал тропы зверей и змей». С нереездом из Кунцева в Москву ему пришлось расстаться с собаками. Остались только аквариумы. Эдуард Георгиевич называл себя ихтиологом. В самом деле, познаниями в этой области он обладал обширными, не дилетантскими. Я видел, с какой деловитой торжественностью кормил он обитателей своих аквариумов. В эти минуты он казался мне не то колдуном, знающим «слово», которого слушается подводное царство, не то каким-то добрым существом, возникшим из этого самого царства, «из коряг, из камней, из расселин», и обладающим властью над ним. Но для того, кто когда-то с мальчишески веселым задором объявлял:

Я сегодня  
Не поэт Багрицкий,  
Я -- матрос на греческом дубке...

Свежий ветер закипает брагой,  
Сердце ударяет о ребро...  
Обернется парусом бумага,  
Укрепитя мачтою перо... —

возни с аквариумами все же было до боли мало.

Ах! Вешних солнц повороты,  
Морей молодой прибой...

В этом «ах» мне слышится не только наслаждение нежащим теплом весеннего солнца, изменчивыми красками и соленым гулом моря, но и грусть поэта при мысли, что наслаждение это ему недоступно...

Багрицкий читал мне еще отрывки из «Улялаевщины» Сельвинского, «Германию» Кирсанова, «Московскую транжирочку» Ушакова.

Отношение Багрицкого к Сельвинскому и Тихонову общеизвестно. Он объявил о нем во всеуслышание в «Разговоре с комсомольцем Н. Дементьевым». С крепнувшим год от года сочувствием следил он за Антокольским. Рассказывал, как ему пришлось «драться» (это был один из часто употреблявшихся им глаголов) за то, чтобы его поэма «Армия в пути» была напечатана в «Новом мире». «Армия в пути» говорила поэтическому сердцу Багрицкого и темой (восстание гезов), и фламандским колоритом.

Что касается младших его современников, то при мне больше всего было у него в доме разговоров о Павле Васильеве и о Заболоцком; предпочтение он отдавал Заболоцкому.

— Павел Васильев работает на уже много раз использованной интонации Клюева и Есенина, а Заболоцкий работает на гораздо более свежей интонации — на интонации Хлебникова, — утверждал он.

Павла Васильева он резко порицал за буйные выходки. Багрицкий ненавидел всяческие проявления богомного духа, всяческую разнузданность; он служил примером для молодежи не только как большой поэт, но и как человек безупречно высокой морали.

— Скоро в редакции «Октября» будет предсъездовское поэтическое совещание, — говорил летом тридцать третьего года Багрицкий. — За Васильева есть кому засту-



питься — вокруг него образовался целый кооператив перестройки, а за Заболоцкого — во всяком случае в Москве — некому (Заболоцкий подвергался тогда ожесточенным нападкам критики за поэму «Торжество земледелия»), и я буду драться за Заболоцкого.

Незадолго до смерти Багрицкий радостно приветствовал новые стихи Смелякова.

Багрицкий даже в годы «юности мятежной» ни с каких кораблей классического наследия не сбрасывал. И оно, это наследие, явилось для него противоядием: от иных декадентских и модернистских ядов оно его избавило, от иных помогло излечиться. Сад русской классической поэзии был ему знаком весь — до единого деревца, до единого кустика и цветка. Необыкновенная его память удерживала целые куски из «Слова о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника» все целиком. Чего только он не помнил наизусть из «Кобзаря», хранившегося в его небольшой библиотечке, состоявшей почти сплошь из сборников стихов! Поэзия Багрицкого отлично помнит свое родство с русской классической поэзией и не считает нужным скрывать его. Багрицкий не создавал новых размеров, но в пределах размеров традиционных он находил новые ритмические возможности. Он не козырял изысканной рифмой, часто и вовсе предпочитал рифмованному стиху белый — отсутствие рифмы он возмещал словесным чеканом, гибкой ритмикой и изощренной инструментровкой. Его звукопись не расщепляется, — она аккомпанирует. Багрицкий не занимался словотворчеством, но по-своему сочетал слова, и уже запыленные слова — как будто их сбрызнуло дождем — вновь обретали изначальный свой блеск. «Бушлаты — настезь» — читаем мы в «Феврале». Это напоминает строчку из раннего «Арбуза»: «Сквозь волны — навывлет».

Много было разговоров о «неоакмеизме» Багрицкого, — разговоров, в сущности, зряших. Правы были критики, доказывавшие, что акмеистическое бездушие как нельзя более чуждо такому страстному поэту, как Багрицкий. Сам Багрицкий не отрицал известной (крайне ограниченной) положительной роли акмеизма в том, что он объявил борьбу символистским штампами. Багрицкий ценил — и ценил высоко — отдельных поэтов, в свое время примкнувших к акмеизму, но не за то, что они исповедовали акмеистскую веру, а за то, что они — настоящие поэты. На мой вопрос, кого Эдуард Георгиевич считает ближайшими и непосредственными своими учителями, он назвал как раз двух бывших акмеистов — Зенкевича и Нарбута. О Михаиле Александровиче Зенкевиче он говорил с сердечностью необычайной — так говорят благодарные ученики об учителе, много им давшем. Стихи Нарбута и — в особенности — Зенкевича показывают, насколько разноглас был акмеистический стан. Эти стихи темпераментны. В них — «плоти запах», языческое ликование при виде всякой земной твари, упоение животворящим буйством стихий. В мастерской этих близких ему по духу поэтов Багрицкий учился, в частности, натюрмортной и анималистической словесной живописи.

Багрицкий осуществлял свое «вмешательство поэта» всеми доступными ему способами. Он влиял на развитие советской поэзии не только как поэт, но и как издательский редактор (он работал в издательстве «Федерация»), как консультант поэтического отдела «Нового мира» и как педагог. Естественно, он ближе всего принимал к сердцу интересы поэзии. Но ему дорога была вся советская литература. Он был «большешником» советской прозы и драматургии. Он был патриотом советской литературы, радовавшимся всем ее подлинным радостям и имевшим мужество не закрывать глаза на ее неудачи, как бы прискорбны они ему ни были. Не дожидаясь выхода отдельных книг, он читал прозу в журналах, что называется — «с пылу, с жару». Так читал он первую часть «Поднятой целины» — не дожидаясь окончания, по мере выхода очередных номеров «Нового мира». Задолго до первых откликов критики он назвал «Поднятую целину» «Советской классикой» и предрек ей долгую жизнь.

— Мало еще у нас таких книг, мало еще у нас таких книг! — повторял он с нетерпеливо-требовательной нотой в голосе.

В 1933 году, не успели разослать подписчикам третью книгу «Красной нови», как Багрицкий уже накидывался на меня:

— Прочли в «Красной нови» «Корень жизни» Пришвина? Нет? Безобразие! Прочтите немедленно!

Но если что не приходилось Багрицкому по нраву, если он в чем-либо усматривал

безответственность, халтуру, скок «галопом по Европам» — тут уж автор только держись: ох, и доставалось ему от него на орехи! Так, в том же году его возмутили путевые очерки Пильняка «О'кэй», возмутили, как он выражался, верхоглядством и самолюбованием.

В сборнике «Последняя ночь» Багрицкий выше всего ставил поэму с одноименным заглавием. Он считал, что из трех поэм это «самая перспективная». Мне по молодости лет была доступнее «Смерть пионерки». Меня подхватывало и увлекало песенное ее полуводье. Мне легко дышалось грозовым воздухом ее романтики. От нее веяло моим любимым Багрицким:

Нас водила молодость  
В сабельный поход,  
Нас бросала молодость  
На кронштадтский лед.

Боевые лошади  
Уносили нас,  
На широкой площади  
Убивали нас...

Я выучил поэму наизусть, читал ее вслух и самому себе, и товарищам. Багрицкий выливал на меня ушаты холодной воды. Когда он писал поэму, она ему нравилась, а напечатал — разочаровался. Вот почему он считал ее неудачной: сам же он призывал ничего не «брать в лоб», а в «Смерти пионерки» прибегнул к приему, которым запрещал пользоваться и себе и другим, который он применял разве в стихотворениях «на случай». В итоге вместо полноценной третьей части лирико-философской сюиты получилась, по его мнению, вырывающаяся из стиля «прямолинейная агитка».

Но вот в один из летних дней 1933 года опять у нас зашел разговор о «Смерти пионерки». Защищая ее от нападок автора, передавая ему отзывы моих товарищей о поэме, я между прочим сказал, что наиболее сильное впечатление производит на нас то, как в сознании умирающей Вали претворяется гроза, и то, как тема ее молодости перерастает в тему неугасимой молодости нового мира. Багрицкий в тот день чувствовал себя неважно. Я собрался уходить.

— Нет, нет, побудьте,— удержал он меня,— а я при вас полежу.

Он лег и неожиданно для меня — вполголоса, но с сильным чувством — начал читать как раз те строфы, о которых у нас только что шла речь.

В дождевом сиянье  
Облачных слоев  
Словно очертанье  
Тысячи голов.

Рухнула плотина —  
И выходят в бой  
Блузы из сатина  
В синьке грозовой.

Трубы. Трубы. Трубы.  
Подымают вой,—

читал он с легкой улыбкой, глядя в одному ему видимую даль, а потом закрыл глаза и тихо заснул. Я долго сидел не шевелясь. Выражение лица у Багрицкого было счастливое.

Это была далеко не последняя наша встреча, но теперь мне все кажется, будто в последний раз я видел его именно таким — усталым, но не сломленным, больным, но не побежденным, повторяющим стихи, сложенные им во славу освеженного грозой мира, во славу ветра, который всегда олицетворял для него нескончаемую жизнь.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕКСАНДР ГЛАДКОВ

★

## ВИКТОР КИН И ЕГО ВРЕМЯ

1

**Л**ичных воспоминаний о Викторе Павловиче Кине у меня немного, но они есть...

Во-первых — эта небольшая книжка в зеленом картонном переплете с клетчатым рисунком на обложке, попавшаяся в руки как раз в год окончания школы: Виктор Кин, «По ту сторону», роман. Издательство артели писателей «Круг». 1928 год. Это было первое издание, и, следовательно, я могу назвать себя читателем Кина самого первого призыва. Я взял ее в руки с намерением перелистать и посмотреть, о чем она. Я был библиотекарем, и книг вокруг хватало. Прочитав первую страницу, я перевернул ее, продолжая читать. Только на сороковой странице я догадался сесть, до этого я читал, стоя у книжной полки с новинками. Я продолжал читать, не отрываясь. За несколько страниц до конца понадобилось включить свет. Уже давно стемнело, и я напрягал зрение. К счастью, в этот вечер библиотека была закрыта для читателей, и меня никто не оторвал от книги. Я прочитал ее, как говорится, залпом — эти двести с чем-то страниц маленького, как и все издания «Круга», формата.

Имя автора мне было знакомо по подписям под газетными фельетонами, хотя до этого я не выделял его среди других популярных фельетонистов. Я догадывался, что «Кин» — это псевдоним, но он шел к книге и был в духе времени. Его нерусское звучание напоминало и авторов приключенческой классики, и несло в себе что-то от бодрого сквозняка интернационализма, который проветривал в те годы еще не тронутую перестройками старину московских закоулков. Тогда подобные псевдонимы были в ходу.

Комсомольская печать пестрела броскими и чуть загадочными, укороченными именами, похожими на подпольные клички революционеров-профессионалов: Ган, Киш, Ильф, Дэль, Грин. Кроме того, имя «Кин» аукалось с распространенным тогда словом «КИМ», что означало: Коммунистический Интернационал Молодежи, да и название искусства века — кино — тоже звучало в нем. Мне и в голову не приходило, что это слово из трех букв просто-напросто было последним слогом самой что ни на есть русской фамилии автора: Сурувикин. Каюсь, если бы я об этом догадался, может быть, меня это даже разочаровало.

Я был моложе автора и героев книги ровно на десять лет и воспринял их как старших братьев и товарищей братьев. Это было другое поколение, чем мое, но соседнее, смежное и кровно понятное. Я ему во всем завидовал. Хотя я тоже рано начал самостоятельную жизнь, но никакого сравнения с их стремительными биографиями не было. Перед барьерами, которые это поколение брало с легкостью, мы останавливались в раздумье: выйдет ли? Но все же часть их удивительной энергии нам передавалась и влияла на нас. И книга В. Кина была воспринята как одна из заветных папочек великой эстафеты революции.

Было в ней и другое. Среди иных литературных новинок года, пухлых бытовых и мнимопроблемных романов, она, полная внутренней энергии и движения, острозаметная и увлекательная, была поистине «беззаконной кометой». Рядом на полке стояли книги С. Малашкина и Л. Гумилевского, Г. Никифорова и П. Романова, усиленно муслировавшие модную тогда «половую проблематику». Они и влекли и оттал-

кивали, и романтический заряд, в самое время полученный от «По ту сторону», был необходим. С другой стороны полки стояли очень недурные и похуже переводные романы, в изобилии выпускавшиеся частными издательствами «Мысль», «Пучина», «Космос» и другими. Они притягивали фабульностью, динамичностью рассказа. Роман Кина вступал в соревнование с ними на их собственной территории, в великой стране приключений, и это соревнование выигрывал. Снова воспоминания библиотекаря: по читаемости книга пошла наравне с Джеком Лондоном и здорово обогнала Джемса Оливера Кэрвуда, например. Именно увлекательность книги делала ее подозрительной в глазах строгих ревнигелей литературной серьезности...

Летний вечер в самом начале тридцатых годов. В комнате полутемно. На фоне большого светлеющего оконного проема легкий силуэт человека, сидящего с ногами на широком подоконнике. Я только что вошел и знаком не со всеми присутствующими. Хозяин комнаты, темпераментный грузин Платон Кикодзе красноречиво обличает руководство РАППа в каких-то уклонах. Я появился в разгаре спора, и на меня никто не обратил внимания. Человек, сидящий на окне, не то чтобы возражает, но время от времени вставляет задорно иронические фразы. Одна из них настолько смешна, что я, не выдержав, захохоту. Кикодзе бросает на меня свирепый взгляд.

Спор идет на самом высоком философском уровне. В то время вся молодежь увлекалась Гегелем, и термины диамата пестрели во всех разговорах, не исключая тем футбола и джаза Утесова. Лицо сидящего на окне мне не видно. Но вот опять отворяется дверь, и вошедший с хода поворачивает выключатель. Спор как-то сразу выдыхается. Еще несколько шуток — и двое уходят: один из них гот, кто сидел на окне. Он невысок, худощав, строен. Серый костюм и светло-синяя рубашка без галстука. Серо-голубые глаза. Блондин. Крепко сжатый, насмешливый и упрямый рот. На пороге он оборачивается и еще что-то острит в адрес Кикодзе, но исчезает раньше, чем тот успевает взорваться. Не помню саму остроту, но хорошо помню ее стиль — нечто вроде фразы из записных книжек Кина в одностомнике: «Он жевал художественную литературу, как бык жует фиалку...» Сказанное так смешно, что захохоту все.

Я спрашиваю Кикодзе — кто это?

— Как? Разве ты его не знаешь? Это Виктор Кин.

Я вскакиваю.

— Виктор Кин? Тот самый...

— Ну да! Умный малый, но застрял в переверзевщине...

Кикодзе готов с места начать избличать профессора, имя которого тогда было у всех на языке. Любопытный человек Платон Кикодзе. Помню, что он был прогив Авербаха, Либединского, журнала «На литературном посту», Воронского, Полонского, Лежнева, Лефа, конструктивистов, Литфронта, находил мелкобуржуазные ошибки у Горького, презирал Алексея Толстого и Художественный театр, обличал Мейерхольда за механицизм, Андрея Белого за антропософию, кого-то за вульгарный социализм и всех остальных за разное. Не помню только, за что он стоял сам. Это было живое воплощение критицизма, пожирающего самого себя. И при этом он был живым и талантливым человеком, правда слишком шумным и красноречивым.

Он сразу разразился монологом об учениках Переверзева. Но меня совсем не интересует профессор Переверзев, его ученики и их оппоненты. Интересует меня сам Виктор Кин.

Так вот он какой! Пожалуй, похож на Безайса, но это не Безайс... Да, этот человек мог написать «По ту сторону»!

Такой была моя первая в жизни встреча с Виктором Кином в общежитии аспирантов Комакадемии, в большом доме у Никитских ворот.

Я не произнес при нем ни слова, но, как оказалось, он меня запомнил. Может, потому, что я тогда засмеялся. Или просто так, неизвестно почему. А может, и вовсе не запомнил, но, когда припомнил весь этот вечер и спор о философии и литературе и крикливый голос Платона Кикодзе, ему показалось, что он и меня вспомнил, когда я заговорил о нашей первой встрече.

Это было через шесть лет в такой же летний московский вечер и по странному совпадению почти на том же месте, напротив дома, где раньше находилось общежитие Комакадемии, на Тверском бульваре, у памятника Тимирязеву.

Он проходит мимо меня, сидящего на скамейке, и вдруг останавливается и садится рядом. Я сразу узнал его, хотя ни разу с тех пор не видел. Он закуривает, замеча-

ет мой пристальный взгляд, вопросительно взглядывает, полуотворачивается, молча курит, снова оглядывается.

Я заговариваю и напоминаю обстоятельства первого знакомства. Он почти не изменился — так же строен, худощав, моложав.

Это лето 1937 года. Недавно я прочитал в одной из газет, что где-то в Грузии разоблачен «враг народа» П. Кикодзе. Уже пострадал и еще один из находившихся в тот вечер в его комнате. Имя В. Кина тоже на днях упоминалось в связи с какими-то политическими обвинениями против бывшего Литфронта рядом с именами Беспалова, Зонина, Рожкова, Безыменского. Было заявлено, что у Кина одно время жил «разоблаченный враг народа, террорист Д. Шмидт». Обвинение страшноватое, но вот Кин еще жив и здоров и ходит по Москве. Я слышал, что он редактирует «Журналь де Москву»...

(Недавно я встретил рассказ о знаменитом кавалерийском командире Красной Армии Д. Шмидте в сборнике, посвященном памяти его близкого друга командарма И. Якира. Они были реабилитированы одновременно.)

Кин спрашивает о судьбе Кикодзе: оказывается, он пропустил заметку о нем. Я ничего точно не знаю, но догадаться нетрудно. Кажется, я промолчал. И тут он улыбнулся. Это было неожиданно, но я не удивился, потому что это был Кин. В его невеселой улыбке было многое: сложный рефлекс воспоминаний, ассоциаций, сопоставлений. Я тоже спрашиваю его о профессоре Переверзеве. Он пожал плечами. И тут пришла моя очередь улыбнуться. Былые яростные споры о «переверзевщине» выглядели простодушной буколиккой на фоне этого вечера. Не очень содержательный разговор двух москвичей легом 1937 года. Вот так, с каких-то непронесенных слов, от каких-то общих неназванных ассоциаций между нами тогда установилась атмосфера понимания, определившая тональность моего единственного в жизни разговора с ним.

Разумеется, ничего сверхзначительного или сакраментально пророческого сказано не было. Случайный характер встречи и весьма отдаленное знакомство не позволили разговору выйти из границ болтовни о том и сем. Что-то о приехавших в Москву в те дни баскских футболистах. О книге Тарла о Наполеоне, которая была объявлена

в газетах враждебной, а буквально на другой день реабилитирована и расхвалена. Я спросил, не объясняется ли эта стремительная амнистия вмешательством Сталина. Он опять улыбнулся и пожал плечами. Вопрос был, конечно, сверхнаивным. Незадолго до этого похоронили М. И. Ульянову. Кин работал с ней в «Правде» и рассказал мне два-три эпизода. В них тоже светилась его добрая улыбка. Я задал ему вопрос о Литфронте. Он ответил небрежно, иронически, как о чем-то неважном, хотя именно это в первую очередь тогда ставилось ему в вину. Поговорили еще о некоторых злобах дня московского лета. У меня в руках был томик «Былого и дум» — тогда начало выходить это удобное, маленького формата издание в зеленых переплетах. Он попросил его, перелистал, подержал, как бы взвешивая, на руке и вернул мне. Разговор обратился к книгам — тема неисчерпаемая...

Сколько мы просидели, разговаривая, — полчаса, час или больше — не помню. Позванивали и дребезжали на стрелке трамвайные вагоны линии «А». Пахли левком. Потом Кин встал и сказал, что ему нужно позвонить по телефону-автомату. Ближний автомат был в аптеке (ныне этот дом снесен). Я шел к Арбатской площади. Мы пересекли улицу и на углу у аптеки расстались...

Вот и все. Немного, но у меня есть ощущение, что я знал Виктора Кина. И мои беглые и незначительные воспоминания как-то остро и точно впечатываются во все, что я о нем слышал раньше и узнал потом. Главное в первой встрече — победоносная и уверенная в себе сила ума и веселый оптимизм. Во второй — мужество.

## 2

О Викторе Кине, писателе и человеке, в последние годы было опубликовано несколько статей и заметок А. Зуева, Л. Славина, Г. Литинского, С. Трегуба, В. Шнейдера и вдовы писателя Ц. И. Кин. Сказано много существенного и не стоит повторяться, но вся проза Кина так насыщено автобиографична, так связана с его личностью и с судьбой поколения и все личное и общее так сложно в ней переплелось, что чисто литературоведческий анализ этой прозы невозможен без отступлений к биографии писателя...

Москва в середине двадцатых годов была городом необыкновенным и фантастическим. Еще были живы в ней черты сытной и шумной купеческой столицы, поражавшей мир утонченным модернистским искусством и следами уходящей в древность старины: нищими на папертях и неугасимыми лампадами перед Иверской богородицею. На нее нахлобачили аскетические углы и линии красной резиденции Коминтерна, тревожившей планету странными сокращенными словами: РОСТА, Чека, вуз, КИМ. На все это лег непрочный, но яркий, как сияние всгряхнутой электрической лампочки, блеск нэпа. Кое-кому показалось тогда, что в ней начал складываться прочный, косный быт совслужащих, «новой буржуазии» и заседевшего за учебники пролетарского студенчества, и они затосковали по недавним революционным потрясениям, не догадываясь, что устойчивость этого быта была эфемерной.

В эту Москву со всех концов республики в те годы ехали толпы молодых людей, битком набитых юной энергией, молодым честолюбием, неслыханной жадностью учиться и работать. Киевский и Курский вокзалы выбрасывали оживленных и тщеславных южан. С Казанского и Ярославского прибывали уральцы, сибиряки, дальневосточники. Среди последних был и невысокий, худощавый, голубоглазый, русский молодой человек в поношенной шинели — Виктор Павлович Суровикин. За его плечами были два фронта гражданской, подполье на Дальнем Востоке, комсомольская работа в Свердловске, наивная и пылкая провинциальная журналистика.

Пристально и удивленно он рассматривал нэповскую Москву. Шла осень 1924 года. «Он уехал отсюда два года назад, в двадцать первом году, когда город шумел другой жизнью, и теперь не узнавал ничего — ни улиц, ни домов, ни людей», — так впоследствии, в незаконченном романе, В. Кин описывал приезд в Москву Безайса. До этого жизненные пуги автора и его любимого героя шли рядом, но дальше они расходятся. Кин не проваливался в МГУ, как Безайс, он поступил в Государственный институт журналистики (ГИЖ) и его закончил. Этот период его жизни лаконично и юмористически описан в «Автобиографии». Потом (вернее — параллельно) он работал фельетонистом в «Комсомольской правде», был приглашен в «Правду». Работая в

«Правде», одновременно ночами на кухне коммунальной квартиры на Гоголевском бульваре он писал свой первый роман «По ту сторону». Листы с забракованными черновиками он складывал в папку с надписью: «Потерянное время». В конце работы эта папка оказалась толще той, в которой лежал роман. В 1928 году роман вышел книжкой в издательстве «Круг». Я спрашивал вдову писателя, почему Кин не предложил его в один из толстых журналов. Кроме солидных «Красной нови» и «Нового мира», тогда уже существовали и «Октябрь» и «Молодая гвардия», охотно печатавшие начинающих авторов. Просто случилось так, что первый же редактор, кому Кин через посредство сотоварища по газете показал свой роман, его одобрил и принял.

В литературном дебюте Кина сразу определилась характерная черта его поколения, этих мальчишек, очень торопившихся жить, в шестнадцать лет командовавших полками и в двадцать редактировавших газеты, — он и дня не ходил в «молодых» и «подающих надежды». Первая книга — и первая удача. И удача не условная, не выданная по снисходительности к возрасту, а бесспорная и увесистая.

Судьба книги была своеобразна. Ее большой читательский успех определился сразу, но шумная, полемичная критика двадцатых годов прошла мимо нее. Ее читали, но о ней не спорили. Она была зачислена не по разряду большой литературы, «продолжающей традиции», а по разряду приключенческой литературы для юношества. В 1929 году в библиотеке, где я работал, у нас было два экземпляра «По ту сторону», и как же они были истрепаны, зачитаны, засалены!

Начинающий драматург С. Карташев сделал по роману инсценировку, и ее поставили на малой сцене Художественного театра. Пьеса называлась «Наша молодость» и шла много лет. Роман был дважды экранизирован: и в те годы и недавно, был переведен на многие языки, и в том числе два раза на английский.

Несмотря на этот успех, Кин не торопился становиться профессиональным писателем. В сущности, он так им и не стал. Ему словно было мало спокойного литературского бытия: его всегда тянуло к непосредственно активному участию в жизни. Он

идет учиться на литературное отделение Института красной профессуры, увлекается философией, пробует себя как литературовед и вдруг с радостью принимает предложение отправиться за границу корреспондентом ТАСС. Работает сначала в Риме, потом возглавляет корреспондентский пункт в Париже и только урывками, в свободное время присаживается за начатые рукописи сразу двух новых романов. После возвращения из Франции — заведует отделом советской литературы в издательстве «Художественная литература» (в частности, Кин отдал много редакторского труда роману Николая Островского «Рожденные бурей»: Н. Островский высоко ценил участие в редактуре Кина), потом стал редактором московской газеты на французском языке «Журналь де Моску» и был арестован в ночь на 3 ноября 1937 года...

Вокруг Виктора Кина всегда толпилось много друзей: он был общительным, компанейским человеком. Почти постоянно кто-нибудь из бесквартирных приятелей жил у него. Философские и политические дискуссии, шумные споры о прочитанных книгах, веселая похвальба раскопанными в библинистических развалах библиографическими уникалами, чтение стихов и шуточные розыгрыши. В числе особенно близких друзей были: герой гражданской войны, знаменитый кавалерист Дмитрий Шмидг, дипломаты Марсель Розенберг и Константин Антонов, редактор «Комсомольской правды» Тарас Костров, товарищи по ИКП, литературные критики Иван Беспалов, Марк Гельфанд и Петр Рожков, журналист-инкор Ипполит Ситковский, чекист Виктор Шнейдер и многие другие. Они все были не похожи друг на друга, хотя биографии их поразительно сходны: мальчишками — на гражданской, потом комсомольская и газетная работа, затем институтские аудитории и залы Ленинской библиотеки и наконец большая ответственная работа на разных постах в стране и за рубежом. Когда я пишу здесь о «поколении Кина» — это не историческая абстракция, а памятные имена, живые лица и голоса. Вот эти и другие. Замечательные люди! Замечательное поколение! Многие из последующих поколений представляют себе людей того времени неверно, примитивно, обедненно, как сухарей-схематиков или фанатиков-крикунов. Но все было богаче, сложнее, противоречивее, умнее.

## 3

Перечитывать книгу, когда-то любимую, почти так же рискованно, как встретиться со старым приятелем после долгой разлуки. Чаще всего это приносит разочарование. Не всегда в нем признаешься, потому что, сопоставив воспоминание с новым впечатлением, нужно что-то осудить: его или себя. С книгой это еще труднее, ведь тут уже ясно, что измениться мог только ты, а книга осталась прежней. У нее признанная репутация, ее переиздают, кто-то ее читает, как ты сам когда-то. впервые. Берешь ее, чтобы испытать вновь запомнившееся волнение, с которым читал в первый раз. Но оно не приходит. Равнодушно перелистываешь страницы, упрекая себя в утрате свежести и непосредственности. Можно также, снисходительно усмехнувшись, признаться в былой наивности и глупости. Задним числом это легче легкого. Но, играя в шахматы с самим собой, радоваться блестящему мату — такого рода занятие все же полного удовлетворения не дает. Обычно остается смутное ощущение недовольства. С собой или книгой? Разобраться в этом непросто. Иногда это бывает полезно, но недаром жена библейского Лота была наказана за то, что любила оглядываться.

Не без подобных опасений я взял в руки недавно вышедшую книгу Виктора Кина «Избранное», большую часть которой занимает популярный в конце двадцатых годов роман «По ту сторону». Кроме него, в книгу вошли фрагменты двух незаконченных романов: «Лилль» — о первой мировой войне, и роман без названия о журналистах, а также старые газетные фельетоны и отрывки из записных книжек. Заглавие «Избранное» не совсем точно. По существу книга содержит все, что сохранилось из литературного наследия писателя. Об «избранности» можно говорить разве что применительно к записям и фельетонам. Сборнику предпослана содержательная и точная статья Ц. И. Кин, единственным недостатком которой является только то, что она слишком коротка.

Но вот прочитаны первые страницы, и боязливое предубеждение исчезает. Читая с увлечением, что-то припоминаешь, что-то кажется совсем новым, опять влюбляешься в остроумного Безайса и сдержанного Матвеева, радуешься и грустишь вместе с ними, идешь послушно за автором по

дорогам его вымысла; из фантастической теплушки гражданской войны пересаживаешься в кулацкие розвальни, мерзнешь, грешься, рискуешь жизнью и убиваешь сам, томишься провинциальной скукой и пошлостью, любишь без взаимности и не замечаешь, как любят тебя, и, когда кажется, что жизнь окончилась одиночеством и будничной тоской, неожиданно совершаешь подвиг, ради которого стоило жить и умереть. Со страниц романа тебя снова волнует знакомый мальчишеский трепет приключения, но это приключение, этот подвиг не ради старого пиратского клада, а во имя революции, и не под пальмами Тихого океана, а в маленьком, обыкновеннейшем городке Дальнего Востока, того самого Дальнего Востока, центр которого Владивосток — по словам Ленина, город «нашенский»...

Прежнее ли это впечатление? И да и нет. К прежнему прибавилось нечто, что не так просто сразу и определить. Пожалуй, оно богаче прежнего. Одновременно несколькими пластами в тебя входят и история Безайса и Матвеева, и твои собственные воспоминания о времени, когда это читалось впервые, и то, каким ты тогда был, и то, что помнишь и знаешь об авторе и его судьбе, и еще многое. И снова убеждаешься, что по-настоящему хорошую книгу перечитывать еще интереснее, чем читать в первый раз. Вспоминаю, что незадолго до своей смерти об этом говорил Ю. Олеша: «Я уже давно не читаю, а только перечитываю. Оказывается, перечитывать увлекательно вдвойне». Значительная часть его посмертно изданной книги «Ни дня без строчки» и состоит из рецензий на перечитанное. Все встречавшиеся с ним в его последние годы помнят, как ярко он рассказывал о перечитанном. Многих рассказов я не нашел в книге: значит, он записывал не все. Строчек-то было много, но дней не хватило. Беру с полки книгу Олеша и перечитываю. Вот эти слова, правда записанные несколько иначе: «Замечательную книгу мы читаем каждый раз как бы заново, в этом удивительная судьба авторов замечательных книг: они не ушли, не умерли, они сидят за своими письменными столами или стоят за конторками, они вне времени»...

Все сказано верно и отлично, и только с последними словами хочется поспорить. Нет, книги эти живут не «вне времени», а

именно «во времени», в своем времени, которое так сложно связано с нашим, без которого не было бы нашего времени и которое мы тем не менее так плохо помним и мало знаем. Они существуют одновременно и в нашем времени, и эта одновременность их существования (хочется сказать — это чудо одновременного существования, чудо сосуществования) приближает к нам «их время», время Кина и его ровесников, таким, как оно было въяве — с фининспекторами, с блеском чудес и с вошью чернил», говоря словами любимого поэта Виктора Кина (и всего поколения) Владимира Маяковского.

Для меня волнующая художественная сила романа В. Кина и других его незаконченных произведений прежде всего в умной и зоркой точности, с которой им написано свое время. Мне трудно представить исторический роман о двадцатых годах, где бы это было сделано зримее, нагляднее, глубже не по выводам и итогам, а по тому живому движению чувств, настроений, привычек, заблуждений, странностей, мечтаний и надежд, без которого при любой идеально построенной сюжетной мизансцене все сухо, схематично и убедительно.

Существует старый спор — что остается в истории: искусство, выражающее свое время, или искусство, говорящее о «вечных ценностях духа». Открыто или замаскировано, но спор этот не утихает и в наши дни, хотя уже давно доказано, что эти самые «вечные ценности» живут только тогда, когда время наполняет их, как паруса ветром, содержанием современных проблем, современных задач. Вспомним полную перипетий историю такого слова, как патриотизм. Через какие только приключения не прошел этот термин: годами он жил в кандалах кавычек или спутником каких-нибудь очень неуважаемых понятий («социал-патриоты») и вдруг словно заново родился, когда защита родины стала самым главным делом. В: Кин не писал о «вечных ценностях» или «вечных истинах» — в его время к этому относились вполне иронически, я бы даже сказал: весело-иронически, он был поэтом-историком только своего поколения, только своего времени, но сейчас на дистанции десятилетий отчетливо видно, что нехитрый рассказ о приключениях двух комсомольцев в дальневосточном подполье несет высокий и подлинный моральный пример.



Настоящее искусство всегда обо всем говорит только в прямом смысле, а смысл нарицательный добавляют последующие годы, десятилетия и эпохи. Вероятно, лучший способ стать современником своим внукам — это быть прежде всего современником самому себе. Замечательные книги живут не «вне времени», а одновременно и в своем времени, и во всех временах. Таков роман «По ту сторону», таковы многие другие наброски и фрагменты писателя. Они выдерживают искус ревнивого перечитывания. Я не хочу сказать, что они вечны, — да и что вечно? — но в перспективе десятилетий они, как хорошее вино, которое с годами меняет свою химическую структуру, делается лучше, — стали интереснее, богаче. Они как бы вобрали в себя множество исторических ассоциаций и сопоставлений. Если бы мы и не знали историю написания «Войны и мира», начатую замыслом о возвращающемся декабристе, то мы и сами могли бы, продолжив в своем воображении судьбу Пьера Безухова, представить его декабристом. В романе Кина погибает один Матвеев, а Безайс остается жить. Потом мы видим его в середине двадцатых годов в Москве эпохи нэпа. Рассказ обрывается, но разве мы не можем себе представить дальнейшую историю Безайса? Он так точно вписан в свое поколение, что, представляя судьбу поколения, мы видим Безайса и его будущее. А от этого воображаемого и реальнейшего продолжения, не написанного Кином, уже иными кажутся и юный мажор героя, и его счастливая уверенность в том, что он принадлежит к избранному поколению, и его несколько беспечный романтизм.

У многих ли героев популярных романов двадцатых годов можно так продлить судьбы? Многие ли из них не тускнеют с годами, а обогащаются новыми красками? Многие ли из них не разочаровывают при перечитывании?

В искусстве середины нашего века резко и определенно обозначилась черта, которую можно назвать эффектом личного присутствия автора. Сильная, привлекательная индивидуальность художника, его жизнь и судьба не только влияют на оценку и восприятие сделанного им, но и в многократной степени повышают эту оценку. Личность художника как бы договаривает не договоренные произведениями, бросает дополнительный свет на каждое в отдельно-

сти и словно скрепляет их новой сложной сверхсюжетной связью. От этого некоторые вполне законченные произведения приобретают характер фрагментов, а фрагменты, отрывки незавершенного, недописанного, брошенного и опубликованного позднее, будучи поставлены друг с другом в неожиданную связь, в системе нового «целого», в которое входит и биография писателя, кажутся не то чтобы законченными, но как бы не нуждающимися в окончании.

Флоберовское утверждение, что читателю не должно быть никакого дела до личности автора, сейчас, в середине XX века, кажется не только странным, но и непонятым. Современный читатель всегда ищет связи поразивших его произведений с личными судьбами художников и, встретившись с подлинным и большим, безошибочно ее находит. Иногда этот интерес к судьбе вырастает настолько, что почти заслоняет сами произведения. Пожалуй, сейчас нам интереснее читать о Байроне, чем самого Байрона, и вовсе не из мещанского любопытства к подробностям частной жизни, а потому, что «байроновское» в этой жизни содержится в более густой концентрации, чем в условных фабулах его романтических поэм. Современный читатель с особенной жадностью ищет соответствия «души» и «дела» у своих любимых художников и, найдя его, вознаграждает художника небывалой привязанностью и любовью. Не в этом ли отчасти секрет популярности Сент-Экзюпери? Один из его французских биографов тонко заметил, что он независимо от жанра, материала, темы всю жизнь как бы писал одну книгу, так слитны его творчество и его биография.

Многие литературные репутации меняются, растут, сходят или меркнут в зависимости от того, каким светом горит нам просвечивающая через все личность художника. Смерть Хемингуэя кажется нам еще одним его романом так же, как жизнь Кафки, как подвиг Фучика. Наиболее ярким примером этого может быть судьба Николая Островского. Невозможно представить себе его романы, написанные на даче, в промежутках между бильярдными партиями и поливкой уникальных сортов роз. То, что я назвал эффектом личного присутствия автора, в романах Николая Островского содержится в исключительной степени, и, вероятно, отсутствие этого было бы невозможно никакими другими достоинствами.

И литературное наследство Виктора Кина, такое яркое и талантливое само по себе, не может быть верно оценено с помощью частных характеристик: то сильнее, то слабее, то завершеннее, то фрагментарнее. Не это ведь главное, вернее, не в этом дело. К любой критической оценке невольно и неизбежно присоединяется влияние замечательной личности автора. Именно она ставит все собранное в «Избранном» — роман, черновые наброски, отрывки и фельетоны — в цепкую и нерушимую органическую связь, и отрывистость, обрывчатость и эскизность приобретают качество и силу художественного приема, как многоточия, заменяющие пропущенные строфы в «Онегине», как внезапная, но полная глубокого смысла и тонкого художественного расчета остановка с незаконченной фразой в стихотворении М. Цветаевой «Тоска по родине». Замысел художника, непринужденная дневниковая запись и неназванные, но угадываемые факты биографии — все это уравнивается по значению с красноречивыми документами вроде заявления в Амурский обком РКСМ от секретаря Бочкаревского укома РКСМ В. П. Суrowикина, а вместе составляет увлекательнейшую книгу, своим паразитическим психологическим единством и внутренней цельностью подобную, несмотря на все различия, той единственной книге Сент-Экзюпери, которую писатель-летчик писал всю свою жизнь.

## 4

В романе «По ту сторону» есть удивительное свойство: по своей лексике он кажется написанным не тридцать семь лет назад, а вчера. Представьте, что вы читаете его в первый раз, и вам почудится, что он недавно был напечатан в журнале «Юность»: его герои острят и «треплются», как герои повестей нашей молодой литературы, как современные студенты, геологи или физики, только, пожалуй, с большим вкусом. По манере думать и говорить, по целомудренной запрятанности внутреннего нафоса в притворное легкомыслие, в небрежность и в беззаботную шутку Безайс и Матвеев ближе к современной молодежи, чем герои иных произведений, написанных совсем недавно. В этом смысле паутина старомодности нигде не коснулась здания романа. К сожалению, этого нельзя сказать о многих других книгах — ровесниках «По

ту сторону». В чем тут причина? Может быть, писатель угадал и зафиксировал какие-то слагавшиеся уже тогда коренные психологические черты молодого участника революции, а не только наносные и поверхностные, меняющиеся чаще, чем мода на узкие или широкие брюки?

Еще одна замечательная черта в романе — юмор. «Многое казалось Безайсу смешным, это была его особенность» (Записные книжки В. Кина). «Мир был покрыт пятнами смешного» (там же). Не остро словие персонажей, часто делающееся утомительным, а всеобъемлющая атмосфера юмора, с которой никогда не уживаются ходячность и выпренность. В период своей работы в Италии Кин навестил в Сорренто М. Горького (которому, кстати, очень нравилось «По ту сторону») и услышал от него определение природы своего юмора как близкого к англосаксонскому. Об этом мне рассказала Ц. И. Кин. Замечание верное и тонкое, и тут есть над чем задуматься. Откуда у сына борисоглебского паровозного машиниста Павла Суrowикина англосаксонский юмор? Но мир влияния литературы неделим: американские девушки влюбляются в Наташу Ростову, английский начинающий писатель, шахтер, ночами читает Чехова, Павка Корчагин бредил Оводом, а борисоглебские и арзамасские мальчишки ушались растрепанными томами приложений к журналу «Природа и люди» и желтенькими книжечками «Универсальной библиотеки», впервые в России печатавшей Джека Лондона. Пишу это не без опаски: одному моему знакомому литературоведу когда-то очень досталось за то, что он, как выразился некий критик в «Литературной газете», «объективно пытался принизить влияние на Пушкина Арины Родионовны», но, думаю, теперь уж не будет предосудительным отметить, что Кин учился у Марка Твена и Джека Лондона, Стівенсона и Киплинга. Журнал «Природа и люди» давал в приложениях не только романы Густава Эмара и Луи Жаколю, но и целые собрания сочинений этих понастоящему больших писателей, и в том числе и Диккенса, и Гюго, и Брет-Гарта, и это-то и было излюбленным мальчишеским чтением предреволюционных лет. Я сам хорошо помню эти провинциальные книжные клондайки. (А. Гайдар в письме к Р. Фраерману писал о своих самых любимых писателях, которым он был обязан

«весь и всем». Из четырех имен, названных им, три — Марк Твен, Диккенс и Гофман.) Но правда также и то, что реальнейший, невыдуманный романтизм времени и материала сюжета «По ту сторону» очень естественно лег в русло этих влияний. Это не было сознательным подражанием: скорее это шло от состава крови, впервые начавшей бурлить в жилах там в шалашах яблоневых садов или на полутемных чердаках Борисоглебска и Арзамаса над страницами любимых книг.

Мы знаем в нашей литературе много неудачных попыток перенесения и заимствования схем переводных авантурных романов и наложения их на советский, революционный материал. Ничего путного из этого никогда не получалось, и в большую литературу эти опыты не попали, оставшись в границах «чтива». Пожалуй, удалось это одному Кину и как раз потому, что он ничего не заимствовал и не переносил даже, вероятно, обдуманно, как литератор, не подражал, но честно и искренне описывал молодых людей своей формации, которые — вчерашние читатели Джека Лондона и Стивенсона — сами немощко подражали своим любимым героям. Легкая стилизация под Овода, Смока Белью и им подобных была не литературным приемом романиста, а исходной мальчишеской житейской позицией первых комсомольцев (вспомним и героев «Двадцати лет спустя» М. Светлова, влюбленных в мушкетера Дюма). Столкнувшись с реальными испытаниями суровых лет гражданской войны, с живой романтикой революции, она дала образования тех редких характеров, поэтом которых стал Кин.

В томе «Избранного» помещен небольшой отрывок из черновых вариантов романа. Их сохранилось гораздо больше: некоторые я прочитал. Многие из них написаны той же смелой, уверенной рукой, что и знакомый текст романа, и можно только удивляться, почему автор их забраковал. Иногда это приходилось делать, видимо, потому, что по мере написания перестраивался сюжет. Так, например, Варя-комсомолка превратилась в Варю — славную, но недалекую мешаночку. Выгоды этой трансформации очевидны: рядом с такой Варей и ее родными суровая чистота и романтическое бескорыстие Матвеева и Безайса предстают рельефней: от контраста их фигуры выигрывают, да к тому же этот «ход» дает возможность по-

казать автору подвиг молодых подпольщиков на реалистически традиционно описанном бытовом фоне чеховско-чириковской провинции: опять же умный и выгодный контраст.

Я помню спектакль Художественного театра. В нем играли молодые Дорохин, Массальский, Кудрявцев, Ольшевская, В. Полонская. В зале охотно смеялись. Герои инсценировки были симпатичны, забавны, психологически достоверны, хотя несколько напоминали молодых Турбиных. Автор был недоволен трактовкой отдельных ролей, но ведь на то он и автор. Зрители же много и дружно аплодировали. Но, насколько вспоминаю, — прошло почти тридцать пять лет! — спектакль все же был чрезмерно забыт. Привычное, заурядное, бытовое нужное были романтисту как контрастные краски, но соль-то была в другом, и это не было понято театром.

Калека Матвеев, мучающийся после ампутации ноги своим вынужденным бездельем и бесполезностью для революции, выходит вечером расклеивать листовки: «Старый ветер дул в лицо, зажигая кровь. Матвеев пошел, распахнув шинель, навстречу ветру, не помяя себя от небывалого мучительного восторга. Он шел догонять своих, и все равно, по какой земле идти — по травяной Украине, которую он топтал конем из конца в конец, или по этому перламутровому снегу. В неверном тумане шли призрачные полки, скрипела кожа на седлах, тлели сигарки, и здесь, на этих завороженных улицах, он слышал, как звякают кубанские шашки о стремяна. Кони, кони, веселые кони, развеянные в небо, в дым!»... Ничего этого в спектакле «Наша молодость» не было: Матвеев шел не по Украине и вокруг в тумане не было призрачных полков, а торчал какой-то скучный, хотя и весьма самоделишный забор, вдоль которого, правдиво прихрамывая, ковылял актер.

В вышеприведенном отрывке романтический подтекст романа обнажен. Зрелый Кин, может быть, отказался бы от «перламутрового снега» и от очевидного «бабелизма» эпитета «небывалый», но некоторая наивность (или смелость?) средств отчасти идет ко всему художественному строю романа. Палитра молодого писателя была богата многими красками, и он смело клал их на свое полотно.

Как творчески рос и креп талант Кина, как оттачивался его вкус, как мучал его

ум, видно по его последним, к сожалению, незаконченным произведениям.

Из фрагментов двух других незавершенных романов В. Кина, помещенных в «Избранном», мне лично больше нравится тот, которому автор, судя по воспоминаниям его близких, уделял меньше труда и внимания, — роман о Безайсе-журналисте и Москве середины и конца двадцатых годов. «Лилль» написан талантливо и умно, но несколько несвободно: в нем есть стилистическая напряженность, есть «старанье», есть оглядка на модные литературные веянья. Задуманная автором многоплановость композиции позволяла испытать в сюжете некое стилистическое многоголосье, но кое-где в этом ощущается связанность и даже искусственность. А может, «Лилль» кажется менее интересным, потому что после пережитой нами второй мировой войны почти невозможно читать про первую: масштабы ее трагических и трагикомических перипетий кажутся маленькими, все равно как бы после «Войны и мира» читать роман о войне Боливии с Парагваем. Но как раз именно роману «Лилль» писатель придавал наибольшее значение, и это вполне понятно: опасность новой войны уже виднелась на горизонте, и «Лилль» должен был стать оружием против нее. За романом же о журналистах Кин, по его собственным словам, почти отдыхал. И вот что значит для художника внутренняя свобода и легкость: именно эти страницы, написанные без всякого усилия, то ли для отдыха, то ли для развлечения, пожалуй, можно признать лучшим, что было создано В. Кином (вместе с совершенно замечательным «Моим отъездом на польский фронт» — этим маленьким шедевром, вершиной прозы писателя).

«В университете в громадные окна глядело бледно-голубое осеннее небо, желтые клены роняли крупные листья на подоконники, на траву, на серые плечи Герцена, одиноко стоявшего во дворе. Классические барельефы изгибались по карнизам каменными завитками, покрытые столетней пылью. Пыль была всюду: на карнизах, на шкафах, на черной источенной резьбе. Это лежала пыль старых отзвучавших слов, высохших формул, забытых проблем, над которыми трудились когда-то профессора в напудренных париках. Здесь по древним коридорам бродили тени вымерших наук — риторики, теологии, гомилетики, в сыром углу ютился желчный призрак латинского

языка. Безайс с задумчивым уважением смотрел на толстые стены и плиты коридора. Десятки поколений прошли здесь: гегельянцы в треуголках и при шпаге, с голубыми воротничками; нигилисты в косоворотках; девушки восьмидесятых годов в котиковых шапочках. Стены впитали в свою толщу эхо молодых голосов, и камень стал звонким»... Писатель ошибся: девушки в восьмидесятых годах не учились в Московском университете, но, вероятно, он сам внес бы поправку: ведь это еще только черновик романа, но как отлично это написано — выпукло, с взволнованным ощущением истории, являющимся глубокой характеристикой романтика Безайса, впервые попавшего в университет.

Или вот еще другой отрывок — утро в редакции...

«Утром в полутемных комнатах редакции раздался одинокий звонок. Он рассыпался мелкой дробью над пустыми столами и грудами смятой, испачканной бумаги, отозвался дребезжаньем в пустом графине и обесиленно утих. Тогда из глубины коридора вышла со щеткой уборщица, бабушка Аграфена. Это была ее неутомимая старческая страсть, увлечение, которому она отдавалась всей душой. Она любила говорить по телефону. Для нее это не было пустой, легкомысленной забавой, она относилась к этим разговорам, как к своему долгу, торжественно и сурово. Медленно она снимала трубку, прижимала ее к желтому уху и многозначительно спрашивала: «А откуда говорят?..» Особенно волновали ее эти утренние звонки, когда в редакции никого нет и комнаты наполнены странной, выжидающей тишиной, отзвуками вчерашней работы...»

Кин умел и любил вкусно и заманчиво описывать бытовую сторону жизни, будни, труд, как люди едят и спят, — весь житейский поток дня с его пустяками и со всем значительным, что есть в нем. Его поэтический романтизм находится под этим внешним бытовым слоем, как подпочвенные воды, питающие корни жизни, он близок и не бьет наружу, но он тут, под этим внешне спокойным и трезвым, чуть окрашенным юмором описанием.

Характерен первый приход Безайса в редакцию, первый разговор с заведующим отделом:

«— Почему вы хотите работать в газете?»

Начинающий улыбнулся, как показалось Бубнову, самоуверенно.

— Мне кажется,— сказал он,— что у меня это выйдет. Я думаю, что выйдет,— поправился он.— Но я хочу попробовать обязательно.

— Но почему бы не попробовать еще какое-нибудь дело? Из вас может выйти шофер, фармацевт, может быть нарком. Почему обязательно в газете?

— А почему нет?..

— Вы хотите быть репортером?

Начинающий снова улыбнулся.

— Я хочу работать, может быть, редактором,— легко ответил он.— Но я могу работать и репортером»...

Кин пришел впервые в газету иначе: его просто прислали по распределению из губкома РКСМ, но все же здесь многое автобиографично — и веселая самоуверенность молодого героя, и то, что он хочет работать редактором, но может попробовать и репортером. Это было личное жизненное правило Кина: «Надо мечтать о громадном, чтобы получилось просто большое».

Незаконченный роман о журналистах занимает в томе «Избранного» всего семьдесят маленьких страниц, но и по этим не очень связанным друг с другом отрывкам можно судить, что размах замысла был большой. По свидетельству Ц. И. Кин, в нем «должна была развертываться острая борьба между ленинцами, троцкистами и правыми. В частности, троцкистом был Копин, который фигурирует в опубликованных фрагментах. Роман был задуман настолько остро, что Кин говорил, что его не захотят печатать. Впрочем, он объявлял, что в этом случае он пошлет рукопись в ЦК» (Из письма Ц. И. Кин). Обидно, что этот замечательный план не был осуществлен. Это потеря не только в биографии Кина-писателя — это общий убыток всей советской литературы.

У меня нет возможности подробно анализировать напечатанные в «Избранном» ранние фельетоны В. Кина, в свое время помещавшиеся на страницах «Правды» и «Комсомольской правды». Но уже по ним можно судить, как зрело и набирало высоту дарование молодого писателя, как, освобождаясь от интонационной подражательности и внешней хлесткости, становилась самостоятельной его фраза, как автор учился отбирать и ценить выразительные подробности, бытовые штрихи. Историк тех лет

много найдет для себя в таких фельетонах Кина, как «Сотый», «Новая земля» или «Старый товарищ».

Не могу удержаться и не процитировать из одного из них лаконичную и выразительную характеристику первых революционных лет: «Семнадцатый, буйный год, с серыми броневидами, с шелухой семечек на тротуарах, с наскоро сделанными красными бантиками на пиджаках и кепках Красной гвардии. Он въехал в широкие российские просторы на подножках и крышах вагонов, на паровозном тендере, разбивая по дороге винные склады и стирая с дощатых уездных заборов номера списков Учредительного собрания».

Восемнадцатый — год декретов, митингов, продрозверстки и казацких налетов. Он построил первые арки на базарных площадях и выкопал первые братские могилы против уисполкомов. Он назвал Дворянскую улицу Ленинской и напечатал первые уездные газеты на оберточной бумаге.

Девятнадцатый ввалился с гармошкой и «Яблочком», с дезертирами и мешочниками, взрывая мосты и митингуя на агитпунктах. Он построил фанерные перегородки в барских особняках и зажег примусы с морковным чаем в общежитиях. Девятнадцатый гнал самогонку и ставил чеховские пьесы в облупленных театрах, кричал хриплым языком приказов и писал стихи о социализме. Это был странный год!

Двадцатый пришел как-то вдруг сразу, вдруг. Еще вчера белые сжимали Орел и Тулу, еще вчера в Петрограде дрожали стекла от пушек Юденича и Колчак гнал чешские эшелоны на Москву. И вдруг, почти внезапно, рванулась армия. И красноармейцы уже в Крыму ели терпкий крымский виноград и меняли английское обмундирование на молоко и табак, уже под Варшавой на стенах польских фольварков писали мелом «не трудящийся да не ест», а в Иркутске ветер трепал расклеенные объявления о расстреле адмирала. Это он, двадцатый, выдумал веселое слово «даешь!»

В двадцать первом, когда на Тверской робко выглянуло первое кафе «Ампир» с ячменным кофе и лепешками из сеяной муки, когда в Поволжье вымирали деревни, — кончились солдатские годы. Новые годы сняли красную звездочку с кожаной куртки, расставили плеватальницы на улицах и ввели штраф за брошенный в вагоне окурок. Новые годы оторвали доски с заколоченных

домов и магазинов, пустили тракторы по советскому чернозему и повесили в школах плакат для первого чтения по складам:

«Мы не ра-бы»...»

Эта превосходная проза молодого Кина шла в «Комсомольской правде» в 1926 году под рубрикой «фельетон». Роман еще не был начат, но идеи и образы толпились в воображении. За плечами всего три года газетной работы, но уже тянет испытать силы на чем-то большом. По вышеприведенному отрывку чувствуется, что автору тесно в газетных рамках. Характерно, что двадцатичетырехлетний газетчик не пробует свои силы ни на рассказах, ни на очерках, а сразу садится за роман. Около полугода назад он напечатал фельетон «Годовщина» — о том, как погиб в 1921 году в Приморье комсомольский работник, спасая от белых пишущую машинку — гордость и богатство райбюро, с таким удивительным сплавом романтики и юмора, который будет свойствен будущему романисту Кину и представляет как бы эмбрион «По ту сторону». Герой фельетона, подлинно существовавший человек, комсомолец Виталий Баневур, инструктор Никольско-Уссурийского райбюро комсомола, — родной брат Матвеева, Безайса и самого Виктора Кина.

## 5

Многие из лично хорошо знавших В. Кина утверждают, что образ Безайса автобиографичен. Ц. И. Кин называет эту автобиографичность «предельной». Г. Литинский характеризует Кина начала тридцатых годов как «повзрослевшего Безайса». Но так ли это?

Две беглые встречи с писателем не дают мне права ни подтверждать это, ни оспаривать, но все же у меня на этот счет есть некоторые сомнения, и чем больше я читал и слышал о Кине, тем серьезнее они мне казались.

В театре бывает так, что очень яркое первое исполнение какой-то роли в новой пьесе как бы вдвигает в текст роли личные качества и физические свойства актера и они срастаются с ней в воображении всех, кто видел этого исполнителя до того, как прочитал пьесу «глазами».

Бликие и друзья В. Кина, узнав его раньше, чем был создан Безайс, увидели литературного героя сквозь личную индивиду-

альность Кина, и он навсегда остался для них Кином-Безайсом. Мне кажется, что, при всей несомненной автобиографичности всего написанного Кином, делать заключение о полном тождестве Безайса и молодого Кина ошибочно. Безайс наивнее, проще, поверхностнее Кина, каким он виден нам теперь из совокупности сделанного, замыслов, мечтаний, убеждений и испытаний. Как у каждого настоящего художника, у Кина каждый персонаж несет в себе частичку автора. В том же незаконченном романе о журналистах писатель говорит о другом своем герое, Михайлове: «Он был романтиком по натуре и в самое спокойное, тихое дело умел вносить дрожь азарта, восторг и гнев». Но именно так близкие друзья вспоминают и о самом Кине. Но и Михайлов в целом это тоже не Кин. «Михайлов жил легко, без усилий и тайн, и был весь как раскрытая книга». Нет, «раскрытой книгой» Кина не назовешь. Это был сложный, богато одаренный человек, мечтавший о многом, не уклонявшийся от любой ответственности — черта его поколения! — и, как мне кажется, похорошему, в высоком, а не в низменном плане, очень честолюбивый.

Он любил повторять и занес в записную книжку, что «человек средних способностей может сделать все». Он обращал это и к себе. Прошу прощения у близких писателя, но если в этом афоризме что-то и сквозит за прямым смыслом слов, то вовсе не удивительная скромность, а скорее огромное самолюбие. И ничего сомнительного или ущербного в этом нет. Поколение, к которому принадлежал Кин, меньше всего отличалось скромностью. Да и откуда ей, собственно, было взяться? С первых житейских шагов, еще мальчишками, бросившись в революцию, пройдя юнцами через трагический опыт гражданской войны, постоянно глядя в лицо смерти, не той, с прописной буквы, о которой писали символисты и Леонид Андреев, а самой реальной, они выросли людьми, привыкшими брать на себя многое — от командования военными частями до судьбы планеты, и уже потом, в более спокойные времена, томилась без этого бремени и никогда не искали себе тихой, но бездеятельной жизни.

Когда я представляю лицо Кина, произносящего тираду о людях «средних способностей», мне видится легкий иронический смешок в его глазах. Что-то, а уж цену себе Кин знал. Один только замысел огромного,

многопланового романа «Лилль» выдает его внутренний масштаб. Это отчетливо видно из опубликованных в «Избранном» «Заметок к роману «Лилль». После имевшей большой успех премьеры инсценировки романа «По ту сторону» в Художественном театре В. Кин обращается в дирекцию МХТа с письмом, в котором критикует актера Дорохина, исполнителя роли Безайса, как раз за «поверхностность и легкомыслие» в трактовке роли и, резко критически отозвавшись о качестве всей инсценировки в целом, просит ее переработать. Но спектакль шел с успехом, и МХТ не видел оснований к переделкам, хотя посредственный фильм по тому же роману автору все-таки удалось снять с экрана. Видимо, в обоих случаях В. Кин был прав, но если это и доказывает что-либо, то как раз высокую, а не пониженную самооценку своей работы. Какая уж тут скромность? Какие уж тут «средние способности»?

Еще осенью 1921 года, когда восемнадцатилетний Кин, впервые покинув родной Борисоглебск, ехал по командировке укомом РКСМ в Москву, в дорожном безделье он набросал в записной книжке портрет своего случайного спутника, молодого жеинтеллигента-эгоцентрика, и заключил запись с самоуверенной прямогой: «Он — одно из тех порожних мест, которые мы должны занять». Моги ли сказать так Безайс? Мне кажется, нет. Скорее уж Матвеев. Безайс более сосредоточен на самом себе, более наивен. Но сама эта запись необычайно характерна для поколения Кина, для его самоосознанной напористости, за которой и убеждение в своей исторической правоте, и темперамент юности.

«Мы» — это сам Кин и его знакомые и незнакомые ровесники, среди которых были и А. Гайдар, и Н. Островский, и его соотарищи по дальневосточному подполью, по редакции «Комсомольской правды», по аудиториям институтов, по тассовским отделениям в столицах Европы, а с ними и его герои Безайс и Матвеев, которые портретны более глубоким сходством с поколением автора, чем по прямолинейной теории прямых протогипов. Задача, поставленная себе юной Киню, была выполнена. «Места» были заняты. То, что произошло с этим необыкновенным поколением потом, исторически тоже закономерно: ведь революция не кончилась в 1921 году, как думал Александр Блок. Значительная часть его погиб-

ла с той печальной необходимостью, с которой при начале войн гибнут в первую очередь пограничные части. Николай Островский умер в 1936 году от неизлечимой болезни, полученной на коммунистическом субботнике, Виктор Кин и многие его товарищи (в том числе и тот, который послужил если не прототипом, то прообразом Матвеева) погибли в 1937—1938 годах во времена культа личности, Гайдар отдал жизнь за родину под Каневом в 1941 году.

Как и у каждой исторически значительной эпохи, у двадцатых годов будут обвинители и адвокаты. И среди последних одним из красноречивейших станет голос В. Кина — поэта своего времени, человека, жившего с непоколебимым ощущением, что он современник самой счастливой эпохи человечества. В коротенькой своей автобиографии писатель пишет: «Интересное в моей жизни начинается с 1918 года, когда я с группой товарищей организовал в г. Борисоглебске ячейку комсомола». А вот дневниковая запись, сделанная в Никольске-Уссурийском в 1922 году: «Никогда, кажется, мои мечты не оправдывались в такой полноте и близости, как сейчас. Соблазнительные образы подпольной работы буквально не давали мне покоя»... Еще одна запись: «Я учусь лучшему и большему, что может дать мне современность, — революции»... А вот как писатель говорит в романе «По ту сторону» о своем любимом герое Безайсе: «Это время ему нравилось и он бы не променял его ни на какое другое... Такое время, говорил он, бывает раз в столетие, и люди будут жалеть, что не родились раньше. Тысячи людей готовили революцию, работали для нее, как бешеные, надеялись — и умерли, ничего не дождавшись. Все это досталось им — Безайсу, Матвееву и другим, которые родились вовремя. Всю черную работу сделали до них, а они снимают сливки с целого столетия. Их время — самое блестящее, самое благородное время»... Я уже говорил, что неправильно полностью отождествлять автора с героем, Кина с вымышленным им Безайсом, как это делают некоторые мемуаристы, но в данном случае в словах Безайса звучит голос Кина.

Может быть, кое-кому это все может показаться достаточно наивным, но такое ли уж бесценное приобретение эта высокомерная умудренность? Можно, конечно, перевести на философский жаргон пословицу: всякому овощу свое время, и это если не

утешение, то объяснение. Сен-Жюст в одной из своих речей в конвенте предлагал, чтобы каждый француз, не имеющий друга или не верящий согласно своему заявлению в дружбу, изгонялся бы из пределов Франции. Он рекомендовал также, чтобы убийцам, если их жизнь пощажена правосудием, вменялось всегда носить только черное платье как вечный граур по их жертвам. Те, кто только улыбается над этим, никогда не поймут духовной атмосферы французской революции: ее воздуха, в котором дрожали и длились красноречивые обороты римских ораторов и стихи Расина. Двадцатые годы ближе к нам вчетверо, но, может быть, прав поэт, сказавший: «Повесть наших отцов, точно повесть из века Стюартов, отдаленней, чем Пушкин, и видится точно во сне?»..

Единственный сын Кина погиб в семнадцать лет в 1942 году, защищая свою родину, но огромное большинство читателей новых изданий романа «По ту сторону» — его духовные сыновья и сыновья его поколения или сыновья сыновей. Мне верится, что эта книга будет прочтена ими не с холодным любопытством, а как бывают прочтены вдруг найденные в глубине ящика отцовского стола его старый воинский билет, какие-то характеристики и справки и просто ничего не значащие бумажки, которым время придало таинственный и высокий смысл.

## 6

Отрывки из записных книжек В. Кина можно условно разделить на три группы. Во-первых: наброски, портреты, ситуации, кусочки диалогов и отдельные фразы, относящиеся к «По ту сторону», «Незаконченному роману» и «Лиллю». Они помогают уяснить и ярче представить замыслы писателя. Во-вторых: отдельные записи, сделанные, так сказать, впрок и занесенные сюда для памяти. Иногда они тяготеют к особой форме законченных миниатур (как некоторые подобные записи у А. П. Чехова и И. Ильфа) и почти не нуждаются в дальнейшей обработке. В них выразился зоркий, насмешливый взгляд художника, умение видеть то, что остается не замеченным другими, и любовь к отточенной словесной форме. Но есть еще и записи третьего рода: краткие, афористические формулировки — иногда личные признания, а чаще определение собственной эстетики писателя. Сделан-

ные для себя самого, они лаконичны, а иногда даже парадоксальны.

Такова, например, краткая запись, всего одна фраза, видимо, сделанная в середине тридцатых годов: «Молодость, влюбленная в абстракцию»..

Что это такое? К чему это относится?

В самом строении фразы чувствуется как бы ласковая усмешка. Над чем же? Да над целым периодом собственной жизни (а также своих ровесников-однокашников). Я слышу здесь поздние отголоски пылких споров в комнате Платона Кикодзе, диспутов в курилке Ленинской библиотеки на третьем этаже старинного пашковского дома, в коридорах Комакадемии и в тесной квартирке на Плющихе — дальнее эхо нескольких лет, отданных философии.

Как и все его поколение, Кин переболел этой влюбленностью. Даже маленький сын писателя подшучивал над отцом, читающим одновременно Канта и Гегеля. Это было общее для молодых людей тех лет (конец двадцатых и начало тридцатых годов) заболевание, дошедшее до степени непредставимой С Гегелем под подушкой тогда спали, им бредили во сне, его глотали, держась за ремни-поручни в трамвае, и спорили о нем за скудными обедами в студенческих столовках. Казалось, что в закономерностях триады и законах диалектики находится универсальный ключ ко всему на свете: к творческому методу театра, к мировой текущей политике и к седой истории. Я однажды присутствовал на докладе «Диалектический материализм и искусство цика». О Гегеле рассуждали и те, кто его не читал отродясь: он был на слуху у всех. Это к ним, к рьяным новсгегельяниам рубежа тридцатых годов, была, несомненно, обращена строка Маяковского: «Мы диалектику учили не по Гегелю» — с ее явно уловимым полемическим заострением.

Гегель, Фейербах, Маркс, голько что найденное письмо Энгельса к Маргарите Гаркнесс, первая публикация «Диалектики природы» — для ровесников Кина это были огромные события личной жизни, ничуть не меньшие, чем первая любовь, брак и рождение ребенка. Я помню один отчаянный по накалу спор об одиннадцатом тезисе Маркса о Фейербахе, когда спорщики дошли до грубых личных оскорблений и после не разговаривали полгода. Говорили все на полуживом языке, и никому не нужно было



пояснять, о чем толкуется в одиннадцатом тезисе и о чем в девятом. Через это поветрие прошли все: Александр Афиногенов и Анатолий Глебов расхаживали абсолютно по всем вопросам, кроме убеждения, что метод диамата открывает все двери.

А. Герцен в «Развитии революционных идей в России» писал о молодых гегельянцах второй четверти XIX века, что для них немецкая философия была «логическим монастырем, куда бежали от мира, чтобы погрузиться в абстракцию». При всей соблазнительности исторической параллели, новогегельянство студенческой молодежи поколения Кина несло в себе другое. Скорее это было своего рода мегодологическим мессианством. Безайсу в двадцать первом году казалось, что «мировая революция будет если не завтра, то уж послезавтра наверно». Безайсам в начале следующего десятилетия стало казаться, что стоит еще проштудировать несколько десятков страниц (а если уж солен, то и говорить не о чем) — и все проблемы, тайны, политические и экономические узлы будут разъяснены, раскрыты, развязаны, что истина в ее «конечной инстанции» где-то тут совсем рядом, что она скрыта под словом «метод» и что единственное, что необходимо, — «применять умеючи метод этот». Все оказалось не так просто, и дорога от философии к жизни была длинней, чем это тогда представлялось, но все же ценой рождения некоторого числа начетчиков и схоластов занятия философией были бесспорно полезны: они дисциплинировали и оттачивали умы, расширяли горизонт, помогали связывать практику с теорией, да и попросту приучали читать не только для развлечения или сдачи зачетов. У близких Кина сохранился принадлежавший ему экземпляр «Капитала» Маркса с подчеркиваниями и пометками.

«Мы были чем-то вроде кроликов, нам прививали науку, как новую, еще неизвестную болезнь, и следили за нашими конвульсиями».

А эта запись, мне думается, говорит о собственном увлечении популярным в те годы среди «икапистов» переверзизмом. Профессор Переверзев читал лекции на литературном отделении Института красной профессуры, где учился Кин, и Кин прошел и через это и сам написал немало литературоведческих упражнений, страницы кото-

рых в журналах того времени сейчас перелистываешь с недоумением: неужели эти наукообразные рассуждения принадлежат перу насмешливого и остроумного Кина? Но, судя по этой любопытной записи, он и сам вскоре начал относиться к этому иронически.

Стоит ли вспоминать об этом теперь?

Да, потому что без этих штрихов портрет Кина будет неполон. Виктор Кин был человеком своего времени, с его увлечениями, странностями, с его политическим темпераментом, — времени, когда в слове «революция» звучала не только история. По инерции его жизни, по силе его разбега высшая точка биографии его и его ровесников и говарищей, несомненно, была далеко впереди за рубежом середины тридцатых годов, но нам не понять поколения Кина, если мы оставим в стороне то, что его питало. Было всякое и разное. Было и это — и переверзизмство, и «молодость, влюбленная в абстракцию».

«Долой мистифицирующую манеру изложения!»

Ц. И. Кин пишет в предисловии: «В это понятие входило многое: ложная глубокомысленность, психологические дебри, фраза, за которой нет настоящей мысли». Это несомненно, но думается, что это еще не все. Здесь тоже эстетика смыкается с этикой. За этой фразой не только неприятие литературной манеры А. или Х., но и активное неприятие той стороны жизни, которая постепенно разрасталась на глазах у Кина. Опытный и умелый газетчик, Кин не мог не видеть, как торжественное пустословие в иные годы начинало заполнять газетные столбцы. Одно связано с другим. Фальшивое и двусмысленное содержание нуждается в том, что писатель называл «мистифицирующей манерой». Литературный вкус — это почти всегда и человеческий характер. Так во всяком случае это было у Кина.

«Пильнякая читать не мог — это выше отпущенных человеку природой сил...» «Французские Пильняки».

Иногда отрицательные оценки ярче характеризуют человека, чем перечисление того, что он любит. Позволяю себе пренебречь известным правилом о мертвых только хорошее, — как часто под джентльменской видимостью прячется безвкусице или равнодушие! — но, конечно, наверно, не бы-

ло писателя столь противоположного Кину, чем Б. Пильняк. Вот уж у кого действительно горжествовала «мистифицирующая манера». Кин был смел в своих оценках: иногда он поддавался литературной моде (кто же тут без греха?), а иногда шел ей наперекор. Например, он говорил, что не любит Романа Роллана за его «многословие», и не слишком любил другого властителя дум тех лет — Стефана Цвейга. Можете не соглашаться, но таково было его мнение. Следует учесть, что это высказывалось, когда и Р. Роллан и С. Цвейг были, вероятно, самыми популярными и переводимыми у нас зарубежными писателями. Выходили даже их собрания сочинений. Кин считал, например, «Кола Брюньона» грубоватой подделкой и стилизацией и решительно предпочитал ей малоизвестную книжку Клода Тилье «Мой дядя Бенжамин». Существуют избитые стереотипы: «большой писатель» и «замечательный художник», и очень часто ими прикрываются всеядность и общие места литературной моды. В Толстом, отрицающем Шекспира по своеобразному ходу мысли, пожалуй, больше уважения к тому же самому Шекспиру, чем в бездумном склонении эпитета «гениальный». Замечательную пародию на зубрежку общих мест подобного рода Кин написал в главе «Незаконченного романа», описывающей экзамен Безайса в университет. «Экзаменатор — Безайс это чувствовал — пасся по хрестоматиям и прописям, был всаен соком юбилейных статей... Толстой был великий писатель — вот она, спасительная тусклая мысль, зная и прибежище! Еще раз: Толстой был гениальный писатель!.. Он накручивал некоторое время этот вздор с монотонностью маятника. Но пошлость, чтобы быть законченной, должна быть симметричной. На обоях цветочки расположены рядами: цветочек направо, цветочек налево. Пряник расписывают сусальными кружками равномерно по обе стороны. На диван справа и слева кладут две вышитые подушки. Так, во имя симметрии, — Толстой был великий писатель, но у него были недостатки!»..

«Если у меня будет сын, и если он скажет, что Маяковский — глуп, то я его разложу и высеку».

За шуливой свирепостью этих строчек — глубокое и нежное восхищение поэзией Маяковского и человеческим характером «агитатора, горлана, главаря». Это, конечно,

но, тоже общая черта поколения, но есть в этом и нечто личное. Мало кто знает, что Маяковский в марте 1930 года должен был ехать с руководимой Кином развездной редакцией газеты «За большевистский сев» на коллективизацию сначала в Хоперский район, а потом на Урал. Маяковский не смог выехать вместе с Кином, и было условлено, что ему будут сообщать о всех передвижениях вагона редакции, чтобы он смог его нагнать. В архиве библиотек-музея Маяковского хранится письмо В. Кина Маяковскому. «Советую приехать, — писал Кин. — Такое время не повторяется. Здесь Вы будете гарантированы от лиризма, здесь самые незначительные события требуют гиперболических прилагательных. Кроме того, это не то, что ехать с писательской бригадой, которая занимается «изучением жизни», поисками «нового» человека и как еще это называется. Мы здесь работаем».

Обращают на себя внимание слова «будете гарантированы от лиризма». В данном случае выражение «лиризм» кажется отголоском какого-то разговора Кина и Маяковского, условным выражением, означающим некий неразвязанный узел личных отношений, мешавший поэту жить и работать, о чем Кин, несомненно, был хорошо осведомлен, а вовсе не программным выступлением против лирической поэзии как таковой.

Теперь трудно установить, что именно помешало этой поездке, но В. Полоцкая вспоминает, что Маяковский действительно готовился к ней и говорил об этом. Его еще связывало с Кином и то, что он очень интересовался репетициями во МХТ инсценировки «По ту сторону», — мне об этом рассказывал автор инсценировки Сергей Карташев. Ц. И. Кин помнит, что она всего за несколько дней до 14 апреля звонила Маяковскому и он подтвердил ей, что обязательно поедет, вот только свалит с себя премьеру в цирке «Москва горит». Не стоит гадать, но, может быть, все было бы иначе, если бы Маяковский отправился к Кину. Тот ждал его с огромным нетерпением и был потрясен страшной вестью о самоубийстве. «Я никогда не видел его в таком состоянии, — рассказывает один из друзей Кина, журналист Б. Борисов, — он, всегда такой сдержанный, казался совершенно выбитым из колена... Долго, очень долго к Кину нельзя было подступиться, так он был мрачен и подавлен. Гибель Маяковского была для него, конечно, не только личным

горем». Необычайно страстно, я бы сказал, драматически страстно, написана небольшая статья В. Кина о Маяковском, для которой при переиздании «Избранного» должно найтись место на страницах книги. Вышеприведенная запись неуклюже и грубовато отражает дальнейшее эхо каких-то горячих споров о Маяковском его современников, тех споров, которые болезненно и трагически остро переживал поэт, и для историка литературы она этим самым ценнее глубокомысленных академических рассуждений.

«М о н л ю д и и с ю ж е т ы с л и ш к о м п р я м о л и н е й н ы ...»

Да, это верно. Но не всякая прямолинейность бедна. И не всякая сложность — богатство. В общем-то, для настоящего художника важна выраженность личного опыта, верность себе, естественность голоса, а в этом Кину может позавидовать каждый. Кина мы любим именно за то, что он Кин, а Олешу за то, что он Олеша. И ничего хорошего не получается, когда критика внушает писателю не быть самим собой, а это еще иногда случается. Эта запись делает честь ищущему, недовольному собой художнику, но, может быть, то, что сам Кин называет своей «прямолинейностью», не слабость его, а сила. Тут этика и эстетика сливаются воедино. При всем богатстве обертонов его натуры Кин был человеком удивительно цельным, и его «прямолинейность» казалась иногда странной, а по существу была героичной. Вот несколько эпизодов из его жизни. Кину очень нравилась книга французского писателя Луи Селина «Путешествие на край ночи», написанная резко, ярко и талантливо. Но, приехав корреспондентом ТАСС в Париж, Кин узнал, что Селин посещал для развлечения публичную смертную казнь, и это наполнило его таким отвращением, что он выкинул книгу Селина из своей библиотеки. Когда в Риме его шестилетнему сыну, рассказывает Ц. И. Кин, надо было сделать противостолбнячные уколы, мальчик испугался. Кин сказал ему, показывая на врача: «Ты видишь, у него фашистский значок. Неужели ты покажешь фашисту, что боишься укола?» Мальчик понял: он вел себя стоически, и Кин, чрезвычайно довольный, немедленно пошел и купил ему в подарок ружье...

Гордо и мужественно держался Кин и в самых трудных испытаниях, посланных ему жизнью. Он жил и уж революционером.

## 7

В романе «По ту сторону» есть одна странная, на первый взгляд, но характернейшая особенность: прочитав всю книгу, мы так и не узнаем имен героев. Автор и они сами друг друга зовут только по фамилиям. Матвеев и Безайс. Это, разумеется, не случайность. Таков стиль отношений и за ним многое — ранняя зрелость, солдатская судьба, суровое время. Юные взрослые люди — таковы были кадры нашей революции и, наверно, всех революций. Молодежь торопилась взрослеть, ей не терпелось скорее дорваться до ответственности, до настоящих поступков и решений.

Перелистаем теперь на выбор несколько современных молодежных повестей: Жорик, Толик, Юрик, Эдик, Гарик... Сплошные «ики» — даже не Жора, Толя, Юра. Конечно, это тоже не случайность и тоже «стиль времени», и за ним тоже многое. Есть семьи, где считают грубым и неловким говорить «есть» и «спать» и деликатно говорят — «кушать» и «огдыхать». Не отсюда ли идет и эта сверххлассательная нежность уменьшительных? Но думаю, что скорее это производное от застоявшегося инфантилизма некоторой части молодежи.

Этот инфантилизм — все равно, рассматривается ли он со знаком плюса или минуса, как способ спасения гармонии детского мира от неправды уродливого мира взрослых, куда вовсе незачем торопиться и рваться, или как бремя неверного воспитания, инфантилизм поэтизируемый или разоблачаемый, а иногда наступающе-воинствующий, это «такое длинное детство», как выразительно и точно назвал свою повесть один молодой советский писатель, — инфантилизм всех калибров и оттенков в последнее время получил в литературе некоторое распространение, стал манерой видеть мир, средством изображения, сюжетом и стилем. Явление это, разумеется, отражает определенные закономерности послевоенной действительности, но, будучи без конца воспевается и изображается, и само начинает влиять на воспитание характеров и умов молодежи, из факта литературной моды становится модой житейской, превращается в некое самолюбование собственной незрелостью, в поэтизацию созерцательной пассивности, в философию отказа от поступков и решений.

Люди ранней зрелости, люди, торопливо

и нетерпеливо вступившие в жизнь, навсегда сохраняют черты неизжитого мальчишества, какие-то неистраченные ресурсы юности, словно природа, сочувствуя их слишком короткому детству, рассрочила им его на всю жизнь. Мы узнаем эти черты в характерах Маяковского, Кина, Гайдара, но это вовсе не защитное ребячество Эдиков и Юриков — это нечто прямо ему противоположное. У первых это сбереженные силы юности, у вторых — в лучшем случае — ранняя и почти болезненная чувствительность сэлинджеровских подростков, в худшем — туповатая незрелость недорослей.

Всякой юности свойственны два сильнейших инстинкта, как бы борющихся друг с другом: инстинкт подражания и инстинкт противоречия. Ни в одном из них не заключено нечто само по себе отрицательное: ведь дело всегда в том, чему подражать и от чего отталкиваться.

Мужественная, активная романтика книг В. Кина или А. Гайдара не обманет дове-

рившихся ей фальшью, подделкой, мистификацией чувств и мыслей, суррогатом подвигов. Люди не выбирают себе ни родителей, ни эпоху, в которой им суждено жить, но они вольны выбирать себе примеры. И если юные Павка Корчагин и Витя Суrowsикин хотели подражать Оводу и другим героям хороших, увлекательных книг, то для молодежи наших дней такими примерами могут стать удивительные жизни Николая Островского, Аркадия Гайдара, Виктора Кина и их героев.

Они жили в трудное и необыкновенное время, время, близкое к нашему, тесно связанное с нашим и еще плохо нами понятое.

Не случайно, что литература воспоминаний о них становится с каждым годом все больше и уже скоро, наверно, количественно превысит то, что написали они сами.

Их жизнь нам так же интересна, как и их произведения. Их судьба помогает нам понять это время, а не поняв его до конца, мы не поймем и свое время.



---

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

## ИЗ ПЕРЕПИСКИ А. М. ГОРЬКОГО С ВСЕВОЛОДОМ ИВАНОВЫМ

(Публикация Архива А. М. Горького)

В 1916 году двадцатилетний наборщик сибирской «Народной газеты» и «Курганского вестника», будущий писатель Всеволод Вячеславович Иванов (1895—1963) стал присылать Горькому свои первые рассказы. С этих пор между ними установилась прочная связь, сохранившаяся до конца жизни Горького. Об огромной роли Горького в его личной и писательской судьбе Вс. Иванов сам подробно рассказал в своих неоднократно переиздававшихся и дополнявшихся воспоминаниях.

Свидетельством неустанной работы, размышлений над жизнью и искусством — размышлений порой мучительных — и являются письма Вс. Иванова к Горькому.

Ранние его корреспонденции рисуют те «свинцовые мерзости жизни», через которые прошел один из родоначальников советской литературы; позднейшие, относящиеся к тому времени, когда Вс. Иванов создавал свои наиболее известные вещи — «Партизаны», «Бронепоезд 14-69» и другие, — воспроизводят атмосферу напряженных духовных исканий писателя, его ошибок, сомнений, находок.

Интересные подробности литературной жизни двадцатых и тридцатых годов, «ее брожение и бурление», как называет это Вс. Иванов, появление книг, ставших теперь классическими, а тогда бывших злободневными новинками, обсуждавшимися современниками, мысли Горького о текущем литературном процессе — все это встает со страниц переписки Горького с Ивановым, предлагаемой вниманию читателя.

Ниже печатается девять писем А. М. Горького, не вошедших в собрание сочинений Горького в тридцати томах, частично публиковавшихся в воспоминаниях Вс. Иванова, и двадцать пять писем Вс. Иванова, публикуемых впервые (с незначительными сокращениями).

Подготовка текстов и комментарии научного сотрудника Архива А. М. Горького, кандидата филологических наук С. И. Доморацкой. Подлинники писем Горького и Иванова хранятся в Архиве А. М. Горького.

### 1

ИВАНОВ — ГОРЬКОМУ

[Курган, сентябрь — октябрь 1916 г.]

Одновременно с этим письмом посылаю рассказ «Степная царевна» и книгу стихов Кондратия Худякова<sup>1</sup>. У этой книги есть небольшая история, которую я и расскажу Вам. Автор, мой товарищ и друг, — крестьянин. приехал в город лет 5 тому назад, самоучка из старообрядцев и сам научился писать вывески, теперь вот и живет этим! Познакомился я с ним случайно — прочитал стихи, и, знаете, я сейчас, так сказать, имея некоторую свободу, предложил ему свои услуги, набрал по вечерам стихи, а типография за бумагу и печать взяла с меня 46 рублей. Если не дороги стихи, то дорого то, что человек хочет искать лучшего. Мне при-

ходилось много страдать, находился я на величайших ступеньках (по своей низости, конечно) человеческой лестницы... Однажды, в Тиоре, не имел ни копейки — есть никто не хотел мне дать, и работы не было. Так уйдешь, знаете, на задний двор, там сено было свалено, сядешь на кирпичи, какой-нибудь кусок, листик травы засунешь в рот и сосешь... А хозяйка чтобы не заметила, когда она приходила скотину убирать, поешь; это чтобы денег не попросила за ночлег... На четвертый день, кажется, сижу это, а она пороссятам корм принесла — корки ржаные, арбузы недоспелые и еще что-то, — вывалила в корыто и ушла — кинулись пороссята. Подхожу, а у самого к горлу будто, нет, не к горлу, а просто изнутри как бы воронку масляную изнутри в рот выталкивают. Хотел кусок выловить, да вместо этого упал в корыто головой и зубами поймал корку. А теперь вспомню — не верится! Не сделал бы этого, кажется, а в то же время было оно. В типографии я получаю 60 рублей<sup>2</sup> — почувствуешь поневоле какую-то сытость даже и хочется чем-нибудь помочь товарищу. 25 рублей я плачу за хлеба — 35 рублей должно бы остаться (одежда пустяки!), а Вы вот прочитайте, мне брат что пишет, из первого попавшего письма (брату 15 лет):

«...Мама, Всеволод, тебя просит прислать денег на муку. Мука стала, которую мы ели, 3 р. 50 к., 2-й высокий, а жалованье только 18 руб., вот и поживи, придется есть пшеничную муку, которая хуже ржаной, пополам с песком. так и хрустит на зубах, и сердце давит, если пожалеешь маму за то хоть, что кормила маленьких и маялась с нами (наверно, не забыл), пришлешь на муку. Квартира при школе хороша — 2 комнаты и кухня. П. Иванов».

Отец у меня учителем близ г. Семипалатинска. И что я должен делать?

Вот, знаете, где вырабатывается воля и любовь к жизни — мне кажется, любовь к жизни и смысл ее можно понять чрез страдания. Разве есть другие пути?

Тут именно хочется лбом вперед переть — была не была!

Простите, что задерживаю Вас письмом, но я хотел Вам рассказать, как я был издателем.

Примите уверения в совершеннейшем почтении.

*Всеволод Иванов.*

<sup>1</sup> Датируется по воспоминаниям Всеволода Иванова «Встречи с Максимом Горьким» (В с. Иванов. Собр. соч., т. 8, М. 1960).

<sup>2</sup> О курганском поэте Кондратии Худякове Иванов пишет в очерке «История моих книг» как о человеке «остро, о таланта который, к сожалению, он не успел развернуть полностью: он умер во время гражданской войны от тифа» (В с. Иванов. Собр. соч., т. 1, М. 1958, стр. 15).

<sup>3</sup> В это время Вс. Иванов работал в типографии газеты «Курганский вестник» метранпажем и наборщиком.

## 2

### ИВАНОВ — ГОРЬКОМУ

[Курган, октябрь — ноябрь 1916 г.]

Алексей Максимович!

Посылаю «Деда Антона». Извиняюсь, если не понравится, — но я буду посылать не избранное, а все рядовое, дабы Вы могли указать мне худые стороны моего письма. Пишу я, как бог на душу положит. Вот Вы пишете — читать, а что я буду читать, когда каждая черточка у автора вlepяется мне в память и торчит там? Так я, пожалуй, нахватаюсь чужих образов и мыслей — поэтому я читаю мало, а если что прочитаю, так с неделю не пишу, чтобы из головы выветрилось. Вот насчет языка — это действительно — не знаю, как поправиться, — нужно что-нибудь сухое — дабы слова запоминались, — пробовал я словарь Даля прочитать — но он страшно большой, времени нет — да и дорогой — покупать его. Я думаю, придет это со временем — писать только больше, что я и практикую сейчас. Вы, так сказать, подтолкнули меня. И я покатился, как с катушки. А относительно самообразования. то — что мне нужно делать? Географию я знаю. по крайней мере сибирскую, потому что половину ее собственными пятками изме-

рил, — и опять время. Но постараюсь подтянуться, что можно будет сделать, сделаю. Воля у меня есть.

С какой бы это стороны узубатить науку за бок?

Остаюсь уважающий Вас

*Всеволод Иванов.*

---

Датируется по письму Горького Иванову от 17 (30) октября 1916 года, где он говорит: «Пишите больше и присылайте рукописи мне, я буду читать их, критиковать и, если окажется возможным, — печатать. Но -- Вы обязательно должны заняться чтением, работой над языком и вообще -- собою. Берегите себя!» (М. Горький. Собр. соч., т. 29, стр. 370).

### 3

#### ИВАНОВ — ГОРЬКОМУ

Татарск, 2 февраля 1920 г.

Алексей Максимович!

Посылаю Вам книжку своих рассказов «Рогульки»<sup>1</sup>, напечатанную трудами моих товарищей по типографии. Псевдоним поставить меня заставило то, что тогда, во времена Колчака, если бы узнали (я был тогда мобилизован)<sup>2</sup>, что я пишу, мне бы пришлось плохо. Напечатано 75 штук, на большее не хватило бумаги или, вернее, средств на покупку ее.

Обитаю я сейчас в крошечном степном городке. До этого солдатствовал в колчаковской армии, где перенес ряд болезней, закончившихся сypняком и воспалением легких, но благодаря крепкому организму выдержал и теперь работаю опять в типографии.

Теперь, Алексей Максимович, у меня к Вам большая просьба — помогите мне выбраться в Петербург или Москву. Нужно немного — какую-нибудь бумажку, чтобы меня пускали в вагоны, а то ехать на площадке мне трудно и едва ли доеду. Денег я на дорогу наскребу. Сильно хочется учиться, и когда, при Колчаке, столицы были где-то далеко и казалось, нельзя никогда будет в них попасть, — махнешь, бывало, рукой и угнешься в книгу. Но одной книги мало, совсем мало, а теперь путь открыт — и я решил пробираться во что бы то ни стало. Это и заставило меня обратиться к Вам. Что ж, подумал я, не спекулировать же я еду, а учиться.

Жму Вашу руку.

*Всеволод Иванов.*

---

<sup>1</sup> Речь идет о маленьком сборнике рассказов — первой книге Вс. Иванова (имя автора было скрыто под псевдонимом Всеволод Тараканов) «Рогульки» (Омск. 1919). Этот сборник Вс. Иванов сам набрал и отпечатал с помощью товарищей.

<sup>2</sup> Летом 1919 года, во время захвата Омска войсками Колчака, Вс. Иванов подошел по возрасту под закон о всеобщей мобилизации. Знакомые помогли ему поступить наборщиком в типографию «Вперед», выпускавшую фронттовую газету (см. Вс. Иванов. История моих книг, глава «Первая книжка рассказов «Рогульки». Собр. соч., т. 1).

### 4

#### ИВАНОВ — ГОРЬКОМУ

Омск, 25 ноября 1920.

Уважаемый Алексей Максимович.

Автора настоящего письма Вы, несомненно, забыли<sup>1</sup>. Когда-то, чуть ли не столетие тому назад, Вы писали в Сибирь наборщику, писавшему рассказы, из которых два были даже напечатаны в «Сборнике пролет[арских] писателей». Я зимой прошлого года<sup>2</sup> послал Вам отсюда книжку своих рассказов — но она, должно быть, не дошла, несчастная. За прошедшее время от «пролет[арского] сборника» сделал многое и много написал, хотел бы послать Вам — но почта столь отвратительно ходит, что боязно — потеряется, а переписывать нет времени и нет охоты. А потом, конечно, напечатать сейчас и людям талантливее меня — трудно. Суть не в том, у меня к Вам просьба — это взять меня отсюда в Питер, где бы я мог

работать го, что желал бы, во-первых, а во-вторых, учиться. Последнее остро необходимо, и сделать здесь я ничего в этом направлении не могу, ибо то, что я знаю, здесь мало кто знает, а больше — у кого можно было бы учиться — никто. Это обидно.

Я думаю — Вам сие сделать нетрудно, и [я] мог бы быть полезным в Петербурге более, чем здесь.

Вы ведь, наверное, не поймете госки провинциального города. У-ух!..

С почтением

*Всев. Иванов.*

<sup>1</sup> Горький ответил 20 декабря 1920 года. «Все эти годы я думал о Вас и почти каждого, приезжавшего из Сибири, спрашивал: не встречал ли он Вас, не слышал ли чего-либо о Всеволоде Ивановиче, не читал ли рассказов, подписанных этим именем?» (М. Горький. Собр. соч., т. 29, М. 1955, стр. 396).

<sup>2</sup> Описка. Надо: прошлой зимой.

## 5

### ИВАНОВ — ГОРЬКОМУ

Омск, 16 января 1921 г.

Алексей Максимович!

Получил я Ваше письмо давно<sup>1</sup>, но не писал потому, что хотел выбраться и уехать своими силами. Но не удалось, и я еще раз обращаюсь к Вашему содействию. Дело в том, что в газете «Советская Сибирь» я выпускающим — роль, как видите, весьма маленькая, и если бы редакция пожелала бы, то меня вполне мог заменить любой из этих «ответственных», которыми так разбухли наши канцелярии. Редакция не желает, и я вынужден с тоской глядеть на уходящие поезда и думать: «А я когда?»

Люди любят жаловаться, и в большинстве впустую, — а в данном случае я, кажись, не солгал бы, что обилием «советских мещан» Омск тучен не в меру. Обидно. Это все равно, что при вспышках молний или северного сияния вшей бить.

Я думаю, что если бы Вы чрез какое-нибудь большое учреждение или даже от себя лично послали бумажку, а еще лучше телеграмму председателю Сибревкома тов. Смирнову (наша газета — орган Сибревкома) об откомандировании «выпускающего газеты «Советская Сибирь» Всеволода Иванова» туда-то и немедленно, этим бы дело и разрешилось. Он (тов. Смирнов) напишет «откомандировать» — и готово.

Я бегал приблизительно около десяти дней — и в конце концов прослезился от злости (честное слово!). Конечно, трудовая повинность хороша, но когда она сочетается с глупостью человеческой, то между «испанскими сапогами» и ей — небольшая разница.

Окончил недавно и теперь отделяваю большую повесть (величиной в 200—300 стр.) «из современной жизни», как говорят, — «Фарфоровая избушка»<sup>2</sup>. И написал ряд рассказов и сказок, причем хотел сейчас «Алтайские сказки»<sup>3</sup> послать Вам, но теряюсь, должно быть, лучше уж сам привезу. Я Вам послал книжку своих рассказов<sup>4</sup>, а Вы, должно быть, не получили ее. В писаниях своих я достиг значительного совершенства и уже достиг того пункта в писаниях, когда писатель-самоучка начинает философствовать (объясняется это, я думаю, малым учением), и уже вслед за этим скоро придет настоящее творчество, тесно слитое умом и сердцем в густой слиток — любви к жизни. Больше всего человек ошибается в наблюдениях над самим [собой], — а мне здесь не хотелось бы ошибаться.

Думаю:

до свиданья!

*В. Иванов.*

<sup>1</sup> Письмо от 20 декабря 1920 года (см. М. Горький. Собр. соч., т. 29, стр. 396).

<sup>2</sup> Эта повесть в печати не появлялась.

<sup>3</sup> «Алтайские сказки» были напечатаны в журнале «Красная новь». № 2, 1921.

<sup>4</sup> Речь идет о первой книге рассказов Вс. Иванова «Рогульки».



## 6

## ИВАНОВ — ГОРЬКОМУ

[Петроград], 8 февраля 1921 г.

Алексей Максимович!

Страшно неприятно писать, а приходится. Дело в том, что мое учреждение в Сибири откомандировало меня в распоряжение Ваше — и здесь получилась конфузная история. Вас-то нету, а в какое учреждение мне поступить нельзя. Хотел трудовую книжку добыть, говорят: «Бумажку, где служите?» Пошел в Госиздательство работы спросить. почтенный метр т. Ионов<sup>1</sup> спрашивает:

— У вас рекомендации есть?

Я указал на лоб, но это его не удовлетворило, и он сострил:

— У нас не богадельня.

Принимая во внимание, что я имею возможность выжать лапой больше трех пудов, — я обиделся и ушел.

Теперь чувствую — тоню в этом петербургском бумажном море.

И как мне не хочется (не люблю вмешивать людей туда, где самому можно управиться), но в такой гнусной истории, где и еще животные боли участвуют, — приходится. Нужно очень немного: направить меня туда, где можно было бы или учиться, или работать. Предпочел бы последнее, ибо — первое можно совместить. Ни о каких трехаршинных пайках я не мечтаю.

Вс. Иванов.

<sup>1</sup> Ионов Илья Ионович (1887—1942) — с 1918 по 1924 год был заведующим Петроградским отделением Госиздата.

## 7

## ГОРЬКИЙ — ИВАНОВУ

[Петроград. 28 февраля 1921 г.]

Приехав из Москвы, нашел Ваши письма — очень рад. Можете прийти в четверг, в час дня? Жду<sup>1</sup> Не можете — скажите по телефону 2-12-68.

Жму руку.

А. Пешков.

<sup>1</sup> Состоявшаяся тогда встреча между Горьким и Ивановым на квартире у Горького описана в воспоминаниях Вс. Иванова «Встречи с Максимом Горьким» (Вс. Иванов. Собр. соч., т. 8).

## 8

## ИВАНОВ — ГОРЬКОМУ

[Петроград], 19 марта 1921 г.

Алексей Максимович!

Не имея возможности выйти лично (сапоги развалились и нездоровится), пишу: нельзя ли мне как устроить некое количество хлеба?.. У нас в лавке — уже не выдают 4 дня, а идти никуда не могу, как указал. Буде возможно — направить с подателем сего: человеком мне zelo близким.

По пути посылаю стихи Г. Вяткина<sup>1</sup>, их бы давно нужно передать, да все забывал. Нездоровье не мешает: работаю над рассказом и переписываю другой — «Партизаны»<sup>2</sup>, написанный еще в Сибири. Чувствую, не знаю почему, как и с первых дней приезда сюда, — себя прелестно. «Как козел на горе».

До свиданья.

Всев. Иванов.

<sup>1</sup> Вяткин Георгий Андреевич (1885—1938) — сибирский писатель, переписывался с Горьким.

<sup>2</sup> Вскоре рассказ «Партизаны» был послан Горькому и получил его положительную оценку. В это время Горький проявлял большую заботу об Иванове, о чем Иванов пишет в своих воспоминаниях (см. также письма к нему Горького. Собр. соч., т. 29, стр. 402).

## ИВАНОВ — ГОРЬКОМУ

[Петроград, 14 января 1923 г.]

Дорогой Алексей Максимович, посылаю Вам карточку свою. В отличие от 1921 года лик мой расширился в шесть раз, а творческие способности в два. Боюсь, не одолела бы сия шестерка. Послал я Вам большое письмо и книгу «7-й берег»<sup>1</sup>, адрес-то у меня был, должно быть, неправильный, и книгу вернули, а письмо, должно быть, пропало<sup>2</sup>. Вот Вам и заграница. Может, получали? Я его еще для легкости читать Вам — перепечатал на машинке. Большое такое, я там восторженные разные штуки о молодежи писал (я уже старик: у меня жена по утрам седые волосы выдирает. Честное слово!); рабфаки там и прочее. Ежели читали, особо не верьте, я и сам теперь многому из написанного не верю.

Пришел я к убеждению, что все, что я раньше написал, — ерунда. Не так работать надо. И новым методом написал «Возвращение Будды»<sup>3</sup>. Прочтите, когда выйдет. И там ерунды много, но дело в том, А. М., что я, при всех моих хороших изобразительных способностях, неглубок по уму. Происходит это не потому, что я мало учен или мало читаю, — ум плохо усваивает — и это с малолетства, механизация букв, скользкая в моих глазах, тоже многому отучила меня. Если, например, кто вслух читает, я это дольше помню. Все ж уверен, кое-что одолею и кое-что сделаю.

У нас здесь в одном из крупнейших кинем[атографов] ставили экспрессионист[ическую] (Вашу — германскую) фильму «Кабинет Каллигари»<sup>4</sup>. Так дирекция на программке следующее пояснение сделала: «Ввиду того, что действие происходит в сумасшедшем доме, — декорации картины выдержаны в строго сумасшедших тонах».

И меня, грешного человека, прет читатель в свои сумасшедшие тона. Не есть ли секрет большого писателя переть поперек писателя? Чувствую, надоел мне быт. И боюсь и вижу, читателю он тоже надоел.

Потому-то серапионы для нового читателя.

О революции, Алексей Максимович, пишут у нас страшно много и все суетно. Вышла необходимость как-то ее, революцию, по-особому... а то блины все едят, — ну можно недельку, а коли год?! Я говорю о широких замыслах. Может, в эпоху широких замыслов надо человеку создавать маленькое?

Мы, серапионы<sup>5</sup>, как Вы нас, Алексей Максимович, усадили да благословили, — так мы и сидим на скамеечке. И не то, что плохо и холодно, — а весело. Лают нас, в Питере преимущественно, на чем свет стоит. Сколь долго мы просидим так — неизвестно, но потешно до чрезвычайности. Люди-то растут, Алексей Максимович, а штанишки-то все уже да уже [...]

Хороший роман пишет Федин<sup>6</sup>. Здорово насадил — и сентиментальное есть, а я, грешный, люблю сентиментальное, да коли еще, прохвост, улыбнется еще... конец! Здорово. Хорошо. Вообще он человек размеренный — ему бы протопопом быть, а он вылитый Мозжухин<sup>7</sup>. Помните? Впрочем, кино творит сейчас религию молчания, и протопопы туда переселились. Прекрасная вещь — жест. Вот Шкловскому... я, Алексей Максимович, про Шкловского писать не буду. Он меня прописал: «Глаза, говорит, у него косые и сам он мрачный»... Разве можно так живых обижать, вот когда меня вышлют... Покажите ему мою карточку и передайте, что я имею трех котят для веселья и Пильняка вижу каждый месяц. Мне мрачным быть с чего же? Пуцвай вклеит печатки[...]

Летом, в июле приблизительно — едва ли раньше, — решил поехать в Европу. Еду с Фединым. Едва ли Вы раньше осени будете в Азии, а если летом приедете — поедмете, Алексей Максимович, на Дальний Восток? Право!

Распрыскался я тут порядком. Я сегодня письмишко от приятеля [получил], солдатишками вместе были, в колчаковщину. Немудрячий парень был, астрономию все по Мейеру учил и говорил, что в Сибири звезды не так располо-

жены. А сегодня — бах! письмо! Из Праги! И студент. А узнал про меня, что где-то там в какой-то дыре, «Бронепоезд» прочел и еще про серапионов. Так и написал. Дом литераторов, Серапионову брату. (Письмо-то на 40, что ль, страницах.)

Желаю счастья.

Ваш Всеволод.

Датируется по дате на фотокарточке Вс. Иванова, приложенной к письму.  
<sup>1</sup> Всеволод Иванов. Седьмой берег. Рассказы. «Круг». М.—Пг. 1922.  
<sup>2</sup> Письмо не было получено Горьким.  
<sup>3</sup> Всеволод Иванов. Возвращение Будды. Повесть. Альманах «Наши дни», № 3, 1923.  
<sup>4</sup> «Кабинет доктора Каллигарц» — фильм немецкого режиссера Роберта Вине.  
<sup>5</sup> О литературной группе «Серапионовы братья» и отношении Горького к ней см. переписку Горького с Б. Кавериним, К. Фединым, М. Слонимским в 70-м томе «Литературного наследства» («Горький и советские писатели». Издательство Академии наук СССР. М. 1963).  
<sup>6</sup> Имеется в виду роман «Города и годы».  
<sup>7</sup> Мозжухин Иван Ильич — киноактер, снимавшийся главным образом в русских дореволюционных фильмах.

## 10

### ИВАНОВ — ГОРЬКОМУ

Москва, 4 декабря 1924 г.

Дорогой Алексей Максимович,—

я и Пильняк работаем сейчас в «Круге»<sup>1</sup>, редактируем. И вот у нас к Вам просьба: если б Вам издать в «Круге» книгу последних Ваших рассказов? Может быть, сообщите условия и как и где собрать оную книжку.

А я? Написал я забавную повесть<sup>2</sup>. Сейчас ее перепечатают, и на днях я ее смогу послать Вам прочесть. Шкловский ее хвалил. Сам же Виктор мотается, заведует литчастью журнала «К[расный] журнал», а бывший вообще-то «Синим». Написали мы с ним авантюрный роман о химической войне «Иприт». Сей роман печатается в Госиздате<sup>3</sup>.

Помимо всего прочего, Виктор имеет сына, Никиту. Мое семейство не прибавляется. Были две дочери, но умерли.

Живут людишки скудно, тесно и грязно. Я к человеческому горю привык, но такое ненужное горе даже и меня пугает. Писатели ходят оборванные и голодные. Авансы просят — 3 и 5 рублей.

На улицах нет снега и продается какой-то странный виноград, который никак нельзя есть. Стоит он 40 к. фунт.

И очень дешевы книги. Дешевле дров. Помните, в Питере я топил печи Французской энциклопедией?

О Вас мы слышим мало. И похоже на то, что Вы вернетесь не скоро. А жаль. Нам живется тесно, а Вы человек просторный и легко дышащий.

В марте я поеду за границу.

Пока — всего доброго.

Всеволод Иванов.

<sup>1</sup> «Круг» — книгоиздательство артели писателей в Москве, существовало с 1922 по 1929 год. В издательстве «Круг» рассказы Горького не выходили.

<sup>2</sup> Имеется в виду повесть «Хабу». Впервые опубликована в «Красной нови» (№ 2, 1925).

<sup>3</sup> В. Иванов и В. Шкловский. Иприт. Роман в девяти выпусках, пятидесяти восьми главах. Госиздат. М. 1925.

## 11

### ГОРЬКИЙ — ИВАНОВУ

[Сорренто], 27 декабря 1924 г.

Дорогой Всеволод Иванов,—

письмо Ваше путешествовало почти три недели, как видите.

Отвечаю на вопрос «деловой»: право издания моих книг в России продано мною Стомонякову, главе Берлинского внешторга, а он в свою очередь, кажется,

передал его Госиздату. Значит, — по этому поводу говорить надо с Ионовым. Сей последний — хороший издатель, но был — и если правда, что прикрыт «Рус[ский] сов[ременник]»<sup>1</sup> и прихлопнута «Всемирная» литература<sup>2</sup>, — остался человеком взбалмошным.

Очень хотел бы прочитать Вашу повесть и авантюрный роман. Пришлите, пожалуйста!

Книги у Вас, в Москве, дешевы? Не попадется ли Вам под руку книжка: Монье «Quattrocento» (Кватроченто). Издание Пантелеева?<sup>3</sup> Если попадется — купите и отправьте Екатерине Павловне Пешковой, Чистые Пруды, Машков переулок, д. 1, кв. 16; она, Пешкова, заплатит Вам деньги, а книжку пошлет мне. Сделайте это, если будет случай.

Письмо Ваше — грустно. И вообще из России пишут не весело. Хочется поехать к вам, но здоровышко мое трещит и путь мой лежит в другую сторону.

Здесь — тоже нет снега, а виноград уже съели, но зато — фантастический урожай апельсинов, деревья так изукрашены ими, что листья не видно.

В марте думаете ехать за границу? Поезжайте сюда, здесь хорошо работается, а Вам пора отдохнуть, посмотреть на себя издали.

Вы — талантливый человек, но, мне кажется, Вы недостаточно серьезно относитесь к Вашему таланту и не так любите его, как надо. Вы мне это замечание — простите: за Вами — право не обращаться на него внимания, но я обязан сказать Вам о том, что думаю: писать Вы стали небрежно, устало. Надо отдохнуть.

Крепко жму руку. Всего доброго.

*А. Пешков.*

Р. С. Пильняк? Это пока еще вне искусства, вне литературы. И Шкловского нельзя похвалить за его искажение «ZOO»<sup>4</sup>. Плохо все это. Извините, что ворчу.

*А. П.*

<sup>1</sup> «Русский современник» — литературный журнал, выходивший в 1924 году (Ленинград — Москва). Вышло четыре номера.

<sup>2</sup> «Всемирная литература» — издательство, основанное в 1918 году при Наркомпросе по инициативе и при ближайшем участии А. М. Горького. 13 декабря 1924 года заведующий Госиздатом И. И. Ионов известил редакционный отдел «Всемирной литературы» о том, что «Всемирная литература» становится частью иностранного отдела Редакционного сектора в Ленинграде» (Архив А. М. Горького).

<sup>3</sup> Филипп Монье. Опыт литературной истории Италии XV века. Кватроченто. Перевод с французского К. С. Шварсалона. Изд. Л. Ф. Пантелеева. СПб. 1904

<sup>4</sup> Виктор Шкловский. ZOO, или Письма не о любви. Изд. «Атеней». Л. 1924. Что имел в виду Горький, говоря об «искажнии», установить не удалось.

## 12

### ИВАНОВ — ГОРЬКОМУ

Батум, 7 октября 1925.

Дорогой Алексей Максимович, —

боюсь, письмо проходит долго. Живу я на конце света, газеты московские сюда приходят через неделю. Надеюсь на итальянский пароход. Он торчит в порту.

Живу я здесь потому, что в Москве совершенно работать нельзя. Телесно я совершенно здоров, но чувствую себя больным. Написал не меньше 7 листов плохих рассказов и плохой роман «Северо-сталь», который имею мужество не печатать<sup>1</sup>. И многое другое — измотало.

А здесь во вред телу — купаюсь по четыре раза в день и плаваю до горизонта. Сегодня на море шторм, море сплошь в пене и шипит, словно в него раскаленное железо суют.

Лето я провел частью на Волге, а частью ездил по Киргизской республике. Киргизы народ смешной и стали непохожими на тех, что я написал<sup>2</sup>. Совнарком их из Оренбурга переехал в Алаш-Орду, городок такой был Перовск. Раньше в нем населения было 5 тысяч, а геперь с Совнаркомом 25 и на человека полагается

1½ кв. аршина площади жилья. Днем работают, а ночью в комиссариатах спят. Самый большой дом в столице этой был сумасшедший дом. Двухэтажный и кирпичный. Там теперь Совнарком, а в комнате секретаря Совнаркома (была раньше для буйнопомешанных) со стен еще не сняли войлок. Так и секретарь принимает.

В Уральске я жил в садах ГПУ. Так и называются: «Сады ГПУ». Этакая Уральская Семирамида. Дали мне дом в 6 комнат, а мне было скучно, и я спал на балконе. Ребята были все милые, но говорили мало. Боялись — «опишу». Стреляли на сорок сажень в спичечную коробку. И без прсмаха. На прощании устроили сугубую выпивку, и один говорил длинную речь, закончив:

«Уральск с его основания посетили два писателя: Пушкин и Иванов. Ура!..»  
И сел очень гордый.

Пушкин был там для «Пугачевского бунта». С тех дней — уральские казаки очень победнели.

Я проехал от «славного города Гурьева» до Уральска по Яику тысячу верст. Зернистая икра стоит 25—35 копеек фунт, а рыбой кормят верблюдов и лошадей (ей-богу, сам видел. Живую жрут. Даже страшно). Хлеба же на расстоянии тысячи верст купить нельзя, потому — его там не едят. Земля — песок да глина, хлеб покупной, а ехать за ним надо двести верст на волах.

Про Пугачева казаки помнят, что был царь у них Петр Федорыч и что казнили его за то, что хотел перенести столицу на Яик. И поступила Екатерина несправедливо.

В Батуме же, где я сейчас живу, жизнь лучше и смешнее. Здесь, как известно Вам, зреют апельсины и вообще — советский бамбук. На одной вывеске так и написано — «продажа угля, дров и советского бамбука». Черт ее знает, что за ерунда, но бамбук действительно растет. Кроме бамбука, произрастает здесь грузинский национализм. На днях происходил тут краеведческий съезд. Из центра был тут А. Пинкевич<sup>3</sup> и Тан-Богораз<sup>4</sup>.

Жара в городе страшная. Прямо хоть штаны снимай. Зашел я на этот съезд. Там грузинские ученые (происходила первая встреча их с нашими) в сюртуках до пят и говорят с нашими на немецком. А в Академию вообще-то они пишут из Грузии по-французски, не иначе.

Чудеса!

И мне кажется, что литература наша в ближайшие годы будет сугубо национальной не только по языку, как это происходит теперь, но и по духу. Я — о России [...] У нас полагается быть только мещанству. А обличая мещан — мир не удивишь. Про Европу же и Европа о нас — писать всегда не умели.

Родив такое тощее дитя, как «Северо-сталь», я напугался и романы не пишу. А признаться — очень хочется. Может — позже?

Сейчас работаю над рассказами.

Сделали мы со Шкловским роман авантюрный «Иприт». Писали очень весело. А теперь на нас обижаются. Говорят — не солидно.

Я от этого романа понял и научился делать сюжет.

Но сюжет и русская фраза, ее ритм — очень трудно слить это. И получается часто — словно не пером, а помелом написано. И широко и непонягно.

Этой осенью в литературе российской какое-то оскудение. Каждую осень если не Толстой, то с Толстым обязательно какого-нибудь, да сравнивали. А тут просто даже больших работ нету.

Писатели материально в этом году живут лучше.

А вот Сережа Есенин пьет немилосердно. Изю дня в день. Ко всему тому у него чахотка, и бог знает, что с ним будет месяца через три-четыре.

Шкловский летом летал на самолете в агитполете до Царицына, участвовал в автомобильном пробеге. Но не изменился [...]

Сейчас Шкловский служит на кинофабрике, откуда со всегдашней своей готовностью устроил мне аванс.

Бабель пытается понять «смысл жизни», Леонов продолжает точить на токарном станке, а Сейфуллина переехала в Питер писать советскую «Пиковую даму».

А мне очень хочется поехать в Японию и уехал бы, но по секрету скажу вам — увязывается со мной Пильняк. Отказаться с ним ехать — как-то неловко, а — с Пильняком в Японии какое же удовольствие? Вот и не знаю, что делать.

Привет Вам крепкий.

*Всеволод.*

Ишь, как расписался-то!

Из Батума я уезжаю в Москву через две недели. Кончается купанье. Кроме моря — все остальное здесь декорации.

<sup>1</sup> Отвервок из романа «Северо-сталь» напечатан в журнале «Красная новь», № 5, 1924.  
<sup>2</sup> Речь идет о киргизах, описанных в ранних произведениях Иванова: повести «Цветные ветра», рассказы «Киргиз Темербей», «Отец и мать», «Лога», «Встреча» и других.  
<sup>3</sup> Пинкевич Альберт Петрович (1883—1939) — профессор, доктор педагогических наук.  
<sup>4</sup> Тан-Богораз Владимир Германович (1865—1936) — русский советский этнограф, языковед и фольклорист.

### 13

#### ИВАНОВ — ГОРЬКОМУ

[Москва], 30 ноября 1925 г.

Дорогой Алексей Максимович, — послал я Вам из Батума письмо, но боюсь, что не дошло — ибо послал его я как-то случайно с итальянским пароходом, да и адреса Вашего не знал — прямо в Сорренто.

Там описывал я веселые встречи свои на Кавказе и Яике. Описав, отправился в Баку, — и кажется мне — это самый удивительный город в России. Там такая смесь чадры и автомобиля, нефти и винограда и так это вкусно пахнет — я прямо влюбился в этот город. Есть там изумительнейший человек — Серебровский, начальник Азнефти. О нем — прямо роман.

Среди прочего дела строят там город. Этакий нефтяной Петербург — со смешным названием пос. Стеньки Разина. На пять верст проложили тротуары и бульвары, взрывают гору — утес Стеньки — и из горы этой строят. Готово уже пятьсот квартир, а через два года всеяется — я верю этому — 40 тысяч рабочих.

Я не был рабочей делегацией, Алексей Максимович, и мне никто очки не втирал (хотя они сами себе больше втирают очки, чем им) — но я уехал оттуда необычайно бодрым. Ибо народишко живет дюже плохо, тесно и пьяно. А тут настоящее дело.

В Москве же — тишина. В прошлом году хоть напостовцы <sup>1</sup> воевали, а теперь они получили свои куски пирога и успокоились. В прошлом году я очень... и относился к себе с презрением. Теперь живу всухую — и не оттого, что мне нельзя пить (во мне весу 5 п. 1 ф. и плаваю я в море за три версты), а как-то стало скучно. — а главное, противно смотреть, как пьют. Народишко за эти годы измочалился, с ног валится с рюмки. Не весело.

Писатели — вдарили по кино и театру. Я, грешным делом, пишу комедию тоже, но получается как-то не смешно. Прочел одному — он послушал, почесал за ухом и сказал: «Да, тоскливо». Думаю, выпрыгну. А в литературе, сказать по правде, полная неразбериха: гениев наплодили необычайно много. Вот как-то в одном из писем Вы упрекали меня, что я не уважаю свой талант, а я как посмотрю, как теперь уважают себя люди, — прямо плюнуть бог знает во что хочется. Самоуверенность адская — и это очень вредно, и очень скоро люди начинают спиваться. Даже не употребляя водки.

Я все сбирался за границу, а Россия манит да манит — возьму, глядишь, и уеду в какой-нибудь городишко. Жизнь теперь необычайно сложная, очень лживая — и часто пустая. В уезде это видеть куда как чудесно.

В феврале будущего года, Алексей Максимович, исполнится пять лет серапионов<sup>2</sup>. Приезжайте в гости к первому февраля в Ленинград! Будет весело, мы собираемся каждый год и веселимся. В прошлом году было очень хорошо.

Пишу я теперь мало. Живу хорошо и чувствую, как горб за моей спиной начинает опадать. Он очень вырос за последние два года. Добиться бы этакого — умиротворенья страстей — и хорошо.

Сын у меня родился три месяца назад, до него были две дочери, да померли, а он живуч будет, верю, курносый, узкоглазый и веселый.

Шкловский чувствует, по-моему, себя плохо. Пишет он не то, что надо, — и часто плохо. Он умный человек, понимает — и веселится.

Самый великий писатель теперь в России — П. Романов.

А. Чапыгин написал замечательный роман о Разине<sup>3</sup> — и никто не замечает. Алексей Максимыч, ей-богу, Вас не хватает в России! Пожаловаться некому. Да, главное, никто никому не верит — даже Воронский.

Привет Вам.

Мой адрес: Москва, Тверской б., 14, кв. 7.

*Всеволод.*

(Еженедельно угощаю сибирскими пельменями.)

*Вс.*

<sup>1</sup> Напостовцы — группа пролетарских писателей, издававших в Москве в 1923—1925 годах журнал «На посту», позднее реорганизованный в журнал «На литературном посту», просуществовавший с 1926 по 1932 год Являясь органом РАППа, журнал допустил ряд ошибок.

<sup>2</sup> Литературное объединение «Серапионовы братья» основано в феврале 1921 года.

<sup>3</sup> Речь идет о романе «Степан Разин».

## 14

### ГОРЬКИЙ—ИВАНОВУ

Неаполь, 13 декабря 1925 г.

Ваше интересное письмо из Батума я своевременно получил и тотчас ответил Вам, дорогой мой. Ответил длинно — едва ли вразумительно и, кажется, сердито<sup>1</sup>, ибо в те дни был не в себе, замучила бессонница и разные нервные штучки. Бессонница терзает меня и по сей день. Староват, через два года 60. Пора. От прекрасной жизни, мною прожитой, следовало мне раза три умереть. а я снебрежничал, пропустил сроки и вот все живу, живу, живу, пишу, пишу. Чего и Вам весьма желаю — жить и писать.

Вы со Шкловским будто бы состряпали какой-то «дефективный» роман? Прислали бы, сударь! Я бы поругался с Вами.

Очень хочется мне вытащить Вас и Федина сюда. Да еще бы Зоценко. Да Булгакова. Посидели бы мы тут на теплых камнях у моря, поговорили бы о разном[...]

Что Вы пишете? Вам, сударь, — простите за совет! — пора писать экономнее, Вы очень швыряетесь словами. У вас на некоторых страницах встречаются Пильняковы сухие вихри, пыль словесная и сумбур лирический. Впрочем — лирика у Вас убывает постепенно, и это — хорошо. Всю ее изгонять не следует, но сократить — необходимо. Мы живем во дни отнюдь не лирические, несмотря на бытие Лиги Наций и восторги итальянских фашистов. Мне кажется, что современное искусство слова настоятельно требует строгой сжатости, эпического спокойствия, суровой объективности. И хотя книга Войтоловского «По следам войны»<sup>2</sup> — не искусство, но по объективности ее — образцовая книга. И Федорченко<sup>3</sup> и Барбюс<sup>4</sup> — пустыки сравнительно с Войтоловским.

Вот что, сударь: в январе Ромен Роллан празднует свои 60-летие. Образован комитет: Дюамель<sup>5</sup>, Ронигер<sup>6</sup>, Стефан Цвейг и я. Было бы очень хорошо,

если б молодые русские литераторы поздравили француза, прекраснейшего человека, которого со временем назовут Львом Толстым Франции. Автор «Жан-Кристофа» и «Кола Брюньона» заслуживает почтения, не так ли? Вот вы бы и написали ему адресок. Послать можно мне, а я перешлю ему. Похлопочите, а? Я считаю обязательным оказать внимание одному из лучших писателей Европы. Ответьте.

Всего доброго! Поклон серапионам.

Мой адрес:

Неаполь.

Жму руку.

*А. Пешков.*

<sup>1</sup> Это письмо А. М. Горького Вс. Ивановым не было получено, об этом см. в письме № 15.

<sup>2</sup> Л. Войтоволский. По следам войны. Походные записки 1914—1917 гг., т. I. ГИЗ. 1925.

<sup>3</sup> С. З. Федорченко. Народ на войне. Фронтовые записи. Киев. 1917.

<sup>4</sup> Анри Барбюс, «В огне».

<sup>5</sup> Дюамель Жорж (р. 1884) — современный французский писатель, поэт и прозаик.

<sup>6</sup> Ронигер Эмиль (р. 1883) — швейцарский прозаик, поэт, драматург и издатель. Э. Ронигером был издан сборник к шестидесятилетию Ромена Роллана «Liber amicorum Romain Rolland» («Книга друзей Ромена Роллана»), в котором участвовал М. Горький.

## 15

### ИВАНОВ—ГОРЬКОМУ

Москва, 20 декабря 1925 г.

Какая жалость, дорогой Алексей Максимович, что я не получил Вашего письма мне. Куда Вы его посылали — в Батум или Москву?

В эти месяцы — после поездки — я убедился во многих простых истинах, — что нельзя пьянствовать, как пьянствовал я раньше, — что авантурный роман сейчас России и русскому читателю не нужен. Пить я бросил — вот уже три месяца и, каюсь, очень надолго — и покинул свое увлечение авантурным романом и рассказом. Жизнь, Алексей Максимович, у нас в России достаточно тяжела, авантурный же роман в том виде, в каком его допускают сейчас в России, — жизнь не украшает, не романтизирует, что ли, а обесмысливает. Я честно возвращаюсь к первым своим вещам — но, кажется, кое-чему научившись, и прежде всего строить вещь. Мне это трудно, я человек хаотический — и, конечно, предков бы тревожить не стоило, но, я думаю, их колонизаторская сибирская воля перешла ко мне. Хвастать только любили!

Мне бы хотелось, чтоб Вы прочли, Алексей Максимович, в январской книжке «Красной нови» — 926 г. — рассказ мой новый «Плодородие». Там все мои последние думы.

Кончаю я еще — в феврале, в конце — роман «Казачья»<sup>1</sup>, если угодно — я пришлю его Вам в рукописи. Тема там приблизительно такова: казачья станица, разваленная войной, революцией, начинает подниматься[...] И вот живет в поселке богатый казак Мельников — старик, при нем старуха жена и еще приемыш, подкидыш. И вот должен приехать в поселок епископ, а старик Мельников — приходский старшина, ему и встречать епископа и гостевать. Вымыли, убрали все по дому, старик идет осматривать — все чисто, полы выскоблены, а только девка-приемыш Маринка глину месит на дворе, сама грязнее глины. Разозлился старик — как ее не убрали, сколь грязна. Старуха и отвечает: во что, мол, ее убрать, когда на ней одно платье всего — и в праздник и в будни. Старик гордый, разозлился. «Одеть», — кричит. «Нету времени, — отвечает старуха, — разве у соседей занять, платье-то». Ну, тут старик совсем запылал: чтоб он да занимал у соседей. Раскрыл сундуки и достал сарафан — материнский еще. А уральские сарафаны — тафта с



гарчой, по застежкам девять серебряных пуговиц. Вымыли девку Маринку, вывели — косы распустила — прямо старина встала, красавица, каких теперь и в песнях не поют. Епископ похвалил зело — и пошла о ней слава.

Дальше начинается соревнование казаков из-за нее: из-за погибающего идеала матери и утешительницы скорбей, тихой семьи, кротости. О ней создаются легенды, она гибнет зря, не подняв и не венчав былой казацкой удали.

Мне хочется показать мужицкую тоску по семье, по дому, по спокойному хозяйству, — а на казаках мне это легче всего выявить...

Что же касается детективного нашего со Шкловским романа, то, право, очень плохо, Алексей Максимович, не стоит его читать, да и браниться не стоит.

Роллану мы адрес пошлем, конечно. Завтра же я увижу кое-каких писателей, и мы соорудим быстренько.

Писал ли я Вам, что собираюсь в Японию, да еще с кем — с Пильняком. Не знаю, попаду ли — а деньги и все прочее у меня к весне будет [...]

А милей всего думать мне, что перевалю я весной через Каспий на Краснодарск, побываю в Хиве, Бухаре и Памире — на тигров подле реки Пядж поохочусь — и по Семиреченскому тракту, мимо Иссык-Куля, полторы тысячи верст проеду на лошадях: казачьими станицами, среди раскольников и киргиз. Я уже себе и ружье подбираю.

У Вас, Алексей Максимович, внучек<sup>2</sup>, а у меня сын — четыре месяца и 15 фунтов весу. Орет, негодяй, работать мешает.

Вижу мало кого — некогда, работаю много, разве деньги выйду собирать, а это — будь оно проклято, это занятие. Напишешь, сдашь — все хорошо, нужно, скажем, триста рублей получить, так мотают тебя, мотают [...] И никто зла не желает, а такая уж идиотская система, да и как это — книги национализировать? Мысль. Я, думаю, нигде нет такой путаницы и ерунды, какая творится у нас вокруг книжного дела. В прошлом году Госиздат выпустил 2 000 000 листов, а в 26-м решено выпустить 400 000? А орал все: догнали довоенную продукцию! Догнали? Теперь уже на пуд можно купить книги выпуска 23 и 24 гг. Тошно писать.

Первого февраля у нас пятилетие серапионов. Я еду на пару дней в Питер. Хотели выпустить альманах (увы, 2-й только<sup>3</sup>) — но не знаю, успеем ли.

Шкловский Вам кланяется. От себя добавлю: он очень устал, делает работу очень для него чужую. Буде вздумаете мне писать — припишите ему пару строк, он очень обрадуется, очень освежится. Не знаю, верит ли он в кого, кроме Вас?

Привет.

*Всеволод.*

<sup>1</sup> Роман «Казачьи» напечатан не был.

<sup>2</sup> Описка Вс. Иванова. Надо: внучка.

<sup>3</sup> «Серапионовы братья», альманах 2, в печати не появлялся.

## 16

### ГОРЬКИЙ — ИВАНОВУ

[Сорренто], 13 декабря 1926 г.

Сейчас прочитал в «Нов[ом] мире» рассказ «На покой»<sup>1</sup>. Разрешите поздравить: отлично стали Вы писать, сударь мой! Это не значит, что раньше Вы писали плохо, несомненно, что писали Вы хуже. Я не помню, чтоб кто-либо из литераторов моего поколения сделал такой шаг к настоящему мастерству, как это удалось сделать Вам от «Голубых песков»<sup>2</sup> к Вашим последним рассказам. Сейчас Вы и изображаете так, как это делал Ив. Бунин в годы лучших достижений сво-

их — 905—12, когда им были написаны такие вещи, как «Захар Воробьев», «Господин из Сан-Франциско» и прочее. Но мне кажется, что в пластике письма Вы шагнули дальше Буннина, да и язык у Вас красочнее его, не говоря о том, что у Вас совершенно отсутствует буннинский холодок и нет намерения щегольнуть холодком этим.

Очень крепко, очень выпукло и все по-хорошему человечно, без жалких слов. В таком вот тоне, с таким мастерством Вам надобно написать какую-то большую — по объему — вещь — роман, повесть.

Очень я рад за Вас, честное слово! Какое это изумительное явление — русская литература и какой большой человек русский литератор.

Крепко жму руку, дорогой друг.

*А. Пешкоз.*

<sup>1</sup> Всеволод Иванов. На покой. «Новый мир», № 12, 1926.

<sup>2</sup> Всеволод Иванов. Голубые пески. Повесть. «Красная новь», №№ 3, 4, 5, 6, 1922; №№ 1, 3, 1923.

Это письмо Горького было опубликовано в статье М. Ольшевца «Писатель в одиночестве. Почему?».

Автор статьи противопоставлял отношение Горького к литературе, его стремление отметить каждое выдающееся произведение, и отношение критики, замалчивающей или огульно охаивающей вновь появляющиеся вещи. В качестве примера он привел отзыв Горького о рассказе Иванова «На покой» (из письма к Иванову). См. «Известия», 1 января 1927 года.

Вслед за этой статьей в той же газете от 19 января 1927 года было напечатано «Письмо в редакцию» М. Горького, где он выражал свое неудовольствие фактом публикации его писем различными литераторами (см. М. Горький. Собр. соч., т. 30, стр. 7).

## 17

### ИВАНОВ—ГОРЬКОМУ

[Москва], 22 января 1927.

Дорогой Алексей Максимович. Разрешите переслать Вам мое письмо в редакцию, которое «Известия» отказались напечатать<sup>1</sup>. Отказ этот меня очень огорчил.

Эти строки я пишу Вам не для оправдания, а для того, чтоб Вы могли выяснить обстоятельства, при которых черт сунул меня согласиться с монми «друзьями» и дать напечатать Ваше письмо. Личные дела мои находились в отвратительном состоянии, меня мотали всякие отчаяния. За неделю приблизительно до Вашего письма я пожег свои рукописи, в том числе роман «Казачи», листов этак пятнадцать, — и вообще размышления были такого сорта: сегодня или завтра застрелиться. Я пишу теперь об этом спокойно, потому что все это сгнуло.

Я саморекламой никогда не занимался. Внутренняя моя насыщенность такая, что я даже не имею друзей. Ваше суждение обо мне важно мне потому, что я знаю, что большей половиной своего существования я обязан Вам, — и даже литературными ошибками своими я обязан Вам, ибо никто как Вы познакомили меня со Шкловским, под влиянием которого я находился года два и который, бессознательно конечно, заставил написать меня листов тридцать очень плохой прозы.

Посылаю Вам последнюю свою книжку «Тайное тайных». Издана она отвратительно — на обложке какие-то раздавленные клопы<sup>2</sup>.

Всего Вам доброго.

*Всеволод Иванов.*

<sup>1</sup> Вс. Иванов отправил в «Известия» заявление, в котором выражал крайнее сожаление по поводу данного им разрешения опубликовать в статье М. Ольшевца письмо Горького и приносил Алексею Максимовичу свои «глубочайшие извинения».

<sup>2</sup> Всеволод Иванов. Тайное тайных. Сборник рассказов. Госиздат. М. — Л. 1927.

## 18

## ГОРЬКИЙ—ИВАНОВУ

[Сорренто], 30 января 1927 г.

Дорогой Всеволод Иванов, —

я был бы огорчен, если б Ваше письмо напечатали, и, право же, искренно рад, что «Известия» отказались напечатать его. Очень вероятно, что я не послал бы в Москву моего письма, если б получил на два или три дня раньше письмо Груздева, в котором он, между прочим, сообщил мне, что Вы в тяжелом настроении, уничтожаете рукописи и т. д. Но я был рассержен, ибо на протяжении нескольких дней мне пришлось увидеть в печати мое письмо Гладкову<sup>1</sup>, сократившему критическую часть письма, — письмо к Войтоловскому, опубликованное Демьяном Бедным<sup>2</sup>, и еще две вырезки из каких-то моих писем, напечатанных в газетах мне неизвестных, видимо провинциальных. Обе вырезки бесцеремонно искажали мои слова. Вот я и осwirепел.

Я люблю литературу больше всего в жизни, люблю и уважаю людей, создающих ее. Это категорически запрещает мне выступать в качестве «учителя», «руководителя» и т. д. — чувствований, мнений и намерений художников слова. Я могу разрешить себе обратиться с моими мнениями ко всем, безлично в форме статьи и вообще — «вслух». Но письмо, адресованное определенной и уже хорошо определившейся личности, — это дело интимное, это только «между двумя».

Мне очень жаль, что Вы «случайно» «попали под руку» и это заставило Вас пережить неприятный день. Я очень высоко ценю Вас, очень хорошо чувствую Вашу «внутреннюю насыщенность», как Вы говорите, знаю, что Вы большой русский писатель, и уверен, что скоро Вы найдете себя. Шаг, сделанный Вами от «Голубых песков», — повторяю — очень крупный шаг. Сергею-Ценскому потребовалось почти 20 лет для того, чтоб уйти от себя и написать «Валю» («Преображение»). Вы превосходно поссорились с самим собою через два-три года. Это замечательно. Дорогой друг, нужно, чтоб Вы забыли этот случай, неприятный для меня так же, как для Вас.

Мне тяжело было прочитать Ваши слова о «чванстве, саморекламе», о том, что Вы достойны всяческого «порицания». Все это не следовало писать, потому что этого не было. Просто — не было.

Всего доброго. Будьте здоровы. Книжку еще не получил. Прочитав ее — напишу Вам, если хотите.

Жму руку.

*А. Пешков.*

<sup>1</sup> Речь идет о письме А. М. Горького Ф. В. Гладкову от 30 ноября 1926 года, частично опубликованном в «Учительской газете» 11 декабря 1926 года; полностью опубликовано в собрании сочинений М. Горького (т. 29, стр. 483).

<sup>2</sup> См. предисловие Д. Ведного к книге Л. Войтоловского «По следам войны» (т. II, ГИЗ. 1927, стр. 3).

## 19

## ИВАНОВ—ГОРЬКОМУ

[Париж], 6 сентября 1927.

Дорогой Алексей Максимович, получил Ваше письмо<sup>1</sup> и огорчился, ибо в тот же день появилось из Москвы сообщение, что пьесу «Бронепоезд» Главрепертком запретил как недостаточно революционную, что им еще революционнее может быть — бог их знает, но мне приходится возвращаться в Россию — говорить, переделывать, убеждать... скучная наша жизнь!

Думаю, если удастся, приехать к Вам из России как только справлюсь с театральными своими делами, а на сколько они времени растянутся — тоскливо и подумать.

Подробно и, может быть, веселей напишу Вам из Москвы.

Привет.

*Всеволод Ив.*

<sup>1</sup> Письмо Горького не сохранилось.

## 20

### ГОРЬКИЙ—ИВАНОВУ

Сорренто, 13 октября 1927 г.

Дорогой Всеволод.

Очень сожалею о том, что Вы не приехали в Sorrento, так хотелось бы видеть Вас. «Ананий»<sup>1</sup> — отличная вещь. Совершенно необходимо, чтоб Вы забрались куда-нибудь в тихий угол и начали писать большую вещь. Пора. У Вас для этого все данные. Вот,— приехали бы сюда, я Вас хорошо устрою. Денег нет? Можно достать. Чепуха.

Мне кажется, что Вам следовало бы отдохнуть от людей — даже и от близких, — да подумать о них издали. Это чудесно «омолаживает». Ох, знали бы Вы, какую суматоху в эмиграции вызвало разоблачение «визита» Шульгина в Россию!<sup>2</sup> Вчера один парень недурно сказал, что Чемберлен, Пуанкаре и другие «великие» люди, вероятно, не будут ходить по улицам Лондона, Парижа из опасения, что их схватят, увезут в Россию и — высекут на Красной площади.

Забавнейшие штуки творятся на планете нашей.

Крепко жму руку. А о поездке сюда — подумайте! Хорошо бы!

*А. Пешков.*

<sup>1</sup> В. С. Иванов. Блаженный Ананий. Рассказ. Альманах «Круг», № 6, 1927.

<sup>2</sup> Шульгин Василий Витальевич (р. 1878) — публицист и политический деятель царской России, автор воспоминаний «Двадцатый год» и «Дни», белоэмигрант; зимой 1925—1926 года нелегально посетил Советский Союз, был встречен и принят работниками ОГПУ, выдававшими себя за деятелей тайной монархической организации. Мнимые монархисты незаметно оказали существенное влияние на изменение политических воззрений Шульгина.

Все это отразилось на книге Шульгина «Три столицы», в которой он описал посещение Советского Союза. Разоблачение В. Л. Бурцевым истинной сути этого дела произвело сенсацию в белоэмигрантской среде. Позднее Шульгин вернулся в СССР (см. Лев Никул и н, История одного вояжа. «Неделя», 11—17 октября 1964 года).

## 21

### ИВАНОВ—ГОРЬКОМУ

28 октября 1927 г.

Дорогой Алексей Максимович, — получил Ваше письмо. Очень рад, что «Блаженный Ананий» Вам понравился — рассказ мало кому нравится, и те люди, мнением которых я дорожу, говорят, что в нем есть болезненный уклон и даже извращенность. Мне обидно потому, что рассказ этот я люблю больше всех своих работ.

Последнее время все страдал над «Бронепоездом», говорят, работа удалась, даже старик Станиславский хвалил пьесу. Я только боюсь одного, чтоб это не было настолько патриотично и фальшиво, что через год и смотреть будет невозможно.

Третьего дня вечер был дождливый, слякотный. У меня в ограде словно в бане в субботний день, грязища и желтые листья. Сыро, тепло. Надел я осеннее пальто — жарко, неудобно, но приятно. И вот, чувствуя и радуясь теплу и неудобству, — иду я по Тверской. На углу Камергерского, против здания строящегося

телеграфа (с необычайно грязными стеклами — не успели отмыть, и с гигантским и некрасивым гербом, чем-то похожим на восточные ордена) встретил я Воронского. Воронского я не видал давно, месяца полтора. Я наилюбезнейше улыбнулся, снял шляпу, остановился было... Воронский кивнул чрезвычайно небрежно и величественно прошел мимо. Оказывается, здороваться не хочет.

И все это потому, что я согласился сотрудничать в «Красной нови» в новом ее редакционном составе, и потому, что не объяснил причин моего согласия ему<sup>1</sup>.

Работать мне здесь над большой вещью, вы угадали, — трудно и не потому, что у меня нет помещения или нет денег. Тем и другим — по советским масштабам — я обладаю в избытке. У меня нет спокойствия, нет уверенности в себе и, должно быть, плохо развито чувство честности. Я плохой общественник, я не альтруист, я мало люблю деньги, но работать я люблю, и мне все кажется, что вот пройдет немного, что-то во мне произойдет, и я сяду и буду долго и много работать.

Смогу ли я работать за границей? Не знаю. Что я могу хорошо пить и шляться без толку, с радостью по улицам — это я выяснил с точностью необыкновенной. Надо крепко подумать.

Бабель в Италии. Он у вас был? У этого еврея с русской душой — суматоха в голове. Ему не хочется быть экзотичным, а русскому писателю не быть сейчас экзотичным — трудно.

Пятый день идет дождь то теплый, то холодный. В мое окно видно развешанное на веревках драное белье; кирпичный сарай, который превращают в трехэтажный дом — уже пробили окна, вставили рамы: окна почему-то завешены рожами [...]

Привет Вам.

*Всеволод.*

<sup>1</sup> А. К. Воронский был освобожден от редактирования «Красной нови», была образована новая редколлегия журнала, в которую вошли: В. Фриче, Ф. Раскольников, Вс. Иванов, С. Канатчиков, В. Васильевский.

## 22

### ИВАНОВ—ГОРЬКОМУ

Москва, 10 января 1928 г.

Дорогой Алексей Максимович, — письмо Ваше я получил, и с того времени произошло много событий.

На пьесе моей «Бронепоезде»<sup>1</sup> люди зело умилялись и плакали, и я сам был растроган, а теперь присмотрелся — и оказывается, пьеса еле-еле скроена и надо было б ее переписать заново, а нет желания и времени нет. Так, видно, и пойдет.

В «Красной нови» согласился я вести литературный отдел, а печатать нечего, и карабкаюсь я среди груд сырого материала с великим трудом.

Кстати, о «Красной нови» — нельзя ли нам «Клима Самгина» пустить на месяц раньше «Нового мира»? Возможно Вам это сделать?..

Нашел я очень талантливого паренька Дм. Еремина — прочтите в фев[ральской] книжке его рассказ «Иной период». По-моему, хорошо. Как вам понравился роман Олеши «Зависть»?<sup>2</sup>

Сам я работаю очень много, и это единственное, кажется, спасение от тех гнетущих мыслей, кои обуревают меня. Гнетущая мысль не может обуревать, я неправильно выразился — но и в этой неправильной фразе есть какая-то правда.

Недавно окончил повесть «Гибель Железной»<sup>3</sup>, а сейчас пишу «Записки неизвестного солдата»<sup>4</sup> — это о том солдате, который лежит под Триумфальной аркой в Париже. Я его делаю русским и по национальности и по характеру.

Четыре дня назад у меня родилась дочь. Детей у меня было уже трое, но все не выживают, умирали. Может быть, четвертая будет счастливейше.

У нас усиленно готовятся праздновать Ваш юбилей<sup>5</sup>. Если думаете приехать в Россию, то не приезжайте только на юбилей — неопишущая скука, однообразие и ложь — и подхалимство [...]

Желаю Вам здоровья.

*Всеволод.*

<sup>1</sup> Премьера пьесы В. Иванова «Бронепоезд 14-69» в Художественном театре состоялась 8 ноября 1927 года.

<sup>2</sup> Роман Ю. Олеши «Зависть» был опубликован в журнале «Красная новь», №№ 7, 8, 1927.

<sup>3</sup> Повесть «Гибель Железной» впервые напечатана в журнале «Красная новь», 1928, кн. 1.

<sup>4</sup> В печати не появлялись.

<sup>5</sup> В марте 1928 года советской общественностью и печатью отмечалось шестидесятилетие со дня рождения А. М. Горького.

## 23

### ГОРЬКИЙ—ИВАНОВУ

[Сорренто, 20 января 1928 г.]

Дорогой Иванов, —

по письмам, по газетам знаю, что «Бронепоезд» имел успех вполне заслуженный, с чем от души поздравляю Вас. Как изумительно загримирован Качалов, судя по портрету в «Огоньке»<sup>1</sup>.

Очень рекомендую Вам для «Кр[асной] нови» поэму Бориса Ковынева, весьма бойкая свежая вещь<sup>2</sup>. Автор пишет мне, что Пастернак весьма одобрил ее. Адрес автора: Покровка, 3, кв. 7, ком. 24 и 12. О «Самгине» нужно говорить с Крючковым<sup>3</sup>, я в этом деле не хозяин. Советовал бы Вам взять вторую половину второго тома, она, пожалуй, интереснее.

Посылаю рукопись «Пилот и черт». Автор — беженец, но не эмигрант, живет в Праге с эмигрантами, с «головкой» не в ладах, написал статью — очень злую — «Беженец об эмигрантах». Прислать? И «Пилот» — интересен, но — многословен. Может быть, сократив, напечатаете?

Олеша — бесспорно талантлив, но конец «Зависти» у него не убедителен, смят. Обратили Вы внимание на Платонова, Заяицкого и Нину Смирнову? Последняя очень своеобразна. Кажется — сибирячка или с Урала. Есть еще весьма бойкий, искусный писатель Леонид Борисов, автор книги «Ход конем»<sup>4</sup>. Впрочем, — что ж это я Вам рассказываю? Вы лучше меня знаете кто что.

С новорожденной — поздравляю. Это хорошая штука — дети. У меня — две внучки: Марфа и Дарья. Марфе уже два года, и я учу ее петь «Под вечер осенью ненастной». А также совместно сочиняем стихи:

Visino Roma — т. е. около Рима

Ударом грома

Разрушен дом.

Вот это — гром!

Она — хохочет. А Дашке — три месяца, и она спокойная, как Будда.

Юбилей? Это очень мешает работать. Других удовольствий — не чувствую. Подхалимов много? Ну, я думаю, в этом отношении здешних не превзойти ни количеством, ни качеством.

Сегодня узнал, что Феликс Юсупов устроил покушение на изнасилование мальчика для того, чтобы затушевать другую свою «ошибку»: он «занимался» фальшивыми деньгами. Что тут делают наши эмигранты! Ужас. Человекам свойственно падать, но — так низко, это уж чрезмерно!

Когда начнут выходить Ваши книги, как «Собрание сочинений»?<sup>5</sup>

Крепко жму руку.

*А. Пешков.*

<sup>1</sup> В. И. Качалов в роли партизана Никиты Вершинина.

<sup>2</sup> Речь идет о поэме В. Ковынева «Судьба».

<sup>3</sup> Крючков Петр Петрович — личный секретарь Горького.

<sup>4</sup> Л. Борисов В. Ход конем. Роман. «Прибой». Л. 1927.

<sup>5</sup> В 1928 году в Государственном издательстве начало выходить семитомное собрание сочинений Вс. Иванова. Окончено в 1931 году.

## 24

ИВАНОВ—ГОРЬКОМУ

[Москва, январь—февраль 1928 г.]

Дорогой Алексей Максимович,—  
 посылаю Вам первый из томов моего собрания. Рассказы Вы эти все, кажись, читали, изменены они мало, да и посылаю я их не для чтения, а чтоб показать, как издают меня.

В мае, я слышал, собираетесь к нам? Отлично.

Сейчас мы ждем от Вас с нетерпением — (мы — «Красная новь») — «Клима Самгина»<sup>1</sup>. Кстати, почему нельзя печатать стихи — забыл фамилию — того поэта, о котором Вы прислали телеграмму?<sup>2</sup> Кстати тоже о телегр[амме]: Вяч. Иванов прислал своему другу Г. Чулкову стихи, отличные стихи. Чулков принес их нам, я хотел их напечатать и думаю — неужели автор будет протестовать, послал ему телеграмму с просьбой о разрешении напечатать. Он живет в Риме. И получил такой ответ: «Печатать нельзя, стихи готовятся для посмертной книги». Это мне напоминает поэта Дрожжина, к которому в прошлом году довелось попасть мне — в деревню. Водит он меня по комнаткам, показывает фотографии, автографы разных поэтов и говорит так с умилением: «Это я себе музей готовлю. Вот умру, музей-то и сделан».

«Красная новь» идет хорошо, но с редакторами трудно сговариваться [...]

В апреле собираюсь съездить в Туркестан, а за границу осенью.

Написал я пьесу «Блокада»<sup>3</sup> — о взятии Кронштадта в 921 году. Пьесу хвалят, пойдет она в театре им. Вахтангова. Актеры там не ахти что, но больно молоды, энтузиасты и как-то легко с ними разговаривать.

Привет Вам.

*Всеволод.*

<sup>1</sup> Вскоре был получен отрывок из второй части трилогии «Сорок лет», печатался в журнале «Красная новь», №№ 5, 6, 7, 8, 1928.

<sup>2</sup> По всей вероятности, речь идет о поэте Алексее Фотинском, студенте технологического института в Праге, стихотворение которого «Демонстрация» Горький хотел напечатать в «Красной нови», но не смог, так как, невзирая на запрещение автора, оно было напечатано эсерами в «Воле России».

<sup>3</sup> Первое представление пьесы Вс. Иванова «Блокада» в Московском Художественном театре состоялось 26 февраля 1929 года. В театре Вахтангова «Блокада» поставлена не была.

## 25

ИВАНОВ—ГОРЬКОМУ

[Москва, март 1930 г.]

Дорогой Алексей Максимович,  
 извините меня, ради бога, что я обращаюсь к Вам с просьбой, но положение мое таково, что никого у меня за границей знакомых нет, а переводчик мой немецкий — такая шляпа, что к нему с просьбами обращаться бесполезно: он их все равно не исполняет, а только пишет любезнейшие письма. А просьба моя заключается в следующем: не могут ли кто-нибудь из ваших домашних зайти в аптеку и купить мне три коробки «фосфатину», весьма необходимого лекарства, которого здесь невозможно достать для маленького моего детеныша. Буде это возможно сделать, очень буду Вам признателен<sup>1</sup>.

Во всем остальном я живу удобно и хорошо: вышел, например, позавчера, что ли, «Бюллетень реперткома» или что-то в этом роде, — одним словом, орган Главискусства, где черным по белому напечатано, что «Бронепоезд» — кулацкая пьеса и ее нужно снять. Надо думать — и снимут.

Написал я роман «Путешествие в страну, которой еще нет»<sup>2</sup>, оный роман начал печататься с февральской книжки «Красной нови», — прочтите, если время будет. А через три дня я уезжаю в Туркестан сроком месяца на два, на три по-

смотреть и народы и жизнь, а затем если удастся, то и поприсутствовать на открытии Турксиба, где, мечтается мне, увижу кое-что и забавное и трогательное, понеже через Турксиб думаю спуститься на родину, на Иртыш. Компания наша смешная и большая: тут и Леонов, тут и Тихонов Николай, и Луговской, и Санников... предприятию этому присвоено звание Первой ударной бригады Госиздата. Почти армия.

Больше, кажется, мне похвастаться нечем [...]

За лето же хочу написать книжечку своих воспоминаний в форме новелл, посмешнее.

Желаю Вам полного здоровья и спокойствия.

*Всев. Иванов.*

Датируется по времени отъезда из Москвы в Туркмению писательской бригады и открытия Турксиба (Туркестано-Сибирской железной дороги).

<sup>1</sup> В неопубликованном письме от 12 октября 1930 года Вс. Иванов писал Горькому: «Жена просит поблагодарить за посылку фосфатина. Не знаю, виноват фосфатин, но мальчишка отменный».

<sup>2</sup> «Путешествие в страну, которой еще нет» было опубликовано в журнале «Красная новь», №№ 2, 3, 4, 5, 1930.

## 26

### ИВАНОВ—ГОРЬКОМУ

[Москва, июнь—август 1930 г.]

Дорогой Алексей Максимович,— перед отъездом своим в Туркестан написал я Вам письмо, но оное письмо, видимо, не дошло — понеже ответа на него не получил.

Сейчас, повидав Русь и памятуя Ваше приглашение, хотел бы я поехать в Италию и в каком-нибудь тихом углу перегнать на бумагу все то, что довелось мне видеть, испытать и подумать. У себя на родине вряд ли мне удастся написать большую вещь — долгов невероятно много, а отрабатывать их рассказниками трудно, потому что рассказы эти только-только меня питают. Посему у меня к Вам следующая просьба: не затруднит ли Вас отбить телеграмму Союзному Правительству, чтобы меня с семьей (3 штуки ребят и жена) отпустили к Вам и разрешили мне вывезти валюты на 1000 долларов, я думаю, что такой суммы на полгода мне хватит, да и к тому же я и человек не пьющий и не курящий. С такой же просьбой обращаюсь я к И. В. Сталину,— ниже никак невозможно, потому что все боятся ответственности, еще если б я ехал один, а то с женой! с детьми! А вдруг — черт знает, что у него на уме — возьмет и перейдет на сторону буржуазии, а там расхлебывай. Так что пообещать содействие многие пообещают, а сделать никто ничего не сделает. Буде меня пустят, я попрошу Вас еще добыть мне италианскую визу. Простите, что я Вас затрудняю, но уж время такое смешное — иного выхода нема.

Побывал я в Ср[едней] Азии. Видал там удивительнейшие и приятнейшие вещи. Какой народ! Какие герои! Буде удастся, расскажу Вам лично, но в эти два месяца я увидал то, что не удавалось мне увидеть во все последние пять лет — и увидал хорошее и непоказное, а, так сказать, корни хорошего, настоящего и важного.

В литературе нашей, как Вы видите, происходит брожение и бурление — так же как и во всей стране. Я думаю, что вряд ли сейчас возможны появления каких-либо крупных и достойных вещей — очень писателю трудно угнаться за эпохой, хотя таланты созревают и созрели большие и настоящие. Время рубит в тайге просеки для искусства, понеже искусство любит катиться по светлым — и по возможности — безопасным полянам.

Желаю всего Вам доброго.

*Всеволод Иванов.*



## 27

## ИВАНОВ — ГОРЬКОМУ

Москва, 5 сентября 1930 г.

Дорогой Алексей Максимович, извините, — во-первых, что так неаккуратно Вам отвечаю, но тут набахали на меня, яко на спекулянта какого, девять тысяч налога, все и метался, пытаюсь достать денег, но, кажется, не достал, ибо ввиду кризиса бумажного ГИЗ не особенно склонен печатать меня — в общем, думаю, что на днях меня опишут и продадут... Второе мое извинение в том, что пишу на машинке, ибо со дня на день почерк мой делается все отвратительней, и я лучше писание свое решил перешлепать, впрочем и пишу на машинке я не лучше.

Выехать мне удастся (я думаю) не раньше первых чисел ноября, поеду я к Вам прямо, не останавливаясь нигде: Москва — Неаполь, не знаю, сколько мне дадут денег и, следовательно, сколько я могу прожить[...]

Денька через два поеду на киевские маневры, — я видал Красную Армию пограничную, теперь увижу остальную. Пограничники произвели на меня потрясающее впечатление — герои, честное слово, настоящие герои. Ужасно завидно, что родился слишком рано (мне бы годков двенадцать сбавить и провести свою молодость вот сейчас, а не за глупым реалом и типографской кассой), куда удачнее провел бы я теперь свою молодость. Идя к сорока годам, люди, наверное, все так говорят, — скажете Вы.

Напишите, что Вам отсюда привезти: может быть, книжки какие нужны? У меня книжников много, или что Вас по искусству интересует — представлено будет честь по чести.

Читали ли Вы в «Красной нови» роман Л. Славина «Наследник»<sup>1</sup>. Многим очень нравится, и, по-моему, хорошо написан, отличный роман. Вообще в портфелях редакций сейчас много романов, но вот с рассказами плохо, скупы на мелочь авторы, скупы...

Разрешите поблагодарить Вас за заботу обо мне и пожелать Вам — как говорят у нас в Одессе, — чего Вы себе желаете, от себя же скажу, что с большой радостью увижу и поговорю с Вами.

Всеволод Иванов.

<sup>1</sup> Роман Льва Славина «Наследник» печатался в журнале «Красная новь». №№ 6, 7, 8, 9, 1930.

## 28

## ГОРЬКИЙ — ИВАНОВУ

[Сорренто], 14 сентября 1930.

Дорогой Вячеслав Всеволодович<sup>1</sup> — это не очень хорошо, что Вы приедете не ранее ноября, для детей было бы лучше, если б они очутились здесь пораньше недельки на две, на три, дабы поспеть к винограду и попривыкнуть к здешней погоде[...]

Далее: если Вам потребны советские деньги — рекомендую обратиться к Петру Крючкову, у него есть, и он охотно вручит Вам, сколько нужно.

Кому надобно кланяться, чтоб Вам дали доллары? Сталину и Рыкову я телеграфировал о тысяче.

Привозить мне ничего не надобно, себя привозите. С Вами, вероятно, и без того багажа будет не мало.

Привет.

А. Пешков.

14.IX.30.

2 часа ночи. Сегодня по предсказанию газеты «Возрождение»<sup>2</sup> мир должен погибнуть, ибо где-то какие-то злокозненные ученые взорвут атом и материя начнет распускаться, как чулок.

<sup>1</sup> Вячеслав Всеволодович — описка Горького, следует — Всеволод Вячеславович.

<sup>2</sup> «Возрождение» — монархическая белоземгрантская газета.

## 29

## ИВАНОВ — ГОРЬКОМУ

[Москва, 30 сентября 1930 г.]

Дорогой Алексей Максимович, — письмо Ваше, датированное 13 сентября<sup>1</sup>, получил. Зело Вам благодарен касательно денег (что через Крючкова), но с деньгами и с налогом я — приблизительно — уладил и через неделю или полторы подам свои паспорта. Разве что после выда ни паспортов понадобится мне Ваша помощь в смысле валюты, тогда я Вам сообщу особо.

Вчера я только что приехал из Украины, где был на маневрах. Превосходная природа — и превосходнейшие люди, — во-первых, вряд ли в какой иной стране имеется такая крепкая связь между населением и армией, крестьяне необыкновенно ласково и дружно встречают, любовно — с желанием поучиться — разговаривают, но надо и добавить, во-вторых, что вряд ли есть где такие сознательные и так любящие свое дело и своих товарищей красноармейцы. Один со мной стоит рядом, смотрит вдоль улицы, на которую еще два часа назад пришел отряд, но уже украшенную плакатами, радио, с устанавливающейся кинопередвижкой и с полями вдали, на которых красноармейцы помогали селянам убирать свеклу, — вздохнул и сказал:

— Вот жизнь! Тут за одну красоту воевать можно!

Прекрасный, а самое главное — молодой командный состав, отлично разбирающийся не только в тактических, но и в обычных политических вопросах, работающий, что говорится, до упаду и постоянно веселый и бодрый. Посмотрев на все это, начинаешь ощущать, какие великие десять лет прожили мы и какие еще более великие годы предстоит прожить нам.

Ну а здесь, в Москве, так называемая «литературная жизнь» — не знаю, все ли попадают к Вам нумера «Лит. газеты», но для характеристики нравов разрешите приложить Вам к письму — «письмо в редакцию». Автор А. Тарасов возмущается человеком, который написал — еще нигде не напечатал — статью против А. Тарасова[...]

О последующих своих действиях напишу.

Всего Вам доброго.

*Всеволод Иванов.*

<sup>1</sup> Речь идет о письме А. М. Горького от 14 сентября 1930 года.

## 30

## ИВАНОВ — ГОРЬКОМУ

[Москва], 14—21 февраля 1933 г.

Во первых строках нашего письма — как это пишется у нас в деревне — разрешите приветствовать Вас, Алексей Максимович, от имени моего и от имени семейства, а также поблагодарить за совет — заехать во Флоренцию. Она Флоренция нам зело понравилась — до того, что жена моя в галерее Уффици даже прослезилась. И есть с чего. Сейчас мне, утопающему в снегах, — понеже свирепствует метель и т. к. во дворе производится стройка дома, а значит, навалены кирпичи и бревна, и все это превратилось в великие сугробы, — сейчас мне кажется, что из всех городов европейских за эту поездку Флоренция ослепила меня больше, чем что-либо иное. Попрошу Вас в связи с этим передать Яковлеву<sup>1</sup>, если сей философ-живописец обитает еще в ваших краях и если он помнит наш спор об русском искусстве, происшедший в Неаполе ночью возле лодок, что я беру свои слова обратно и согласен с оным Яковлевым, — в честь чего и прошу влить в него добрую порцию «Белого коня».

Возвратясь в Москву, я немедленно попал на заседания — и от этих заседаний, чтения рукописей и разговоров о прочем житейском все еще никак не могу

приступить к работе. К числу не особенно оживленных заседаний относится и происходящий сейчас пленум Оргкомитета, хотя помещение, где он происходит, довольно обширное. Спорят не сильно — и впечатление такое, что и спорить не о чем: а кажется мне, что забывается самое главное, что наша литература отстает безбожно от жизни, об этом надо бы сказать порезче. Весьма кстати — как я заметил по приезде — было Ваше выступление с браковкой материала для «Года 16-го»<sup>2</sup>. Я уже приехал к концу и захватил только часть разговоров, но вначале, видимо, впечатление было ошеломляющее, ибо представьте себе, чтоб сотне классиков сказал бы кто-нибудь, кому они, несомненно, верят, что работка-то сделана плохо... классики даже, я полагаю, слегка обиделись, но задумались — и весьма полезной думой. Жаль только, что в связи с этим разгромом Вы не обратились к ним с неким частным письмом, это бы еще больше заставило их подумать: ибо очень часто литература наша палит холостыми [...] Главная беда тут в том, что нету у нас авторитетного критика, к голосу которого прислушался бы писатель и указания которого он бы ценил.

В развитие тех мыслей — об расширении материала для писателя, — если помните, мне еще хочется добавить, что хорошо бы составить для писателей «словари производств». Например, у меня имеется книжка: «Словарь волжских судовых терминов» — эта книга, если б, скажем, я вздумал изучать жизнь реки, во многом бы мне помогла. Словари можно составить краткие, но чтоб они вводили писателя в тот особый язык, на котором говорит горняк, печатник, художник или врач. Как вы смотрите на это? Я говорю не о тех предложениях, которые мы высказывали в статье вместе с Леопольдом<sup>3</sup> и Перцовым, а об другом — насчет создания писательского архива, лаборатории и чего-либо вроде...

Книжная лавка издательства «Советская» лит[ература], где работают лучшие букинисты нашего Союза, предполагает в марте издавать бюллетень — о пользе и важности старой и антикварной книги. Очень просим Вас, если будет у Вас время, черкнуть несколько фраз о книге. Дело это хорошее, а находится в большом небрежении. Гибнет много ценных и нужных книг. Мы и хотим говорить, почему книги такие-то и такие-то ценны — и как их надо собирать и как беречь.

С большущим удовольствием вспоминаем мы с женой время, проведенное у Вас, и так как я губами — от застенчивости — вряд ли бы сказал, то позвольте пером высказать Вам громадную благодарность: честное слово, ни у одного человека я не встречал такой ясной головы и такого настоящего миропонимания — и... вот и пером не вышло. Для таких изъяснений шепоток надо иметь какой-то особенный, письменный.

Привет.

*Всев. Иванов.*

Письмо мое пролежало 7 дней, я все собирался переписать — и отделать, но так и решил послать: письма, должно быть, надо посылать такими, какими они выливаются. Посему — прошу извинить некую безграмотность, беспорядочность.

Заседания Оргкомитета начались в присутствии 1000 зрителей (сам считал) в громадном зале Комакадемии, а кончились в комнатке на Поварской, 50, в присутствии 15 чел[овек] (тоже сам считал) — из этого можете судить, насколько был удачен и любопытен пленум.

Получили Вы «Золотого тельца» Ильфа и Петрова? Глубоко рекомендую прочесть. Отличный роман. Тоже рекомендую прочесть «Дневники» М. Шагинян. Но, наоборот [...]

*Вс. Ив.*

<sup>1</sup> Яковлев Василий Николаевич (1893—1953) — народный художник РСФСР.

<sup>2</sup> «Год шестнадцатый» — альманах, вышедший под редакцией М. Горького. Вс. Иванова и других. О непригодности некоторых материалов, предназначенных для нервого альманаха «Год XVI», Горький писал члену редколлегии альманаха Л. Авербаху в письме от 22 декабря 1932 года (Архив А. М. Горького).

<sup>3</sup> Леопольд — Леопольд Леонидович Авербах (1903—1938), литературный критик, один из руководителей РАППа.

## 31

ИВАНОВ — ГОРЬКОМУ

[Москва], 12 апреля 1933 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Фашизация Германии — дело, по-моему, зело временное. это видно по тем яростным, почти средневековым формам, которые она приняла; я полагаю, что она штука будет короче империалистической войны, хотя морально не менее, если не более противной; что же касается интеллигенции, «духовного костяка», то этот костяк во всех крепко критических случаях дрожит и сгибается — и дрейфит. Я понимаю Вашу горечь и очень сочувствую ей — Вы так близко находитесь к этому адову пеклу, что поневоле от сего зловония заболит голова. Никакой пирамидон, кроме нашего весеннего воздуха, не поможет. Ждем Вас с радостью. Черт ее знает, сколько я уже весен видел, а все не могу привыкнуть — каждый раз приятно. Форточка открыта, стекла в окне вымазаны этакой серовато-голубой приятной грязью, желтая замазка из пазов вываливается, баба широко шагает по грязи. Кстати, о грязи. Сокольнический район, где я живу, признан самым антисанитарным из всех московских, а дом, где я имею честь обитать, самым антисанитарным в Сокольническом районе. Везет!

Третьего дня закончил пьесу<sup>1</sup>. О гуманности и гуманизме. В наших, советских, условиях. Если пожелае — прочту.

Целую Вас.

*Всеволод.*

Живет у меня в Москве мать, 75 лет. Приехали к ней родственники из Сибири, из поселка. Пока ехали долго, долго — потеряли ее адрес. Где же искать им Аришу? Ну, как Вы полагаете?

Они стояли на трамвайных остановках и смотрели: не проедет ли м и мо. Постояли-постояли три дня на остановках и вернулись в поселок. Вот люди!.. А вы говорите — Шекспир!

<sup>1</sup> По-видимому, речь идет о пьесе «Поле и дорога», напечатанной в журнале «Театр и драматургия», № 8, 1934. См. отрицательный отзыв Горького об этой пьесе, опубликованный в журнале «Театр», № 11, 1934.

## 32

ГОРЬКИЙ — ИВАНОВУ

[Тессели], 6 октября 1934.

Дорогой Всеволод Владиславович<sup>1</sup> —

Письмо Ваше о самоуправстве Ставского я передал т. Щербакову, который отнесся к факту самоуправления вполне серьезно — как и следовало. Послезавтра Щербаков едет отсюда в Москву, где и займется этим делом<sup>2</sup>. Он — человек, достойный внимания, и, видимо, собирается работать усердно.

Превосходная погода здесь: ясные, теплые дни, много солнца. Сижу, пописываю немножко, налаживаю здоровье. Получил письмо от Роллана<sup>3</sup>, он был на заседании Лиги Наций в день нашего «утверждения» в ней, сообщает, что впечатление было солидное. Недавно его сестру ограбил некий юноша, часто бывавший у Роллана, очень симпатичный, по его словам. Грабил он, угрожая револьвером, и произвел — по неопытности — шум. Услыхав по телефону шумок, Роллан побежал на виллу сестры — они живут рядом, — юноша начал палить в него из револьвера. Затем на другой день он зарезал ювелира и — был убит полицией или сам застрелился во время, когда его ловили. Роллан пишет об этом кратко и спокойно, а я — встревожен. Швейцарцы усиленно травят старика, всячески мешают

ему жить и работать. Хорошо бы, В. В., если несколько человек с Вами во главе послали ему письмишко или телеграмму — как думаете?

Крепко жму руку.

*А. Пешков.*

<sup>1</sup> Всеволод Владиславович — описка А. М. Горького.  
<sup>2</sup> О чем идет речь, установить точно не удалось. По-видимому, инцидент связан с делами Литфонда председателем которого был Вс. Иванов.  
<sup>3</sup> Речь идет о письме Р. Роллана А. М. Горькому от 25 сентября 1934 года (Архив А. М. Горького).

### 33

ИВАНОВ — ГОРЬКОМУ

16 октября 1935 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Посылаю Вам свою пьесу: «12 молодцов»<sup>1</sup>, произведение, от которого мне сейчас ужасно скучно. Не подумайте, что я приbedняюсь, — действительно меня терзает эта моя страсть к драмам! Ставить их никто не ставит, печатают их с испугом, читают плохо... Писать, придумывать, — сознаюсь, приятно.

Желаю, чтоб выдумки мои доставили Вам удовольствие!

Живу по-прежнему: ни шатко ни валко. Сын лежит, обитаем поэтому за городом...

Хорошо бы в Абиссинию уехать!

Всего Вам доброго.

*Всеволод.*

<sup>1</sup> Пьеса «12 молодцов из табакерки» опубликована в журнале «Новый мир», № 1, 1936.

Получив пьесу, Горький писал о ней в октябре 1935 года Иванову: «...пьесу прочитал, она очень интересна, но, на мой взгляд, еще недостаточно театральна, слишком громоздка для сцены, и некоторые ее фигуры недостаточно ярко — «театральны» — сделаны». Далее он советует издать существующий текст как «Повесть в диалогах», подобно повести Алексиса Киви «Семеро братьев». «Передельвая пьесу... Вы — попутно — увидите, где и в чем коренятся пороки пьесы, и Вам не трудно будет изменить ее к лучшему, сделать более легкой, комедийной, веселой» (М. Горький. Собр. соч., т. 30, стр. 405—406).

### 34

ИВАНОВ — ГОРЬКОМУ

[Москва, конец 1935 — начало 1936 г.]

Извините, дорогой Алексей Максимович, что пишу Вам на машинке: у меня грипп, озноб, шум в голове и «порошки на столе», а чернилами пища делаю много ошибок, что не только неприятно Вашему опрятному мышлению, но даже и моему туманному...

Слышал, что не приедете зимой в Москву. Это печально. Литературная жизнь наша, несмотря на уверения Щербакова и прочих писательских аппаратчиков, все же очень сухая, разобшенная и малоплодотворная. У Вас же, при всей Вашей «неодобрительности» к литераторам, имеется литературный пламень и организаторский талант в самом отличном понимании этого слова, качества весьма полезные нам и необходимые просто. Есть в литературе и отрадные явления, вроде романа «Одиночество»<sup>1</sup> и прилагаемой при сем книжки молодого писателя Еремина «Возвращение»<sup>2</sup>, но и эти события мы не способны «поднять на должную высоту» из-за недостатка смелости, заинтересованности в общем деле, а главное — организованности, — и в результате такое явление, как «Литературная газета», которая ухитряется существовать, не существуя, или, прямо сказать, отчаянное положение с книгами «Люди пятилетки»<sup>3</sup> и «День мира»<sup>4</sup>. Мне это больно писать еще и потому, что, как выяснилось, я совершенно лишен организаторского дара, — и даже с трудом могу звонить по телефону... Кроме того, весьма неважно положение и с так называемой «обыкновенной», не классической, не гениальной литературой. Должна ли она существовать? Если должна, то каковы ее законы, по которым она будет развиваться? Если Вы просмотрите продукцию наших изда-

тельств 1934 года, то так называемых «обычных» романов Вы найдете весьма немного, тогда как, как Вам известно, в одной Англии в течение года выходит 3000 романов. Несомненно, эти романы приносят буржуазии огромную пользу. Должны ли мы отказываться от этих романов, должны ли мы отказываться от популяризации идей нашего социалистического отечества, которое, несомненно, мы любим все больше с каждым днем, а эта любовь самая верная, это, знаете, не вспышка страсти, не аффект... Мне кажется, надо обратить внимание на эту сторону дела. Помимо прочих неурядиц, вроде того, что Союз мало обращает внимания на обычного среднего автора, что низки и плохо выплачиваются гонорары (например, издательство «Советский писатель» даже мне не выплачивает гонорара, — что же тогда и как получает средний автор? Не ложь, что Финку издательство дает по 50 рублей за раз или направляет авторов в Литфонд за субсидиями), надо подумать и о тирании — я пишу об этом прямо — редакторов. Хорошо, когда на недостатки указываете Вы или иной почтенный и опытный литератор, а когда малоопытные редактора, к тому же безумно занятые и вследствие этого читающие книги невнимательно, заставляют автора переделывать книгу по нескольку раз, добывая из него гениальность, и когда книга лежит в портфеле издательства по году, не меньше... работать в этих условиях, Алексей Максимович, среднему писателю трудно, — гениальных же авторов все-таки мало, да и просто по усвоемости они не всем доступны... Я пытался достать в издательствах сведения о том, сколько времени идут книги по аппарату издательства, но мне этого, к сожалению, не удалось, так что я пишу по личным беседам с авторами и не могу подкрепить свои соображения цифрами, но Вам, полагаю, удастся собрать такие сведения. Все это я пишу опять-таки к подкреплению своего соображения о необходимости строгой организации и даже, если хотите, плана наших работ<sup>5</sup>.

Вот-с.

Теперь сообщу Вам два забавных случая из моей жизни. Уговор: не обобщать.

Звонок. Выхожу в переднюю. Человек в рваном пальто, с шапкой за пазухой, с громадным, набитым чем-то легким, мешком на спине, возбужденный и бледный, называет мне торопливо свою фамилию, а затем оглядывает лестницу и просит закрыть за ним дверь. Закрываю, но фамилии вспомнить не могу.

— Да как же не помните, товарищ Иванов, я вам месяца полтора назад стихи приносил...

С достойной моего почтенного корреспондента суровостью я сказал, что стихи помню, читал, но по-прежнему думаю, что они плохи. Тогда человек с мешком, не покидая передней и даже держась за ручку двери, сказал поспешно:

— Я склонен и даже подвержен алкоголю. Ну и дерусь с женой, известно! Ну, меня за драки с женой посадили осенью на два месяца... выхожу — а на моей жилплощади уже другой муж. Теперь я уже подрался по другой причине, и за эту причину дали мне два года высылки в пределах стокилометровой зоны от Москвы. Поступил в колхоз зоотехником.

Он указал на мешок, но я так и не понял, что у него там зоотехнического, в этом мешке, ибо разговор был весьма краток. Он торопливо говорил:

— В Москву мне появляться нельзя... пришлось удрать... ночей не спал. А на городском вокзале заметил меня инструктор, знакомый... за мной... я на трамвай... Боюсь, как бы не застал он меня у вас на квартире... неудобно, еще скажет: уголовный элемент принимает писатель... к тому же я выпивши... я вас задерживать не могу.

Он приблизился совсем близко к моему лицу и, сильно, видимо, страдая, спросил с мучительнейшей тоской:

— Скажите, товарищ Иванов, решительный совет: может быть, мне на прозу перейти?

Я пожал ему руку и ответил как мог решительно:

— Попробуйте.

Он сразу же ушел.

И второй случай.

В громадных сапогах, стезеной куртке и теплой кепке, одеянии весьма удобном для езды в моей зябкой машине, я вернулся с дачи. Я остановился возле книжного магазина. На прилавке выбрал несколько книжек по Арктике. Продащица не знала меня. Возвращаюсь с чеком, протягиваю его продавщице, а она его не видит, так как на нее орет какая-то мохнатая шапка:

— Да как же вы, в магазине, не знаете его адреса?

— Обратитесь в Союз писателей...

Шапка еще громче:

— Да как же не знать адреса Всеволода Иванова! В Союзе мне тоже не говорят.

Спрашиваю достаточно участливо:

— Зачем вам нужен его адрес, гражданин?

Он горячо заговорил:

— Приехал я из провинции, из Саратова... билеты-то как трудно добывать, пойми... а тут адреса не достанешь, бюрократы... Специально отпуск взял, так как написал поэму из личной жизни. Носил к Безыменскому и Вересаеву... Ничего, одобрили... Теперь надо к Всеволоду Иванову...

Признаюсь, мне было лестно это слышать. Вересаев, как-никак, — традиции. Безыменский — комсомол, а я, видимо, нечто среднее, однако рукописей у меня чудовищное количество, а объяснять достоинства, а тем более недостатки стихов я просто боюсь, поэтому я и сказал:

— Бросьте, Иванов очень тяжелый и неприятный автор...

— Да, я слышал, что он паршивый человечиска... (Так и сказал: человечиска). Но сказать по совести, мне его мнение даже и не нужно, а дело, видите ли, в том, что он, говорят, вхож к Горькому, и если надавить на Иванова, так он рукопись к Горькому передаст...

— Очень неприятный и даже сволочной парень, — сказал я, — этот Иванов.

Он посмотрел на меня внимательно. Моя горячность, видимо, удивила его, — к тому же я и выбранился не без горячности, — ибо совесть моя несколько не страдала, когда не удержишься и обругаешь собрата.

— А ты-то чего разоряешься? — спросил он.

— Дело в том, брат, что я сам ходил к Иванову с тем же, и ничего не вышло.

Я взял книги. Он не остановил меня, так как, должно быть, сочувствовал моим тяжелым воспоминаниям.

Я несколько дней ждал его с поэмой, но он не пришел. Жаль, что никто не дал ему моего адреса. Я бы смог поговорить о стихах без всякой боязни.

Сложная штука литература. Несколько дней назад окончательно испортились в моей машине аккумуляторы. В магазине их нет. Поехал в трест «ВАТО». Начальник треста, толстый и скучный дядя в гимнастерке, встретил меня ужасно лениво. Но когда я назвал ему свою фамилию, он оживился и даже встал.

— Как же это вы, товарищ Иванов, сами ездите за такими пустяками. Вы бы секретаря послали. Для писателей и Героев Советского Союза у нас нет отказа.

Писатель, как видите, стоит даже впереди Героя Советского Союза.

И в заключение, товарищ писатель, я сообщу Вам несколько соображений касательно Вашего письма ко мне, последнего, что по поводу моей пьесы «Двенадцать молодцов». Мне почудилось в нем, что Вы авторскую усталость мою неправильно истолковали... Это напрасно. Пьеса, как Вы и правильно заметили, требует «приспособления» для театра, да ведь и то сказать — в ней 6 печатных листов, а для театра надо — три. Кроить можно как угодно. В. Немирович хочет ее поставить в МХАТе<sup>6</sup>... придется, значит, мне над ней попытеть, ибо театры сейчас еще хуже редакторов книг придирчивы. Можно сомневаться, что у меня получится комедия; кажись, данных мало... как и для трагедии, впрочем. Не для утешения ли моего посоветовали Вы переделать пьесу в повесть с диалогами.

Ведь в «Семи братьях»<sup>7</sup> автор подражал эпосу (у нас, например, есть обрывки чудесных саг в диалогах в сочинениях Ч. Валиханова<sup>8</sup> «саги дикокаменных киргиз»), а у меня течение событий иное, и если кому подражать, то, по-моему, Стивенсону или А. Дюма. А об авторской усталости я пишу к тому, что когда я Вам написал сопроводительное письмо, то ужасно устал, но судьба моей пьесы тогда не огорчала меня, ибо она уже была принята МХАТом и не было никаких оснований для депрессии...

Вам не нравится, видимо, вторая и третья часть «Факира»<sup>9</sup>. Или, может быть, Вы прочли только вторую часть, тогда посылаю Вам и третью, которая Вам, так же как и вторая, не понравится. Тут уж, конечно, вина автора, что он не смог справиться со своей задачей, а задача его заключалась в том, чтобы показать полную bestолковщину в его «образовании» — как опыта, в смысле разума, так и в смысле чувств, — если разрешите разделить эти понятия для удобства... Это очень жаль, что не вышло. Должно быть, я перегрузил книгу материалом. Вчера я только получил перевод этой книги на английский язык, и там переводчик многое выкинул... Надо будет подумать обо всем этом при переиздании. Буду надеяться, что Вам понравится четвертая и пятая часть — там я покидаю разговоры от первого лица и начинаю писать об В. Иванове, лице, несомненно, собирательном, в третьем лице — и писать по-иному... впрочем, прочтете... рукопись будет готова к весне.

Сейчас я пишу повесть о современной Москве, об одном молодом изобретателе, «стахановце», как говорится в эти дни. Здесь соединены две биографии, которые, в сущности, очень трудно соединить. Несколько лет назад произошел странный случай, который был бы достоин, пожалуй, гения Гофмана: сын незаметной балерины из кордебалета оперетты, некогда ездившей с антрепренером в Пекин, имел монгольское лицо, — и в остальном жизнь его текла обычно, по-инженерски, а вдруг оказалось, что мамаша его согрешила в Пекине с китайским императором, и так как все сынки императора перемерли, кроме Пу И и этого молодого человека, то он оказался претендентом на престол... дальше идут психологические подробности, ужасно осложнившие его жизнь... Словом, прочтете повесть<sup>10</sup>, ибо в письме это может показаться малоубедительным и, пожалуй, пустяковым замыслом.

Извините длинное мое письмо.

Привет Вам и всем домашним.

*Всеволод Иванов.*

<sup>1</sup> «Одиночество» (1935) — первый роман Н. Е. Вирты.

<sup>2</sup> Д. М. Б р е м и н. Возвращение. Повесть. Воронежское областное книгоиздательство, 1935.

<sup>3</sup> «Люди пятилетки» — одно из первоначальных названий неосуществленного коллективного труда «Две пятилетки», посвященного двадцатилетию Советского Союза. А. М. Горький был инициатором и одним из организаторов этого издания. Вышел только один том «Творчество народов СССР» (изд. «Правды», 1937).

<sup>4</sup> «День мира» — сборник, созданный по инициативе А. М. Горького, вышел в 1937 году в издательстве «Журнально-газетное объединение» под редакцией М. Горького и Мих. Кольцова.

<sup>5</sup> В ответном письме от 10 января 1936 года Горький писал: «...по поводу Ваших указаний на отношение «Сов. писателя» к авторам я прошу собрать мне документальный материал. О тирании редакторов, а также о малограмотности оных — напишу статейку... «Не гениальная» литература, разумеется, нужна, — ведь в сущности-то она и есть та самая литература, которая, являясь широко и удобочитаемой, служит учителем читателя» (М. Горький. Собр. соч., т. 30, стр. 417).

<sup>6</sup> Пьеса Вс Иванова «12 мелодцов из табакерки» поставлена в МХАТе не была.

<sup>7</sup> См. примечание к письму № 33.

<sup>8</sup> В а л и х а н о в Чокан Чингисович (1835—1865) — казахский просветитель, историк, этнограф.

<sup>9</sup> В с. И в а н о в. Похождения факира. Часть первая и вторая. Часть третья «Советский писатель». М. 1935. Горький писал: «Факира» Вы в конце написали тоже очень жидковато и наспех. Не похвально, хороший мой друг» (М. Горький. Собр. соч., т. 30, стр. 405).

<sup>10</sup> Повесть в печати не появлялась.



# ЖИЖИЖИ ОЕ ОЬ ОЗ РЕЖИИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Анатолий Кузнецов.** Очевидцы рассказывают о Ленине.— **З. Крахмальникова.** Обвинение Андреса Лапетеуса.— **З. Файнбург.** Зачем нужны звезды.— **Е. Полякова.** Книга Михоэлса.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Р. Ковалев, С. Селяков, В. Ильин.** Выдающийся ученый-патриот.— **Е. Гнедин.** На Западе не без перемен.— **Л. Безыменский.** Когда журналист становится историком...

## Литература и искусство

### ОЧЕВИДЦЫ РАССКАЗЫВАЮТ О ЛЕНИНЕ

**Живой Ленин.** Воспоминания писателей о В. И. Ленине. «Художественная литература». М. 1965. 350 стр.

Эту книгу стоит развернуть — уже спокойно не отложишь. Речь идет о самом большом человеке эпохи. Рассказывают очевидцы.

Кажется, мы знаем Ленина. Читаем его труды, видим в документальных кадрах кино, каждый год пополняется Лениниана в литературе и искусстве. Но очевидно и то, что Ленин был личностью такой всеобъемлющей и многогранной, что сколько бы мы о нем ни узнавали, оказываемся, он остается еще и еще в чем-то неизнанным...

Была рано наступившая зима в голодной и темной Москве, разыгралась вьюга. У двух женщин — билеты в Большой зал Консерватории, и они колебались: идти или не идти. Пошли, держась за руки, против ветра с мокрым снегом. У Дома Союзов — деревянная статуя красноармейца с нанизанными на штык генералами: одержаны новые победы над Деникиным и Юденичем. К подъезду Консерватории ведет дорожка, протоптанная в снегу. Гардероб не работает, люди рассаживаются одетые, но зал почти полон. Оркестранты в шубах и шапках, дирижер

Кусевицкий дышит на окоченевшие руки, у него под фраком — свитер.

«Билеты наши были в партер в пятый или шестой ряд. Прямо передо мной место было свободно. Кресло рядом с этим свободным местом занимал человек в шапке-ушанке, отделанной черным мехом. Он поднял воротник пальто и сидел, опустив плечи и сжавшись, — то ли устал, то ли старался согреться».

«Я запахла поглубже пальто и приготовилась слушать, но мама осторожно догрозилась до меня. Одними глазами она показала мне на того человека, который сидел впереди, слева от нас. Теперь он снял шапку и опустил воротник. Я увидела, что это Владимир Ильич.

Мне довелось много раз видеть Владимира Ильича — выступающим на трибуне, председательствующим на заседании, у него дома. И всегда он бывал в действии, в движении. Сейчас, впервые, я видела его в минуту сосредоточенного раздумья, когда ему казалось, что он был наедине с самим собою.

Слушая и не слушая увертюру «Кориолан», я неприметно, боковым зрением, наблюдала за Владимиром Ильичем. Он сидел не шелохнувшись, поглощенный музыкой».

Это из «Черных сухарей» Е. Драбкиной. Меня как-то особенно потрясла необычность этого облика Ленина. Автору удалось подсмотреть его в редкую минуту, «когда ему казалось, что он был наедине с самим собою». Мы знаем, что Ленин любил «Аппассионату», что он говорил Горькому, как он любит слушать музыку, но не может позволять себе это слишком часто: «действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей...»

И вот идет война с Деникиным и Юденичем, страна в огне и разрухе. Зимний вечер с вьюгой, когда, как говорится, добрый хозяин собаку на улицу не выгонит. Оторвавшись от дел, усталый от хронического перенапряжения человек в шубе и черной шапке-ушанке по узкой протоптанной тропке спешит на концерт. Сжавшись от холода, Председатель Совета Народных Комиссаров первого в мире государства рабочих и крестьян слушает «Кориолана». О чем он думал тогда? Он, позволивший себе, кажется, только однажды выдать глубоко затаенную мечту о другом, невероятном мире, борьбе за который он обдуманно и естественно принес себя в жертву: «Счастливое время, когда политики будет меньше».

Это из воспоминания Е. Зозули. Может, потому, что это было на квартире, дома, среди своих, Ленин позволил себе пожаловаться:

«— Работа нас дергает необыкновенно,— говорит он с полуулыбкой.

Не менее естественно, что он разрешает себе быть и интимно откровенным.

— Счастливое время, когда политики будет меньше...

Не странны ли в устах мирового политика — мирового не только по газетной трескотне, а по великому и реальному делу — эпитет «счастливое» в применении к времени, когда сократится политика?..

Кажется странным, а на самом деле это так просто у него, так искренне и убедительно».

И вот — другой Ленин. В первомайский день он бежит по Красной площади, переходя с трибуны на трибуну в разных ее концах, чтобы его могли услышать все (микрофонов-то еще нет!), задерживается у Крем-

левской стены, чтобы посадить дерево, поднимается на очередную трибуну и, подавшись вперед, бросает точные, ясные мысли, словно вбивает гвозди (это сравнение, не сговариваясь, приводят разные авторы), выбрасывает измазанную землей руку. Знаменитый жест, увековеченный в памятниках и на картинах — движение всего его существа. Бывший вместе с Лениным на одном из заседаний II Интернационала, И. Попов иронически рассказывает, словно в противовес, о рисовке Вандервельде, который тайком отстегивал манжету, чтобы она в момент «увлеченного» выброса руки летела в публику.

Отмечая необычайную естественность Ленина во всем, А. В. Луначарский приводит интереснейшее рассуждение:

«Но так как действительность иногда ставила его на гигантскую высоту, сосредоточенную в одном каком-нибудь моменте, то подчас получалась невольно для него монументальная поза. Две из них запечатлены: поза с протянутой вперед рукой — настоящая поза трибуны; другая — это когда Владимир Ильич, вынужденный говорить очень громко перед большой толпой, схватился мощно двумя руками за кафедру, весь нагнулся в одну сторону...»

Обе эти позы взяты из действительности, но они все же относятся более к легенде. Это не обычный Ильич, какого мы знали, это Ильич, которого мгновением история выхватила на сверхчеловеческую высоту, Ильич, непосредственно выполняющий функции вождя перед лицом громадной толпы».

Помимо таких широко известных вещей, как, скажем, очерк А. М. Горького о Ленине, в книге собраны и материалы, публикуемые впервые, открывающие такие черты Ильича, которые еще неизвестны, порой неожиданны.

Например, сколько было покушений на Ленина — два, три, больше? Неизвестно, но, кажется, больше, чем мы считали. И. Вольнов с точностью свидетельского показания сообщает потрясающий факт, когда, после разгона Учредительного собрания, в обществе его членов явился какой-то бледный, сам не свой солдат-эсер Беденький и рассказал, что он только что от Ленина. С двумя гранатами он был послан эсерами убить Ленина. Под видом представителя одной из воинских частей, посланной за советом: кому присоединяться? — он прошел в Смольный прямо к Ленину, а тот его усадил и

начал сейчас же объяснять, что нужно присоединиться к большевикам Солдат держал руку на гранате... и не взорвал ее. Ленин его убедил!

А как Ленин читал! Помните знаменитый эпизод из воспоминаний А. М. Горького о том, как Ленин в разгаре неотложных дел собрался перечитать сцену охоты в «Войне и мире»? Но вот чрезвычайно интересное свидетельство Е. Успенвич:

«Читал Владимир Ильич чрезвычайно много, можно бы даже сказать, неправдоподобно много, если не знать одну особенность чтения Ленина. Когда я впервые увидела, как читает Владимир Ильич, мне показалось, что он просто перелистывает книгу, поверхностно просматривая ее содержание. Но потом он заговорил об этой книге, и оказалось, что он досконально освоил, прямо-таки прошгудировал прочитанное. Мне это показалось чудом. Но впоследствии я узнала, что Ильичу свойственно так называемое «партитурное чтение»: в то время как обычный читатель охватывает зрением одну-две строки, в лучшем случае целое предложение, при партитурном чтении в поле зрения читающего попадает сразу полстраницы, а то и страница.

Впоследствии мне случилось, хотя и очень редко, встречать людей, наделенных такой особенностью зрения. У них уже через час-два чтения обычно начиналась невыносимая головная боль. Мозг не в состоянии был переработать того, что передавало ему зрение. Нужен был мощный воспринимающий аппарат Ильича, чтобы сразу усваивать и перерабатывать таким образом прочитанное».

А И. Попов рассказывает, как Ленин умел полностью отключаться на час-другой отдыха и после этого чувствовать себя вполне бодрым, готовым для новой работы.

«Хотите, я вас этому обучу? Просыпаться ровно когда надо. Впрочем, проснуться не так трудно, как заснуть по собственному желанию и на самое короткое время. Для этого надо уметь выключать работу сознания. Мне это иногда удается. Попробуйте. Это очень увеличивает работоспособность».

Лично мне вот такие конкретные детали помогают понять облик Ленина гораздо больше, чем что-либо другое. И в книге таких деталей много, потому что писательские глаза замечали то, что иным, может быть, казалось незначительным, неважным, но живой человек складывается именно из

всего — и кажущегося значительным, и кажущегося незначительным. Из воспоминаний писателей, общавшихся с Лениным, предстает зримый, живой Ильич — так, словно ты сам только что говорил с ним.

Очень любопытные подробности приведены в книге о знаменитом Лондонском съезде, проходившем в тесной церквушке. Сначала В. Десницкий рассказывает, как они с Лениным искали квартиру для приезжающего Горького и как Ленин беспокоился о простынях, осматривал постели в гостиницах для делегатов: «Может быть, они сырое белье положили?» Его особенно поразило то, что в одной из окраинных гостиниц мы даже клопов в постели усмотрели. «Клопы? В культурнейшей Англии?» — недоумевал — и даже как бы с некоторым злорадством — Владимир Ильич.

В. И. Ленин неоднократно говорил мне: «Не нужно, чтобы Горький все время торчал на съезде. Устанет он, не выдержит нашей дискуссии!.. Пусть побольше в кулуарах побудет, с рабочими поближе познакомится. Ему полезно это. И воздух в зале скверный...»

А воздух в церкви иногда был действительно тяжелый. На одном из заседаний что-то случилось неладное с трубами газового освещения. Воздух был отравлен, два-три делегата — почему-то все меньшевики — даже потеряли сознание и были извлечены из зала. А заседание все же продолжалось. И Горький искренне недоумевал: «Дохнуг, дьяволы, а спорят!...»

В. Десницкий сумел увидеть много подробностей, которые открывают Ильича с самых неожиданных сторон. Вот в Берлине они пошли в театр. Представление — с батальоном девиц, по-нынешнему «гёрлс». Смотрел-смотрел Владимир Ильич, как они тычут зонтиками и поднимают ноги выше головы, да и говорит: «Казармой прусской пахнет: русские цари это дело куда лучше понимают, да и денег мужицких не жалеют... Дворянская монархия щедрее на искусство, чем буржуазная...» Каково сказано!

Или вот совсем уже забавный и трогательный эпизод: Ильича учили играть... в карты!

«Он весело потирал руки, шутил, награждая Алексея Максимовича и его партнера взятками, ворчал при неудаче на своего партнера, а Алексей Максимович, относящийся весьма серьезно ко всякой игре, даже в под-

кидные дураки, с комической деловитостью отмалчивался».

Очень много уже написано о скромности Ленина, о его неустанной заботе о людях, и все равно читаешь об этом всякий раз с новым волнением. Интересна еще одна подробность: многие авторы воспоминаний в один голос утверждают, что Ленин — человек небольшого роста, коренастый, с широкой грудью и короткой шеей — при первом взгляде казался им гигантом. Читаешь воспоминания А. Исбаха — и словно вместе с ним переживаешь это ощущение, а потом, оказавшись рядом с Лениным и услышав впервые — подумать только, впервые! — знаменитые слова, которые станут историческими, заражаешься восторгом и счастьем, с которым автор прибежал домой и сказал: «Мама, я слышал Ленина».

Со страниц сборника встает перед нами человек, который повел за собой миллионы. Не потому ли он умел открывать миллионам правду и убеждать их, что ничто человеческое не было ему чуждо, что, помимо своей исключительной одаренности и беспредельного героизма, он был обыкновенным и естественным в человеческой жизни?

Когда А. Богданов прочел Ленину свое стихотворение о том, что революционный боец не имеет права на личное счастье, Ленин нашел, что в нем нет марксистского подхода к жизни: «Марксизм не отрицает, а, наоборот, утверждает здоровую радость жизни, даваемую природой, любовью и т. д.». Но есть высшее счастье человека, борющегося за счастье всех, это самое большое счастье дано было Ленину.

Об этом хорошо сказано у В. Шкловского: «Ленин надел пиджак и начал говорить о задачах революции. Говорил он спокойно,

воодушевляясь. Казалось, большая птица летит по ветру, как будто управляя этим ветром...»

Я видел: этот человек счастлив. Он знал, чего хотел, знал, что будет. День революции, который так долго ожидался, пришел. Люди, которые делают революцию, находятся перед Лениным...

Он был человеком на работе, я повторяю — птицей в воздухе. Это был очень счастливый и далеко видящий человек. Он был счастлив не сегодняшним днем, а завтрашним тысячелетием».

Сборник очень богат именами. Здесь приводятся интереснейшие воспоминания И. Эренбурга, Д. Бедного, А. Безыменского, Ф. Панферова, А. Серафимовича, Л. Сейфуллиной, В. Брюсова, В. Воровского, Л. Никулина, К. Федина, А. Жарова, К. Паустовского, Д. Фурманова. Невозможно все перечислить и хоть в малой доле пересказать. Ясно одно: мысль объединить воспоминания писателей в одну книгу была весьма удачной. И книгу эту надо читать.

Читать нам, живущим и продолжающим дело Ильича в те самые времена, о которых он уверенно сказал, сажая деревья у Кремлевской стены:

«До сих пор, как о сказке, говорили о том, что увидят дети наши, но теперь, товарищи, вы ясно видите, что заложенное нами здание социалистического общества — не утопия. Еще усерднее будут строить это здание наши дети... Мы не увидим этого будущего, как не увидим расцвета деревьев, которые сегодня посажены; но это время увидят наши дети, его увидят те, кто переживает сегодня пору юности...»

Анатолий КУЗНЕЦОВ.

★

## ОБВИНЕНИЕ АНДРЕСА ЛАПЕТЕУСА

Пауль Куусберг. Происшествие с Андресом Лапетеусом. Роман. Авторизованный перевод с эстонского И. Иснонова. «Дружба народов», № 4, 1965.

Пауль Куусберг. Происшествие с Андресом Лапетеусом. Роман. «Советский писатель». М. 1965. 246 стр.

Роман известного эстонского прозаика П. Куусберга «Происшествие с Андресом Лапетеусом» начинается как детектив. Произошло невероятное событие. Убийство. Еще неясно, преднамеренно ли оно совершено или это трагическая случайность. Но тем не менее Андрес Лапетеус, уважаемый всеми директор крупного комбината, ночью

в пьяном виде налетел в своей «волге» на машину марки «москвич», которой управлял его лучший друг — Виктор Хаавик. В машине с Хаавиком оказалась жена Лапетеуса — Резт.

Андреса Лапетеуса и его жену увезли на «скорой помощи» в больницу. Оба без сознания. Состояние Лапетеуса почти без-

надежно. Водитель «москвича» Хаавик убит на месте. Таковы данные протокола следствия.

Выясняется, что за несколько часов до катастрофы к Лапетеусу в гости пришли старые фронтовые друзья. Не было только хозяйки дома и Хаавика — единственного из всех однополчан, с которым Андрес сохранил дружеские связи.

И теперь, восстанавливая в деталях все сказанное в тот вечер, фронтовые товарищи Лапетеуса вспоминают, что он был «не в себе». Прежде всего им показалось странным то, что Лапетеус пригласил их. В последние годы жизнь развела их в разные стороны. И потому встреча была холодной и напряженной: «не помогли водка и коньяк, которых на столе было более чем достаточно». А через несколько часов после того, как все разошлись, произошла катастрофа.

Что же это? Обманутый муж, не вынес позора, намеренно убил своего лучшего друга, «преступившего заповедь»? И, зная, что предстоит ему в эту ночь, созвал к себе своих товарищей? И поэтому был «не в себе»?

Эти вопросы естественно возникают в начале романа. Они мучают майора Роогаса, работника государственной автоинспекции, бывшего в числе приглашенных в тот самый вечер.

Итак, детективное начало. Острый сюжет — адюльтер, обманутый муж, убийство. Следствию и суду предстоит выяснить, намеренно ли совершил преступление Лапетеус, и, если он останется в живых, определить меру наказания.

Пауль Куусберг так и оставляет выясненные обстоятельства и подробностей суду. По существу его не интересует следствие по делу о наезде «волги» ЭСБ 73-98 на «москвич» ЭСБ 91-02. Автор ведет другое следствие. Автомобильная катастрофа — только одно из внешних обстоятельств, дающее толчок к исследованию характера Лапетеуса как социального явления.

Три времени, три плоскости пересекаются в романе. Настоящее — Лапетеус в больнице, придя в сознание, размышляет над тем, что произошло. Прошлое — Лапетеус, его товарищи и автор вспоминают войну и возвращение с войны. И наконец третий период, самый важный для

формирования характера героя, — пятидесятые годы, атмосфера культа личности в послевоенной Эстонии.

Своеобразная мозаика из эпизодов, происходящих в разное время, но тесно связанных между собой общей нитью — воспоминаниями Лапетеуса и его товарищей, и образует сюжет романа.

Лапетеус — новый герой в эстонской литературе. До сих пор эстонская проза весьма робко обращалась к острым современным проблемам. Замысел романа серьезен и значителен: автор вскрывает причины возникновения приспособленчества, но не грубого, не циничного, а приспособленчества «поневоле», так сказать в силу обстоятельств.

В начале своего пути герой ничем не примечателен. Он так же, как и многие его соотечественники, воевал против фашистов в эстонском национальном корпусе и был ранен в сражении под Великими Луками. Вместе со своими фронтовыми друзьями возвращается он в послевоенный Таллин. Их шестеро — бывшая медсестра Хельви Каартна и пятеро мужчин. У них всех пока общая судьба, нет ни определенной специальности, ни точного знания того, чем они будут заниматься завтра. Но это не омрачает их праздничного мироощущения.

П. Куусберг сразу же «выделяет» Лапетеуса из шестерки фронтовиков. Все они говорят о том, какая работа их ждет в Таллине. И только Лапетеус напряженно думает о другом: его волнуют отношения с Хельви. Все военные годы Хельви фактически была женой Лапетеуса. Теперь же он решает, что ему надо с ней расстаться. Но Лапетеус думает и о том, «что он не должен причинить Хельви боль. Не то он будет подлецом». Он твердо не знает, почему хочет порвать с Хельви: то ли он разлюбил ее, то ли считает неловким жениться на женщине, с которой жил на фронте. К таким женщинам вроде бы относятся предубежденно, и вряд ли стоит с самого начала портить свою репутацию. Но эти соображения Лапетеус пока еще не формулирует четко, он еще не позволяет себе так грубо и прямолинейно думать о близком человеке. И все же Лапетеус жесток по отношению к Хельви: они расстанутся на вокзале и обещание, данное им самому себе, во что бы то ни стало объясниться с Хельви останется невыполненным. В этом

поступке героя, казалось бы, еще нет ничего предосудительного,— может быть, он и правда разлюбил Хельви, бывает ведь и так; они расстались, не выяснив отношений, что ж поделаться? Однако здесь автор уже отмечает некую вялость в характере Лапетеуса и в то же время умение уходить от решения неприятных задач, умение «обороняться». Позднее Лапетеус в совершенстве научится «подавлять свои мысли». Пока он только старается не размышлять долго о вещах, способных огорчить его.

П. Куусберг пишет психологический портрет Лапетеуса, но в романе нет так называемого «потока сознания» героя, нет странненьких внутренних монологов.

Роман динамичен, писателю важно рассказать о событиях, в которых достаточно определенно проявляется Лапетеус. П. Куусберг удачно избегает описательности именно за счет того, что все герои романа постоянно участвуют в создании образа Лапетеуса. Вспоминая об одном и том же, и Хельви, и Роогас, и Паювийдик «высвечивают» каждый раз что-то новое в характере Лапетеуса. Из этих «частных» отношений к одним и тем же явлениям и создается общая картина.

В Лапетеусе удивительно сочетаются душевная вялость с настойчивостью и трудоспособностью. «Он мог бы выполнять свои обязанности со значительно меньшей тратой энергии. Его предшественник почти все время сидел в министерстве и тоже справлялся». Но Лапетеус не бережет себя. Он работает изо всех сил и одновременно учится. Лапетеус не хочет, «чтобы его столкнули с мчащегося поезда в канаву».

Рассказывая, как умеет работать его герой, Куусберг подчеркивает, что Лапетеус не честолюбец, не карьерист в чистом виде. Скорее он просто человек без твердой жизненной цели. Более того, он и не задумывается над тем, что такое жизненная цель. Ему некогда об этом думать, да и потребности такой не возникает. В характере Лапетеуса есть знаменательная черта: он восприимчив, на редкость восприимчив и подвержен влиянию. Ведь даже решившись на разрыв с Хельви, он порой говорил себе и такое: «Если Хельви обязательно хочет, если Хельви иначе не представляет себе жизни, тогда он женится на ней». Но Хельви была слишком деликатна

и чутка, она не умела и не хотела пользоваться вялостью Лапетеуса. Впоследствии ею прекрасно воспользуется Реэт и мгновенно женит Лапетеуса на себе...

Когда-то, еще в буржуазной Эстонии, после окончания школы Лапетеус мечтал о работе «с твердым жалованьем». «Он ничего не имел против карьеры банковского чиновника, однако выше первой ступеньки так и не поднялся». Торгаша или лавочника из него не получилось. Он попробовал быть лесорубом, и ему «работа топором и пилой доставляла порой даже удовольствие. В канцелярии лесничества ему понравилось еще больше».

И сейчас, «когда под его началом находились все леса Эстонии, он не был уверен, что его призвание именно... лесная промышленность. Предложи ему сейчас в другой области примерно такое же место, едва ли он очень-то упирался бы. А при большей зарплате согласился бы сразу». «Главное, чтобы человек там, куда его поставят, ворочал во всю силу», все остальное — слова,— так думает Лапетеус.

Откуда эта «принципиальная» неразборчивость, эти службистские наклонности, покорность обстоятельствам? От посредственности натуры, от ясного ощущения своего «потолка» или от равнодушия ко всему, в том числе и к собственной судьбе? Ведь даже мысли о высокой зарплате не так уж крепко держатся в голове Лапетеуса. Нет, он не стяжатель, он честно зарабатывает свое жалованье.

Внимательно всматриваясь в Лапетеуса, вместе с ним вспоминая все существенное в его жизни, писатель пытается понять происхождение этой неразборчивости, истоки равнодушия ко всему.

Родившийся в буржуазной Эстонии и воспитанный старой чиновничьей школой, он унаследовал определенное отношение к жизни. Человек должен обеспечить себя, и если для этого надо грудиться с утра до вечера — все равно где и все равно на какого хозяина,— значит, надо трудиться.

Вот это «все равно где», «все равно на какого хозяина» он впитал в себя еще в детстве. Потом война с фашизмом подняла его, очистила, вызвала к жизни лучшее из того, что было в нем, — чувство ответственности, товарищества. Не зря он сам считал, что военные годы — «самые содержательные в его жизни».

И вот теперь герой П. Куусберга попадает в иные обстоятельства, живет в другом обществе. Он не банковский чиновник. Нет, он коммунист, ему поручают ответственную работу. Но умение «подлаживаться», воспитанное в нем когда-то, неожиданно помогает ему и в этих новых условиях. При его восприимчивости он быстро понимает, чего от него хотят, и приспосабливается к новым требованиям.

И происходит вещь парадоксальная — Лапетеус и учится, и «ворочает во всю силу», но это не обогащает его, а наоборот, опустошает. Он не работает, а служит, он стремится понять конъюнктуру и следовать ей. К тому же у него есть примеры для подражания. И прежде всего Юрвен — секретарь райкома.

Юрвен — хозяин Лапетеуса. Именно так воспринимает его с самого начала Андрес. Он еще не знает, что Юрвен сам ощущает себя одновременно не только хозяином, но и слугой. К сожалению, его образ слишком прямолинеен, плакатын, Юрвен — голое олицетворение идеологии культа личности, как бы «сгусток» ее пороков. Он нужен автору лишь для того, чтобы символизировать время, формирующее Лапетеуса. Роль его — воспитывать себе подобных, а методы и задачи весьма примитивны: Юрвен собирает информацию о людях, которые в его глазах делятся всего на две категории — с чистой анкетой и с запятнанной. «Пятна», естественно, обнаруживаются Юрвеном легко. «Советскую молодежь должны воспитывать чистые, без каких-либо пятен люди, — говорит Юрвен. — Если вам угодно, то хотя бы из профилактических соображений мы должны закрыть двери учебных заведений перед роогасами, то есть перед людьми, пропитанными старой идеологией». А Роогас, в прошлом кадровый военный, самоотверженно перешел на сторону народа, честно и смело провоевал всю войну.

Что же Лапетеус? Протестует ли он, когда порочат фронтowego товарища, выбрасывают его с работы? Старается ли помочь установить истину, когда политрука Пыдруса, рекомендовавшего его в партию, объявляют «пособником врагов народа»? Да, Лапетеус сначала, казалось бы, пытается помочь Роогасу, берет его на работу, пробует он словно бы и защитить Пыдруса.

Но защищает своих друзей Лапетеус

слишком робко. Нет, он, конечно, не подлец, он просто винтик, песчинка. Но это, как ни странно, не мучает его, напротив, даже как-то успокаивает.

Последовательно и настойчиво писатель исследует сложный процесс формирования рабской психологии в Лапетеусе. Да, сначала его герой еще защищал своих друзей, хотя и вяло, нерешительно. Но постепенно он черствее, и уже через два года «сочувственное отношение Хельви к Роогасу вызывало у Лапетеуса досаду». И ему уже не стыдно повторять слова Юрвена о Роогасе: «Воспитанник буржуазной военной школы». А когда позже в исполком приходит один из бывших товарищей, Лапетеус уже боится, что от него потребуют помощи. «Роогас, потом Пыдрус, теперь этот — разве он может всех защитить, всем помочь? А кто за него заступится?»

Автор, обвиняя Лапетеуса, прежде всего обвиняет обстоятельства, сформировавшие такой характер. Лапетеуса создает Юрвен, хотя они и разные люди. Объединяет их равнодушие. Только у Юрвена оно воинствующее, а у Лапетеуса «поневоле». П. Куусберг настаивает все время на том, что равнодушие — это преступление против нравственности. И в самой сильной сцене романа — сцене собрания — это обвинение героя в безнравственности звучит особенно отчетливо.

Пыдруса, бывшего на фронте политруком, одного из старых эстонских коммунистов, по требованию чересчур бдительного Юрвена изгоняют с собрания, блокнот с его записями требуют в президиум. Позорная сцена. Только несколько рук поднимается против того, чтобы Пыдрус покинул собрание актива. Руки Лапетеуса среди них нет, хотя он хорошо помнит, что «Пыдрус был одним из тех, кто рекомендовал его в партию» («Лапетеус подавил эту мысль. Как бы защищаясь от всего, что шаршало душу. Так он привык вести себя»). Не поднял руки Лапетеус и тогда, когда попросили проголосовать воздержавшихся («Он сказал себе, что, до тех пор пока у него нет полной ясности в отношении Пыдруса, он не имеет права поступать иначе»). Но он никогда не забудет поднятую протестующую руку Хельви... Лапетеус будет вспоминать об этой руке в больнице, на грани жизни и смерти.

Но и в финале романа, в этой же больнице, Лапетеус, перед которым предстала

вся его жизнь, все-таки требует пощады. Он защищает себя. «Я всегда делал то, что от меня требовали... Я делал то, что считалось правильным, что от меня ждали... Формировал себя согласно требованиям культа личности...» И это очень характерно. Лапетеусы согласны быть даже жертвой, так как не могут согласиться с тем, что жили «пустой и вздорной жизнью крохотного жучка, жизнью приспособленца... который... мудро держался в стороне от всего, что могло потревожить его покой».

Роман П. Куусберга написан как обвинительный акт. Все эпизоды, все двадцать глав «работают» на основную мысль автора.

Такая определенность замысла продиктовала роману и особенности композиции, характер отбора событий. Каждая глава — этап в эволюции героя. В то же время публицистическая обнаженность мысли подменяет порой психологическое художественное исследование характеров, и тогда

герои становятся только «свидетелями обвинения», выполняют служебные функции. Так поверхностно раскрываются не только Юрвен, но и Хаавик — «принципиальный», циничный карьерист, и жена Лапетеуса Реез — хищница, стяжательница. Они призваны, к сожалению, лишь для того, чтобы олицетворять «злую силу». В ряде случаев психологические характеристики героев — если судить по русскому тексту — бедны, суховаты.

Тем не менее «Происшествие с Андресом Лапетеусом» — значительное явление эстонской литературы, бесспорная удача писателя. Недавно роман был удостоен Республиканской премии. Нравственная позиция писателя, непримиримость к равнодушию и приспособленчеству, остро прозвучавшие в романе, принесли автору заслуженный успех у читателей Эстонии. Несомненно, и русский читатель отнесется к роману П. Куусберга с тем же интересом.

3. КРАХМАЛЬНИКОВА.



## ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЗВЕЗДЫ

Станислав Лем. Возвращение со звезд. Роман. Перевели с польского Е. Вайсброт и Р. Нудельман. «Молодая гвардия», №№ 3, 4, 5, 1965.

Извечной иллюзией мещанина, обывателя было и есть представление, что для вступления в «райскую» жизнь достаточно лишь разрешить все противоречия современности.

Конечно, коммунизм разрешит проблему экономического изобилия и вместе с ней много других, тесно с ней связанных. Но современному обывателю коммунизм представляется вообще райской идиллией покоя, абсолютной социальной гармонией, царством неподвижности на кисельных берегах молочных рек. А это уже вздор, иллюзия. Ибо достижение изобилия — это не только цель, но в такой же мере условие для решения главных задач коммунистического общества.

Достижение изобилия не может прекратить процесс социального развития, движения, изменения. И если отпадут заботы о хлебе насущном, плохо ли, хорошо ли долгие тысячелетия истории толкавшие человечество вперед от животного к человеческому, то заполнить освободившееся место в людских помыслах и устремлениях должно

что-то более высокое и не менее действенное. Остановка развития — если бы она была возможна — означала бы лишь пресыщение, застой и гибель.

О таком предполагаемом «если» и рассказывает нам новый (новый для нашего массового читателя, ибо в Польше он вышел в свет в 1961 году) роман Станислава Лема «Возвращение со звезд».

«Возвращение со звезд» принадлежит к тому роду фантастических романов, которые обычно называют «романом-предостережением». Изображаемый в них мир будущего — в отличие от обычных научно-фантастических и социальных утопий — являяет собой, так сказать, утопию со знаком минус, призванную развенчать те или иные угрожающие тенденции современного общественного развития, те или иные неверные, опасные представления о будущем. Позитивная программа писателя здесь утверждается «от противного».

Итак, Станислав Лем рисует условный, гипотетический мир — каким он сложился бы, восторжествуй сегодня в жизни мещан-



ская потребительская идеология с ее корыстными, эгоистическими интересами.

В этом мире изобилия, покоренной природы, побежденных болезней корчится в предсмертном пароксизме пресыщения такое благополучное с виду, такое могущественное и такое беспомощное человечество, идущее к медленной, но верной гибели.

В этом мире, для того чтобы не было преступников, не было убийц, каждому новорожденному вливают в кровь какой-то состав, подавляющий в человеке врожденную агрессивность: «бетризация» — так называют эту операцию в романе С. Лем. Однако, подавляя биологическую агрессивность, «бетризация» подавляет и неотделимые от нее жизненную активность, способность к самопожертвованию, способность рисковать своей собственной жизнью. Вместо сложного, трудного и долгого воспитания в человеке сознательного, основанного на высшем разуме, самоконтроля, сознательного соблюдения норм общежития, решили сделать проще, но такая «простота» обернулась трагедией...

Материальные стимулы сняло экономическое изобилие, а духовные не смогли вырасти, ибо рост их насильственно обрубил «бетризация». Нормальная физиология естественных отравлений заменила собой высокие идеи и сильные эмоции, потребление материальных благ, элементарное наслаждение материальным и физическим вместо того, чтобы быть у слов нем жизни, стало ее смыслом.

Но перед нами роман, а не социологический трактат. И по кругам созданного фантазией Лема мира, такого внешне блестящего и по существу такого трагического, ведет нас шаг за шагом один из двух возвратившихся на Землю (после ста двадцати земных лет) пилотов «Прометея» Эл Брегг.

Эл Брегг — физически и нравственно здоровый, много переживший и много узнавший человек, типичный сын своей страны, своей социальной среды и своего (то есть почти нашего) времени. Его вообще-то не особенно влекло раньше к теоретизированию в социологии: он оценивает мир, в который попал, отнюдь не меркой каких-то социальных теорий, которые мог бы усвоить в его «первой» жизни, а попросту тем, как ему, его другу Олафу и всем им подобным живется в этом новом мире. Он — наш современник — логикой пережитого приходит

к пониманию того, что люди не могут по настоящему оставаться людьми без глубокого смысла жизни, без высокой цели, без эмоционального накала.

...Брегг бродит по космопорту, по городу, взглядывается в людей, в окружающие его новые предметы. Потом — первый человек этого мира, девушка Наис. Наис кажется Бреггу непонятой, потому что она... до мелочей знакома ему, а он ищет чего-то более существенно нового, чем покроя ее одежды, наименование ее профессии и несколько новых жаргонных словечек, чем какая-то непонятная ему, кажущаяся пока столь несущественной «бетризация». Наис — олицетворение незнакомого мира, самый характерный его типаж, но во всем, кроме «бетризации», это та самая «одноэтажная Америка» человеческого духа, которую Эл Брегг, как ему казалось, оставил почти полтора века тому назад.

Утро в отеле «Алькарон» начинается новый круг познания. Бытовые детали «нового» мира, беседа с доктором Жужфонном, рассказывающим Бреггу, что в этом мире действительно нового, вечер и ночь с Эн Эннис, самоуверенной красавицей, артисткой «реала» — новой разновидности кино, самой завидной и популярной ныне сферы деятельности.

Брегг уже понял, что «бетризация» — это не просто еще одно какое-то новое свойство человека, приобретенное за сто двадцать лет его отсутствия на Земле. Это стена между ним самим и той жизнью, в которую он попал. Это не просто незнакомый мир — это чужой и чуждый ему и его мировоззрению мир...

Чуждый — потому что Эл Брегг — настоящий человек, а не бутафория человека; чуждый — потому что в галактической пустоте долгие десятилетия он шел вперед от предрассудков своего времени к более высокой человечности, а «бетризованный» мир за это же время проделал путь в сто двадцать лет назад, в расчеловечивание. Все технические чудеса «нового» мира сами по себе стоят много меньше, чем когда-то стоил простой каменный топор: топор все-таки вел человечество вперед.

Брегг пытается занять глухую оборону. Он поселяется в укромном уголке на побережье Тихого океана, покупает старый автомобиль, отказывается от вершины сегодняшнего положения — контракта в «реале», отказывается от близости с Эн Эннис. Он

хочет уйти, замкнуться хоть на какое-то время в себе, хочет попытаться, разгребая книжную мудрость, осмыслить тот мир, в который занес его парадокс времени. Однако живое может уйти из жизни, но не может, пока оно живо, уйти от жизни.

Следующий круг — и кульминация — на берегу Тихого океана. Новое до сих пор было еще в известном смысле внешним для Эла Брегга. Теперь оно проникло внутрь, взорвало его иллюзорную самооборону. Драматизм ситуации здесь: не в том, что сложился пресловутый треугольник — Эл Брегг, Эри и ее муж, не в том, что ей двадцать, а ему не то сорок, не то сто пятьдесят, и даже не столько в том, что она «бетризована», а он нет. Драматизм в том, что неогвратно столкнулись две противоположные системы человеческих ценностей, две морали: искусственно «привитая», насильственно дарованная, запрограммированная — и выстраданная, сознательная, добровольная; два чувства: «теплое» и безудержное; две воли: слабая, безотчетно податливая, уходящая от всякого напряжения, усилия, риска, — и несокрушимая, каменная от пережитого, способная вести бесстрастно на любые трудности, любые испытания, даже на смерть.

Эл добивается от Эри не просто близости — ему нужна любовь, полнота ответного чувства, а не покорность. Он делает все, чтобы пробудить ее любовь, а она попросту не понимает, чего от нее хотят, чего ждут, что испытывают.

Только постепенно сила чувства Эла пробуждает и в Эри ответное сильное чувство. Но тогда и в ней сквозь «бетризацию» пробивается истинно человеческое, тогда она оказывается способной на риск и на самопожертвование ради истинной любви. Пусть пока это возможно для нее только в самом крайнем, самом безвыходном положении, но главное то, что человеческое в ней не умерло окончательно, смогло проснуться!

«Бетризованный» человек «нового» мира дрожит от страха перед Бреггом и его товарищами как перед возможными убийцами. Страх вызывают не какие-то конкретные поступки, а сама по себе лишь потенциальная возможность такого поступка, сама мысль, что «небетризованный» человек может убить. Даже Эри сначала боится Эла Брегга, хотя боится и не за себя, а за своего бывшего мужа Сеоча Марджера. Однако сам «бетризованный» Марджер,

инженер-кибернетик, без каких-либо эмоций, не задумываясь, подписывает акты на переплавку износившихся роботов, наделенных почти человеческими чувствами и сознанием: ведь выбраковку, «селекцию», производят сами роботы, а не он. У Брегга же, случайно попавшего в сарай для выбракованных и ждущих отправки в маргены роботов, чувство такое, будто он побывал в бараке Треблинки... И это одна из самых сильных и страшных сцен романа.

Брегг после возвращения на Землю не находит себе места еще и потому, что считает (несмотря на все собственные логические рассуждения и уверения своих спутников по «Прометею»), что в экспедиции он, быть может, не все сделал, чтобы спасти своего друга Тома Ардера. «Новое» же человечество, поручив смерть роботам, лицемерно считает, что оно не имеет к ней никакого отношения. Это хорошо знакомая XX веку мораль так называемых «исполнителей», считавших себя освобожденными от ответственности за преступления, совершенные их руками, так как решения принимали не они.

Ценой нечеловеческих усилий Эл Брегг одержал свою личную победу в борьбе за то, чтобы не быть одиноким в этом холодном мире всеобщего одиночества.

На этом автор романа мог бы и остановиться: сюжетные линии фактически исчерпаны, приговор миру, во что бы то ни стало жаждущему покоя, произнесен. Однако нет. Элу Бреггу — и нам вместе с ним — надо до конца выяснить еще один — в конечном счете самый главный! — вопрос: зачем же они летели к звездам, зачем погибли Ардер, Эннессон, Вентури, Томас, выяснить, зачем вообще нужны людям звезды?..

Через весь роман красной нитью проходят размышления Брегга об этом. Новой цивилизации они не нашли, никаких особо важных открытий не сделали, а на Земле их встретила чужая жизнь, которой они не только не нужны, но даже и опасны. И в одной из первых главок романа Брегг с горечью говорит доктору Жуффону, что, знай они, что их ждет в космосе и на Земле, никто бы не полетел.

Но вот мы следим за рассказом Брегга, за его мыслями, поступками и видим, как сам он шаг за шагом опровергает вырвавшиеся у него слова.

Полет к звездам научил Эла Брега высоко ценить не только собственную жизнь, но и, не жалея своей жизни, бороться со смертью за жизни своих товарищей. «Каждый из нас был чем-то бесценным, человеческая жизнь приобретала величайшую ценность там, где не могла уже иметь никакой ценности, там, где тончайшая, почти не существующая оболочка отделяла жизнь от смерти». Полет к звездам научил его тому, что Земля — это планета людей, что человек без человечества — всего только нуль.

Он научил героя ценить в человеческом существовании прежде всего отнюдь не застывший мир вещей, материальных благ, элементарных физических удовольствий. Они необходимы, без них невозможна жизнь, они должны составлять основание жизни, но не в них ее смысл. Смысл где-то выше и выше, где-то в мире ценностей духовных — подвижных, относительных, противоречивых, но, наверное, еще и потому составляющих главное и решающее в истинно человеческом.

В конце романа научный руководитель экспедиции на «Прометее» Турбер, к которому Эл попадает в поисках своего друга пилота Олафа Сгааве, предлагает ему снова вместе с оставшимися в живых другими космонавтами вернувшихся экспедиций вновь лететь к звездам. Турбер ставит Брега перед жестоким выбором.

Мириться с «бетризованным» миром и с «пением гимнов» понести своего будущего ребенка на «бетризацию»?

Или воевать против «бетризации» — пока в одиночку?

А может быть, вместе с ними — Турбером, Олафом, Гиммой — снова лететь к звездам?

Станислав Лем предоставил самому Элу Брегу (и нам вместе с ним) право окончательного выбора. В каждом решении есть какой-то резон, какой-то выход. Но этический смысл ответа в каждом случае разный: ответить должен один человек и, казалось бы, только за самого себя. Но по существу он должен решить за все человечество.

На «бетризацию» своих детей Эл Брег, судя по всему, не согласится ни при каких условиях.

Снова лететь к звездам?.. Но парадокс состоит в том, что если раньше, сто двадцать лет назад, для Эла и его товарищей полет был необходимостью и подвигом, то в

данной конкретной ситуации он является бегством, дезертирством — из-за нежелания бороться, из-за боязни поражения. Но Эл Брег, которого мы уже успели хорошо узнать, не должен, не может спасаться бегством.

А что касается борьбы, то персонажи этого романа, судя по некоторым симптомам, не безнадежно задавлены «бетризацией». Сумела же Эри напряжением своей воли преодолеть ее на какое-то время и, рискуя собственной жизнью, спасти Эла от смерти? Существует же (и не случайно находится под строгим запретом) средство, которое хоть на короткое время снимает «бетризацию»? Наконец не случайно же замалчиваются результаты возвратившихся межзвездных экспедиций, героика прошлого? Значит, с «бетризацией» можно — и нужно — бороться.

Конец книги (как кажется нам) — это пробуждение уже не только мысли, но и действия. Человек не может дезертировать — ни к звездам, ни в маленький мир личного счастья. Впереди борьба.

«Возвращение со звезд» не лишено некоторых литературных изъянов — местами длинот. «разъяснительных» отступлений (хотя их и меньше, чем в других романах Лема), местами избытка «красивости». Может возникнуть желание полемизировать с Лемом и по существу некоторых вопросов — в частности, как раз о «бетризации»: действительно ли связаны между собой способность к действию и агрессивность, самопожертвование и способность убить и т. п. Но думается, что спор этот будет беспредметным. Перед нами научно-фантастический роман, для которого понадобилось допущение. Пусть об этом — не до конца пока ясном и для науки — допущении спорят физиологи, психиатры, биологи, но не литературные критики. В произведении же «бетризация» безусловно сделала свое дело: роман получился, причем получился хорошо. Мелкобуржуазное недоверие к человеку (так органически свойственное и просто обывателю, и его другому «я» — догматическому сектанту) нашло в «бетризации», в вызванной ею принудительной добродетели материализацию своей сущности.

Мир изобилия, изображенный Лемом, — это мещанская, мелкобуржуазная интерпретация изобилия, мещански застывший рай, в котором нет главного — духовного изобилия интересов, поднимающихся над обы-

денным. Мир розовый, уютный — и страшный. страшный своей косностью, неподвижностью, расчеловеченностью.

Когда обеспечено материальное изобилие, духовные помыслы людей должны подняться до «звездного» уровня — тогда, и только

тогда, они останутся подлинно человеческими...

С этой мыслью прощаемся мы с Элом Бреггом, пилотом «Прометей».

### 3. ФАЙНБУРГ.

Пермь.



## КНИГА МИХОЭЛСА

Михоэлс. Статьи. Беседы. Речи. Воспоминания о Михоэлсе.  
«Искусство». М. 1965. 612 стр.

В 1960 году вышел небольшой сборник статей и выступлений Соломона Михайловича Михоэлса. Переизданный в 1965 году, он превратился в объемистый том, не столько исправленный, сколько дополненный статьями и воспоминаниями о Михоэлсе.

Издание это выглядит гораздо более солидным. «академическим» (хотя академичность в привычном смысле этого слова взрывается самим новым материалом: уж слишком своеобразен и внеакадемичен был объект воспоминаний). В сборнике теперь есть обстоятельная статья-предисловие К. Рудницкого о творческом пути Михоэлса и его театра, о месте этого театра в искусстве двадцатых — сороковых годов, есть подробные комментарии и даже летопись жизни Михоэлса, одновременно летопись московского ГОСЕТа — театра, отошедшего в историю, но историка пока не имеющего.

Михоэлс неотделим от этого театра на Малой Бронной, где он был актером-премьером, главным режиссером, подлинным главою замечательного коллектива, который не подавлялся его индивидуальностью, но раскрывал его гражданские, философские идеи, его «сверхзадачу» в искусстве.

А искусство Михоэлса — как искусство всех великих людей театра — неповторимо (никогда не будет «второго Михоэлса», как и «вторых» Шаляпина или Станиславского) и одновременно слито с искусством своего времени, своего народа и всего мира; оно продолжается в будущем часто не непосредственными учениками, но людьми, почувствовавшими в прошлом близкое. в Лире Михоэлса, сыгранном в тридцатые годы, предвесье Шекспира второй половины века...

Искусство Михоэлса неотделимо от истории, культуры еврейского народа, которую он знал во всех великих и малых ее прояв-

лениях — от народных обрядов и обычаев до штрихов современной жизни, от торжественности древнего языка до бытовой скороговорки нового, от библейской книги Иова до коммивояжеров Шолом-Алейхема. И так же немислим Михоэлс без русской культуры — без литературы XIX века и живописи века двадцатого, без всей истории советского театра, которому принадлежит актер и режиссер ГОСЕТа.

Михоэлс понимал своеобразие задач такого театра, как ГОСЕТ. Он собирал вокруг себя писателей, заказывал пьесы о современности (не его вина, что большой драматург не вырос в театре этих лет). Он развивал прежде всего народную линию театра, которая с таким юмором и лирикой завершилась уже после войны «Фрей-лехсом».

Знаток народных обрядов и обычаев, Михоэлс всегда понимал опасность этнографизма, музейности, близорукого любования уходящим бытом. Он стремился к глубокому и свободному осмыслению народной жизни, раскрывшемуся в его лучших постановках и ролях: внезапно разбогатевшего портняжки Шимеле Сорокера, мудрого молочника Тевье, жалкого мечтателя Вениамина Третьего, который бежит из захолустной Туняядовки и, покружив возле нее, возвращается в ту же Туняядовку, к грошовой ее жизни. Михоэлс играл Тевье с той же верой в народ, в талант, юмор и ум его, с какой играли в это же время своих героев Щукин, Добронравов, Ванин, Дмитрий Орлов. Еврейский театр не дублировал русский театр, но шел своею дорогой к общей цели.

Особенно мощно это единство советского театра раскрылось в михоэлсовском Лире; занимающем в Шекспириане тридцатых годов первое место — рядом с остужевским Отелло.

Лир этот покорял всех — от рабфаковцев до Гордона Крэга, который достаточно выскомерно пришел на спектакль, предупредив, чтобы ему дали такое место, с которого он в любую минуту мог бы уйти, и который ушел после конца спектакля потрясенным, понявшим «сокровенный трагический смысл жеста рук актера Михоэлса».

Лир Михоэлса покорял своею непривычностью, нетрадиционностью. Привычен — в иллюстрациях к пьесе и в театре — был величественный человек с белой бородой и седыми кудрями, на которых покоится бутафорская корона с зубцами. На такого Лира, раздражавшего Толстого, Михоэлс и не оглянулся ни разу. Он играл в иной плоскости, в ином мире. Все в его Лире было неожиданно. И черная мангия, небрежно драпирующая хилое тело. И бесцеремонность, с которой Лир пальцем, как гусей, пересчитывал членов своей семьи. И полное отсутствие внешнего величия и заботы о нем. И «дряблый» странный смех. И добровольная смерть мудреца, прозревшего истину и потерявшего ее с любимой дочерью. «Он кричит тонким голосом, тихим оттого, что напряжение слишком велико... кричит и ложится около дочери, а руки ему оправляют уже служители», — вспоминал эту сцену Афиногенов. Сам же Михоэлс так формулировал тему своего Лира: «Как это ни странно покажется на первый взгляд, но для меня желание играть Лира без бороды приобретало, я бы сказал, принципиальное значение. Мне казалось, что путь Лира в трагедии идет не от старости к смерти, а от старой, изношенной, статичной идеологии к обновленной, бурной и гораздо более молодой. Следовательно, это был путь как бы от старости к некоей второй молодости».

Это не только концепция михоэлсовского Лира. Это типичная фраза из статьи Михоэлса — фраза логически ясная, простая и образная. Такая же простота и образность — и в статьях Михоэлса (которые он очень не любил писать), и в беседах его, будь то «Моя работа над «Королем Лиром» или двухстраничный портрет актера Хенкина.

Зачастую в стенограммах и записях выступлений начисто теряется обаяние выступавшего и нельзя понять, чем вызваны «бурные аплодисменты», зафиксированные в конце речи. У Михоэлса это обаяние сохраняется, переходя в новую форму — литера-

турную. Беседы его наполнены притчами, неожиданными сравнениями, точнейшими афоризмами или подробными «рассказами в рассказе», когда в основной текст вдруг входит вставная новелла, финал которой обязательно сливается с основной мыслью автора и проясняет ее.

Вот как он мог рассказать о маленькой роли глухого старика: «Мысль у него с трудом поворачивалась, как жернова на мельнице. Да и когда он мог думать? Ведь он с утра до поздней ночи таскал мешки, обливаясь потом, если же у него были минуты, когда он останавливался и стирал пот со лба, то в эти минуты он только думал: «Да, вот оно что!» И рука его — рука, вытиравшая пот, задерживалась на лбу... Как передать глухоту? Можно не слышать того, что говорят другие, и вместе с тем ощущать, что кто-то стоит рядом с тобой. В этот момент шейные мускулы должны играть особую роль, потому что они выражают известное напряжение. У него всегда было ощущение, будто у него вместо ушей висят тряпки, и ему казалось, что надо что-то вынуть из уха для того, чтобы что-то услышать».

И мог коротко и выразительно отпарировать выступление руководящего лица, разъяснявшего в 1939 году, что все театры должны учиться только у Художественного театра: «Получается так: МХАТ учится у жизни, а мы учимся у МХАТ, мы оказываемся у жизни в племянниках. А может быть, я сам могу учиться у жизни. Я, может быть, поучусь у жизни, у МХАТ, у себя самого, у Дидро и у многих-многих других».

Это стенограммы выступлений. А в записных книжках актер торопливо, неразборчиво набрасывал самое разное. И вроде бы относящееся только к театру: «Я много говорю о правде — не потому, что так уж люблю ее, а потому, что она меня всегда очень беспокоит»; «На сцене нельзя скрыть глупость и злость»; «Костюм должен строиться по одному из двух признаков: он должен быть совершенно «ничем особенным» или внушать тысячи подозрений». И совсем не о театре: «Человек никогда не живет один. Человек живет всегда рядом с кем-нибудь и для кого-нибудь. Только смерть несет полное одиночество, и потому человек боится ее. В смерть каждому приходится уходить одному. В этом трагедия боязни смерти»; «Смердяков есть незакон-

норожденный сын мысли. Карамазов говорит, что может убить; убивает Смердяков Карамазов рождает мысль, Смердяков убивает».

Михоэлс жил театром и для театра. Но театр был для него местом приложения ясной, глубокой идеи, охватывающей жизнь человечества.

Поэтому широко, свободно судит Михоэлс об искусстве, о самых разных его воплощениях. И, конечно, не только об искусстве. «У жизни в племянниках» он никогда не был — жизнь он видел в ее непосредственности, умел понять ее и рассказать о ее проявлениях, будь то экзамен в театральной студии или встреча со средним американцем, втихомолку мечтающим сделаться миллионером.

В 1943 году Михоэлс и поэт И. Фефер были, пожалуй, первыми после Маяковского полпредами советского искусства в США. Какие средства собрал Михоэлс тогда в фонд антифашистского движения, вероятно, где-то записано. Сколько душ завоевал он в Штатах, в Мексике, в Канаде, в Англии — не записано нигде. По возвращении он много рассказывал и писал об Америке, о бурлящей жизни ее городов, об американском цирке и состязаниях ковбоев и делал это, как всегда, образно и свободно, предвосхищая «путевые заметки» наших писателей.

Со статьями и стенограммами самого Михоэлса слиты статьи и воспоминания о нем. Это серьезные аналитические работы П. Маркова, Б. Зингермана, Мих. Левидова и многих других. Замечательная статья-воспоминания Абрама Эфроса о начале театральной жизни Михоэлса. А. Тышлер рассказывает о соотношении Михоэлса-режиссера с театральным художником, великолеп-но иллюстрируя и свою статью, и всю книгу эскизами декораций и костюмов спектаклей ГОСЕТа. И. С. Козловский вспоминает о мечте Михоэлса поставит «Эдипа» и сыграть в «Ревизоре» («А кого бы ты хотел сыграть?» — «Всех», — ответил Михоэлс).

Леонид Леонов и Перец Маркиш, Иракий Андроников и Юрий Завадский рассказывают о Михоэлсе. Здесь были бы и рассказы Алексея Толстого, А. А. Игнатьева. М. М. Гарханова, М. М. Климова — будь живы сегодня эти ближайшие и верные друзья «мудрого Соломона». Впрочем, сами они и их взаимоотношения с Михоэлсом воскресают в лучших, бесспорно, воспоми-

наниях книги — воспоминаниях Анастасии Павловны Потоцкой-Михоэлс. Как бы определенные строем жизни самого Михоэлса, они исполнены любви — без сентиментальности, образности — без многословия, волнения — без пафоса. Потонкая много рассказывает о трудностях, болезнях, горе. Но, читая ее воспоминания, вы больше всего будете смеяться. Над Михоэлсом, укравшимся от назойливого поклонника в лифте, в котором и курсировал вверх-вниз, совершенно для поклонника недоступный. Над Алексеем Толстым, на пару с Михоэлсом играющим в концерте пьяницу плотника, который все делает невпопад. Над тем, как разговаривал Михоэлс с Зускиным, с Андрониковым, как показывал жене в зоопарке своего тезку — старого льва: «Сейчас — час завтрака... Все эти нуворишитигры ревут, как безумные, чтобы оправдать рефлекс по Павлову — они ждут завтрак... А мой Соломон? Лежит преспокойно. Он знает, что завтрак будет».

Можно назвать такую жизнь игрой — блистательной, радостной, в которую втягивается не только Зускин или жена, но престарелая тетка, продавщица, квартирные соседи. Точнее же эту жизнь назвать праздником, который создает сам человек, умеющий отметить и выделить каждую радость, умеющий собрать вокруг себя таких же блистательных, талантливых людей. Жизнь вовсе не была подана Михоэлсу как готовая радость, — он сам превратил ее в радость любимого труда, в котором нет разделения на часы работы и часы отдыха, где будни превращаются в праздник и праздник становится долгим, как будни. И он не отъединен от жизни, но открыт заботам и горю ее. Не уходит от людей, но окружен ими. Часто они помогают ему. Чаще приходится помогать им. Выполнять бесчисленные просьбы в эвакуации: достать очки, сульфидин, струну «ля», дефицитный боржом для безнадежно больного: «По-видимому, запущенный рак, метастазы. Да. Все понимаю. Я — не совсем идиот и все-таки прошу». А когда Таирова дружно прорабатывают за порочную постановку «Богатырей», выступить так: «Если так плохо, как все признают, — значит, произошла ошибка. Но кто же ошибся — один Александр Яковлевич? Нет. Есть и такие, которые проглядели ошибку, и в первую очередь я, я, который работает рядом с ним, живет

рядом с ним, и вовремя не увидел ошибки, не тронул его за руку, не остановил. Значит, ошибка не только его, но моя и наша».

Так жил Михозис всегда — от первых шагов в петроградской студии до последнего разговора с минскими актерами. В жизни

его были неразрывны груд, радость, юмор, правда, жизнелюбие и бесстрашие. И все это, жившее в человеке, живет в книге, им написанной и ему посвященной.

Е. ПОЛЯКОВА.

★

### Политика и наука

## ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ-ПАТРИОТ

Д. Н. Прянишников. Популярная агрохимия. «Наука». М. 1965. 397 стр.

В ноябре 1965 года исполняется сто лет со дня рождения академика Д. Н. Прянишникова — крупнейшего исследователя, блестящего педагога, человека прекрасной души, отдавшего свою долгую жизнь делу развития химизации земледелия. И поскольку мы пишем рецензию как раз в дни подготовки к такой большой дате, нам думается, что, прежде чем начать разговор о книге, надо хотя бы кратко напомнить жизненный путь этого выдающегося ученого.

Дмитрий Николаевич Прянишников родился в бурятском городе Кяхта в семье коренного сибиряка — бухгалтера чаеоторговой фирмы. В 1883 году он с золотой медалью окончил иркутскую гимназию и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. В студенческие годы он принимал активное участие в работе землячества сибиряков, на собраниях которого обсуждались социально-экономические проблемы. Темой своего реферата на одном из таких собраний он избрал «Капитал» Маркса. По окончании Московского университета Д. Н. Прянишников — уже с дипломом кандидата наук — поступил на третий курс Петровской земледельческой и лесной академии.

Вскоре он был командирован за границу для ознакомления с работой виднейших агрохимиков, а в 1895 году принял предложение профессора И. А. Стебута возглавить в Петровской академии кафедру частного земледелия (растениеводства). С тех пор и до конца своей жизни Д. Н. Прянишников работал в академии в качестве профессора и в отдельные годы — декана и директора. Здесь он создает станцию по изучению питания растений и первую в стране кафедру агрономической химии. Помимо этой рабо-

ты, он участвует в создании научного института по удобрениям, работает в Госплане и ВСНХ, руководит лабораторией минеральных удобрений во Всесоюзном институте удобрений и агропочвоведения. Под его руководством в двадцатых — тридцатых годах была организована сеть опытных станций по изучению эффективности удобрений в разнообразных почвенно-климатических условиях Советского Союза. Результаты опыта послужили ценнейшим материалом (не потерявшим своего значения и теперь) для государственного планирования применения минеральных удобрений.

Д. Н. Прянишникову принадлежит более пятисот пятидесяти работ и статей, среди которых такие фундаментальные труды, как «Агрохимия», «Азот в жизни растений и земледелии СССР», «Частное земледелие (Растения полевой культуры)» и многие другие, ставшие классическими. Они неоднократно издавались в СССР и за рубежом. На его трудах по агрохимии и земледелию училось и воспитывалось не одно поколение агрономов, агрохимиков, а также физиологов и биохимиков растений.

Талантливость, смелость мысли, широта научных интересов, глубокая принципиальность, целеустремленность и настойчивость позволили Д. Н. Прянишникову проложить новые пути в самых различных областях сельскохозяйственной науки. Его работы легли в основу государственных планов развития химической промышленности, химизации сельского хозяйства и многих других важных мероприятий в области социалистического земледелия.

На протяжении своей почти полувековой научно-педагогической деятельности Д. Н. Прянишников был всегда окружен молодежью. Десятки его учеников стали профес-

сорами, сотни — научными работниками, а тысячи — агрономами. Многие из них получили широкую известность и обогатили нашу отечественную науку ценными трудами, нашедшими широкое применение в практике.

Д. Н. Прянишников по праву является основателем советской агрохимической школы, глубоким исследователем жизни растений и плодородия почв. Ученик и последователь К. А. Тимирязева, он был крупным ученым и в области физиологии и биохимии растений, а также выдающимся агрономом. Он достойно представлял отечественную агрохимию на международных научных форумах и в течение пяти лет состоял президентом комиссии по плодородию почв Международного общества почвоведов.

Семнадцать лет прошло со дня кончины Д. Н. Прянишникова, но значение его идей и трудов для науки и для дальнейшего роста нашего сельскохозяйственного производства по-прежнему сохранилось. В связи с этим большой интерес представляет недавно вышедший под редакцией профессора А. В. Петербургского сборник статей академика Д. Н. Прянишникова «Популярная агрохимия». Он предназначен для сельской интеллигенции и работников сельского хозяйства.

Д. Н. Прянишников обращал большое внимание на необходимость повышения квалификации агрономов и руководителей хозяйств, а также овладения минимумом агрохимических знаний всеми тружениками деревни. По его мнению, недостаток знаний нельзя заменить избытком удобрений. Неумелым применением минеральных удобрений можно не улучшить почвы, а, наоборот, ухудшить их.

Сборник открывается статьями, в которых охарактеризованы этапы развития агрохимической мысли и дается оценка существовавших теорий питания растений. Рассматривая гумусовую и минеральную теории питания растений, Д. Н. Прянишников критикует учение Либиха, освещает ход дискуссии по вопросу об источниках азота растений и кратко характеризует роль русских ученых (Д. И. Менделеева, К. А. Тимирязева, П. А. Костычева, П. С. Коссовича и К. К. Гедройца) в развитии агрохимии.

Большой интерес представляет вторая глава — «Основы агрохимической химии», где Д. Н. Прянишников всесторонне освещает

состояние агрохимических исследований в СССР, остановился на достижениях агрохимии за столетний период ее развития и отразил успехи химизации сельского хозяйства за годы советской власти.

Заслуживают большого внимания агрономов статьи о фосфоре и фосфорных удобрениях. В них рассмотрены вопросы воздействия растений и почвы на фосфориты. Автор убедительно доказал неодинаковое отношение почв к фосфориту в силу их различной способности растворять последний, а также классифицировал культурные растения по их способности извлекать фосфор из фосфоритной муки. На основании своих исследований Д. Н. Прянишников наметил четыре зоны возможного применения фосфорита в качестве удобрения. В этой работе исключительно ясно вскрыта тесная взаимосвязь между почвами, растениями и удобрениями, что, как известно, является одним из главных предметов в агрохимии.

В главе «Азот и азотные удобрения» Д. Н. Прянишников впервые показал равноценность нитратного и аммиачного азота в питании растений, установил зависимость использования растениями нитратных и аммиачных форм азота от почвенных условий, специфических особенностей растительного организма, соотношения катионов в питательном растворе. В этой же главе автор рассматривает азотный баланс в сельском хозяйстве СССР и зарубежных стран, указывает на большое значение биологического азота в земледелии.

Читатели заинтересуются также статьями о калии и калийных удобрениях, в которых автор доказывает большое значение золы как калийного и частично фосфорного удобрения. В них также вскрыто отношение культур к калию и выделено по этому признаку три группы растений.

Для экономистов и агрономов представляет большой интерес глава «Основные вопросы химизации земледелия в СССР». В ней изложен опыт составления схемы применения органических и минеральных удобрений на территории европейской части страны. Всесторонний подход автора к этой проблеме может служить образцом и в наши дни.

Сборник заканчивается статьей «Травополье и агрохимия», в которой ученый еще раз спорит со сторонниками травопольного догматизма в земледелии. Он указывает,



что противопоставлять заботу о структуре и воде заботам о пище для растений недопустимо. Напротив, чем лучше растения снабжены водой, тем выгоднее снабдить их большим количеством удобрений.

Продуманный подбор материала для сборника «Популярная агрохимия» делает его весьма интересным и содержательным, во многом актуальным и в настоящее время. Агрономы, педагоги-биологи и химики

найдут в нем немало материалов для повышения своей квалификации, проведения бесед и лекций на агрохимические темы.

**Р. КОВАЛЕВ,**

*доктор сельскохозяйственных наук.*

**С. СЕЛЯКОВ,**

*кандидат геолого-минералогических наук.*

**В. ИЛЬИН,**

*кандидат сельскохозяйственных наук.*

★

## НА ЗАПАДЕ НЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

**Западная Европа: трудящиеся против монополий (Новые явления в положении и борьбе рабочего класса стран «Общего рынка»). Сборник.**

**Руководитель авторского коллектива Е. А. Амбарцумов. «Мысль». М. 1965. 446 стр.**

Очень хотелось бы, чтобы читатель, преодолев первое впечатление, будто эта книга представляет собой узкоспециальный социально-экономический труд, убедился, что она раскрывает перед ним картину важнейших процессов современности.

Авторы ограничили рамки своего исследования странами «Общего рынка» и влиянием империалистической интеграции на рабочее движение. Однако материалы и выводы, содержащиеся в этой работе, характерны и для других европейских капиталистических стран. Речь идет об огромном социально-экономическом и демографическом комплексе, охватывающем шесть крупных капиталистических государств. Напомним, что в странах Европейского экономического сообщества проживает около ста восьмидесяти миллионов человек и что численность рабочего класса в них около пятидесяти миллионов человек. По уровню организованности рабочий класс стран «Общего рынка» стоит в первых рядах международного рабочего движения.

Исследованию подвергнуты две основные взаимосвязанные стороны происходящих в Западной Европе социально-экономических процессов: формирование и развитие «Общего рынка» как орудия монополистической буржуазии и новые формы классово-рабочей борьбы трудящихся в условиях империалистической интеграции. При этом авторы избежали часто встречающихся недостатков изложения, когда основное внимание фиксируется на самом наступлении монополий и не учитывается специфика

многообразных маневров буржуазии, либо наоборот — освещаются главным образом боевые выступления рабочих и не анализируются сложные условия, в которых происходят эти выступления. Не пускаясь в излишнюю полемику с теми, кто игнорирует историческую роль европейского рабочего класса, авторы опровергают грубую недооценку борьбы европейских трудящихся, конкретно показывают, как в условиях государственно-монополистического капитализма тактике буржуазии противопоставляются новые, весьма перспективные приемы борьбы рабочих организаций.

В книге хорошо показано, как монополии действуют в государственном масштабе, стремясь свести на нет влияние рабочего класса на политику правительств. Может быть, следовало бы подробнее остановиться на том, что не просто субъективные тенденции деятелей монополий, а самое развитие ведет к тому, что как экономическая, так и политическая борьба все чаще разворачивается вне традиционных органов буржуазной демократии — парламента и органов местного самоуправления. Это отнюдь не исключает, что как раз в парламенте могут находить разрешение острейшие столкновения, как это случилось недавно в Греции.

Авторы показывают далее, как в своем наступлении на рабочий класс монополии используют в своих целях органы «Общего рынка». Наступление на рабочий класс прикрывается разветвленной и изощренной системой социальной демагогии и камуфлирования антидемократической сущности той политики, которую монополи-

стическая буржуазия проводит и в национальном масштабе, и в рамках «Общего рынка».

Было бы, конечно, упрощением представлять себе, что во всех шести странах, объединенных «Общим рынком», существуют одинаковые условия и применяется одинаковая тактика как со стороны монополий, так и со стороны рабочих организаций. Даже одинаковые или сходные предпосылки могут находить различное применение на практике.

В странах ЕЭС (Европейского экономического сообщества) в условиях благоприятной экономической конъюнктуры сложилось благоприятное для рабочего класса соотношение предложения и спроса на рынке труда, и это содействовало повышению цены рабочей силы. Но тем не менее имеются существенные различия между уровнями зарплат в отдельных странах «Общего рынка». Из приведенных в книге расчетов видно, что по размерам реальной зарплаты (включая социальные выплаты) первое место занимает ФРГ, затем идут Бельгия и Франция и значительно отстают от них Италия и Голландия. Различия между высшим и низшим национальным уровнем зарплат рабочих в странах «Общего рынка» составляет около двадцати процентов. Различна и длительность рабочего дня — вернее, введенного сейчас годового нормирования.

Деятели монополий и буржуазные экономисты, обосновывая политику замораживания зарплаты, а иногда и снижения ее, пытаются занизить данные о росте прибылей и одновременно сетуют на якобы «непомерный» рост доли зарплаты, приходящейся на единицу продукции; авторы книги внимательно осветили эти проблемы. На примере почасовых издержек на зарплату можно видеть, что за два года (с 1959-го по 1961-й) в ФРГ и во Франции изменение объема издержек капитала на заработную плату было невелико, а в Бельгии и в Италии этот показатель свидетельствует о повышении нормы эксплуатации.

Общеизвестно, что рост монополистических прибылей резко превышает рост фонда зарплаты. В книге приведены, в частности, данные по ФРГ в отношении пятидесяти акционерных обществ: в 1960 году по сравнению с 1950 годом индекс объявленной чистой прибыли составил 728, а

индекс фонда зарплаты — 398. Следовательно, несмотря на то, что рабочий класс завоевал определенные позиции в экономической борьбе, его доля в национальном доходе снизилась. Это общеевропейское явление.

Очень ценно то, что авторы осветили современную роль профсоюзного движения в Западной Европе. Примечательно, что в те самые месяцы, когда был издан этот труд, в ГДР вышла коллективная марксистская работа «Империализм сегодня», в которой авторы также сочли необходимым указать на важные новые черты в деятельности западноевропейских профсоюзов. Активизация профсоюзов наблюдается на всех уровнях, начиная с предприятий и кончая масштабом Европейского экономического сообщества.

Пальмиро Тольятти писал в 1963 году, что «профсоюз приобретает на заводе и непосредственно по отношению к предпринимателям новую функцию, развивающуюся в направлении контроля и власти». Даже в резолюции западногерманского реформистского профсоюза металлистов констатируется, что предприятие стало ареной борьбы против абсолютного господства предпринимателя. В ФРГ, где коммунистическая партия объявлена вне закона, а руководство социал-демократической партией находится в руках крайне правых лидеров, профсоюзные организации играют очень важную роль. Известно, что именно давление западногерманских профсоюзов сорвало принятие бундестагом некоторых «чрезвычайных законов».

В Италии и во Франции профсоюзы, находящиеся под влиянием коммунистов, стали важным революционизирующим фактором. В этих странах борьба за признание и расширение прав профсоюзов на предприятии стала одной из центральных задач как в деятельности коммунистических партий, так и в деятельности самих профсоюзов и оценивается коммунистами как новый этап в борьбе рабочего класса.

Классовым профсоюзам приходится вести борьбу и против наступления монополий, и против маневров бюрократии. Известный французский экономист-марксист Баржонэ, касаясь появления в заводских комитетах так называемых «обезьян» (бюрократов), подчеркивал, что «Всеобщая конфедерация труда... научила рабочих

быть особенно бдительными по отношению ко всем формам бюрократии».

Не только классовые профсоюзы применяют новые методы защиты интересов рабочих. Активизировались и другие профсоюзные организации. Коммунистическая печать в странах «Общего рынка» уделяет много внимания этой стороне дела.

Усиление политической роли профсоюзов в Западной Европе связано с общим развитием современного капитализма. Если олигархии, возглавляющие гигантские финансово-промышленные монополии, стали в какой-то мере подобием «частных правительств», а международные картели и их исполнительные органы порой обладают надправительственной властью, то деятельность профсоюзных органов, в первую очередь национальных и международных центров, непосредственно сталкивающихся с государственно-монополистическими органами, естественно, приобретает новое, сугубо политическое значение.

Важная черта современности — активизация роли капиталистического государства в экономической жизни, в регулировании социальных вопросов и трудовых отношений. Одно из последствий этого процесса — переплетение экономической и политической борьбы пролетариата. Стачка на государственном предприятии, особенно когда она охватывает целую отрасль, как это бывает во Франции и в Италии, превращается в столкновение между рабочими организациями и капиталистическим государством. В этом экономическом и политическом конфликте принимают теперь участие под руководством рабочих организаций и такие слои, как инженерно-технические работники и государственные служащие. Для Франции характерно постоянное участие государственных служащих в стачечной борьбе. Поводом для конфликтов бывают и экономические вопросы, и другие проблемы общественной жизни, такие, например, как реформа народного образования.

Разумеется, среди новых явлений в жизни рабочего класса стран Европейского экономического сообщества важнейшее место занимают те черты рабочего движения, которые обусловлены ходом и последствиями империалистической интеграции. Европейский рабочий класс принял бой на плацдарме, созданном «Общим рынком». Но в ходе этого боя и в его ис-

ходе заинтересован не только рабочий класс данных шести государств, но и многих других стран. Этот бой имеет непосредственное значение для всех слоев населения. Знаменательно, что видный французский католический публицист Ж. Буассон в ряде статей, опубликованных в католической газете «Круа», стремился показать, что в рамках «Общего рынка» для ограничения могущества и экспансии монополий практически нет других преград, кроме рабочего движения.

Авторы дают объективную оценку процесса империалистической интеграции, чуждую оппортунистическому капитулянтству и «левой» псевдореволюционной фразе. «Общий рынок» стал «экономической и политической реальностью» как в результате определенных объективных процессов, так и в результате стремления сильнейших монополий Западной Европы воспользоваться плодами технического прогресса для увеличения своих сверхприбылей и усиления эксплуатации рабочего класса. В силу самой его монополистической сущности «Общий рынок» разъедают острые противоречия, но едва ли следует уже сейчас делать поспешный вывод о том, что он обречен на скорый распад.

Это важный ход мыслей с точки зрения стратегии рабочего класса: борясь против «Общего рынка» как воплощения воли и политики монополий, нельзя в качестве демократической альтернативы предусматривать возврат к прошлому, ликвидацию связей и взаимозависимости национальных хозяйств стран «квотерки», восстановление таможенных барьеров и т. п. Возврат к прошлому не только нереален, но означал бы отказ рабочего движения от совместных действий против монополий в международном масштабе. Речь идет о том, чтобы, изучив новые социально-экономические явления, связанные с европейской интеграцией, занять определенную позицию по этим вопросам и усилить борьбу за изменение классового характера ЭЭС, за замену контроля монополистического капитала над интегрируемой Европой контролем широкой антимонополистической коалиции во главе с рабочим классом.

Речь идет о великой исторической задаче, которая поставлена и уже решается на отдельных этапах борьбы рабочего класса. В национальном масштабе решение этой задачи требует наряду с актив-

защитой революционных сил развития единства внутри национальных отрядов пролетариата. В международном масштабе необходимо усиление солидарности между отдельными национальными отрядами рабочего движения. Вместе с тем, как подчеркивают авторы, в международном плане основой демократической альтернативы «Общему рынку» должна стать борьба против империалистической агрессии, политика мирного сосуществования между государствами с различными социальными системами, ибо такая политика создает наиболее благоприятные условия для классовой борьбы пролетариата, для продвижения демократических сил вперед.

Таким образом, демократическая альтернатива «Общему рынку» означает осуществление антимонополистических программ коммунистических партий. Недаром коммунистические партии Западной Европы связывают в этой борьбе ближайшие и дальние цели. И не случайно, например, Коммунистическая партия Германии, ведущая борьбу в особенно тяжелых условиях, включила в свое программное заяв-

ление раздел под названием: «За мирную и демократическую альтернативу».

Перемены, происходящие на Западе, ведут к тому, что коммунистические партии имеют возможность так определить свои задачи и так вести дело, что защита конкретных интересов широких слоев трудящихся связывается с процессом борьбы за решающие преобразования, за социализм. Авторы книги напоминают слова Энгельса о том, что революция «представляет собою многолетний процесс развития масс в условиях, которые способствуют его ускорению». Именно этот процесс происходит в настоящее время в Западной Европе вопреки рассуждениям тех, кто готов сбросить со счетов европейское рабочее движение. В этой связи уместно напомнить, что В. И. Ленин резко осуждал тех, кто, ссылаясь на рост революционного движения в странах Азии и Африки, умозаключал, будто этим исключается из революционных сил пролетариат Европы и Америки.

**Е. ГНЕДИН.**



## КОГДА ЖУРНАЛИСТ СТАНОВИТСЯ ИСТОРИКОМ...

**П. А. Наумов. Бонн — сила и бессилие (Записки журналиста).**

«Мысль». М. 1965. 382 стр.

Поезд Берлин — Кёльн, миновав границу двух германских государств, помчался по Федеративной Республике Германии. Так начинается эта книга. Читатель вместе с автором смотрит из окна вагона и размышляет об этой стране...

Неужели снова поверхностные путевые заметки? Но по мере того, как продолжается знакомство с последующими главами, впечатление меняется. Без всякого сомнения, эта книга — одно из наиболее серьезных исследований современного германского империализма, появившихся на нашем книжном рынке за последние годы.

С некоторых пор книги советских журналистов, посвященные зарубежным странам, как бы делятся на два разряда. Наиболее частая форма — это путевые заметки, которые нишутся после сравнительно длительного (а иногда и весьма короткого) пребывания в стране. Разумеется, этот жанр

имеет полное право на существование, ведь даже кратковременная поездка в страну может быть поводом для очень серьезных размышлений о ней. Иное дело, что довольно часто встречается иная разновидность путевых заметок, в которых скороспелые дорожные впечатления замешаны на тесте газетных цитат.

В другой разряд входят исследования, касающиеся довольно широкого круга проблем жизни зарубежных стран. Зачастую тот же автор, который «согрешил» в жанре дорожных зарисовок, на этот раз выступает в роли серьезного (а это, увы, зачастую означает — сухого) исследователя, оперирующего цитатами, цифрами и прочими неизбежными атрибутами так называемой монографии.

На мой взгляд, такое раздвоение вредит как автору, так и читателю. Стоит только вспомнить лучшие традиции советской пуб-

личности тридцатых годов, чтобы понять, что серьезному анализу не противопоказана бытовая зарисовка, а путевые картинки бесмысленны, ежели они не выходят за пределы сугубо личных впечатлений автора. Вот почему книга Павла Наумова представляется явлением не только своеобразным, но и отпадным.

Журналист, который провел многие годы в качестве корреспондента «Правды» сначала в Германской Демократической Республике, а затем в Федеративной Республике Германии, решил поделиться с читателем как своими впечатлениями, так и размышлениями о сегодняшней Западной Германии.

Сейчас нередко употребляется термин «современная история». Он таит в себе некоторое противоречие. С одной стороны, казалось бы, история не может быть современной. Ведь на то она и история! С другой стороны, современность, уходящая в историю, перестает быть современностью. Однако это вполне диалектическое противоречие. При нынешнем быстром темпе исторического процесса и таком активном участии широких народных масс в нем границы истории и современности стираются. Кажется, все это было недавно: конец войны, образование двух германских государств, Берлинская конференция 1954 года... Но это уже история.

В этих условиях расширяется и круг тех, кто может быть историком. Анализ «современной истории» уже не может быть прерогативой профессиональных историков. Да они, кстати, и не любят этим заниматься, следуя мудрому совету А. К. Толстого:

Ходить бывает склизко  
По камешкам иным,  
Итак, о том, что близко,  
Мы лучше умолчим...

Тут-то и появляется на сцене журналист. Пускай он не всегда оснащен теоретическими доспехами. Но он видит, фиксирует, обобщает, и тогда ряд «моментальных фотографий» образует книгу. Ныне не только Пимен-летописец может быть олицетворением историка. Корреспондент газеты зачастую гораздо лучше отстучает на машинке летопись своей эпохи.

Павел Наумов был первым советским журналистом, который поехал в Западную Германию и был аккредитован при бунде-

стаге и правительстве. Автор книги работал в ФРГ до 1957 года, а затем не раз бывал на «берегах Рейна». В частности, совсем недавно в составе делегации советских журналистов он беседовал с канцлером Эрхардом.

Наумов-журналист выступает на этот раз в качестве историка. Его книга — в первую очередь важнейшее свидетельство очевидца. Часто Наумову не нужно было справляться с газетными сообщениями за минувшее время — он сам их посылал из Берлина и Бонна и других городов по горячим следам событий. А сейчас он рассматривает их как историк. Так, глава о процессе против Коммунистической партии Германии, состоявшемся в 1956 году в Карлсруэ, является единственным в нашей публицистике подробным анализом этого политического события, наложившего отпечаток на всю последующую жизнь ФРГ. Таких «исторических свидетельств» в книге много: путч 17 июня 1953 года, Женевское совещание 1959 года, уход Аденауэра и многое другое.

Особенность книги П. А. Наумова состоит в том, что он не только описывает, а стремится проанализировать основные противоречия нынешней политической, экономической и социальной жизни ФРГ. Перед нами живой и подчас разноликий образ Западной Германии.

Сам заголовок книги уже говорит о том, что автор не игнорирует того коренного вопроса, который ставит перед собой любой человек, анализирующий западногерманскую политику. На самом деле: откуда происходят нынешние силы и нынешние слабости Федеративной Республики Германии? Каковы политические последствия того значительного экономического взлета, который пережила Западная Германия за послевоенные годы?

Было бы непростительной близорукостью игнорировать возвращение Западной Германии на мировые рынки и на «политический рынок» западного мира. Ушли в прошлое те времена, когда некоторые публицисты писали о ней как об «американской колонии». Оказалось, что западногерманский империализм гораздо более живуч, чем можно было предполагать. Используя поддержку Запада, он нашел в себе экономические и политические силы, чтобы все более решительно завоевывать «место под солнцем».

С другой стороны, было бы ошибочно не замечать, что подобный быстрый взлет привел к своеобразной «политической аберрации» у государственных деятелей, стоящих у кормила правления Западной Германии. Им показалось, что уже все дозволено, что уже всего можно достигнуть. Возникла пресловутая доктрина Хальштейна, возникла претензия на резизию европейских границ, претензия на «единственное представительство» всего немецкого народа...

П. А. Наумов далек от того, чтобы механически отождествлять нынешнюю Западную Германию с третьим рейхом. Конечно, очень многое заставляет нас проводить параллель. Но никогда нельзя забывать, что исторические события не повторяются два раза в одной и той же форме. Автор анализирует новые формы старых явлений, в частности он рассматривает характер западногерманского неонацизма, новые явления в западногерманской монополистической экономике и многое другое.

Но как это ни парадоксально — сила Бонна порождает его бессилие. Базируясь на тех же самых экономических и социальных источниках, какие порождали политику третьего рейха, нынешняя Западная Германия представляет собой безнадзорную попытку реставрации прошлого. Она превращается в тормоз для общего развития германского народа.

Чем же все это кончится? «В истории народов,— пишет П. Наумов,— немного найдется случаев, сходных с нынешней обстановкой в Германии. Страна разрезана границей. Разорваны многие естественные экономические связи, значительно затруднена духовная жизнь нации, беспрестанно бушует пламя идеологической войны. Социализму нелегко пробиваться по тернистым дорогам страны столь развитого капитализма, обладающего богатейшим опытом социальной и национальной демагогии.

Но время открывает людям глаза. Федеративная Республика Германии — это не остров, отрезанный океанами от земли. Бурные ветры перемен, обновляющие нашу планету, доходят и до Рейна, и до Везера, и до Верхнего Дуная».

Оптимизм автора не голословен. Добрые, теплые слова он находит для рассказа о

тех, кто плывет «против течения» и в трудных условиях боннского государства выступает за мир, за взаимопонимание с социалистическими странами. Это одно из важных положительных свойств книги.

Принципиальный характер носят главы, касающиеся советско-западногерманских отношений. Их особенно интересно читать сегодня, когда исполнилось десять лет с того дня, как были установлены дипломатические отношения. Полагаю, будет наиболее уместно дать слово автору. Он пишет:

«Мы оцениваем положение трезво: мы видим враждебность к нам со стороны кругов, которые правят Западной Германией. Нам понятны истоки этой враждебности. Для генералов бундесвера, для правящей элиты ФРГ мы по-прежнему их военный «противник», тот самый, от которого они двадцать лет назад потерпели тотальное поражение. Разумеется, они не хотят ни дружбы с нами, ни мало-мальски сносного сосуществования.

И все же мы готовы и дальше развивать отношения с Федеративной Республикой Германии вплоть до самых дружественных. Советское правительство об этом не раз заявляло...

В Бонне любят набивать себе цену. Некоторые деятели ФРГ даже всерьез думают, что в политике Советского Союза большую роль играет «страх» перед Западной Германией. Мания величия, как известно, застарелая болезнь германских империалистов. А между тем от этой болезни давно пора излечиться. Ведь от прежнего величия германского империализма мало что осталось».

Таков диагноз, поставленный П. Наумовым. Тот, кто занимается «современной историей», всегда попадает в трудное положение. Автор окончил книгу событиями 1964 года — а сейчас уже на исходе год 1965. Он был в ФРГ и беседовал с депутатами бундестага третьего и четвертого созыва — а 19 сентября 1965 года был избран пятый бундестаг. И уже напрашивается желание видеть книгу продолженной — в первую очередь на материалах последней предвыборной борьбы и ее исхода.

**Л. БЕЗЫМЕНСКИЙ.**



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**Н. КРУТИКОВА.** *На крутом повороте.* Политиздат. М. 1965. 127 стр.

Это книга всего лишь об одном месяце жизни В. И. Ленина... 3 апреля тысячи петроградских рабочих встречают его на площади перед Финляндским вокзалом...

Главные события тех дней известны: и ленинские планы возвращения на родину, и переговоры Платтена с послом Германии в Берне, и пресловутый «пломбированный вагон», и речь, произнесенная Лениным с броневика. Обо всем этом уже писали сотни историков и мемуаристов. Но вот к теме, казалось бы уже исчерпанной, обращается человек больших исторических знаний, острого зрения. И от него мы узнаем новые факты.

В Центральном партийном архиве Н. И. Крутикова отыскала запись ленинского реферата о Парижской коммуне и перспективах развития русской революции. С этим рефератом Ленин выступал 5 марта в рабочем центре Швейцарии Ла-Шо-де-Фоне. По воспоминаниям большевика Я. Быкина, он дал слушателям как бы «сгусток тезисов многих и многих последующих его трудов».

Впервые публикуется и телеграмма Ленину, отправленная из Норвегии Александрой Коллонтай: «Две статьи-письма получили. Восхищена Вашими идеями». И мы воочию видим, как восторженно встретили современники «Письма из далека» — одно из высших достижений ленинской политической мысли.

«Судьба «Писем из далека» — так названа вторая, особенно содержательная глава книги. Она переносит нас из Цюриха, где тогда жил Ленин, в Женеву и Христианию, Стокгольм и Петроград...

Впервые в литературе о Ленине автор приводит малоизвестные мемуарные источники. В их числе — книга шведского интернационалиста Фредрика Стрёма «В бурное время», изданная в Стокгольме в 1942 году. Она содержит запись беседы с Лениным о пролетарской революции в России и в Западной Европе.

Воспроизведено в книге и «Письмо из Стокгольма», озаглавленное «Некоторые подробности переезда русских социалистов через Германию». Оно появилось весной 1917 года в ла-шо-фонской социалистической газете. Не исключена принадлежность корреспонденции перу Инессы Арманд.

Н. И. Крутикова тщательно изучила и советскую периодику. Так, в «Ленинградской правде» за 1924 год она обратила внимание на запись одного из участников встречи Ленина на Финляндском вокзале 3 апреля. Он слышал, как Владимир Ильич, увидев собравшихся на площади питерских рабочих и красногвардейцев, взволнованно сказал друзьям: «Да, это революция!»

С живым ощущением исторического масштаба и драматизма предоктябрьских событий читается вся книга. Остается только порекомендовать читателю самому в этом убедиться.

**Б. Владимиров.**

★

**ПЕРВЫЙ СОВЕТ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ.** *Город Иваново-Вознесенск. Май — июль 1905 г. Верхне-Волжское книжное издательство. Ярославль. 1965. 94 стр.*

Шестьдесят лет тому назад в текстильном крае, в городе Иваново-Вознесенске, был создан первый Совет рабочих депутатов — прообраз нынешних Советов депутатов трудящихся. Членам этого Совета и посвящена книга-альбом, изданная в Иваново.

Альбом напечатан на добротной меловой бумаге, в нем помещено много фотоснимков. Тут не только портреты депутатов Совета, но также и руководители Иваново-Вознесенского комитета РСДРП, представителей Московской, Владимирской и Ярославской большевистских организаций, работавших в Иваново-Вознесенске во время легкой стачки 1905 года.

Однако составители фотоальбома (П. К. Большевиков, Л. В. Левкович, С. Ф. Логинов) недостаточно использовали богатый исторический материал. Биографии членов Совета и других социал-демократов написаны сухим языком, шаблонно и потому не дают яркого представления о героической борьбе этих революционеров. О некоторых же членах Совета вообще ничего не сказано, хотя материалы о них можно было бы найти, если приложить к этому больше инициативы и старания.

Альбом, конечно, иллюстрирует многие стороны деятельности первого Совета рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске и свидетельствует о том, какой дорогой це-

ной досталась русским рабским победа над самодержавием. Тем досаднее спешка, которую проявили составители. Это интересное по форме издание могло быть значительно полнее и содержательней.

П. Кокошкин.

★

**Е. А. БРОДСКИЙ. Живые сорются. Воениздат. М. 1965. 240 стр.**

Эта книга рассказывает о Братском сотрудничестве военнопленных (БСВ) — тайной организации, созданной советскими офицерами в лагерях для военнопленных и «восточных рабочих» в Южной Германии в 1943 году. Своей непосредственной задачей БСВ считало оказание всемерной помощи наступающей Красной Армии и организацию саботажа в гитлеровском тылу.

Главная же цель Братского сотрудничества военнопленных — подготовка совместно с немецкими антифашистами вооруженного восстания. Для достижения этой цели советские офицеры установили непосредственный контакт с мюнхенским комитетом антинацистского немецкого Народного фронта (АНФ) — одной из крупнейших немецких групп Сопротивления.

О масштабах и значении работы советских патриотов в фашистском тылу первый секретарь ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт писал: «К концу 1943 г., когда деятельность организаций АНФ и БСВ достигла наибольшего размаха, советские офицеры смели организацию Сопротивления, распространявшуюся на всю южную Германию, от Карлсруэ до Вены, к которой примыкало несколько тысяч по-военному организованных и частично вооруженных приверженцев».

Много внимания уделяет автор книги описанию боевых биографий героев Сопротивления — создателей и активных деятелей БСВ: полковника Тарасова, подполковника Шпихерта, майора Озолина, батальонного комиссара Фельдмана (Фесенко) и других, их мужественной борьбе в страшных условиях гитлеровских лагерей смерти.

Из материалов Нюрнбергского процесса нам было известно о гибели девяноста двух советских офицеров — членов БСВ. Теперь благодаря работе автора книги мы узнаем подробности о боевых делах этих негибавших воинов, отдавших свою жизнь во имя великой победы над фашизмом.

Ю. Улановский.

★

**А. Д. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, Б. С. ЗАЛОГИН. Моря СССР (Природа, хозяйство). «Мысль». М. 1965. 351 стр.**

Из четырнадцати морей, омывающих нашу страну, двенадцать имеют естественный выход в Мировой океан. Ряд экономически важных районов СССР тяготеет к морям, а их экономика в значительной степени зависит от прилегающих бассейнов. Для обширных северо-восточных областей страны

морской транспорт служит основным видом сообщений. Морскими дорогами мы связаны и со многими государствами мира. Советские люди добывают в морях миллионы тонн рыбы и других ценных продуктов. Прилегающие к нашему побережью моря — это как бы продолжение нашей территории, нашего большого международного дома. А свой дом надо знать хорошо. Вот почему думается, что книга о морях СССР будет встречена с интересом.

Авторы этого труда — профессор Московского государственного университета А. Д. Добровольский и сотрудник инженерно-строительного института Б. С. Залогин: много лет изучают советские моря. В их книге обобщаются итоги исследования этих бассейнов экспедициями, анализируются разнообразие литературные источники.

Каждое из четырнадцати морей, омывающих нашу страну, имеет свои особенности, свою специфику. Например, Каспийское и Аральское, в сущности, являются большими озерами, а моря Лаптевых, Восточно-Сибирское и в меньшей степени Карское — лишь заливы Северного Ледовитого океана. Черное море — самое изолированное море Мирового океана. Белое море по своим природным температурам — одно из наиболее холодных в мире, Черное же наоборот — одно из самых теплых. По своему «плодородию» (по количеству рыбы, вылавливаемой с единицы площади) Азовское море — самое продуктивное в Мировом океане, а Охотское считается самым богатым по рыбным запасам.

Авторы характеризуют все наши моря, описывают их природу, рассказывают о них как о поставщиках биологических, химических и минеральных ресурсов.

С. Осокин,

*действительный член Географического общества СССР.*

★

**М. ГАРДНЕР. Теория относительности для миллионов. Перевод с английского. Атомиздат. М. 1965. 190 стр.**

Талантливый ученый-популяризатор может свежо и в значительной мере по-своему рассказать о теории относительности, хотя о ней уже написано немало книг. Он может по-новому, в духе времени, проиллюстрировать ее основные принципы, рассказать о самых последних ее подтверждениях, показать читателям новые горизонты, раскрывающиеся благодаря прогрессу науки. Все это с большим мастерством и делает М. Гарднер. Его небольшую книжку интересно читать не только тем, кто впервые знакомится с этой отраслью знаний, но и тем, для кого физика — профессия.

Успеху книги в немалой степени способствуют прекрасные иллюстрации художника Равиелли. Приятно отметить отличное качество издания — хорошая бумага, удачно выбранный шрифт гармонируют с изяществом стиля, в котором она написана.



Специальные главы посвящены космогоническим гипотезам — моделям Вселенной. На неподготовленного читателя они произведут сильное впечатление. Достаточно сказать, что согласно одной из этих гипотез несколько миллиардов лет назад «вся материя во Вселенной была сконцентрирована в одном невероятно плотном однородном шаре», образовавшемся в результате предыдущего сжимания Вселенной, и что сегодняшнее состояние ее есть результат взрыва этого шара. Согласно другой гипотезе «устойчивой Вселенной» примерное постоянство плотности материи — наряду с фактом расширения Вселенной — поддерживается за счет генерации вещества. Гарднер по этому поводу пишет: «Согласно Хойлу (один из авторов гипотезы. — В. Ф.), если бы в одном ведре пространства (почти невозможно писать о взглядах Хойла, не доставив себе удовольствия употребить это образное выражение) создавался один атом водорода примерно каждые 10 миллионов лет, то это поддерживало бы космос в устойчивом состоянии».

Надо сказать, что научно-юмористический талант Гарднера особенно проявляется именно в этих главах книги, так что иногда начинает казаться, что все космогонические гипотезы и не заслуживают иного отношения, кроме юмористического. А это, конечно, не так. Представляется, что в специально написанном послесловии к книге стоило сказать об этом.

**В. Френкель.**

★

**ЛЮБОВЬ КУЗНЕЦОВА.** Охотник за метеоритами. «Советская Россия». М. 1965. 152 стр.

Не менее тысячи метеоритов падает ежегодно на Землю, но во всех коллекциях мира их всего тысяча семьсот. Тяжелый это и неблагоприятный труд — разыскивать метеориты. Редко кому из ученых удается за всю жизнь найти хотя бы один камень. А омский профессор Петр Людовикович Драверт (1879—1945) нашел семь.

Книга повествует о последних годах жизни ученого, а точнее — о его семилетних упорных поисках одного из небесных камней. Забывая о семье и городской удобной квартире, в жару и дождь тряся старый больной человек на деревенских телегах по проселочным дорогам Сибири. Переходя из избы в избу, искал и расспрашивал очевидцев, а когда надо было — брался за кирку и лопату. Ни запреты врачей, ни просьбы жены не могли остановить его, если впереди брезжила надежда разыскать еще один небесный камень.

Его преданность науке была воистину фанатической. Однажды (это было в конце войны) после публичной лекции, где профессор Драверт с присущим ему энтузиазмом и темпераментом рассказывал о поисках Тунгусского метеорита, в зале нашелся молодой научный сотрудник, который безапелляционно заявил, что никакого

Тунгусского метеорита не существовало в природе и все разговоры о нем — сказки, фантазии. На несколько секунд в зале воцарилось молчание. И вдруг с кафедры прозвучал гневный голос ученого:

— Я вызываю вас на дуэль!

Дуэль, естественно, не состоялась, но отнюдь не по вине ученого. В защиту своей любимой науки он готов был выступить и со шпагой и с пистолетом...

По-разному оценивают потомки наследие омского профессора. В библиотеке вам подадут его поэтические сборники. Петю Драверт писал о раскаленных метеоритах, летящих из ледяного космоса, о красотах сибирской природы, о счастье делать открытия. Ученые-астрономы скажут, что их коллега оставил ценные труды по метеоритике. А старожилы Омска сохраняют в памяти много удивительных, неповторимых, великодушных чудачеств своего земляка. Можно спорить о том, написала ли Любовь Кузнецова документальную повесть или научно-художественное произведение. Но бесспорно одно: перед нами хорошая книга о хорошем человеке, об одном из тех чудаков, которые украшают мир.

**Марк Поповский.**

★

**ИГОРЬ АКИМУШКИН.** Куда? и Как? «Мысль». М. 1965. 263 стр.

Куда бредут, летят, плывут животные, птицы, рыбы — вечные странники Земли? Как они находят дорогу?

Ярко и живо рассказывает об этом И. Акимущкин, «попутно» обогащая читателя интересными сведениями о животном мире древних эпох, об открытиях палеонтологов, о новейших методах исследования всего того, что до сих пор было скрыто природой от человека.

Многие читали и слышали о страшных бедствиях, причиняемых людям животными, птицами и насекомыми, которые, передвигаясь в большом числе, опустошают все на своем пути. Широко известны нашествия полчищ саранчи на сады и поля, «походы» колорадского жука, которому стало тесно в Колорадо, и он начал свои опустошительные набеги. Эти маленькие полосатые, на вид безобидные жучки в разные годы оставляли без картофеля жителей Франции, Германии, Бельгии, Голландии и многих других стран. Но все ли знают, что такие набеги совершают гусеницы, улитки, муравьи, крысы, воробьи? И для того, чтобы человечество не несло ущерба от них, ученые должны хорошо разобраться в повадках мигрирующих животных, изучить их жизнь. Только тогда можно будет предотвратить надвигающееся бедствие. Автор разъясняет, почему у животных возникает потребность менять места обитания, как они ориентируются в пути, где заканчивают свои «грандиозные походы».

Удивительные вещи можно прочитать в этой книге и о морских обитателях. Например, о рыбе гризюн, живущей в Тихом

океане, у берегов Калифорнии и Мексики. Эта странная рыба мечет икру не в море, а на берегу. Она закапывается в песок вертикально хвостом вниз (одни головы торчат наверху) и откладывает икру, которую самцы тут же оплодотворяют. Через две недели большой прилив смывает икринки в море.

Рассказывает автор и о дельфинах — этих удивительных животных, «интеллект» которых изучается сейчас не только зоологами, но и кибернетиками и биониками; приводятся новые данные, добытые на основе опытов с этими животными.

Вовлекая читателя в загадочный мир наземных, крылатых и подводных животных, Игорь Акимушкин формирует взгляды на природу, помогает материалистически истолковать происходящие в ней явления.

**Н. Родионова.**

★

**С. ЛИПЕРОВСКАЯ.** За волшебным словом. Жизнь Михаила Пришвина. «Детская литература». М. 1964. 192 стр.

Книга С. Липеровской о Пришвине задумана и как художественная («романизованная») биография писателя, и как критическое исследование его творчества.

К сожалению, ни то, ни другое автору не удалось: как биография книга чрезмерно беллетризирована и одновременно лишена жанрового единства, поскольку беллетризация нередко соседствует с чисто протокольными описаниями; как критическое исследование книга грешит и панегиричностью тона, и заметным субъективизмом многих оценок.

Весьма уязвима и художественная «оправа» книги: слишком много сентиментальности, слишком утомительны и трезильны пейзажи — в этом случае лучше было бы умеренно и со вкусом цитировать самого Пришвина. Колосья, «шепчущие о счастливой жизни», «приветливая улыбка, освещающая лицо», — до чего же все это изношено и стерто и как ослабляет впечатление даже от удачных мест книги.

Основной недостаток книги в том, что она написана словно бы по методу «жития святых» и потому находится в противоречии с некоторыми данными человеческой и творческой биографии писателя. В ней не отражен процесс рождения и становления Пришвина-писателя, весь этот поистине чудесный путь, превративший агронома в этнографа, а этнографа — в замечательного по тонкости и изяществу художника и одновременно в злободневного и наблюдательного журналиста.

Взаимоотношения Пришвина с писателями (в дореволюционное время) освещены в книге не совсем правильно. Значительно преувеличена личная и творческая взаимосвязь между Пришвиным и Блоком. Не соответствует действительности и указание автора на близость Новикова-Прибоя и Пришвина: друзьями они никогда не были.

Автор делает решительно все для того, чтобы причислить Пришвина к «лицу святых», поступаясь при этом и фактами и истинами, что одинаково касается и биографии, и творческих оценок.

В то же время неверно, на мой взгляд, категорическое высказывание С. Липеровской, что Пришвин только в самом конце жизни пришел к социалистическому реализму.

Пришвин, несомненно, писатель большого социального охвата — это подтверждается, в первую очередь, «Кашеевой цепью» и «Корабельной чашей», но столь же бесспорно и то, что в его творчестве огромное место занимает тема «человек в природе». Именно эта тема придала его творчеству новизну, оригинальность и глубину. Заглянув пытливым и острым взглядом охотника в потаенные недра природы, в ее «тайное тайных», Пришвин, как никто до него, сочетал искусство с наукой, изощренного художника — с подлинным натуралистом. Автор книги фактически прошел мимо этой — коренной — темы Пришвина.

Немало в книге и всяческих неточностей и ошибок как бытового, так и литературного характера. Указывая, что один из своих сборников Пришвин «предполагал называть «Записки охотника»... а назвал «Рассказы егеря», автор забывает, что среди пришвинских изданий имеются и «Записки охотника» («Молодая гвардия». М. 1932).

Другое указание: «Наблюдения над весной в городе привели Пришвина от «весны света» к «весне звука» — тоже не совсем точно. Пришвин-фенолог делит весенний период в природе на весну света, весну воды и весну листьев.

Книгу С. Липеровской нельзя считать удачной. Косвенная ее польза заключается разве лишь в том, что она может послужить стимулом к самостоятельному познанию творчества Пришвина со стороны тех молодых читателей, которым она адресована.

**Ник. Смирнов.**

★

**А. М. АРГО.** Своими глазами. «Советский писатель». М. 1965. 232 стр.

А. Арго, один из старейших советских поэтов-сатириков, более сорока лет работающий для театра, эстрады и цирка, в своей книге, как это и полагается автору мемуаров, пишет лишь о том, что видел сам, и о тех людях, с которыми был знаком. Его близкое — и деловое и личное — знакомство со многими выдающимися деятелями искусства, профессиональное знание театра, отличная память дают ему прекрасные возможности для рассказа о тех, кто «имеет право на память потомков».

Мемуары А. Арго по манере изложения скорее всего приближаются к беседам. Автор и сам признается, что обращается к «двум собеседникам» — своему ровеснику, которому он предлагает вспомнить минувшее, и к тому молодому человеку, для которого двадцатые и тридцатые годы (о них

в основном идет речь в книге) уже история. Этого своего юного собеседника писатель, надо думать, представляет себе человеком любознательным, но в истории театра не очень осведомленным, поэтому он старается вести свой рассказ как можно шире, увлекательнее, доступнее, поэтому он рискует обращаться и к темам, уже не раз освещенным в литературе, — скажем, к разъяснению основных принципов системы Станиславского. Но надо надеяться, что это не вызовет протеста со стороны читателя — ровесника автора, так как разъяснение это ведется образно и интересно.

С одинаковым уважением представлены нам и знаменитые люди — Луначарский, Маяковский, Станиславский, Немирович-Данченко, многие известные актеры, и те, кого судьба обошла славой, чьи имена могли сохраниться лишь в памяти отдельных профессионалов — вроде «зачинателя и основоположника театров малых форм на Руси» Д. Г. Гутмана, умершего в полной безвестности.

Возникают перед нами и судьбы отдельных театров, особенно тех маленьких студий, которые во множестве расселились по Москве на рубеже эпохи — перед революцией и в первые годы ее. Время само отобрало из этих студий нужное, одни — укрепились, расцвели, другие — исчезли бесследно, но как характерны для переломных лет эти искания, споры, разнообразные попытки найти способ отразить мировосприятие различных кругов русской интеллигенции!

От истории отдельных театров Арго переходит к рассказам об отдельных спектаклях, отдельных исполнителях и даже отдельных ролях. Необходимость вечных поисков, возможность многих несхожих художественных решений — эта мысль освещает все рассказы и размышления А. Арго об искусстве театра.

М. Блинкова.

★

**В. ОСТРОВСКИЙ.** Тыфу, тыфу, чтоб не сглазить! «Детская литература». М. 1964. 125 стр.

О некоторых книгах говорят, что их читаешь с нарастающим интересом. Однако даже взрослый человек, читая «детскую» книжку В. Островского «Тыфу, тыфу, чтоб не сглазить!», чувствует, что интерес его не только «нарастает», но постепенно как бы меняет свою окраску.

Первоначально это только любопытство. В самом деле, разве не интересно узнать о загадочных приметах, магических заклинаниях, колдовстве и волшебствах, бытующих у разных народов со времен глухой давности? Автор книги много путешествовал по странам Европы, Азии, Латинской Америки, бывал не только в больших городах, но и в маленьких, забытых деревушках, куда цивилизация почти не проникла и где тысячелетний быт, уклад и мироощущение людей остались почти нетронутыми.

То, что он рассказывает, — во многом плод его собственных наблюдений, его знания той жизни, той почвы, на которой возникли эти фантастические представления. И, может быть, именно поэтому мы так легко и незаметно для самих себя отвлечемся постепенно от понятного, но поверхностного любопытства к сверхъестественному и начинаем проникать в духовный мир того «языческого» человека, который нерасторжимо связан с природой, еще не отделяет себя от нее, еще не ощущает себя «венцом творения» и тем более ее царем.

В. Островский пишет для детей «среднего и старшего возраста». Они уже забыли, как требовали наказать ножку стула, о которую ударились. Но они еще не настолько взрослые, чтобы всерьез понять, как могла английская горожанка еще в 1902 году распоров ногу о ржавый гвоздь, не рану заливать йодом, а сам гвоздь заботливо смазывать жиром. Смехотворный казус. Но автор книги не только и не столько иронизирует, сколько старается показать ребенку, как воспринимал мир его далекий предок и как в нынешних суевериях звучит отголосок этого восприятия.

Он рассказывает о своеобразном «закоме сходства», когда человек, не видевший принципиальной разницы между собой и всем живым и неживым в окружающем мире, верил, что люди могут превращаться в животных, а животные в людей. Так шаг за шагом читателю становится ясным, как возникла вера в магическую силу животных и предметов, вера в одержимость, в ясновидение, в силу заклинающего слова, в колдовство.

Но мысль книги получит еще одно превращение. В ней рассказывается о том, какими зверскими средствами искореняло христианское средневековье свою непосредственную предысторию, как боролась инквизиция с пережитками более древней языческой религии. И здесь молодой читатель, которого знакомят с реальными фактами, подтвержденными многочисленными документами, видит страшные плоды насилия и нетерпимости. Бенедикт Карпцов, немецкий юрист и судья, живший в XVII веке, писал, что при обвинении в колдовстве, когда «нахождение доказательств очень затруднено», «совершенно ни к чему боязливо и добросовестно сообразовываться с установленными правилами судопроизводства. Для доказательства виновности достаточно, если имеется одно подозрение»... Этот Карпцов, который хвастал тем, что прочитал Библию пятьдесят три раза, подписал двадцать тысяч смертных приговоров...

Небольшая книга В. Островского насыщена фактами, документами, сведениями — историческими, географическими, этнографическими. Цементированные точной мыслью автора, они как бы выстраиваются в острый драматический сюжет, создавая чтение увлекательное, серьезное и поучительное.

И. Борисова.

**Б. НОСИК.** От Дуная до Лены. «Мысль». М. 1965. 198 стр.

Московский журналист Борис Носик совершил путешествие матросом на морском перегоне речных судов. Пять месяцев провел он в пути от дунайского порта Измаил до бухты Тикси; во время стоянок он совершал дополнительные путешествия по суше, воде и воздуху.

Обо всем увиденном и услышанном Носик рассказал в небольшой очерковой книге. Его путевые очерки насыщены различными сведениями — экономическими, историческими, географическими, — цитатами из летописей, сказаний, документов, произведений иностранных писателей и русских — от Михаила Ломоносова до Виктора Конецкого. Это изобилие иногда немного утомляет. Но хорошо, что экскурсы автора в большинстве случаев перекликаются с насущными заботами наших дней.

Вот примеры: великолепная приспособленность Волги для судоходства (ее «зарегулированность») обернулась обмелением

Каспия, и меры, чтобы приостановить это, должны быть приняты немедленно; в старом северном центре льноткашской промышленности надо бы построить предприятие тяжелой промышленности, чтобы там было занятие для мужчин, потому что это только в песенке трогательно, если в городе большинство населения «незамужние ткачихи», а в жизни это совсем не хорошо. Зайдет ли в книге разговор о древнем устюжском мастерстве — чернении на серебре, постепенно сойдет он на актуальную тему о сложности сочетания старых традиций и нового содержания искусства и недопустимости «полного забвения всяких законов ремесла, меры и вкуса, какие встречаешь в некоторых изделиях на современные темы, например в кубке с портретом Гагарина. Тут уже не спасут ни тема, ни драгоценный металл, ни искусное чернение, ни обильное золочение».

Книгу Б. Носика читать интересно, как всякий хороший рассказ о дальних странствиях.

**М. Михайлова.**



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ПОЛИТИЗДАТ

- К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин.** О научно коммунизме. 480 стр. Цена 75 к.
- В. И. Ленин.** О коммунистической нравственности. 280 стр. Цена 50 к.
- В. И. Ленин.** Об идеологической работе. 435 стр. Цена 66 к.
- В. И. Ленин.** Философские тетради. 772 стр. Цена 1 р. 7 к.
- В. И. Ленин.** Краткий биографический очерк. 216 стр. Цена 22 к.
- М. Белкина.** Дороге нет конца. Очерки. 142 стр. Цена 12 к.
- М. Залманова.** Экономика строительства в вопросах и ответах. 256 стр. Цена 45 к.
- Записная книжка партийного активиста. 1966.** 224 стр. Цена 23 к.
- Н. Зубов, Ф. Э.** Дзержинский. Биография. 368 стр. Цена 75 к.
- В. Кедров.** Как изучать книгу В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». 200 стр. Цена 23 к.
- Н. Коровникова.** Начало рабочего движения и распространение марксизма в России: 1883—1894 гг. 80 стр. Цена 8 к.
- В. Любозцев.** Сердце у меня одно... О бесмертном подвиге пограничников заставы Алексея Лопатина. 128 стр. Цена 14 к.
- Методические советы по философии.** Сборник. 303 стр. Цена 46 к.
- Мир социализма в цифрах и фактах. 1964 г.** Справочник. 160 стр. Цена 19 к.
- В. Неговский, Н. Уманец.** Рассказ о победенной смерти. 144 стр. Цена 16 к.
- Популярные лекции по атеизму.** 400 стр. Цена 67 к.
- Последний штурм.** 280 стр. Цена 47 к.
- Революционно-исторический календарь-справочник. 1966.** 368 стр. Цена 63 к.
- СССР в борьбе за независимость Австрии.** 200 стр. Цена 60 к.
- Хрестоматия по истории КПСС.** В двух томах. Том I. 632 стр. Цена 1 р. 13 к. Том II. 776 стр. Цена 1 р. 28 к.
- Ю. Черниченко.** Стрелка компаса. Очерки. 152 стр. Цена 18 к.

### «МЫСЛЬ»

- Б. Бантинг.** Становление южноафриканского рэйха. Перевод с английского. 391 стр. Цена 1 р. 33 к.
- К. Вальтух.** Общественная полезность продукции и затраты труда на ее производство. 287 стр. Цена 84 к.
- В. Головин.** Путешествие вокруг света, совершенное на военном шлюпе «Намчатка» в 1817, 1818 и 1819 годах флота капитаном Головинным. 384 стр. Цена 1 р. 56 к.
- Интернационалисты в боях за власть Советов.** 398 стр. Цена 1 р. 40 к.
- Р. Лещинер.** Никарагуа. 61 стр. Цена 9 к.
- М. Никитин.** Чили. 151 стр. Цена 26 к.
- Нравственные принципы строителя коммунизма.** 343 стр. Цена 1 р. 13 к.
- Ю. Павлов.** Дороги дальние... 85 стр. Цена 21 к.
- Проблемы общественной психологии.** 470 стр. Цена 1 р. 51 к.
- М. Процько.** Стирание классовых различий в процессе строительства коммунизма. 111 стр. Цена 35 к.

- И. Сергеева.** Сомалийская республика. Географическая характеристика. 192 стр. Цена 81 к.
- Г. Слесарев.** Методология социологического исследования проблем народонаселения СССР. 159 стр. Цена 50 к.
- Л. Степанов.** Проблема экономической независимости. 191 стр. Цена 64 к.
- С. Федюкин.** Советская власть и буржуазные специалисты. 254 стр. Цена 94 к.
- Д. Чеснонов.** Исторический материализм. 528 стр. Цена 97 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- Н. Астафьева.** Кумачовый платок. Стихи. 108 стр. Цена 16 к.
- А. Ахматова.** Вег времени. Стихотворения. 472 стр. Цена 59 к.
- О. Берггольц.** Узел. Стихи. 144 стр. Цена 17 к.
- К. Буковский.** Все о деревне. Очерки. 220 стр. Цена 48 к.
- А. Гладилин.** Первый день нового года. Повести и рассказы. 184 стр. Цена 27 к.
- В. Днепров.** Черты романа XX века. 548 стр. Цена 1 р. 24 к.
- О. Зверев.** Слияние ручьев. Стихи. 64 стр. Цена 12 к.
- Г. Кайтунов.** Разговор с солнцем. Стихи. Перевод с осетинского. 68 стр. Цена 12 к.
- Мастерство перевода.** Сборник. 1964 г. 548 стр. Цена 1 р. 18 к.
- И. Меттер.** По совести. Повести и рассказы. 292 стр. Цена 43 к.
- Ю. Нагибин.** Далекое и близкое. Повесть и рассказы. 336 стр. Цена 66 к.
- И. Насыри.** Кудей. Роман. Победенный омут. Повесть. Перевод с башкирского. 308 стр. Цена 60 к.
- В. Орлов.** Соленый арбуз. Роман. 264 стр. Цена 53 к.
- С. Рагимов.** Ключ жизни. Повести. Рассказы. Воспоминания. Перевод с азербайджанского. 592 стр. Цена 1 р. 3 к.
- У истоков русской пролетарской поэзии.** Сборник. 452 стр. Цена 83 к.
- В. Фролов.** Искусство открывает мир. Статьи о литературе, драматургии, кино. 288 стр. Цена 70 к.
- Н. Хазри.** Кто вспомнит меня. Стихи и поэма. Перевод с азербайджанского. 96 стр. Цена 19 к.
- В. Шефнер.** Счастливый неудачник. Повести и рассказы. 464 стр. Цена 64 к.
- А. Яшин.** Бисоким по земле. Стихи. 172 стр. Цена 23 к.

### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Г. Бергельсон.** Бернгард Келлерман. 260 стр. Цена 56 к.
- М. Герреро.** Ускользающая земля. Роман. Перевод с испанского. 248 стр. Цена 67 к.
- Д. Кедрин.** Красота. Стихотворения и поэмы. 287 стр. Цена 61 к.
- Н. Махфуз.** Вор и собаки. Повесть. Перевод с арабского. 144 стр. Цена 25 к.
- Ю. Олеша.** Повести и рассказы. 552 стр. Цена 1 р. 5 к.
- Х. Рисаль.** Флибустьеры. Роман. Перевод с испанского. 344 стр. Цена 76 к.

**М. Рохас.** Сын вора. Слаще вина. Романы. Перевод с испанского. 636 стр. Цена 1 р. 25 к.  
**М. Шелли.** Франкенштейн, или Современный Прометей. Роман. Перевод с английского. 247 стр. Цена 37 к.

#### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**М. Галлай.** Через невидимые барьеры. Испытано в небе. Записки летчика-испытателя. 448 стр. Цена 93 к.  
**С. Голицын.** Страшный Крокозавр и его дети. Повесть. 176 стр. Цена 45 к.  
**С. Дурылин.** Нестеров в жизни и творчестве. 528 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 1 р. 7 к.  
**А. Еремеев, М. Руткевич.** Век науки и искусство. 269 стр. Цена 41 к.  
**А. Котов.** В шутку и всерьез. 352 стр. Цена 46 к.  
**И. Лавров.** Очарованная. Повесть. 206 стр. Цена 45 к.  
**Л. Лиходеев.** Я — парень сознательный. Повесть. 128 стр. Цена 14 к.  
**М. Луконин.** Избранная лирика. 31 стр. Цена 6 к.  
**С. Маршак.** Избранная лирика. 32 стр. Цена 5 к.  
**К. Михал.** Шаг в сторону, **А. Кристи.** Загадка «Эндхауза», **Б. Гордон.** Адресат неизвестен. Повести. 359 стр. Цена 1 р. 3 к.  
**А. Морозов.** Ломоносов. 576 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 1 р. 3 к.  
**Огненные годы.** Молодежь в годы Великой Отечественной войны Советского Союза: 1941—1945 годов. Сборник документов. 528 стр. Цена 81 к.  
**Они были наши ровесники.** 320 стр. Цена 45 к.  
**Б. Стрельников.** Как вы там, в Америке? Очерки. 288 стр. Цена 55 к.  
**А. Стругацкий, Б. Стругацкий.** Хищные вещи века. Фантастические повести. 320 стр. Цена 62 к.

#### «НАУКА»

**А. Богуславский, В. Диев.** Русская советская драматургия. Основные проблемы развития. 1936—1945. 288 стр. Цена 1 р. 20 к.  
**В. Виноградов.** Вопросы теории и практики социалистической национализации промышленности. 389 стр. Цена 1 р. 63 к.  
**Вопросы культуры речи.** Сборник статей. Вып. 6. 244 стр. Цена 77 к.  
**Р. Иванов.** Ленин о Соединенных Штатах Америки. 206 стр. Цена 61 к.  
**Изменения в экономической структуре стран Западной Европы.** 434 стр. Цена 1 р. 90 к.  
**В. Истрин.** Возникновение и развитие письма. 599 стр. Цена 2 р. 40 к.  
**А. Колпаков.** Ирландия — остров мятежный. Ирландский народ в борьбе за независимость. 1900—1963 гг. 191 стр. Цена 30 к.

**В. Кочнев.** Население Цейлона. Историко-этнографический очерк. 348 стр. Цена 1 р. 20 к.  
**Ю. Левада.** Социальная природа религии. 263 стр. Цена 85 к.  
**В. Луневич.** Занимательная биология. 273 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Не Вин.** Вирма на новом пути. Переводы. 252 стр. Цена 85 к.

**Политические партии стран Латинской Америки.** 319 стр. Цена 1 р. 15 к.  
**Противоречия в развитии естествознания.** Под общей редакцией В. М. Кедрова. 352 стр. Цена 1 р. 26 к.

**Б. Путилов.** Славянская историческая баллада. 176 стр. Цена 42 к.

**М. Райт.** Народы Эфиопии. Этнографический очерк. 259 стр. Цена 1 р.

**Устная поэзия рабочих России.** Сборник статей. 189 стр. Цена 50 к.

**Н. Халфин.** Присоединение Средней Азии к России. 60—90-е годы XIX в. 468 стр. Цена 1 р. 64 к.

**А. Язькова.** Народная Румыния. 118 стр. Цена 20 к.

#### «ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики о судостроительстве РСФСР. Принят на третьей сессии Верховного Совета РСФСР пятого созыва 27 октября 1960 г. с изменениями и дополнениями, внесенными Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 февраля 1964 г.** 32 стр. Цена 2 к.

**Основы законодательства о судостроительстве Союза ССР, союзных и автономных республик.** 16 стр. Цена 1 к.

**Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик.** 28 стр. Цена 2 к.

**Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик.** 32 стр. Цена 2 к.

#### ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО (НОВОСИБИРСК)

**Е. Осокин.** Легенды полуночного края. 36 стр. Цена 6 к.

**Поэты 20—30-х годов.** Сборник стихотворений. 295 стр. Цена 79 к.

#### «ЛИЕСМА» (РИГА)

**Я. Райнис.** Тихая книга. Стихи. Перевод с латышского. 187 стр. Цена 41 к.

**Серебристый рассвет.** Сборник стихотворений. Перевод с латышского. 130 стр. Цена 28 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**И. И. Виноградов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин**

Редакция. Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.  
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 30/IX 1965 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 15 XI 1965 г.  
 А 12824. Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)  
 Зак. 2300. Тираж 128 500.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.



## ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

## «НОВЫЙ МИР»

В предстоящем 1966 году «Новый мир» предполагает напечатать: заключительные главы романа Конст. ФЕДИНА «Костер», повесть В. АСТАФЬЕВА «Кража», новый роман А. БЕКА, роман белорусского писателя В. БЫКОВА «Мертвым не больно», повесть Н. ВОРОНОВА «Гибель такси», новые главы записок генерала армии А. В. ГОРБАТОВА, повесть Е. ДРАВКИНОЙ о В. И. Ленине, роман В. ДУДИНЦЕВА «Неизвестный солдат», окончание «Деревенского дневника» Е. ДОРОША, роман С. ЗАЛЫГИНА «Соленая падь», исторические повести В. ПАНОВОЙ, повесть Виталия СЕМИНА «Исполнение надежд», воспоминания Анастасии ЦВЕТАЕВОЙ «Из прошлого», дневники 1941 года Константина СИМОНОВА, новые романы, повести, рассказы Ч. АЙТМАТОВА, В. АКСЕНОВА, О. БЕРГГОЛЬЦ, Г. БАКЛАНОВА, Ю. БОНДАРЕВА, Г. ВЛАДИМОВА, В. ВОИНОВИЧА, Л. ВОЛЫНСКОГО, И. ГРЕКОВОЙ, Ю. ДОМБРОВСКОГО, В. КАВЕРИНА, Ю. КАЗАКОВА, В. ЛИХОНОСОВА, К. ПАУСТОВСКОГО, В. РОСЛЯКОВА, А. РЫБАКОВА, И. СОКОЛОВА-МИКИТОВА, А. СОЛЖЕНИЦЫНА, В. ТЕНДРЯКОВА, Г. ТРОПОЛЬСКОГО, В. ФОМЕНКО, И. ЭРЕНБУРГА, А. ЯШИНА.

## ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ЖУРНАЛ

	12 мес.	6 мес.	3 мес.
Без переплета	8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р. 10 к.
В переплете	10 р. 80 к.	5 р. 40 к.	2 р. 70 к.

*Подписка принимается всеми отделениями «Союзпечати»  
без ограничений.*